

**НОВЫЙ
МИР**

5

1934

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

П Я Т А Я

М А И

М О С К В А
1 . 9 . 3 . 4

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. В. КИРШОН. — Чудесный сплав, пьеса	5
2. ВС. ИВАНОВ. — Похождение факира, роман, продолжение . . .	39
3. П. ЖЕЛЕЗНОВ. — Сыну, стихотворение	72
4. БОР. ПИЛЬНЯК. — Рассказы	73
5. АЛЕКСАНДР ЧАЧИКОВ. — Два стихотворения	79
6. Н. НИКАНДРОВ. — Морские просторы, повесть	81
7. А. НОВИКОВ. — Разведка, из записок красногвардейца . . .	109
8. МАКС ЗИНГЕР. — Великий фасад	125
 ЛЮДИ И ФАКТЫ	
9. РОМАН ФАТУЕВ. — Мост на Азарго	154
 ЗА РУБЕЖОМ	
10. М. СПЕКТАТОР. — Три кризиса	192
 НАУКА И ЖИЗНЬ	
11. В. Е. ЛЬВОВ. — Перепетуум мобиле — последнее слово буржуазной физики	224
 ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО	
12. И. НУСИНОВ. — Дворянско-буржуазный и социалистический реализм	243
13. Н. СОБОЛЕВСКИЙ. — Последний роман Кнута Гамсуна . . .	256
 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
ДМ. ГЕЛЬМАН. — И. Шкапа (Гриневский) «Лицом к лицу» . . .	261
А. ЕФРЕМИН. — Г. Санников «Сказание о каучуке в одиннадцати песнях»	262
Н. ЗАМКОВ. — Б. Н. Меншуткин «Важнейшие этапы в развитии химии за последние полтора ста лет»	263



Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главл. В—82933. Объем 16½ печ. лист. по 64.000 зн. Техн. ред. В. Белокопъ.
Зак. 894. Тир. 47.000.

д. тов. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

Чудесный сплав

В. КИРШОН

Комедия в четырех актах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ГОША ФИЛИППОВ.
ПЕТЯ ГОРЕМЫКИН.
ЯН ДВАЛИ — эстонец.
КОСТЯ КУРИЦЫН.
НАТАША.
ИРИНА.
ОЛЕГ — толстый.
НАСТЯ — старуха.

ТОНЯ
ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН.
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ.
ЗВЕНОВОЙ.
КОМСОМОЛЬЦЫ, ПИОНЕРЫ, СОТРУД-
НИКИ ИНСТИТУТА, КОЛХОЗНАЯ МО-
ЛОДЕЖЬ.

ПЕРВЫЙ АКТ

Лето. Утро. Лаборатория научно-исследовательского института авиационной промышленности. Печки для плавки металла. Распределительные щиты. Измерительные приборы, шкафы с банками, ящики с металлом, диаграммы. На стене доска для вычислений. Две двери — справа и слева. На заднем плане, за большой стеклянной дверью, другая комната лаборатории — там исследуют металл. Видны микроскопы, фотоаппаратура и т. д. У доски, исписанной различными формулами, стоит Гоша с мелом в руке. Он перепачкан мелом. Мел у него даже на лице и в волосах, потому что, увлекаясь, он теребит рукой свою шевелюру. Вокруг него в разных позах Петя, Ян Двали, Олег, Костя, Ирина. Все слушают Гошу с громадным вниманием.

ГОША (пишет цифры на доске).
Удельный вес — один восемьдесят четыре, а алюминий — два семьдесят. Металлические и металлоидные свойства: оказывает удивительное влияние на повышение прочности тяжелых металлов; исключительная стойкость сплавов с его участием против коррозии; плавится

при тысяче двухстах восьмидесяти градусах. Это — бериллий, товарищи. Бериллий — замечательный металл с поэтическим названием. Подводя итоги своим обширным работам в лабораториях Симменс и Гальске, немцы говорят (читает): «Бериллий не мог быть использован в качестве компонента в сплавах легких металлов вследствие технически трудной сплавляемости». Я предлагаю разбить немцев и создать сплав бериллия с магнием. Тогда у нашей авиации будет прочный и самый легкий в мире сплав.

ОЛЕГ. А тебе известно, что точка испарения магния лежит ниже точки плавления бериллия?

ГОША. Да, мне известно. Я полтора года сижу на бериллии. Сегодня последний день нашего перерыва. С завтрашнего дня предлагаю работать над сплавом и взять обязательство: закончить опыты ко дню авиации.

КОСТЯ. Неужели оторвем? Проверить надо... Все-таки они ведь знают, раз они немцы...

ДВАЛИ. Перестань впадать в маловерство. Что это значит — немцы? Не имей склонность забывать пословицу:

«Что немцу здорово, то русскому будь здоров».

ОЛЕГ. Такой поговорки нет.

ДВАЛИ. Такая поговорка есть.

ПЕТЯ. Нет, так будет, не в этом суть. Гошка, вот тебе ненадолго пять пальцев. Это замечательно. Ребята, это ж великое дело. Гоша, дорогой химик и бригадир, веди нас.

ИРИНА. Самый устойчивый и самый легкий в мире сплав.

ГОША. Самый легкий, Ирина, и вверх.

КОСТЯ. Может, сроков не устанавливать, ребята?

ПЕТЯ. А что?

КОСТЯ. Опоздаем. Уж раз я буду в бригаде—опоздаем. Дело серьезное, и я честно предупреждаю. Со мной все опаздывают. Это у меня в крови.

ИРИНА. Ну, брось ты глупости говорить. Скажем — сделаем.

ПЕТЯ. И наоборот.

КОСТЯ. Как наоборот?

ПЕТЯ. Сделаем — скажем. Правильно, Ирка.

КОСТЯ. Неужели немцам вколем, ребята? Сложная, сложная задачка. Ты подсчитал, Гоша, все подсчитал?

ГОША. Я не только подсчитал, я прочувствовал эту работу, технически прочувствовал, — она выйдет.

ДВАЛИ. Невыполнимых дел нет, есть невыполнимые люди. Я—за.

ПЕТЯ. Гошка, ты распределение работ наметил?

ИРИНА. Надо будет организационные вопросы продумать. Обеспечить хозяйство.

КОСТЯ. Во всяком случае я постараюсь не отстать от вас, ребята. Ну, ну, даже голова кружится.

ГОША. А ты, Олег?

ОЛЕГ. Больше трех лет я работаю над проблемой бериллиевых сплавов.

ПЕТЯ. Вот замечательно. Молодец, вещей Олег.

ОЛЕГ. Меня не смущает сама проблема. Неприемлемы методы, которые ты предлагаешь.

ИРИНА. То-есть?

ОЛЕГ. Я считаю, что научно-технические проблемы не решаются бригадами.

ГОША. Вот как?

ПЕТЯ. Мама дорогая! Вы слышали? А еще говорят, в здоровом теле здоровый дух.

ОЛЕГ. Мне надоели твои остроты, Петя. Пользуюсь случаем, чтобы сказать тебе об этом. Бригада может технически выполнить чью-нибудь мысль, но самую мысль бригадой не заменишь. Если ничего нет в голове, количество голов не поможет.

ГОША. Ты, стало быть, против коллективной работы?

ОЛЕГ. Я — за чувство меры. Не все укладывается в рамки, Гоша. Технический подход — это совсем не то же, что подход механический. Кое-где полезно работать коллективно. Но в науке и технике всегда торжествовала мысль гениального одиночки.

ПЕТЯ. Ты врешь, негениальная одиночка. И про науку врешь, и про технику врешь. Всегда создавала что-нибудь только коллективная мысль. Это ж непреложный факт. Ты это крепко пойми.

ОЛЕГ. Я знаю...

ПЕТЯ. Ты ничего не знаешь. Над открытием алюминия трудились: Гемфри Деви — англичанин-химик, Эрмштедт — датчанин, Вёллер—химик-немец, Генрих Сен-Клер Девиль — француз, Роберт Бунзен — опять же немец. Каждый вкладывал свои знания и пользовался опытом другого. Обретали они в разных странах, жили в разное время, а был это коллектив, дорогой вещей Олег, алюминиевая бригада. Усвой. Кое-какие мелочи мешали им объединиться под руководством, ну, например Гоши, и они трудились оторванно и приватно. А мы имеем возможность работать нашим славным коллективом номер три, пребыванием в котором я горжусь. И Ян Двали ведет протоколы наших плавков. Верно, Двали?

ДВАЛИ. Абсолютно так.

ОЛЕГ. Что ж, ты хочешь сказать, что наша бригада равноценна тем ученым, которых ты назвал?

ПЕТЯ. Не сказал бы, не люблю преувеличений. Нет, мы несколько послабее, но не забудь — у нас все впереди, а те уже сыграли в ящик.

ОЛЕГ. Послабее. В этом гвоздь вопроса. Бригада — объединение слабых.

Объединяются потому, что каждый ничего не стоит в отдельности. Мне не нужна бригада. Я могу и хочу отвечать сам за себя. Пусть я буду хоть единицей, но не порядковым номером.

ГОША. Короче говоря, ты отказываешься работать с нами?

ОЛЕГ. Я буду работать над той же проблемой сам.

ДВАЛИ. Он хочет быть большим Магометом, чем гора.

ИРИНА. Такой поговорки нет.

ДВАЛИ. Такая поговорка есть.

ИРИНА. Значит, ты вызываешь на соревнование нашу бригаду?

ОЛЕГ. Если вам так нужны ярлыки, пожалуйста. Да, я вызываю вашу бригаду на соревнование.

КОСТЯ. Ты считаешь, что один стоишь больше нас пятерых? Брѣско.

ГОША. Мы не обидчивы, Костя. Хорошо, работай параллельно, посмотрим, что у тебя выйдет.

ИРИНА. Но мы не справимся без него.

ГОША. Нет, справимся. К нам сегодня придет еще один работник. Химик, или, вернее, химичка. Это девушка.

ПЕТЯ. Девушка? Откуда?

ГОША. Из Треста цветных металлов, она работала в Сибири.

ПЕТЯ. Весьма интересный факт. Ты видал? Блондинка?

ГОША. Нет еще.

ПЕТЯ. Что значит — нет еще? Скоро будет блондинкой?

ГОША. Я говорю—не видал. Да что, это не безразлично?

ПЕТЯ. Для тебя безразлично, а для меня нет. У всякого свой подход, Гоша. Ты например. подходишь к женщине чисто химически, а мне ближе физика—физическая близость.

ИРИНА. Петя!

ПЕТЯ. А что? Я, откровенно признаюсь, люблю обнять девушку на сегодняшней день. Нельзя?

ОЛЕГ. Ну, так что ж?..

ПЕТЯ. А что? Ты разве еще не ушел, единица? Все же с тобой установлено. Может, ты думаешь, состоится обряд посвящения тебя в рыцари печального образа? Нет, это откладывается,—видишь ли, я забыл шпагу на даче.

ГОША. Вопрос решен, Олег. Над только сговориться с директором.

ОЛЕГ. Ладно. *(Уходит.)*

ИРИНА *(Гоше)*. Что ж он так ушел один? Его можно было уговорить.

ГОША. Зачем? Пусть работает параллельно. Для института это только полезно. Не забывай, что, кто бы из нас ни проиграл, сплав выиграет.

КОСТЯ. Ценный все-таки физик. Не просчитаемся ли? Может, урегулируем?

ДВАЛИ. По-моему, абсолютно нет. Он нам нужен, как пятое колесо собаке. *(Ирина хочет что-то сказать ему, он останавливает ее жестом.)* Есть. Надо распределять работу. Ты имеешь договоренность с директором?

ГОША. Да.

ДВАЛИ. Тогда завтра будем начинать.

ПЕТЯ. Внимание! *(Поднимает руку.)*

КОСТЯ. Что такое?

ПЕТЯ. Тсс...

Все смотрят. Открывается дверь, и входит уборщица Настя.

НАСТЯ. Идите обедать, а то определенно ничего не останется.

ПЕТЯ. А что?

НАСТЯ. Последний раз вас зову.

КОСТЯ. Почему это последний, ты еще сегодня ни разу не звала.

НАСТЯ. В этом месяце последний. Уезжаю на курорт. До свидания.

ПЕТЯ. На курорт? Это ж замечательно. Ты смотри там, не очень того.

НАСТЯ. Определенно буду того.

ИРИНА. До свидания, Настенька, поправляйтесь. *(Целует Настю.)*

ГОША. Купайся, Настя. Пока! *(Уходит.)*

НАСТЯ. Вы свет гасите по вечерам. А ты, Петя, окурки перестал бы бросать в уборной.

ПЕТЯ. Это не я, это Двали.

ДВАЛИ. Не верь, Настя, это поклепка.

НАСТЯ. Определенно ты. А то я новенькую тут вместо себя оставляю. Девушка. Определенно не усмотрит. Вы сами соблюдайте.

ПЕТЯ. Поезжай, поезжай, походный крематорий.

НАСТЯ. Я тебе дам — крематорий.

Петя убегает. Прощаясь с Настей, выходят остальные. Настя одна, стирает пыль, поправляет банки.

НАТАША (входит, оглядываясь).
Здравствуйте.

НАСТЯ. Здравствуй, это тебя, стало быть, назначают?

НАТАША. Меня.

НАСТЯ. Как звать?

НАТАША. Наташа.

НАСТЯ. Ага. Ну, иди сюда, Наташа, я тебе дела передам. Проникнись вниманием. Понимаешь, на какое дело идешь? Думай. Прежде всего, в какое учреждение ты пришла? (Наташа хочет что-то сказать.) Ты молчи, я сама буду говорить. В научное. Значит, кто ты есть теперь? Как и я, научная сотрудница. Определенно. Чем будешь ведать? Как и я, лабораторией. Что в ней делают? Опыты. Стало быть, ты есть опытная уборщица. Вот твоя квалификация. Прими инвентарь. (Раскрывает шкаф, в котором висят и лежат тряпки, щетки, салфетки, мочалки в образцовом порядке и за номерами.) Вот. Изучай. Тряпка номер один — для пола. Пол протирай два раза в день. Тряпка номер два — столы будешь мыть. Номер три — для смахивания с банок. Щетка Пи. Запоминать — Пи. Это значит ее формула. Ты знаешь, что такое формула? (Наташа хочет что-то сказать, Настя перебивает ее.) Молчи, я скажу. Ты молчи и перенимай. Формула есть непонятное обозначение обыкновенности, чтоб посторонние не догадались. К примеру — медь. Лежит кусок, ты видишь — определенно медь. А написано Си. Вот и разберись, то ли медь, то ли Си. А вот тебе щетка, как будто щетка, а написано Пи. Захочет кто-нибудь забрать щетку, и задумается: как будто щетка, а может, и Пи. Кроме того, оставляю тебе ребят. Строже держи. Определенно. Требуешь. Обедать зови, не позовешь — не пойдут. Потому что в голове ветер, целый день тут возятся. Особенно приглаживай за Гошкой, он у них бригадиром. Этот парень, можно сказать, вредитель. Все уже уйдут или уедут на свою дачу, у них дача есть, называется комсомольская, а этот сидит и жжет свет. Сидит и

жжет. Определенно. Если Петька будет приставать, он и ко мне бы приставал, только я его в границах держу, ты заяви Ирине, девочка у них есть. Она на него подействует. Она на всех действует. Есть еще эстонец. Ты имей в виду, он до того длинный, если на шкафу не убе-решь, он входит и уже наверху беспорядок заметил, — вытирай пыль...

Входит Тоня.

НАСТЯ. Тебе что?

ТОНЯ. А я уборщица новая, Тоня, меня к вам прислали. Вы Настя будете?

НАСТЯ (пораженно смотрит то на Тоню, то на Наташу). Я-то Настя буду и есть. (Наташе.) А вот ты кто?

НАТАША. Я — Наташа.

НАСТЯ. Слышала. Какая твоя квалификация? Кто тебя прислал?

НАТАША. Я тоже научная сотрудница, но работать буду в третьей бригаде. Меня прислал Трест цветных металлов.

НАСТЯ. Цветных? А чего же ты мне полчаса голову морочила?

НАТАША. Да я все пыталась сказать, что вы меня наверное принимаете за Си, а я совсем другое, но вы ведь не позволяли.

НАСТЯ. Что же они там путают? Тут надо делом заниматься, а они чорте знает, кого присылают. Я скажу им, что я об них думаю. Определенно. (Тоне). Пойдем.

Уходят. Наташа осматривается, закури-вает. Гоша входит. Смотрит некоторое время на Наташу, которая его не замечает. Она производит на него такое впечатление, что он растерян и даже отступает назад. Наташа оборачивается и тоже смотрит на Гошу. Пауза.

НАТАША. Вы что — пожарный?

ГОША. Пожарный? Почему пожарный?

НАТАША. Вы как-то странно смотрите, а я закурила в лаборатории, может быть, нелзя?

ГОША. Нет, я не пожарный.

НАТАША. Это хорошо. Вы не знаете, как мне найти бригадира третьей бригады, у него еще такое ласковое имя — Гоша? (Гоша окончательно те-

рывается и машет рукой по направлению правой двери.) Спасибо. (Уходит.)

Гоша стоит, ерошит волосы.

ПЕТЯ (входит). Ты уже здесь? Знаешь, мне кажется, раз Олег откололся, исследования надо будет поручить Ирке. А? (Гоша молчит.) Да что с тобой, Гоша? Гошка! Перестань притворяться сумасшедшим. Я не люблю этого. Ну...

ГОША. «Вы что—пожарный?»

ПЕТЯ. Нет, пока еще. А что? Где пожар?

ГОША. Молчи, молчи. Понимаешь, я вхожу, и вдруг она оборачивается. «Вы что — пожарный?»

ПЕТЯ. Мама дорогая! Спятил. Кто она, Гоша? Ты не волнуйся, это я — Петя. Узнаешь меня?

ГОША. Уйди к чортовой бабушке, не мешай. А я говорю: «Нет, почему вы думаете?» А она говорит...

ПЕТЯ. Да кто она? Будь ты неладен. Кто она?

ГОША. Химик.

ПЕТЯ (свистит). Вона... Ну и что ж, какой она?

ГОША. Петька, ты понимаешь, она какая-то вся такая...

ПЕТЯ. Вся? Да ну?

ГОША. Честное слово. Ты пойми, она оборачивается и прямо мне в упор: «Вы что — пожарный?»

ПЕТЯ. Так прямо и кроет? А ты?

ГОША. А я говорю: «Нет, я не пожарный».

ПЕТЯ. Здорово нашелся. Однако ты в самом деле похож на пожарного.

ГОША. Я? Чем же?

ПЕТЯ. Не знаю. Есть что-то неуловимое. Ну, и что же с этой девушкой?

ГОША. Так она спрашивает: «Вы что — пожарный?»

ПЕТЯ. Как, опять спрашивает?

ГОША. Почему опять? Один раз она спросила.

ПЕТЯ. Ну, я слышал это. Можно подумать, будто вас тут стояла целая пожарная команда и она у каждого в отдельности спрашивала. Дальше-то что?

ГОША. Дальше, понимаешь, очень странная история. Она вдруг говорит: «А где мне найти Гошу, у него такое

ласковое имя». У меня, понимаешь? И я почему-то так обалдел, что не показал на себя, а показал на дверь, и она пошла.

ПЕТЯ. Блондинка?

ГОША. Не знаю.

ПЕТЯ. Ну, волосы у нее светлые или черные?

ГОША. Не видал.

ПЕТЯ. Ну, вот что, Гоша. Дело очень серьезно. Возьми себя в руки. Посмотри на себя—разрозненные глаза, размагниченное лицо, потеря равновесия. Гоша, ты на точке кипения. Остынь, или начнешь плавиться, а плавиться должен бериллий, а не ты. Выбирай, Гоша, выбирай. Металл или эта химичка, чорт ее принес. Гошка, сплавляй бериллий, а я сплавлю эту девицу. Пусть едет обратно в Сибирь. Кузбассу нужны химики, я читал сегодня в «Правде».

ГОША. Посмей только сказать что-нибудь этой девушке.

ПЕТЯ. Гошка, ты не смеешь. У нас же с Олегом соревнование. Ты предашь нас. По сравнению с тобой Азеф—благороднейшая личность.

ГОША. Плевал я на Азефа.

ПЕТЯ. Да как ты мог так поддаться? Это ж поразительно. Является какая-то фитюлька с буклями, и вот, пожалуйста, наш брандмейстер уже спешит, как на пожар. Ведь она ж кокетка.

ГОША. Не смей.

ПЕТЯ. Безусловно, кокетка. Извольте видеть — приходит и сразу: «Вы пожарный?» Это ж кокетство. Она же льстит тебе. И сейчас же нате вам — «ласковое имя». Гоша—ей ласковое имя. А имя-то вроде названия болезни. Скажи, картавя, «рожа» — вот тебе и Гоша.

ГОША. Не приставай.

ПЕТЯ. Ты же химик, чорт тебя поде-ри, ты должен знать, что внезапная любовь бызает только от несварения желудка.

ГОША. Идет... Петька, она идет сюда. (Убегает в дверь налево.)

ПЕТЯ (быстро поправляет волосы и куртку. Смотрит на дверь. Входят Костя, Двали, Ирина.) Товарищи, сплав в опасности.

ИРИНА. Что?

КОСТЯ. Почему?

ПЕТЯ. Бригадир влюбился.

КОСТЯ. Что ты болтаешь?

ДВАЛИ. Это невозможно.

ПЕТЯ. Я сам не поверил бы, но я был свидетелем припадка. Явился научный сотрудник, специалист по неорганической химии, провел с нашим бригадиром краткую беседу о постановке пожарного дела в СССР, и бригадир расплавился.

ИРИНА. А где же она?

ПЕТЯ. Она разыскивает его. Он в нее влюбился, а она его разыскивает. Тут сложная кинематографическая интрига.

ДВАЛИ. А Гоша где?

ПЕТЯ. Он пошел снять каску.

КОСТЯ. Это непохоже на Гошку.

ПЕТЯ. Это с ним в первый раз. До сих пор он никого и знать не хотел. Реакция будет бурная. Насколько я понимаю, в таком состоянии он не сможет по-настоящему трудиться. В общем, он влюблен. Понимаете вы, химики и физики, он влюблен.

ДВАЛИ. Да. У всякой старухи своя прореха.

ИРИНА. Боже мой, такой пословицы нет, Двали.

ДВАЛИ. Такая пословица есть.

КОСТЯ. Ребята, ну какие теперь пословицы? У нас сроки. Ведь мы опоздать можем, надо принять меры. И потом Олег-то будет работать.

ИРИНА. А с чего вы взяли, что любовь будет мешать ему? По-моему, наоборот. Я очень рада за Гошку.

ПЕТЯ. Ты не знаешь Гошку. Увы, сей командир запаса и инженер как мужчина имеет отрицательные показатели.

ДВАЛИ. То-есть?

ПЕТЯ. Он боится женской половины человеческого рода.

ИРИНА. Неправду ты говоришь.

ПЕТЯ. Честное пионерское. Обладая замечательной смелостью в технике, он не имеет никакой смелости по отношению к вам. Любовь его будет платонической и вместе с тем вулканической. В результате восторгается вещей Олег.

КОСТЯ. Я говорил—опоздаем, ребята. Видите, начинается. Это у меня в крови.

ИРИНА. Что же делать?

ПЕТЯ. Вот я вас спрашиваю.

КОСТЯ. Мне все-таки не верится.

ПЕТЯ. Не верится? Пойди, убедись сам. Идите, в самом деле посмотрите, что с этим огнетушителем. А я подумую, что можно предпринять.

ДВАЛИ. Пойду установлю, в чем дело, я.

ПЕТЯ. Сходи, сходи. Ему как-раз в его новом положении нужна каланча.

Все уходят. Входит Олег.

ПЕТЯ. А, Олег!

ОЛЕГ. Мы уже виделись сегодня.

ПЕТЯ. Ты что, сердиться на меня?

ОЛЕГ. Сержусь? Как вы все упрощаете, право.

ПЕТЯ. Так мы ж необразованные.

ОЛЕГ. Вот. Эти шуточки. К чему очи тебе? Почему ты по всякому поводу считаешь нужным балаганить и во всем видеть смешное?

ПЕТЯ. Видишь ли, сейчас как-раз произошло событие, мало смешное. Но вообще я веселый, потому что мне весело.

ОЛЕГ. Что тебе весело?

ПЕТЯ. Да всё мне весело. Понимаешь ты, горшок с переживаниями? Постарайся крепко понять. Ведь я мог родиться в семье бацилл, которых ты так боишься, и ты, будучи меланхоликом, вдохнул бы меня. Что б я мог сделать? Расстроить тебе желудок. А я человек. Понимаешь, настоящий человецище с головой и вообще другими частями тела. Ломаю землю, летаю вверх, ныряю вниз, да еще живу в нашей расчудесной стране, в которой одиннадцать тысяч километров вширь и двадцать два километра ввысь.

ОЛЕГ. Ну и что же?

ПЕТЯ. А тебе мало? Ведь и ты бы мог родиться клопом, и мы сожгли бы тебя в очередной клопный субботник.

ОЛЕГ. Почему клопом?

ПЕТЯ. А что? О, прости, даже предположение о том, кем бы ты мог родиться, должно быть красиво. Ну, ты родился бы орхидеей. Согласись, что человеком все-таки получше.

ОЛЕГ. Не знаю, я не уверен в этом.

ПЕТЯ. Да? Тяжелый случай. От таких мыслей или разводиться, если женат, или вот тоже влюбиться.

ОЛЕГ. Почему — тоже?

ПЕТЯ. Да тут Гошка влип в один цветной металл.

ОЛЕГ. Это что, ваша новая химичка?

ПЕТЯ. Да, чорт ее дернул родиться.

ОЛЕГ. Полюбить. У нас все это так опростили и опошили.

ПЕТЯ. Сочувствую. Прошла пора рыцарской любви. Где вы, где вы, турниры, турниры, рапиры, пиры, аксельбанты, банты, палаты, латы? Есть от чего загрустить — ни тебе замка, из которого можно спереть красавицу, ни даже замка, которым можно ее запереть. Негде разгуляться такому изможденному и бледному романтику, как ты.

ОЛЕГ. Если бы я полюбил, я бы поднялся над действительностью, потому что любовь окрыляет. Каждый мой нерв трепетал бы, и родилось бы громадное творческое напряжение. Я б создавал замечательные вещи. Что это за девушка?

ПЕТЯ. А что?

ОЛЕГ. Так, вообще.

ПЕТЯ. Да будь она неладна. Но Гошка ей страшно понравился. Ласковый, говорит, очень парень. А вместе с тем видно, говорит, что в сердце у него пожар. Много вообще говорила хорошего.

ОЛЕГ. О Гоше?

ПЕТЯ. Ну да.

ОЛЕГ. Ну и что же он делает?

ПЕТЯ. Кто?

ОЛЕГ. Гоша.

ПЕТЯ. Это я сам хотел бы знать. Может, стихи пишет, а может, пошел мебель присмотреть. Впрочем, я пойду сам взгляну, что с ним происходит. *(Вышел.)*

ОЛЕГ *(прохаживается)*. Кажется, опять печень болит. Чем однако он ей понравился?

НАТАША *(входит)*. Скажите, пожалуйста, где мне найти бригадира Гошу?

ОЛЕГ. Не знаю. Зачем он вам?

НАТАША. Да я буду работать с вами. Вы ведь из бригады?

ОЛЕГ. Да... Собственно, нет. Я был в бригаде до сегодняшнего дня.

НАТАША. А теперь?

ОЛЕГ. Теперь я буду работать самостоятельно.

НАТАША. Почему, разве бригада плохая?

ОЛЕГ. Как вам сказать? Это не так просто. Они конечно полезные работники, хотя звезд с неба не хватают. Мне однако несколько тесно с ними.

НАТАША. Вам тесно?

ОЛЕГ. Да. Может быть, и не они в этом виноваты.

НАТАША. Кто же, вы сами?

ОЛЕГ. Нет. Система. Идея системы, если хотите.

НАТАША. Бригадный метод?

ОЛЕГ. Это только частность. Коллективизм.

НАТАША. Ах, вот как!

ОЛЕГ. Да. Я не верю, будто какие бы то ни было проблемы можно решать при помощи сложения. Два и два будет четыре, это верно. Но музыкант плюс сапожник — две разных индивидуальности. Знаете ли вы, что во всем мире нет двух равных отпечатков больших пальцев, что же сказать о человеческой психике?

НАТАША. Но коллективизм, потребность работать вместе, может быть в психике человека.

ОЛЕГ. Тогда это стадная психология. Мне она чужда.

НАТАША. Вы очень уверены в своих силах?

ОЛЕГ. Сейчас я буду работать параллельно с бригадой над бериллиевым сплавом. Один. Хотите работать со мной? Вы увидите, что мы будем сильнее их.

НАТАША. Вот как. Но двое — это уже маленькая бригада.

ОЛЕГ. Нет, нет, это совсем другое. Согласитесь. Ну что вам делать в этой бригаде? Вы будете среди них инородным элементом. У вас очень нежное лицо и брови взлет, у вас глаза голубые и вместе с тем горячие. Разве они могут понять? Они, поверьте, узкие и ограниченные люди. Круг их интересов замкнут сроками, планами, соревнованиями. Массу времени они тратят на всяческие, никому ненужные собрания. У них какие-то накрутки. Не ходите к ним. Я договорюсь с дирекцией, меня ведь очень ценят, мне позволят взять вас помощницей. Ну, соглашайтесь!

НАТАША. Что это вы в перчатках?

ОЛЕГ. В перчатках? Да, знаете, пыль, бактерии всякие. Это гигиеничнее—в перчатках, меньше шансов заболеть. Что же вы мне ответите?

НАТАША. Вы как-то все сразу—и брови, и нагрузки. Торопитесь. Но мне нужно найти этого таинственного бригадира. Пока! (Уходит. Олег смотрит ей вслед.)

ОЛЕГ. Что же это? Да или нет? И как это понять—«торопитесь»? Значит—подождите, значит—надейтесь. Да, да, конечно. Олег, Олег, вот и приходит твоя пора. Но как я разволновался, просто озноб. До чего расшатана нервная система.

ПЕТЯ (входя). Не приходила сюда эта химичка?

ОЛЕГ. Она будет работать вместе со мной и участвовать в соревновании против вас. (Уходит.)

ПЕТЯ (садится на стул). Мама дорогая, честное пионерское!

Ирина, Костя, Двали входят.

КОСТЯ. Ты знаешь, я пришел к выводу, что Гоша влюбился.

ПЕТЯ. Да ну! Вот новость! Нет, позвольте, это ж свинство. Гошка наш выбит из колеи, а вещий Олег превратился в кудесника, запонтовал к себе эту неорганическую химичку и, как он сам рассказывал, начнет теперь трептаться нервами, то-есть обгонит нас по всем показателям. Нет, это уж перелет. Пятьсот два процента перевыполнения.

ДВАЛИ. Да, теперь, когда будет известно, что эта химичка контактуется с Олегом и как работник, и как вообще, Гоша получит не очень много удовольствия. Все стало еще хуже.

КОСТЯ. Я предупреждал вас, ребята.

ПЕТЯ. Так я пойду и разрублю этот гордеев узел. Я пойду и взгляну опасности прямо в глаза.

ИРИНА. Ты хочешь говорить с ней? Что же ты ей скажешь?

ПЕТЯ. Я потребую от нее—или пусть она немедленно влюбляется в Гошку и сама объяснится ему в любви, или пусть ищет другую команду.

КОСТЯ. Какую команду?

ПЕТЯ. Пожарную.

ИРИНА. Что ты привязался со своими пожарными? Ну, согласишься, что сейчас не до шуток.

ПЕТЯ. Никаких шуток, я ей выложу все начистоту, все обстоятельства.

ДВАЛИ. Мне кажется, лучше я поговорю. Я внушительнее, чем ты.

ПЕТЯ. Ты длиннее, но это за счет развития головы.

ДВАЛИ. Хотел бы я посмотреть, чтоб ты имел такую голову, как я.

ПЕТЯ. Я играл бы ею в итальянскую лапту.

ДВАЛИ. Разговаривать с тобой считаю лишним.

ПЕТЯ. Правильно делаешь, такой разговор всегда плохо кончается для тебя. Ну, иду, ребята. Надо ковать железо, пока оно еще не село в свои сани, как сказал бы Ян Двали.

ДВАЛИ. Я не сказал бы подобную глупость.

ПЕТЯ. Так ты сказал бы другую. Господи, не дворцов я прошу у тебя, не имения с парком и конюшнями, мне не нужен миллион фунтов стерлингов. Помоги мне уладить это маленькое дело. (Уходит.)

ДВАЛИ. Пренебрежительное положение. Вообще, мне кажется, если посмотреть научно, любительство—это микроб.

КОСТЯ. Какое любительство?

ДВАЛИ. А вот, что у Гоши.

КОСТЯ. Любовь?

ДВАЛИ. Ну да. Человек ходит вполне обоснованный, и вдруг что-то проникает. Он кружится головой, расширяет зрачки и начинает много странностей, как-то: залиски, цветы, гуляние при сырости под луной, потеря веса. В обыкновенной разновидности человек вдруг открывает всякие экспортные великолепности: а) на глазах море, б) на щеках розы, в) на зубах всякие минералы. Ветеринар вдруг начинает становиться поэтом, а химик—меланхоликом. Это нельзя допускать. По-моему, можно найти место, где заводится этот микроб, и уничтожить его.

КОСТЯ. Что уничтожить?

ДВАЛИ. Микроб, я же говорю.

Петя входит. У него смущенный вид и блуждающие глаза.

КОСТЯ. Ну, что?

ИРИНА. Ну, говори же.

ПЕТЯ. Ребята! Она действительно блондинка, но не в этом дело.

ДВАЛИ. Что ты добился?

КОСТЯ. В чем же дело?

ПЕТЯ. Дело в том, что она назвала меня дураком и надеется, что я составлю исклучение в бригаде.

ДВАЛИ. В этом она права. Дальше.

ПЕТЯ. Ребята, я ничего не могу сказать, сами увидите. Она сейчас придет сюда, она в дирекции.

КОСТЯ. В общем, ты не добился ничего. Ну вот, я предупреждал.

ПЕТЯ. Не в этом дело, ребята.

ИРИНА. Больше того, мне сдается, что и сам ты находишься в состоянии, не лучшем, чем Гоша.

ПЕТЯ. Не в этом дело. Я пойду умоюсь, ребята. *(Уходит.)*

КОСТЯ. Итак, они оба. Что же это будет, Двали?

ДВАЛИ. Дело окрашивается в трагический колорит. Для нас эта новая химичка приобретает характер классовой врагини.

ИРИНА. Враг не имеет женского рода.

ДВАЛИ. Извини, на известном этапе — это главный враг, женский род.

ИРИНА. Я не о том говорю.

ДВАЛИ. Если не о том, не делай мне замечание. С ней поговорю я. Вы уходите. Пусть она придет, я объясню ей все и скажу про сплав. Она комсомолка, и она меня учтет. Я подавлю на нее своим авторитетом. Идите.

ИРИНА. Лучше всего было бы поговорить мне.

ДВАЛИ. Нет. Вы сговоритесь за нашей спиной. Идите. *(Костя, Ирина уходят. Двали ждет, приоткрываваясь. Через минуту входит уборщица Тоня.)* Здравствуйте.

ТОНЯ. Здравствуйте.

ДВАЛИ. Что ж, хотите работать у нас?

ТОНЯ. Да. Уже договорилась.

ДВАЛИ. Вы будете нам заменять одного человека, он ушел от нас.

ТОНЯ. Да. Я знаю.

ДВАЛИ. Много работали в этой области?

ТОНЯ. Как родилась, так все в этой области.

ДВАЛИ. А-а, у вас, верно, и родители той же специальности?

ТОНЯ. Нет, только мать той же специальности, а отец по пожарному делу.

ДВАЛИ. Ага. *(В сторону.)* Вот отчего он все говорил о пожарных. Где работали?

ТОНЯ. Я еще научной сотрудницей не работала, а все больше по учреждениям.

ДВАЛИ. Гм... Знаете ли, я хочу иметь с вами кратенький разговор. Я хочу говорить с вами как представитель всей бригады.

ТОНЯ. Пожалуйста.

ДВАЛИ. Вы сами должны понимать, что в бригаде должен быть, я бы сказал, порядок.

ТОНЯ. Да, за этим надо следить.

ДВАЛИ. Каждый должен, так сказать, быть на своем месте.

ТОНЯ. А как же, обязательно на месте.

ДВАЛИ. Вы понимаете, обидно, если в такой дружной бригаде, какая есть наша, что-либо будет разбито.

ТОНЯ. Правильно. Надо смотреть, осторожно обращаться. Это от человека зависит.

ДВАЛИ. Совершенно верно. Это зависит от вас.

ТОНЯ. Ну конечно, от меня. Я свое положение знаю.

ДВАЛИ. Как, вы уже знаете?

ТОНЯ. Ну да, а как же. Со мной уже говорили.

ДВАЛИ. Я знаю, что говорили, но я не был уверен, что вам все передали.

ТОНЯ. Как же, все передали.

ДВАЛИ. Ну, и как же вы, я бы сказал, согласны?

ТОНЯ. А как же, идешь на работу, значит, на условия надо соглашаться.

ДВАЛИ. Вы знаете, мне это очень приятно слышать. Значит, вы все уладите сами?

ТОНЯ. Ну конечно, сама. Не беспокойтесь, я управлюсь. Все будет в порядке.

ДВАЛИ. Позвольте пожимать вам руку. (*Жмет ей руку.*)

ТОНЯ. До свидания.

ДВАЛИ. Нет, не в смысле до свидания, а в смысле очень вам благодарен. Но я еще должен вас предупредить насчет Петьки. Вы знаете, мне кажется, что он сам...

ТОНЯ. И насчет Петьки я знаю. Вы не беспокойтесь, я его так отошью, что он забудет об этом.

ДВАЛИ. Вот как. Ну, это великолепно. Значит, можно считать, мы договорились?

ТОНЯ. На все сто. Мне еще только инвентарь принять.

ДВАЛИ. Ну, это придет.

ТОНЯ. Придет, а пока нет. Схожу сама в контору, чтоб поскорей. Покамест. (*Уходит.*)

ДВАЛИ. Откровенно говоря, я начинаю понимать Гошу и Петьку. Глаза у нее голубые... как море, и на щеках такой румянец, как... гм... да. В общем весьма симпатичная. Очень и очень. Исключительно прикладистая и уговорливая. Значит, она объяснится с Гошей. Если сказать по-честному, обидно, почему не со мной. Ну, раз уж такое положение, пускай будет Гоша. Однако кажется, что и я влез ей в душу.

ПЕТЯ (*входит*). У кого нашлась душа таких размеров?

ДВАЛИ. Молчи. Тебя отошью так, что забудешь об этом. Можешь итти, ты уже свободен.

ПЕТЯ. Что это значит?

Входят Ирина и Костя.

КОСТЯ. Ну что?

ДВАЛИ. Конечно, если идет товарищ, прекрасно выступающий, но мало успевающий, и если для такого товарища голубые глаза дороже, чем металл, — такой товарищ не придет с чем. А честный представитель бригады имеет успех. Да, я уговорил ее. Это не было легко, но я так сказал, что она убедилась. Я был решительный, и хоть она очень неукладистая и неуговорчивая, я добился от нее все, что хотел.

ПЕТЯ. Врешь. Как ты мог это сделать?

ДВАЛИ. Как? Мне помогла моя голова, обрати свое внимание, моя итальянская лапта.

ИРИНА. Ну, расскажи подробнее.

ДВАЛИ. Представляйте себе. Вот я стою. Вот открывается дверь, и она входит.

Открывается дверь, и входит Наташа. Немая сцена.

Занавес.

ВТОРОЙ АКТ

Солнечное утро. Двор. На заднем плане двухэтажная дача. Она недавно покрашена, с правой стороны ее — веранда. Окошечко чердака, под самой крышей, закрыто занавеской. Петя выходит в трусах, с полотенцем через плечо. В руке у него рожок. Он потягивается, ежится под солнечными лучами, потом громко трубит. Почти сейчас же высовывается голова Двали.

ДВАЛИ. Алло! Что надо делать?

ПЕТЯ. Привинтить ноги, голову и итти купаться.

ДВАЛИ. Который час?

ПЕТЯ. Утренний. (*Трубит.*)

ГОША (*высовывается из другого окна*). Что это такое?

ПЕТЯ. Пожарный сигнал.

ГОША. Дубина!

ПЕТЯ. Есть дубина, товарищ бригадир! Вылезай купаться.

ГОША. Нет, я здесь умоюсь. Надо работать.

ПЕТЯ. Бригадир, молчи. Мы же условились сегодня не говорить о сплаве.

ГОША. Я не уславливался.

ОЛЕГ (*высовывает голову из чердачного окошка*). Ну, что это за свинство? Почему вы шумите в семь часов?

ПЕТЯ. Правила внутреннего распорядка. Побудка в семь.

ОЛЕГ. Но я всю ночь не спал.

ПЕТЯ. Это тебе снилось, что ты не спал.

ОЛЕГ. Тут страшная духота на чердаке.

ПЕТЯ. Снизойди до нас, то-есть спустись с чердака и спи с нами.

ОЛЕГ. Я не могу спать с кем-нибудь.

ПЕТЯ. Ну, тогда... (*Замечает входящих Наташу и Тоню.*) Нет, ничего не могу придумать. Здравствуй, Наташа.

НАТАША. Такой чудесный день, Петька. Купаться идешь?

ПЕТЯ. Безусловно да. Олег, ты идешь?

ОЛЕГ. Мне нельзя купаться. Наташа, вы не простудитесь? Здравствуйте.

НАТАША. Я простужусь? Здравствуйте.

КОСТЯ (*кричит за сценой*). А-а... (*Выскакивает, приплясывая и выделявая престранные движения.*) А-а...

ПЕТЯ. Эге, Костька придумал новый танец. Постой, постой, как это? (*Прыгает против Кости.*)

КОСТЯ. Убирайся. Ай, ой!.. (*Вертится, засунув руку сзади за трусы.*)

ТОНЯ. Да что с вами? Может быть, помочь?

КОСТЯ. Нет, нет. Ой!.. Двали... Там... Ой!..

ПЕТЯ. Двали? Там? Не думаю.

КОСТЯ. Двали засунул туда черного таракана.

ДВАЛИ (*входя*). Сколько раз я говорил для тебя — не бойся насекомых, они друзья народа.

ТОНЯ. Так вытащите.

КОСТЯ. Ой, не могу достать.

ПЕТЯ. Сними трусы... Стой! Стой, погоди, не здесь. Иди сюда... (*Уводит его за веранду.*)

ДВАЛИ. Здравствуйте, Тоня. (*Подходит к ней.*) Заниматься будем сегодня?

ТОНЯ. Обязательно, после обеда. Я вчера, что вы мне задали, все прочла. И по химии, и по арифметике задачи решила.

ДВАЛИ. Ага, значит, дело у нас подвигается.

Они отходят.

НАТАША. Гоша! Гоша!

ГОША (*высовывается, весь в мыле*). Что?

НАТАША. Да что ж ты в мыле?

ГОША. Ну, что?

НАТАША. Пойдем купаться.

ГОША. Нет, не пойду.

НАТАША. Ну, я прошу тебя.

ГОША. Нет, не пойду. (*Скрывается.*)

НАТАША. Упрямя, как бык.

ИРИНА (*высовываясь*). Ребята, скорей. Я уже все поставила. Если будете волынить — остынет.

ПЕТЯ (*входит вместе с Костей*). Марш, марш. Догнавший меня заносится на красную доску. Алле-гоп! (*Убегает, все за ним. За сценой звучит его труба.*)

ОЛЕГ (*входит, рассеянно бродит по двору*). Как нелепо все складывается! Бывает же такая неудачливая судьба у человека. От болезни прячешься, девушку ищешь. Болезнь найдешь, девушку потеряешь. Все как-то наоборот получается. Как посмотришь назад, что мог сделать и не успел, — руки опускаются и дальше ничего делать не хочется. (*Ирина выходит на балкон с посудой, смотрит на Олега. Олег срывает цветок.*) Любит — не любит, любит — не любит, любит — не любит. Фу, как глупо. (*Бросает цветок.*)

ИРИНА. Ну что, любит?

ОЛЕГ (*резко и испуганно оборачивается*). Ах, это ты, Ира? Да ведь я шутил.

ИРИНА. Ты б почаще шутил, а то все ходишь темный какой-то. Как покойник.

ОЛЕГ. Покойники не ходят.

ИРИНА. А если б ходили, то, наверное, как ты. Ты знаешь, смотрю я на тебя, и ужасно тебя жалко.

ОЛЕГ. Меня? Жалко? Оставь, пожалуйста. Я не нуждаюсь в жалости. Поставь посуду.

ИРИНА. А ты помоги мне.

ОЛЕГ (*колеблясь*). Ну, пожалуй... (*Подходит к Ирине и во время дальнейшего разговора расставляет с ней посуду.*)

ИРИНА. Попробуй ты просто жить. Хочешь есть, вот — возьми тарелку и ешь. Хочешь пить, вот стакан — пей. Ты все рассуждаешь о своих чувствах, вместо того, чтобы чувствовать. Смотри, вот ребята, они бодрые ребята. Инженеры по квалификации, комсомольцы по духу. Радостно живут, видишь — купаться пошли. А ты все в перчатках ходишь. Ты и сам будто в перчатке живешь. Ты бы спортом занялся.

ОЛЕГ. Мне нельзя.

ИРИНА. Почему?

ОЛЕГ. Я болен.

ИРИНА. Да ничем ты не болен. Ну, посмотри на себя. Просто ты сам сочинил свои болезни.

ОЛЕГ. То-есть, как сочинил? Я не болен? А сердце? Да у меня каждую ночь тут так подпирает, что я должен себе... У меня же колит.

ИРИНА. И жеколита у тебя нет. Ничего нет.

ОЛЕГ. Да это просто свинство с твоей стороны. Как тебе не стыдно? Нарочно раздражаешь меня. Вот видишь, руки дрожат.

ИРИНА. Ну, не сердись. Я ведь хочу, чтоб ты был здоровым.

ОЛЕГ. Упрощаешь, Ирина. Если б все дело было в здоровье, жить было бы очень просто и глупо. Жеребята тоже резвятся и тоже веселы. Я болею, но, честное слово, я даже рад этому. Больной человек мыслит тоньше и чувствует острее. Все великие люди были больны.

ИРИНА. А если б они были здоровы, они были бы менее велики?

ОЛЕГ. Прimitивная философия у тебя.

ИРИНА. Плохо тебе жить — неудобно, холодно.

ОЛЕГ. Остыло все, Ирина, остыло все.

ПЕТЯ (*появляясь с компанией*). То-есть как остыло? Каких-нибудь десять минут, и все остыло?

ИРИНА. Да нет, он шутил. У него просто хорошее настроение, и он шутил. Мы с ним стол накрыли.

ПЕТЯ. Вот за это спасибо. Садись!

Рассаживаются.

ДВАЛИ. Налей чаю, Петя.

ПЕТЯ. Охотно. Тебе с молоком или без молока?

ДВАЛИ. Без молока.

ПЕТЯ. Без кипяченого или без топленого?

ДВАЛИ. Без топленого.

ПЕТЯ. С кипяченым, стало быть?

ДВАЛИ. Погоди, как это? Мне просто без.

ПЕТЯ. Только без?

ДВАЛИ. Ну да, только без.

ПЕТЯ. На. (*Подает ему пустой стакан.*)

ИРИНА. На тебе чаю, Двали. Все ты балуешься, Петька. А где же Гоша? Гоша! Гоша! Я схожу за ним.

НАТАША. Ужасно хорошо. Какая вода холоднющая. (*Пете.*) Ну что — догнал?

ПЕТЯ. Ну, да... когда ты ныряешь.

КОСТЯ. И ты бы нырнул. Нет, Петька, побиты твои рекорды.

ПЕТЯ. Молчу. Дай-ка мне эту чертовщину.

КОСТЯ. Это сырники.

ПЕТЯ. Спасибо, я думал — арбуз.

НАТАША. Все-таки ты здорово плаваешь, но я родилась у речки.

ПЕТЯ. Ты меня не утешай, не хвали. Еще померяемся.

ДВАЛИ. И Тоня замечательно плавает.

ПЕТЯ. Это факт.

КОСТЯ. А я?

ПЕТЯ. Ты — тоже факт.

КОСТЯ. Я спрашиваю: плаваю как? ПЕТЯ. Плаваешь? Как Большой театр.

ИРИНА (*входит*). Гошка не идет, сел опять за работу. Есть ему не хочется, он говорит.

НАТАША. Я отнесу ему. Положи-ка, Ирина.

ОЛЕГ. Вы понесете ему еду, хоть он отказывается итти?

НАТАША. Да. А что?

ОЛЕГ. Ничего. (*Встает и уходит в сторону реки.*)

Наташа берет стакан с молоком и еду, поднимается вверх на дачу.

ПЕТЯ. Ребята, я хочу поговорить о Гошке. Ведь дело плохо.

ИРИНА. Хорошо, что мы хоть сегодня вытащили его сюда.

ПЕТЯ. А что толку? Все равно сидит, как памятник, не отрывается от книги. И ночью сидел.

КОСТЯ. Он слишком близко принимает к сердцу, что сплав пока не ладится.

ПЕТЯ. Мы все близко принимаем к сердцу, но Гошка не такой парень, чтоб после восемнадцати дней работы выйти из нормы.

ДВАЛИ. В чем же дело? Наташа, как заметно, не при чем — он от нее пятится.

ИРИНА. Вот потому и пятится, что при чем.

ПЕТЯ. Мы думали, он работать из-за нее не будет, а его канатом не оттащишь. Наоборот подействовало: занимается, как проклятый. Но от этого не легче. Я вам говорю, ребята, через несколько дней он свалится.

ДВАЛИ. Где же гвоздь ответа?

ПЕТЯ. Вот он идет.

НАТАША (входя). Я поставила перед ним еду.

ПЕТЯ. Ему мало.

НАТАША. Да он и этого, сказал: «не хочу».

ПЕТЯ. Другая ему пища нужна, другая. Ты это крепко пойми.

НАТАША. Мы ведь побеседовали с тобой на эти темы в день моего прихода. Ты помнишь, что я тебе сказала?

ПЕТЯ. Нет, нет, забыл.

ДВАЛИ. Ничего, мы помним, что ты ему сказала.

НАТАША. Вы, кажется, условились в волейбол играть после завтрака и Гошку вытащить.

КОСТЯ. Верно. Я принесу мяч. (Идет на дачу.)

Входит Олег.

ДВАЛИ. Олег, волейбол.

ОЛЕГ. Мне нельзя играть в волейбол.

ИРИНА. Ну, почему это?

ОЛЕГ. Сердце.

НАТАША. Да перестаньте вы, становитесь.

ОЛЕГ. Вы просите меня об этом?

НАТАША. Вы же слышали...

ОЛЕГ. Хорошо, я играю.

ПЕТЯ. Вот и капитана нашли. Эй, соседи! Волейбол! Волейбол! Костя, мяч! (Через забор из соседней дачи перелезают двое ребят и одна девушка.) Как спали?

ДЕВУШКА. Лежа.

ПЕТЯ. А сколько спали?

ДЕВУШКА. Сколько легло, столько и спали.

ПЕТЯ. Сон, я спрашиваю, какой был?

ДЕВУШКА. Пароход снился.

ДВАЛИ. Что, Петя, нашла коза на камень?

ПЕТЯ. Спасибо. Становись! Костя, мяч!

НАТАША. Гоша! Гоша! (Гоша высывается.) Иди в волейбол играть.

ПЕТЯ. Гошка, ты же любишь.

ГОША. Нет, ребята. Тут я с немецкого перевожу, опыт Кроля... Я не могу.

ПЕТЯ. Гошка, три пятитдневки мы работали по тринадцать часов, а ты сидел и ночи. Два выходных мы провели в лаборатории. Обязаны мы отдохнуть или нет?

ГОША. Вы отдыхайте, ребята. Он, понимаете, плавил с солью. Я потом приду.

ПЕТЯ. Гоша, дорогой бригадир! Смори, я стал на колени, как сукин сын, как Ромео перед Джульеттой. Не расстраивай свою команду, и в полном, и в переносном смысле слова, — иди играть в волейбол.

ГОША. Вы поиграйте, а я потом выйду. (Скрывается.)

ПЕТЯ. Как же так, ребята? Нельзя же ведь так.

ИРИНА. Эх, Гошка, Гошка!

НАТАША. Давайте играть. Кто с кем? Да где же мяч?

ПЕТЯ. Где? Костя за ним пошел. Костя! (Костя вбегает с мячом.) Слава богу. Мы с тобой, Наташка, Костя к нам. Остроумненькая, иди туда, и ты, парень. А ты, Двали, собирай себе. Олега возьми.

ДВАЛИ. Приготовьтесь на проиграние. Становись!

ПЕТЯ. Я желаю вам добра, ребята, и по-товарищески говорю — сдавайтесь. Это можно до начала игры.

ДВАЛИ. В библии сказано: «Не пожелай жены своей ближнему своему».

ИРИНА. Там не сказано так, Двали.

ДВАЛИ. Там сказано.

КОСТЯ. Становитесь, становитесь. Не беспокойся, Двали, оторвем!

ДВАЛИ. Что значит — оторвем? У меня нет ничего лишнего.

ИРИНА. А кто судья?

ПЕТЯ. Я могу и посудить заодно.

ИРИНА. Ни в каком случае, знаем мы этих судей.

ПЕТЯ. Тогда некому. Погоди, вон идет кто-то. *(Кричит.)* Эй, гражданин, не посудите волейбол?

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН *(за сценой)*. Па-жа-луй-ста. *(Входит. Он в трусах, белой рубашке с воротничком и галстуком, на голове повязано з виде чалмы полотенце.)* Па-жа-луй-ста. Кто против кого играет? Впрочем, это станет ясно по ходу действия.

ПЕТЯ. Свистка нет, но вот, если хотите, рожок.

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Рожок.. Очень хочу рожок... Именно рожок... товарищи.

ПЕТЯ *(даст рожок)*. Вот. Можно начинать?

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Па-жа-луй-ста. Сделайте одолжение. Прошу вас. А где же ваши ракеты?

НАТАША. Ракеты? Да мы в волейбол играем, вы знаете эту игру? Вы можете судить?

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Я? Знаю ли игру? Я за эту игру имею жетон. Могу сходить за жетоном. *(Поднимается.)*

ДВАЛИ. Мы вам верим. Давайте сигнал.

ПЕТЯ. Не спорить с судьей. Начали.

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Па-жа-луй-ста. *(Трубит.)*

ПЕТЯ. Начали. *(Подает мяч, идет игра.)*

ДВАЛИ. Так. Олег! Да что ты спишь?

ОЛЕГ. Нет, я задумался.

ПЕТЯ. Задумываться иди в другое место, а здесь играй. Даю.

ДВАЛИ. Третий, давай, не бей прямо.

ПЕТЯ. Так. Есть. Даю. Костя! *(Костя бьет четвертый мяч.)* Корыто!

КОСТЯ. Я ж отбил.

ПЕТЯ. Что ты отбил? Ты третий опоздал ударить, так четвертый бьешь. Четвертый не играет. Усвой.

ДВАЛИ. Тоня!

Тоня дает ему мяч, и он гасит его.

ПЕТЯ. Чорт длинный.

ДВАЛИ *(судье)*. Счет.

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Да, счет. Правильно.

ИРИНА. Какой счет?

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Латинский.

ПЕТЯ. Что латинский?

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Алфавит.

ПЕТЯ. Да вы что, гражданин, разыгрываете нас, что ли?

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Не спорить с судьей. *(Трубит.)* Я жетон имею. Начали.

ДВАЛИ. Странно. Подавай! *(Олег подает. Мяч не долетает до сетки.)* Крепче стой на земле. Пободрей! Переход!

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Правильно!

НАТАША. Даю!

Двали гасит, но Наташа падает и спасает мяч.

ПЕТЯ. Что, Исаакиевский собор, взял?

ТОНЯ. Аут.

КОСТЯ. Не было. Пять метров до аута. Судья!

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Правильно!

КОСТЯ. Что правильно, аут или нет?

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Вот это как-раз спорно.

ПЕТЯ. Спорный. Судья говорит — спорный. Подача. Налеву мяч.

Играют.

НАТАША. Третий!

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН *(трубит)*. Направо мяч.

ПЕТЯ. То-есть, как направо? Почему?

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Не спорить с судьей. *(Трубит.)*

ИРИНА. Передайте мяч, подчиняйтесь судьей.

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Подчиняйтесь судьей. Переход.

ДВАЛИ. Какой переход?

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Вы переходите на ту сторону, а они на эту. Ну, не спорить с судьей. Подчиняйтесь. *(Трубит.)*

ПЕТЯ. Ребята, да он пьян, как поп. Дядя, отдай рожок и иди купаться.

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Подчиняйтесь. Переход. Жетон имею.

ПЕТЯ (берет его под руку и выводит). Иди, иди, дядя жетон. Переход. Скажи спасибо девушкам, а то б я прочел тебе латинский алфавит. Подчиняйся.

ПОСТОРОННИЙ ГРАЖДАНИН. Па-жа-луй-ста. Вы думаете, я не могу уйти? (Кричит.) Переход! (Уходит.)

КОСТЯ. Всегда ты выдумашь что-нибудь немыслимое. Ну, на какой ляд ты приташил этого журавля?

ПЕТЯ. А что? По-моему, неплохой судья. Жетон имеет.

НАТАША. Я сужу. Начали.

Играют. Двали гасит мяч.

ДВАЛИ. Восемь — три.

ПЕТЯ. Первый раз вижу каланчу, которая сама гасит. Под сеткой мяч.

ДВАЛИ. Девять — три.

Играют.

ПЕТЯ (падает и спасает мяч, но Костя поздно ударяет, и мяч попадает в сетку). Каналья! Какой мяч! За такие вещи надо гнать из комсомола.

ТОНЯ. Ой!

КОСТЯ. Налево мяч.

Бросок.

ПЕТЯ (подает). Внимание, мировая подача. Держи, Олег! (Олег смотрит в это время на Наташу, выпускает.) Десять — четыре. Держи, Олег! (Олег после удара трогает сердце и поэтому опять выпускает.) Из тебя такой же вольбойлист, Олег, как из меня повар.

ТОНЯ. Да что вы, ей-богу, такой неспособный?

ОЛЕГ. Ну, знаете ли, я брошу играть.

НАТАША. Перестаньте, Олег. Кто же виноват, что вы мажете? Да снимите вы ваши перчатки.

ОЛЕГ. Что вы, мяч ведь на землю падает.

НАТАША. А, пустяки все это. Тоня права, вы просто неспособный, Олег.

ОЛЕГ. Я неспособный? Хорошо!

ПЕТЯ. Держи, Олег! (Олег яростно отбивает мяч.) Держи, Олег! (Он бьет на другой конец площадки, но Олег, расталкивая всех, летит туда и принимает мяч.)

ДВАЛИ. Bravo, Олег! Смотрите, он летает, как лев.

ТОНЯ. Только не толкайтесь, вы не легионский.

ПЕТЯ. Держи, Олег!

Олег снова принимает невозможный мяч, и мажет уже сам Петя.

ДВАЛИ. Дотрепался.

НАТАША. Подача.

Играют. Двали подряд гасит несколько мячей.

КОСТЯ. Не везет.

ДВАЛИ (гасит). Сетбол, или, как говорят, вылетабол. Олег, подавай.

ОЛЕГ (стоит с испуганным лицом, считает пульс). Я не могу...

ПЕТЯ. А что?

ОЛЕГ. Я бегал, мне ведь нельзя, я совсем забыл.

НАТАША. Смелей, Олег!

ИРИНА. Ты кулаком ударь.

ОЛЕГ (берет мяч. Смотрит на него). Нет, не могу.

ИРИНА. Дайге, я за него. (Бьет.)

ПЕТЯ. Молодец! Костя!

ДВАЛИ. Тоня!

НАТАША. От сетки.

ДЕВУШКА. Там.

ПЕТЯ. Получите.

ДВАЛИ (гасит сильным ударом. Петя падает, но не отбивает мяч. Лежит). Вот, не пожелай ближнему своему жены своей — я тебе говорил.

ПЕТЯ. Молчи ты, хеопсова пирамида, не все высокое есть возвышенное. Любой телеграфный столб будет играть лучше тебя. Техником ты нас побил? Извини, физиологией. Пользуешься тем, что тебя нельзя догнать и перегнать.

ДВАЛИ. Как или так, а я тебя побил.

ПЕТЯ. Побил? Меня? Ты? Становись, сыграем в шмеля.

ДВАЛИ. Как это?

ПЕТЯ. Становись, Олег.

ОЛЕГ. Я? Мне не...

НАТАША. Бойтесь?

ОЛЕГ. Я — боюсь? Вот встал.

ПЕТЯ. Видите, надеваю картуз.

ДВАЛИ. Да, надеваешь картуз.

ПЕТЯ. Клади руку так. Вот, я — шмель. Понимаешь, шмель. Зу-зу-зу-зу. Я буду бить вот так, а вы должны сбросить картуз. Но в одно время, понял?

ДВАЛИ. Пожалуйста.

ПЕТЯ. Начинаем. Представь себе поле. Тут тебе солнышко, травка, василечки, и вдруг: зу-зу-зу-зу. Трах! *(Бьет по руке Двали. Двали и Олег хотят сбить картуз, но не успевают, потому что Петя чрезвычайно ловко увертывается.)* Шмель с травки полетел на затравку. Трах! *(То же.)* Трах! *(Бьет Олега.)* Тут и бабочки, и птички, а он все: зу-зу-зу-зу. Трах! *(Бьет Двали.)* Трах! *(Бьет Двали.)* Трах! *(Бьет Двали.)* Не скучай, Олег! *(Бьет Олега.)* Зу-зу-зу. *(Бьет Двали.)*

Все хохочут.

ДВАЛИ. Вот, пес собачий.

ПЕТЯ. Ужасно длинный, Двали. Зу-зу-зу. Тоня, вы с ним химией занимаетесь, ничего, рост не мешает. Трах! *(Бьет Двали.)* А в кино будет звать — не ходите. Имейте в виду, сядет в кресло, а все думают — он стоит, и кричат: «Сядьте». *(Бьет Двали.)* А когда он встает, администратор бежит, думает — он на кресло стал. *(Бьет Двали.)* Зу-зу-зу. *(Бьет Двали.)* А вот картуз обить не может. Почему? Росту не хватает. *(Бьет Двали.)*

ДВАЛИ. Невозможно.

НАТАША. Дай-ка я стану, Петя.

ПЕТЯ. Ой, жалко бить.

НАТАША. А ты не бойся.

ИРИНА. Не надо, Наташка, исколотит.

НАТАША. Ладно. *(Становится вместо Двали.)*

ПЕТЯ. Ах, Наташка! Ну, что за девочка, и в химии нам класс показала, и плавает хорошо. *(Бьет Наташу. Наташа не пытается ударить Петю, а зорко следит за его движениями.)* А шмель-го летает. *(Бьет Олега.)* Зу-зу-зу. *(Бьет Наташу.)*

ОЛЕГ. Довольно Наташу. Перестань. Он ведь на самом деле бьет.

НАТАША. Слушайте вы, адвокат, вы не вмешивайтесь.

ПЕТЯ. А что? Тебя бить? Жди очередь. Сейчас по розовому талону отпускают. *(Бьет Наташу.)* Да ты не стой, так стоять будешь — я тебе руку отбью. Маленькая у тебя ручка, Наташка. *(Бьет Наташу. Наташа одновременно сбивает с него картуз. Все хохочут и аплодируют.)* Честное слово, за три года — ты первая. Можно, поцелую?

НАТАША. В щечу.

ПЕТЯ *(целует Наташу)*. Золото!

КОСЯ. Как ты его?

НАТАША. Так это очень просто. Вы все время пытаетесь сбить его по движению, а надо напротив. Вы так бьете, а надо так. Потом ведь я летчица.

ОЛЕГ. Как — летчица?

НАТАША. Управляю машиной. Ну что ж, Гоша?

ИРИНА. Гошенька! Гоша! Мы тебя ждем. Если не придешь, играть не будем.

Ждут, Гоша не показывается.

ПЕТЯ. Нет, не пойдет. У меня есть план, ребята.

ИРИНА. Опять твои планы.

ПЕТЯ. Честное пионерское. Вы только поддержите. Ручаюсь, что от занятий я его оторву. Двали, ты поможешь мне.

ДВАЛИ. Я — за.

ПЕТЯ. Иринка, иди выгони его вниз, скажи, что комнату убирать надо. Ну, на пять минут скажи. А вы идите, ребята. *(Соседи уходят. Тоня и Косья садятся играть в шашки.)* Иди, Двали, я объясню тебе.

Ирина уходит наверх. Петя и Двали отходят в сторону.

ОЛЕГ. Хотите пойти погулять, Наташа?

НАТАША. Подождем всех.

ОЛЕГ. Мне не нужны все, я хочу пойти с вами.

НАТАША. А вы что, всегда только со своими желаниями считаетесь?

ОЛЕГ. Вы совсем не хотите видеть меня.

НАТАША. Ну, не раскисайте, ради бога. Пойдемте.

Уходят. С лестницы спускается Гоша с книгой, тетрадью и словарем. Он видит уходящих Наташу и Олега, бешено ерошит волосы, однако устраивается около веранды. Читает, пишет. Петя и Двали подходят к нему.

ПЕТЯ (*говорит очень серьезно*). Гоша я тебя спросить хотел. Тракторо-центр если например картонка с вазелином под углом сорок градусов параллелепипед трехгорный а ветер с моря тогда мальчик закрывает ворота потому что мотив другой если двадцать два этажа с покрывшкой хорошо бы конечно бином Ньютона в то время почему же это?

ГОША. Что? Что такое?

ПЕТЯ (*так же серьезно*). Я говорю плачь не плачь касторового масла нет там веретена на шпильках а тут была украинская ночь прозрачны звезды казалось бы ему выговор записать но поэт роняет молча пистолет рельсы разобрала вот она вылетела лошадь и хлороформу нажралась постепенно гвинчиваясь по билетам потому что тогда шар. Как ты считаешь?

ГОША. Подожди, подожди. Что это ты говоришь такое? Я ничего... Ты понял, что он говорит, Двали?

ДВАЛИ. Конечно. Она же на стенке висит.

ГОША. То-есть, как висит, кто висит? (*Встает.*) Погодите, ребята... Что такое?.. Ну-ка повтори, что ты сказал?

ПЕТЯ. Да брось ты, Гошка, я тебя два раза под ряд спрашиваю о самой простой вещи, а ты делаешь вид, что не понимаешь. Ты можешь заниматься, пожалуйста, но зачем это хамство? Почему ты не хочешь ответить?

ГОША. Да, ребята, честное слово, я не понял. Внимательно слушал и не понял.

ПЕТЯ (*подмигивает Двали, но так, чтобы Гоша видел*). Да ну... Вот, говорил я тебе — перезанимается.

ДВАЛИ. Между прочим, если дальше так будет, это может кончиться сшествием с ума. Это очень плохой при-

знак. А ты, может, уловил общий смысл?

ГОША. Да нет, вот как-раз общий смысл я не мог уловить. Отдельные фразы... Какая-то лошадь нажралась хлороформа.

ПЕТЯ. Лошадь?!

ДВАЛИ. Да-а...

ПЕТЯ (*хватает книги*). И, думаешь, я позволю тебе дальше заниматься?

ГОША. Нет, нет, я сам отдохну. Очень странно.

ПЕТЯ. Ура! (*Кричит.*) Ура! (*Хватает рожок и трубит.*)

НАТАША (*вбегает*). Что такое?

ПЕТЯ. Гошка с нами.

НАТАША. Вот чудесно. Тогда гулять. Пойдем, Гоша.

ГОША. Нет, я не пойду.

НАТАША. Почему ты такой упрямый? Ты что, нарочно не делаешь того, что я прошу?

ГОША. Нет.

НАТАША. Ну, давайте в волейбол, что ли. Столпились, как стадо у водопоя. Ну!

ДВОРНИК (*входит*). А я привез. Грузовик дали.

ПЕТЯ. Да ведь он же за деревьями ездил. Мы ж парк вокруг дачи сажаем. Булонский лес. Все на субботник!

КОСТЯ. Оторвем! А лопаты?

ДВОРНИК. Лопаты — вон в сарайчике.

Двали пошел за лопатами.

НАТАША. По два человека на дерево. Мы с Гошей.

ГОША. Нет. Нет, я с Ириной.

ИРИНА. Нет, уж ты с Наташей.

НАТАША. Да нет, пожалуйста, пусть сажает, с кем хочет. Петя, ты будешь со мной?

ПЕТЯ. Ура.

ДВАЛИ (*принесит лопаты*). Я буду сажать дерево с Тоней.

ПЕТЯ. Нет, уж давай порознь: отдельно Тоню, отдельно дерево.

ДВАЛИ. Не обращайтесь внимания, Тоня. Вот вам лопата.

ПЕТЯ. Смотри, подносит, как букет. Вот тебе и занятия по математике. Этак, пожалуй, он скоро дойдет до анатомии.

НАТАША. Тебе все надо.

ПЕТЯ. Все мне надо. Ей-богу — все, и никак не меньше.

ИРИНА. Олег, мы с тобой.

ОЛЕГ. Спасибо, я не буду.

КОСТЯ. Почему? Ведь тень будет, зелень.

ОЛЕГ. Я не буду тут жить. Мне не нужна ни тень, ни зелень.

ПЕТЯ. Так ведь мы будем тут жить.

ОЛЕГ. Разве я мешаю вам работать?

ТОНЯ. Очень даже нехорошо так рассуждать.

ОЛЕГ. Вы, знаете ли, меня что-то все время учите, товарищ уборщица. Вы избавьте меня от вашей опеки.

ДВАЛИ. Не обращайтесь к нему,

Тоня. Лысый голодному не товарищ.

КОСТЯ. Да. У всякого своя философия.

ПЕТЯ. Это — философия? Завтра повар перестанет готовить пищу, скажет — я всего не с'ем, сапожник бросит работу, скажет — у меня ботинки целы, а шахтер вылезет на-гора — мне тепло. Это ж не философия, а свинья под дубом.

ОЛЕГ. Они работают на других, потому что получают деньги.

ПЕТЯ. Так тебе что — заплатить?

ОЛЕГ. Вы хотите меня обидеть? Пожалуйста, могу сажать деревья.

КОСТЯ. Нет уж, одолжений не надо.

ИРИНА. Ну, пусть поработает. На лопату, Олег. Удивительно, какой ты непростой.

ДВОРНИК. Не простой, не простой. То есть, как не простой? Грузовик ждет, стало быть, простой. Берите деревья!

ДВАЛИ. Я — за. Тоня, пойдемте.

ПЕТЯ. Темпы. *(Бежит, все идут за ним и приносят на плечах молодые деревья, которые ставят к забору, кладут в угол.)* Не отставай, Наташка.

ДВАЛИ *(приносит дерево)*. Дайте помогаю, Тоня. Видите, я могу нести два дерева.

ПЕТЯ *(проходя)*. Два ли?

ДВАЛИ. Что?

ПЕТЯ. Ничего, я говорю, два ли дерева можешь нести? Может, три? Хотя едва ли.

ДВАЛИ. Что?

ПЕТЯ. Да ничего. Я говорю, едва ли Двали три дерева унесет.

ДВАЛИ. Болтолог.

ИРИНА. Тебе не помочь, Олег? Тебе тяжело?

ОЛЕГ. Нет, спасибо, я дотащу как-нибудь. Сучья почему-то бьют по ногам.

ИРИНА. Давай, я возьму. *(Берет у него дерево.)* Вот так.

ПЕТЯ. Ай, ребята! Смотри, какую березку тащу. Легонькая, как Наташка. Гоша, смотри.

ГОША. Ладно.

НАТАША. Бирюк. У нас вот в Сибири бирюки такие, как ты.

Гоша молчит.

ПЕТЯ. Всё. Бригады, по местам. Победителям — орден красного бирюка. Сажать вдоль забора. Расстояние — три шага человеческих и один Двали. Ну-ка, каланча, пройдишь. *(Двали шагает вдоль забора. Петя лопатой оставляет знак после каждого его шага. Все берут лопаты, роют углубления, сажают деревья.)* Дружней. Двали, не закопай ногу вместо дерева. Гошка-то как роет, мама дорогая!

ИРИНА *(Олегу)*. Ты только сажай, я сама рыть буду. Донесешь дерево?

ОЛЕГ. Донесу.

НАТАША. Ах, хорошо, ребята. Славно! Петька, шевелись.

ПЕТЯ. За мной дело не станет, чушка.

НАТАША. Что это еще за чушка?

ПЕТЯ. Ласкательное от девчушка. Можно?

НАТАША. Девчушка? Можно. Гоша, это хорошо — девчушка?

ГОША. Не знаю.

ДВАЛИ. Вы не устали, Тоня?

ТОНЯ. Что вы, я к работе очень привычная.

ПЕТЯ. Навались, навались, ребята! Конец! Готово!

ГОША. Вот, чорт! Опоздали. Я хотел раньше успеть.

КОСТЯ. Так ты ведь со мной работал. Уж я знал, что опоздаем. Это у меня в крови.

ГОША. Ну, ладно. Вот сейчас ку-паться.

ИРИНА. Что вы, ребята, сейчас разгоряченные все. Посидим пять минут.

ПЕТЯ. Вольно! Закурить, отпра-виться!

КОСТЯ (Пете). Дай папироску.

ПЕТЯ. Надолго тебе?

КОСТЯ. Как надолго? Навсегда.

ПЕТЯ. Навсегда. На, возьми. Зна-чит, чтоб до конца жизни не просил. А сладко закурить. Это ж замечательно, до чего приятная усталость.

ИРИНА. Да ты ляг, Олег, отдохни.

ОЛЕГ. Мне нельзя ложиться на землю.

ПЕТЯ (Олегу). Неужели у тебя нет радости самой работы? Это ж великое дело — труд.

ОЛЕГ. Я не люблю сажать деревья, которые не дадут мне тени.

КОСТЯ. Так ты можешь приезжать сюда, пожалуйста.

ОЛЕГ. Господи, как вы все упрощае-те. Да не об этом я говорю.

ГОША. Ты не любишь сажать дере-вья, которые дадут плоды только в будущем?

ОЛЕГ. Если хочешь. Я не желаю работать для того, кто родится через тридцать лет после моей смерти. Дерево будет жить и давать тень, а где буду я?

ПЕТЯ. А когда ты идешь в парк, ты думаешь о тех, кто посадил деревья?

ОЛЕГ. Нет, и о тех не думаю. Зачем?

ПЕТЯ. Но если б те тогда не посади-ли, ты б не пришел в парк, ты б ходил по голой земле.

ОЛЕГ. Ах, и они думали только о себе. Они думали дожить. Я не верю в детскую сказку о том, что кто-то когда-то думал обо мне. Поверь, даже наши родители думали не о нас, когда давали нам жизнь, а о себе и о своих любовных утехах. Что же говорить о дру-гих?

ПЕТЯ. Нет, врешь. Другие думали. Когда шли сибирским трактом в шесть-десять градусов мороза с железом на руках, думали о нас. Когда сидели по тридцать лет в каменных ямах, думали о нас. В последние минуты думали о нас. И я не забуду, я живу, я дышу, я ворочаю. А когда мы сделаем что-нибудь

уж больно хорошо, я так тихонько гово-рю: «Вы слышите, родные мои, вы ви-дите, родные мои?» Эх!..

ОЛЕГ. Но ведь революция сделана. Почему же и теперь должны мы думать о ком-то? Ведь за нас, ты говоришь, погибали люди. Почему у нас трудности?

ПЕТЯ. Что ты понимаешь?! Труд-ности — это великое дело.

КОСТЯ. Что? Ну, это уж ты зара-портовался.

ПЕТЯ. Время без трудностей растит маменькиных сынков. Фронт, разруха дали своих героев. Если б нам не же-вать, не глотать, только брови подни-мать, были б мы бойцы за весь мир?

НАТАША. Я согласна с Петькой.

ОЛЕГ. Вот — бойцы за весь мир. Мы взвалили на себя ответственность за все. Нас все беспокоит: и испанцы, которые жгут монастыри, и восставшие матросы на голландском броненосце. Я хочу думать о себе, а меня заставляют думать о телке для бескоровного колхозника. Меня тяготит чувство ответственности. Я не хочу думать о голландцах.

ПЕТЯ. А можешь ты понять, когда самое замечательное — это делать для себя и для всех. Ты пойми крепко. Вот мы работаем, и по нашим успехам оце-нивают нашу страну. Ты можешь это понять? Как тебе втолковать, дура ты?.. (За сценой трубит труба и бьет барабан.) Да вот они объяснят тебе. Это наши из института. У них лагерь рядом. Я с ними беседы у костра провожу. (Кричит.) Ко мне, друзья, ко мне, под-шефные!

Пионеры входят, окружают Петю.

ЗВЕНОВОЙ. Мы по пути в колхоз зашли, Петя; там у них что-то с ремон-том тракторов не ладится. Ну, как у вас с бериллием? Мы о вашей работе у себя на собрании обсуждали; если нужно, мо-жем оказать помощь.

ПЕТЯ. Спасибо, будущие ученые. Де-ло подвигается. Надеемся скоро рапорт-овать вам. Пока только одна просьба. Вот перед вами экземпляр, для которого на свете дорог только один человек — он сам. Разъясните ему смысл жизни, етолкните ему основы основ.

ЗВЕНОВОЙ (подходя к Пете, подмигивает в сторону Олега и спрашивает понимающе). Уклонист?

ПЕТЯ. Да нет. Ему даже не от чего уклониться.

ЗВЕНОВОЙ. А-а. (Подходя к Олегу.) Что ж ты, брат, а?

ОЛЕГ. Ну, идите, идите, дети, играйте.

ЗВЕНОВОЙ. Что, спасовал? Говорить не хочешь?

ОЛЕГ. Да идите вы. О чем я могу говорить с вами серьезно?

ЗВЕНОВОЙ. Если не можешь серьезно, говори, как умеешь.

Смех.

ОЛЕГ (вскочил, идет к даче). Все твои шутки, Петя.

ПЕТЯ. Удираешь, ретируешься, отступаешь в панике. Вы уже победили, будущие вожди. Кто считает, что противник расстроен, разгромлен и обращен в бегство, садись. Поговорим о сплаве. (Все пионеры садятся. Только самый маленький остается стоять.) Ага, ты не садишься! Что же ты стоишь, несчастный? Ты на его стороне? Ты — представитель чуждого мира в нашей среде! Ты стоишь, как вызов нам! Что ж ты стоишь?

ПИОНЕР. Я потому стою, что я не могу сесть, — у меня на заде фурбункул.

Занавес

ТРЕТИЙ АКТ

Вечер у реки на пригорке. Большое дерево. На заднем плане видна дача. Другой берег реки отлогий. Там поля, и вдалеке деревушка. За сценой время от времени звучит музыка — это шумовой оркестр под управлением Пети готовится к выступлению. Наташа сидит, прислонившись к дереву. Олег ходит перед ней.

НАТАША. Какой вечер ладный. Мечтательный какой-то. Что вы все тащите меня от ребят?

ОЛЕГ. Если не вдвоем с вами, я предпочитаю быть один.

НАТАША. Это очень тяжело — быть одиноким.

ОЛЕГ. Мне одиноко, когда я среди многих.

НАТАША. Вы не знаете настоящего одиночества. Я родилась в Сибири, в деревне, в тайге. Самым жутким днем было воскресенье, когда не работали. Как сейчас помню, жаркий летний полдень. Длинная, длинная улица, ставни закрыты, все спят, и я одна, затерявшаяся в лесах девчонка.

ОЛЕГ. Это лучше, чем быть затерянным в толпе.

НАТАША. В толпу я попала впервые в Москве, в октябрьские дни. Я бродила по улицам, как пьяная. Это огромное чувство — быть связанным с незнакомыми сотнями тысяч людей одной радостью, одним горем, одной мечтой.

ОЛЕГ. Я хочу иметь свою мечту. Когда мне говорят — встань, из чувства протеста я хочу остаться сидеть. Во время общего веселья мне может быть грустно. Не заставляйте меня смеяться, когда мне не смешно.

НАТАША. Чудак вы, так ведь это моя мечта, мечта всех. Она — мечта всех и мечта каждого. Однажды в клубе я увидела большой голубой плакат. На нем был изображен земной шар и аэропланы, летящие за ним, маленькие, большие — целая эскадрилья. Я затрепетала, не знаю почему, и прочла: «Не кажется ли вам, что облылась Икара гордая мечта?» И я сказала себе: «Я буду летать», а потом, когда стала учиться, решила: нет, только летать — мало, я буду строить аэропланы.

ОЛЕГ. Как вы научились летать?

НАТАША. Вы знаете, я страшно завидовала мальчишкам. Я бегала с ними, дралась, плавала, и хоть не отставала, они все равно во всем старались показывать свое превосходство. Во всем. Потом, когда стала старше, мужчинам завидовала, до слез. Ей-богу. Но вот, когда я первый раз сама, без инструктора, повела машину в воздух, и когда машина, подчиняясь мне, набирала высоту, тогда я сказала: «Шалите, ребята, ну-ка, догоняйте».

ОЛЕГ. Наташа!

НАТАША. Что?

ОЛЕГ. Наташенька!

НАТАША. Да что вы хотите?

ОЛЕГ. Наташа, я не могу жить без вас. Все мои мысли только о вас. Я отсиживаю свои часы в лаборатории, но ничего не успеваю. Они все работают, отдыхают. Для меня отдых мучительнее труда, а труд стал мучением. Я ведь на соревнование их вызвал, а вот ничего не делаю. Вы представляете, каково это мне? И ужасно жаль себя. Ну, Наташа. *(Наташа молча смотрит на него.)* Ну, Наташа, ну, скажите что-нибудь. Ведь я на дачу поехал... Мне так хочется, чтоб взгляд ваш всегда искал меня, чтоб вы улыбались моим словам, чтоб ваша рука, будто невзначай, касалась моей. *(Опускается около нее.)*

НАТАША. Вы, может, перчатки снимете для такого случая?

ОЛЕГ. Что? Да, да, конечно. *(Снимает перчатки.)*

НАТАША. Вот вас слушаешь, и похоже, словно вы не мне, а себе в любви объясняетесь. Вас как зовут-то?

ОЛЕГ. Зовут? То-есть, как зовут? Олегом.

НАТАША. А надо бы — Яшей. Все «я», «я» да «мне».

ОЛЕГ. Наташенька, я хочу, чтоб и вы стали частью меня. *(Обнимает и хочет поцеловать Наташу.)*

НАТАША *(освобождаясь)*. Да нет уж, я как-нибудь сама...

ОЛЕГ. Не любите. Только не говорите мне этого. Хоть не любите, а не говорите, я не переношу, Наташа. Промолчите, пожалейте меня.

НАТАША. Как же можно молчать? Молчать нельзя. Что ж вы будете мытариться? Ни капельки я вас не люблю, ни капелюшки. Были б мы с вами — Наташка да Яшка. Нет, не надо. Вы уж просите. Да что б я делала с вами?

ОЛЕГ. Что же мне теперь, головой в речку?..

НАТАША. Вода холодная, а вам нельзя.

ОЛЕГ. Вы смеетесь. Вы мало знаете меня, Наташа. Вы увидите... *(Уходит вниз.)*

НАТАША. Нет, знаю. Ничегошеньки я не увижу.

За сценой слышен скрип весел и песня.

Там мужской голос поет:

Сяду я на корабль трехмачтовый
И покину родимый предел.
Поищу я судьбы себе новой,
Коли старой хранить не сумел.

И несколько голосов подхватывают:

Поищу я судьбы себе новой,
Коли старой хранить не сумел.

НАТАША. Ах, какой мечтательный вечер, вон костры зажгли. А-ах! *(Ложится за дерево лицом к реке.)*

Входят Двали и Тоня.

ДВАЛИ. Вот тут мы и сядем в свой кузов. Нам тут не будут мешать. В темноте, да не в обиде. Садитесь.

ТОНЯ. Спасибо. А вон на лодках поехали. Поют.

ДВАЛИ. Да, абсолютно так. И все это, вместе взятое, называется жизнь, Тоня.

ТОНЯ. Что — взятое?

ДВАЛИ. В общем. Вы, я, лодки, песня, ваше приготовление на рабфак.

ТОНЯ. Я на рабфак подготавлиюсь. Вы очень хорошо учите.

ДВАЛИ. Да. Я бы только хотел...

ТОНЯ. Что ж, я не вижу, что вы хотите? Вы ведь стараетесь.

ДВАЛИ. Вы чувствуете, Тоня?

ТОНЯ. Очень чувствую.

ДВАЛИ. А вы хотите, Тоня?

ТОНЯ. Ну, еще бы не хотеть.

ДВАЛИ. Вы согласны на эту перемену вашей жизни, на эту новую судьбу?

ТОНЯ. Ну, еще бы, так я уборщица, а буду инженершей.

ДВАЛИ. Конечно. Ну, иди, я прижму тебя в объятия. *(Берет ее за руку.)*

ТОНЯ. Ой, что вы делаете? Ой!..

ДВАЛИ. Постой, мы же говорили...

ТОНЯ. Что мы говорили? Мы об рабфаке говорили, а вы сейчас обнимать. Стыдно вам. *(Убегает.)*

ДВАЛИ. Опять какое-то неразберение. Объясняешь ей ясным языком, а она все путает. Что это такое?

НАТАША. Все это, вместе взятое, называется жизнь, Двали.

ДВАЛИ. Ой! Это ты, Наташа?

НАТАША. Ага.

ДВАЛИ. Ты слышала? Что ж это такое?

НАТАША. Просто не поняли друг друга. Но вы найдете общий язык, ты не беспокойся.

ДВАЛИ. Ты полагаешь?

НАТАША. Абсолютно так. Ты только смотри, на рабфак-то ее готовь.

ДВАЛИ. Категорично буду готовить.

НАТАША. Ну, побеги за ней, что ж ты отпустил ее одну?

ДВАЛИ. Это так надо — побежать?

НАТАША. Ну да.

ДВАЛИ. Я уже имею опасение ее обидеть. Знаешь, пуганая корова на куст садится.

НАТАША. Да беги скорей.

ДВАЛИ. Ты знаешь, я думаю, лучше передать ей свои соображения в написанной форме. Записку. Может, она скорее поймет.

НАТАША. Пожалуй.

ДВАЛИ. Пойди, пожалуйста, со мной, заглядь ее.

НАТАША. Ну, давай руку. (*Двали протягивает руку и поднимает Наташу с земли.*) Побежали.

Бегут вниз.

ГОША (*выходит, за ним Петя*). Что ты ходишь за мной по пятам?

ПЕТЯ. Поговорим, Гошка. Мы ведь друзья с тобой, чорт тебя подери. Открой мне свою грудную клетку.

ГОША. Темно мне, понимаешь — темно.

ПЕТЯ. Луна будет.

ГОША. Не будет луны. Вообще про-светления не будет.

ПЕТЯ. Здорово забрало, а?

ГОША. Здорово.

ПЕТЯ. Врезался?

ГОША. Врезался.

ПЕТЯ. Так чего ж ты тянешь? Объясняйся, крой.

ГОША. Мне объясниться с ней? Не могу.

ПЕТЯ. Что ж ты думаешь, она сама объяснится?

ГОША. Нет, думаю — не объяснится.

ПЕТЯ. Так что же, мне за тебя объясняться?

ГОША. С ума ты сошел!

ПЕТЯ. Так как же будет?

ГОША. Не знаю.

ПЕТЯ. Ну, давай сначала. Здорово забрало, а?

ГОША. Здорово.

ПЕТЯ. Врезался?

ГОША. Врезался. Не лезь, Петька.

Ну, что же это? Когда думаю о ней, хочется подбежать, взять за руку, зажать ее локоть, у нее, знаешь, локоть нежный какой-то, круглый, и шагать, шагать, и все говорить, обо всем говорить. А как увижу ее, так у меня ноги отпадают, голос перехватывает, а вот тут будто начинает ходить подъемная машина. Вверх и вниз. И я бурчу чорт его знает что.

ПЕТЯ. Ты поэтому и сидишь дни и ночи?

ГОША. Причем тут — поэтому? Я из-за бериллия сижу. Но когда занимаюсь, ни о чем другом не думаю. Может, поэтому больше сидеть стараюсь.

ПЕТЯ. Но нельзя же дни и ночи сидеть, голуба. Это, брат, разрушающая нагрузка. Не выдержишь. Вот уже заскоки у тебя, как сегодня утром.

ГОША. Я знаю, что нельзя. А тебе не кажется, что у нее с Олегом, что-то?

ПЕТЯ. Нет, не кажется.

ГОША. А она ведь с ним часто. И вот сейчас пошли.

ПЕТЯ. Видишь, я что тебе скажу. Пока, мне кажется, нет ничего, но если ты тянуть будешь, чорт его знает, что может выйти.

ГОША. И меня бирюком зовет, упрямым, и не видит, что там делается. Почему это так не устроено, чтоб человек мог мысли читать, а не только слова слышать. Вот тогда б она видела. Она мне говорит, допустим: «Пойдемте, Гоша». Я б сказал: «Не хочу». А она б прочла: «Наташка, я ж с тобой в Каракум, в Арктику, в стратосферу, куда хочешь, скорей только». И мы б пошли.

ПЕТЯ. Новое в зоологии. Сентиментальный бирюк. Сам расстраиваешься и других расстраиваешь. Честное пионерское.

ГОША. Что мне делать, Петька?

ПЕТЯ. Сегодня, слышишь, сегодня ты объяснись с Наташкой.

ГОША. Сегодня? Никогда.

ПЕТЯ. Тогда это сделает за тебя Олег, и ты, как Костыка, опоздаешь.

ГОША. Но я не смогу.

ПЕТЯ. Нет, ты сможешь. А я помогу тебе. Бериллий, бериллий, что ты со мной делаешь? Вот я уже превращаюсь в сводника. Чтоб ты знал, подлец, что это не для тебя, а для бериллия.

ГОША. Сегодня — нет.

ПЕТЯ. Сегодня, именно сегодня, и только сегодня. Я скажу Наташке, что тебе с ней надо поговорить, и она найдет тебя. Так будет верней, ибо сам ты не подойдешь, — это ясно. А когда она придет, соответственно настроенная, тут уж ты должен действовать.

ГОША. Нет, я ничего не скажу.

ПЕТЯ. Я говорю — действовать. Говорить в таких случаях не всегда обязательно. Слушай меня и крепко запомни. Значит, она придет. Так. Сядь рядом.

ГОША. Я не могу.

ПЕТЯ. Ну, я ей скажу, чтоб она села рядом. Потом начни нейтральный разговор, конечно связанный с обстановкой. О звездах ты можешь поговорить?

ГОША. Ну, о звездах могу.

ПЕТЯ. Значит, поговори о звездах. Потом ты тихонько кладешь свою руку на ее пальцы и слегка их гладишь.

ГОША. Я не могу.

ПЕТЯ. Молча. Понимаешь, можно ничего не говорить. Потом, если она не отняла руки, край — прислоняй ее ладонь к своей щеке, да нежнее, не дергай — это тебе не волейбол, ласковой, понимаешь ли. Если она и тут не отстранилась, хватай ее в охапку и целуй, и имей в виду — уж тут не отступай. Она сейчас же начнет говорить: «Не надо, не надо, не надо», но ты не обращай внимания, это всегда так говорится и имеет такой же смысл, как: «здоровствуй» или «спасибо». Понял?

ГОША. Да, понял...

ПЕТЯ. Ну и что?

ГОША. Трудно...

ПЕТЯ. И ты испугался трудностей?

ГОША. Не треплись.

ПЕТЯ. Смотри у меня.

НАТАША (*идет между Двали и Тоней*). Ну, что же твой вечер самостоятельности, Петька?

ПЕТЯ. Занимайте места. Оркестр с обеда репетирует. (*Тихо Гоше, который хотел уйти.*) Куда, сукин сын? Ни с места. Эй, музыканты! Двали, бери свой инструмент.

ДВАЛИ. Он тут. (*Вынимает из бокового кармана длинную свистульку.*)

Ирина приходит с двумя парнями и девушкой — соседями.

ИРИНА. Наташа, а где Олег?

НАТАША. Уединился где-нибудь.

ИРИНА. Олег! Олег!

ПЕТЯ. И нет ответа. Ну, можно начинать. А Костыка где? Костыка!

КОСТЯ (*вбегает с баяном, запыхавшись*). Что, опоздал?

ПЕТЯ. Нет, раньше всех пришел. Садись. Для начала оркестром в составе свистушек, тарактелок, звончиков и шумиков будет исполнен номер моего сочинения: «Ну, что за ме».

НАТАША. Ка-ак?

ПЕТЯ. «Ну, что за ме». Вот услышишь. Это одна из моих последних сюит. Пятнадцатый опус. Вступление.

Двали, Костя, один из парней и девушка играют; Петя, Ирина, другой парень, Тоня, Наташа под аккомпанимент поют.

Ну, что за ме...

Ну, что за ме...

Ну что за месяц, за такё?

Он ночью све...

Он ночью све...

Он ночью светит, а днем не.

Ну, что за ми...

Ну, что за ми...

Ну, что за мильий, за такий?

Он ночью лю...

Он ночью лю...

Он ночью любит, а днем ни.

ПЕТЯ. Кланяйся, Двали.

ДВАЛИ. Почему я?

ПЕТЯ. Высокое искусство должны представлять высокие артисты. Да, да. Вторым номером исполняется «Полюшко». Посвящается нашей березке Наташке.

ИРИНА. Олег! Олег! Куда он запропастился?

ПЕТЯ. Да оставь ты его, право. Человек ходит среди нас в перчатках, надутой, как на резиновых шинах, а ты его тащишь.

ИРИНА. Не такой уж он плохой, как кажется. Просто начитался всякой книжной ерунды и воображает о своих переживаниях бог знает что.

ПЕТЯ. Это верно. При всей его сложности к нему подходит обыкновенный дверной ключ.

ИРИНА. Надо, чтоб он был ближе к нам.

ПЕТЯ. Так он сам ведет себя среди нас, как натрий в воде, — шипит.

ИРИНА. Мне жаль его.

ПЕТЯ. Но пожалей и нас тоже. Смотри, оркестр приготовился, тебя ждем.

ИРИНА. Ну, давайте. Где же он все-таки?

ПЕТЯ. Тихонечко, ребятки, чтоб, как ветерок, поднималась песня, чтоб как будто где-то там, за речкой, началась и плывет к нам. Костенька, чтоб баян твой вздыхал. Э-эх! Не запаздывай только, милый. Не очень высоко, Двали, ты ноты по росту берешь. Ну, уста золотые...

Полюшко, поле, полюшко, широко поле;
Едут по полю герои, и эх, да Красной армии
герои. Эх!

Девушки плачут, девушкам сегодня
грустно:
Милый надолго уехал, эх, да милый
в армию уехал. Эх!

Девушки, гляньте, гляньте на дорогу нашу.
Бьется дальняя дорога, эх, да развеселая
дорога. Эх!

Едем мы, едем, едем, а кругом колхозы,
Наши, девушки, колхозы. Эх, да молодые
наши села. Эх!

Только мы видим, видим мы седую тучу,
Вражья злоба из-за леса, эх, да вражья
злоба, словно туча. Эх!

Девушки, гляньте, мы врага принять
готовы,

Наши кони быстроноги, эх, да наши
танки быстроходны. Эх! ¹⁾

Песня растет, ширится. Со всех сторон на песню сходятся ребята, девушки из соседнего колхоза, они подпевают. Один совсем молодой паренек восторженно смотрит на баян и на играющего Костю. Песня переходит в плясовую, выходя один за другим танцоры.

ПЕТЯ. Переборов больше, Костенька. Переливы где? Выходи, Наташка.

Петя выходит, прошелся раз, стал перед Наташей, и тогда она выходит легкой и упругой походкой. Песня растет. Пляска. За сценой отдаленный, одинокий крик. Среди общей пляски настораживается Ирина, встает, прислушивается. Снова крик.

ИРИНА. Стойте! (Ее не слышат, пляска продолжается. Тогда она кричит почти так же отчаянно, как голос с реки.) Да стойте же! (Все замолкает, и все останавливаются. Только Костя, запоздав, тянет последние ноты, и тогда вновь ясно слышен крик Олега за сценой.) Олег! Тонет!

НАТАША. Не может быть, товарищи, не может быть. (Бросается вниз к реке, все за ней.)

Остается только деревенский паренек, который все время с восхищением смотрел на Костю. Теперь, когда все убежали, он подошел к оставленному Костей баяну, осторожно взял его в руки и тихонько, очень тихонько, ошибаясь и слегка скрадывая полутона, наигрывает мелодию «Полюшка». За сценой слышны ясно, как всегда над рекой, голоса.

ПЕТЯ. Держись, Олег! Продержись минуту!

ТОНЯ. Вот тут, вон лодка перевернутая.

ИРИНА. Олег!.. Олег!.. Не отвечает.

ГОША. Видите, уже под водой. Тут надо плыть, его вниз отнесло.

ДВАЛИ. Тут мелко, я достал дно ногами.

ПЕТЯ. Значит, очень глубоко. Осторожней, Наташа!

Правей!

ГОЛОСА. Вон рука, кажется.

Правей, ребята!

Правей держите!

НАТАША. Есть. Я нашла... Сюда! Гоша!

ГОША. Плыву.

Паренек оставляет баян и тоже спускается вниз.

ТОНЯ. Я здесь. Где вы, Наташа?

Нашли.

ГОЛОСА. Вон плывут.

¹⁾ Слова В. Гусева, музыка Л. Книппера.

ИРИНА. Скорей к берегу. Костя, лодку!

КОСТЯ. Сейчас, сейчас...

ПЕТЯ. Захлебнулся малость. Костя, лодку!..

КОСТЯ. Сейчас, сейчас...

ДВАЛИ. Давайте к берегу. Я сделаю ему неестественное дыхание, я учился, как это делать.

ИРИНА. Костя, где же лодка?..

КОСТЯ. Сейчас...

НАТАША. Да не нужна уже. Возьмите его на руки. Скорей. Двали!

ДВАЛИ. Наверх. Платок мне.

ИРИНА. Ну, скорей же.

Выносят Олега наверх. Петя, Гоша в трусах; Наташа, Двали в мокрой насквозь одежде. Ирина очень волнуется.

Сзади них толпа ребят.

ПЕТЯ. Ну, не толпитесь. Иди, ребята, видите, какой случай. *(Ребята расходятся. Двали, Петя, Гоша, Ирина, Наташа кладут Олега; Двали делает ему искусственное дыхание.)* Ага, чихает... Все в порядке.

ТОНЯ. Теперь перевернуть надо.

ДВАЛИ. Плюй, Олег, плюй. Наплюй в колодец, приходится воды напиться.

ИРИНА. Олег, лучше тебе, Олег?

ОЛЕГ. Да, лучше. Спасибо...

НАТАША. Неужели вы?.. Неужели вы?..

ОЛЕГ. Да нет. Я на лодке поехал, один, а перчатки, помните, снял. Потом спохватился — ведь за весла все руками трогают, а я без перчаток. Нагнулся — руки помыть, лодка накренилась и опрокинулась как-то. Плавать я не умею.

ПЕТЯ. Зря. Вот и наглотался водички. А мы тебя выволокли. Ты, брат, извини, мы тебя бригадным методом тащили. Ирка твой крик услышала, Тоня лодку заметила, Наташка нырнула, тебя нашла, мы с Гошкой до берега тебя доставили, а Двали оказался спец по неестественному дыханию.

ОЛЕГ. Вы все бросились в воду. А Наташа одетая...

НАТАША. Ну, стоит ли говорить сейчас об этом.

ГОША. Ерунда... Ты сам бы бросился, если б кто-нибудь из нас тонул.

ИРИНА. Пойдем, ведь тебе переодеться надо, и ляжешь там.

Наташа, Ирина, Двали, Тоня берут Олега под руки, ведут; Гоша и Петя одеваются.

КОСТЯ *(вбегаєт запыхавшись)*. Вот проклятое течение. Меня с лодкой вниз унесло. Ну, что Олег? Я ведь искусственное дыхание умею делать.

ПЕТЯ. Ага, ты как-раз во-время. Олег, правда, тебя не дождался, без дыхания ушел.

КОСТЯ. Неостроумно. Я же не по своей вине опоздал. *(Уходит.)*

ГОША. Угораздило его. Еще б немного, опоздали мы.

ПЕТЯ. Да, если б не Наташка, как-то ему. Амба. А теперь — пустяки. Лучше спать будет после ванны.

ГОША. Да, Наташа его вытащила.

ПЕТЯ. Ну, и что?

ГОША. Да ничего. Говорю, вытащила его Наташа. Почему, понимаешь, не я тонул? Не везет. Другие тонут.

ПЕТЯ. Ага! А ты думаешь, ты не тонешь, ты же вроде утопающего. Но ничего, она и тебя вытащит.

ГОША. Я сейчас заниматься пошел.

ПЕТЯ. Попробуй только. Посмей. Я тебя вместо Олега брошу. Сиди, я сейчас ее откомандирую к тебе. Мы ж условились.

ГОША. Нет, Петя, не надо.

ПЕТЯ. То-есть как не надо? Слушай, я тебе прямо говорю. Сейчас, может, у них и нет ничего, но он ее жалостью возьмет. Ты ж не понимаешь. Жалость — это великое дело. Начнет она его жалеть, тут тебе отбой. Честное пионерское. Я тебе говорю, надо действовать. Решительно действовать.

ГОША. Все равно... Я не могу.

ПЕТЯ. Трус! Тряпка! Ты ж только что в омут нырнул, а тут с девкой поговорить дрейфишь. Позор!

ГОША. Да я не дрейфлю, а, понимаешь, не умею я... Неложко очень...

ПЕТЯ. Да ты помнишь, что я тебе говорил?

ГОША. Помню-то, помню.

ПЕТЯ. Повтори все про себя. Подготовься. Сделай гимнастику. Вообще представь себе что-нибудь. Допустим, ты — лев в пустыне. Или, скажем, орел. Подхрабрись. Стихи почитай какие-нибудь. Ты умеешь стихи читать?

ГОША. Нет.

ПЕТЯ. Ну, неважно, можно без стихов. Надо же покончить с этим. Ведь сначала только трудно, только первый момент, а там пойдет. Ну, готов ты?

ГОША. Все равно, давай.

ПЕТЯ. Вот наконец-то настоящее слово. Я буду недалеко. В случае чего, зови на помощь. Ну, мужайся. (Уходит.)

Гоша ходит, ухватывает и отламывает сук, потом ломает его по кускам. Делает это с большим напором. Наташа, в другом платье, подходит. Некогоровое время смотрит на Гошины упражнения.

НАТАША. Ты хотел поговорить со мной?

ГОША (с двумя кусками дерева). Нет.

НАТАША. Как нет? Мне Петя сказал. (Гоша молчит.) Так что ж. Ну, давай сядем. Да брось палки, а то ты похож на первобытного человека. Оглушишь суком и потащишь в лес. О чем ты хотел поговорить со мной?

ГОША. Так, вообще.

Наташа садится около Гоши на сваленное дерево. Гоша тоже опускается, но довольно далеко от нее.

НАТАША. Ну, давай «вообще».

ГОША. Вот я хотел... с тобой о звездах поговорить.

НАТАША. О звездах?

ГОША. Ты знаешь, что изучать физическое строение звезд можно только при помощи спектрального анализа?

НАТАША. Да?

ГОША. Ну да. Причем, знаешь, они ведь неодинаковые — спектры.

НАТАША. Угу. (Подсаживается ближе, Гоша отодвигается.)

ГОША. Их ведь можно на четыре типа разделить. И каждому типу соответствует особая окраска.

НАТАША. Да?

Та же игра.

ГОША. Конечно. Знаешь, к первому типу принадлежат белые или слегка голубые. Сириус, Вега...

НАТАША. Вот как?

ГОША. Ну да. Звезды этого типа имеют семицветный спектр, пересеченный четырьмя резкими темными полосами. И, знаешь, одна находится в красной части спектра, другая — в голубовато-зеленой, а две — в фиолетовой.

НАТАША. В фиолетовой? Так.

ГОША. Причем, знаешь, наличие таких широких полос говорит о том, что поглощающий слой у этих звезд находится под большим давлением.

Наташа молча подвигается к нему. Гоша не отодвигается.

ГОША (в задумчивости). Эти полосы характеризуют водород.

НАТАША. Глупый ты парень. Ну, что тебе дали твои спектры? Ну, Гошка! (Она берет его руку и гладит пальцы.) Посмотри-ка, все поля, поля; а видишь — вон костры горят. Может, там хороводы ведут у пламени, и у меня-то щеки пылают. Посмотри. (Она берет его руку, прикладывает к своей щеке, удерживает ее. Гоша отодвигается, пытается забрать руку.) Ну, что ты отодвигаешься от меня? Балдюк! Ну, иди же сюда, пожарный мой.

Она наклоняется к Гоше, обнимает его, хочет поцеловать, и тогда Гоша, вырываясь, сползает вниз и бормочет в большом смятении.

ГОША. Не надо... Не надо... Не надо...

НАТАША. Не надо? Да что же это? Значит, мне казалось все? И я дура, дурища... Не нужен ты мне, ни капелюшки. Хоть разревись, ей-богу. У-у, бирюк! (Крепким своим кулаком хлопает Гошу по лбу и убегает.)

Гоша сидит все так же задумчиво.

ПЕТЯ (вбегая). Ну, как? Что это она шлетела?

ГОША (рассеянно). Она меня кулаком стукнула.

ПЕТЯ. Так ты наверное сразу полез? Прямо схватил наверное...

ГОША. Да не в этом дело.

ПЕТЯ. То-есть, как не в этом дело? Как же можно так прямо? Ведь они смущаются, девушки, если так. Я ж тебе говорил, как надо.

ГОША. Да не в этом дело. Ты понимаешь, я начал ей про звезды рассказывать, про водород и про высокое давление поглощающего слоя. Так ведь я все время думал об этом. Плавить-то ведь надо под давлением, и именно водород нужен — ведь он не реагирует с бериллием.

ПЕТЯ. Конечно не реагирует

ГОША. Если давление довести до ста атмосфер, ведь это же отодвинет точку кипения магния.

ПЕТЯ. Безусловно отодвинет.

ГОША. Что и требуется.

ПЕТЯ. Ну, конечно. Гошка, это ж великое дело!

ГОША. Как ты думаешь, мы на ночной поезд не опоздаем?

ПЕТЯ. Я думаю — нет.

ГОША. Собирай бригаду.

ПЕТЯ (кричит). Ребята! Ребята!.. (Бежит к даче.)

Занавес

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

Обстановка первого действия. Утро. Горят лампочки. Возле прибора, изготовленного бригадой, работают Гоша, Двали, Петя, Костя, Наташа. Они бледны и усталы.

ГОША. Ну, что ж, взвешивай шихту, Наташа.

НАТАША. Есть. (Она идет к точным весам, начинает развеску металла.)

ГОША. Как фибра, Двали?

ДВАЛИ. Считаю, что на этот раз выдерживает.

ГОША. Костя, давай баллон. Ты проводку проверил, Петя?

ПЕТЯ. За аппаратуру отвечаю.

ГОША. Погаси свет — утро.

ПЕТЯ. Оказывается, да. (Гасит свет.)

НАТАША. Посмотри, Гоша.

ГОША (идет к Наташе). Костя, баллон!

КОСТЯ. Сейчас. Я на трубку хочу гайку присобачить. Как считаешь?

ГОША. Давай.

ДВАЛИ. Только скорей присобачивай, задерживаешь.

КОСТЯ. Не беспокойся, я сам तोплюсь.

ГОША. Давай тигель, Петя. (Стук в дверь.) Тсс, тише.

Все выжидательно смотрят на дверь.

ПЕТЯ (шепотом). Директор. Как рано приходит, чорт старый. Делать ему нечего.

Снова сильный стук в дверь.

ДИРЕКТОР (за дверью). Все равно я знаю, что вы здесь. Вон оттуда! (Петя жестом показывает, чтобы все молчали.) Вы слышали? Я вам приказываю немедленно убираться. Я рапорт на вас подам. Открыть дверь. (Петя отрицательно кивает головой и разводит руками перед закрытой дверью.) Что вы комедию разыгрываете? Это вам театр? Отвечать мне. Бригадир Филиппов!

ГОША. Я, товарищ директор.

ДИРЕКТОР. Почему вы не отвечаете? Я кто — чурбан или директор?

ГОША. Директор, товарищ директор.

ДИРЕКТОР. Так убирайтесь вон оттуда! Вы дали мне слово. Откройте дверь.

ГОША. Не могу, товарищ директор.

ДИРЕКТОР. Как? С кем вы разговариваете?

ГОША. Товарищ директор, работа в стадии завершения. Третий день опыт не удастся из-за технических неполадок. У нас обязательство ко дню авиации. Это через три дня. Разрешите довести до конца.

ДИРЕКТОР. Прервать!

КОСТЯ. Тогда опоздаем.

ГОША. Разрешите довести до конца, товарищ директор. Мы уйдем после обеда, честное слово.

ПЕТЯ. Честное пионерское.

НАТАША. Мы все очень просим, товарищ директор.

ДИРЕКТОР. Гм... А вы едите что-нибудь? Бандиты.

КОСТЯ. Ей-богу, едим.

ДИРЕКТОР. Если не увижу вас за обедом — рапорт. Как дела, бригадир Филиппов?

ГОША. Стараемся.

ДИРЕКТОР. Ну-ну. Ничего не надо?

ГОША. Пока нет.

ДИРЕКТОР. Волнуюсь.

ГОША. И мы.

ДИРЕКТОР. Я пошел.

ДВАЛИ. Не пробился. Не имей сто рублей, а имей сто дверей. Правильно.

ГОША. Костя, баллон!

КОСТЯ. Даю.

Все подходят к прибору. Костя подтаскивает баллон с водородом. В дверь стучат. Два удара с короткими промежутками и два с большими.

ПЕТЯ. Ирка. (Открывает дверь.)

ИРИНА (входит с Тоней). Завтрак. Мама приготовила. Ну, как?

ПЕТЯ. Последний решительный. Все-таки поесть сначала, ребята.

ГОША. Может, потом?

ИРИНА. Конечно сейчас. Ставь сюда, Тоня. Так я вам и позволила, не евши. Помогите, Двали.

ДВАЛИ. С удовольствием. (Помогает расставлять еду.)

ИРИНА. Подожди. Скатерть.

ПЕТЯ. Гошка, не хмурься. Заправимся, дело пойдет веселей. Ирка, этот пирог, по-моему, смотрит на меня. Нельзя? А это что?

ТОНЯ. Кофе.

ПЕТЯ. Мама дорогая! Налей-ка в эту колбу.

ИРИНА. Садись, Костя. Это сюда. Ну, ешьте.

ПЕТЯ. Это что же за мясо?

ТОНЯ. Кролик.

ПЕТЯ. Ага, собственного развода директора. Дайте Двали кусок кролика. Или нет, дайте ему, вот — кусок крольчихи.

ДВАЛИ. Почему ты узнал, что это крольчиха?

ПЕТЯ. А ты что — не можешь отличить кролика от крольчихи?

ДВАЛИ. Нет. А как?

ПЕТЯ. По скачкам. Если он скачет, значит, кролик, если она скачет, значит, крольчиха.

ДВАЛИ. Ага... (Все, кроме Гоши, хохочут.) Подожди, подожди.

НАТАША (ласково ерошит волосы Пете). Петька ты, Петька, бузило все-светлый.

ПЕТЯ. Ты чаще меня гладь, березка.

ГОША. Начали, начали. (Снова стук в дверь. Все прислушиваются.) Кто это еще?

НАТАША. Кто там?

ОЛЕГ (за дверью). Я.

ИРИНА. Олег. Пустите его, ребята.

КОСТЯ. Что ему надо?

ГОША. Открой дверь, Петя.

Петя открывает дверь.

ОЛЕГ (входит; он очень расстроен). Товарищи... Вот. Понимаете, мне очень тяжело, мне позорно было притти к вам. Но я преодолел. Я, когда вас потерял, как в воду опущенный, хожу. Такая пустота вокруг меня, я продумал многое.

ПЕТЯ. И о голландцах думал?

ИРИНА. Оставь, Петя.

ОЛЕГ. Примите меня к себе.

КОСТЯ. То-есть, как? Теперь?

ОЛЕГ. Да.

КОСТЯ. Опоздал. Когда мы все подготовили, так он приходит на готовенькое. Броско. Нет.

ДВАЛИ. Мы без него управились. На что он нам сейчас?

ИРИНА. Нельзя так рассуждать. Он мучился, он один совсем остался. Его жалко.

ПЕТЯ. Да, тяжелый случай. По-честному мало от него радости. Я прямо говорю.

ГОША. А пользы?

ПЕТЯ. Он дельный парень.

ГОША. А дельный, значит, надо брать. С каких пор мы инженеров отталкиваем?

НАТАША. Мы металлы переплавляем, Костя. Неужели ты думаешь, что не удастся изменить Олега?

КОСТЯ. Но ведь он сам ушел. Он нас ни в грош не ставил, а теперь, извольте, возвращается. Я — против.

ГОША. С его позиции выступаешь, Костя. Против него выступаешь, а сам обеими ногами на его позиции. Дряненькое личное самолюбие.

ДВАЛИ. Прав, Гоша. Давайте его присобачим.

ИРИНА. Ты слышишь, Олег? Как я рада!

ПЕТЯ. Ну, что, блудный сын? Закусить не хочешь? Ты что же без перчаток?

ОЛЕГ. Не смейся... Ну, глупо было...

ПЕТЯ. Чудак, одень перчатки, сейчас плавить будем.

ОЛЕГ. Я должен вам рассказать...

ГОША. Знаешь, Олег, давай потом поговорим. Сейчас надо приступать. Я введу тебя в курс дела.

ОЛЕГ. Значит, вы принимаете меня?

ПЕТЯ. Забудь об этом, Олег, крепко забудь. Считай этот случай не бывшим.

ОЛЕГ. Я...

ГОША. Так вот, мы плавим под давлением с водородом.

ОЛЕГ. Вот что?

ГОША. Ты понимаешь конечно, что обычным способом такую плавку не произведешь.

ОЛЕГ. Да, это страшно сложно.

ГОША. Двали с Петькой сконструировали прибор, а Костька его выполнил почти один. Вот — смотри. Это — бомба хромо-никелевой стали; внутри изолированная жестянка, в которой тигель.

ОЛЕГ. Какой материал тигеля?

НАТАША. Окись циркония.

ОЛЕГ. Очень правильно.

ГОША. Через жестянку даем ток, бомбу герметически закрываем фибровой пробкой.

КОСТЯ. Вот фибра нас подводит.

ГОША. Да, вот фибру Костя налаживает.

ИРИНА. Понимаешь, есть большая опасность разрыва бомбы.

ОЛЕГ. Сколько раз плавил?

КОСТЯ. Десять.

ОЛЕГ. Получили хоть раз сплав?

ГОША. Нет. Все время неудачи. Сейчас приступаем вновь.

ОЛЕГ. Это очень смело сконструировано. Охлаждаете?

ДВАЛИ. Абсолютно.

ТОНЯ. Вода у нас проточная, это я приспособила.

ДВАЛИ. Да, это она.

НАТАША. Начали.

ПЕТЯ. Да, сейчас. Еще одну минуту. Гошка, как говорится, решающий момент наступает. Урби эт орби или что-то в этом роде. Все мы знаем, что и на сей раз может не получиться. А все мы — люди, все — человеки. Я, например про себя скажу — слаб, могу расстроиться и уйти домой. А, по-моему, уйти нельзя — пусть хоть эта чортова бомба лопнет. Вот, возьми ты, пожалуйста, мой пропуск. Меня без него охрана не выпустит, и все. (*Кладет перед Гошей пропуск.*)

ДВАЛИ. Вот мой рядом.

НАТАША. Мы не уйдем, Гоша. (*Кладет свой пропуск.*)

ИРИНА. А я не отдам. Кто вам будет пироги приносить?

ОЛЕГ. Пожалуйста, возьми мой пропуск, Гоша. Я очень прошу. Вот.

ТОНЯ. А я и вовсе не уйду, будьте уверены.

КОСТЯ. Сейчас, ребята, сейчас. Куда-то засунул. (*Лихорадочно роется в карманах.*) Тут, кажется, нет... вот... нет. Вот он... Вот он.

ГОША (*взволнованно*). Ребята... Ну, вот что, давайте начинать. Баллон!

КОСТЯ. Даю. (*Приносит баллон.*)

ГОША. Петя, воздух!

ПЕТЯ. Есть. (*Выкачивает воздух из бомбы.*)

ГОША. Ира, поддержи тут. (*Они наполняют бомбу водородом.*)

ПЕТЯ. Прекрасно Костька гайку навернул.

ГОША. Осторожней!

ДВАЛИ. Поддерживай, Костя.

ГОША. Петя, ток!

ПЕТЯ. Есть ток. (*Включает рубильником ток.*)

Все сгруппировались вокруг прибора, говорят вполголоса. Большое напряжение.

ГОША. Температура?

ОЛЕГ (*смотрит приборы*). Семьсот пятьдесят.

ГОША. Добавляй.

ПЕТЯ. Есть.

Пауза. Все подходят к приборам, смотрят температуру.

ДВАЛИ. Ты видишь, Тоня, ты понимаешь?

ТОНЯ. Ты за меня не беспокойся, я понимаю.

ГОША. Температура?

ПЕТЯ. Тысяча двести.

ГОША. Так. Еще.

ПЕТЯ. Если выйдет, Наташка, возьми меня на самолет. Полетим над Кремлем, я одену парашют, прыгну вниз, на заседание ЦК и скажу: «Товарищи...» и... и больше ничего не смогу сказать.

НАТАША. Обязательно полетим.

ГОША. Выключай. Разбирайте конструкцию, ребята. У меня немножко руки дрожат.

ДВАЛИ. Спокойней, Петя, не торопись, Петя. Ты знаешь, торопливость нужна только при ловле блох.

Они разбирают конструкцию.

ГОША. Рентген готов, Ира? Можно исследовать?

ИРИНА. Ты же знаешь.

НАТАША. Можно выколачивать, Гоша?

ГОША. Да.

Наташа выбивает металл из тигеля, одев перчатки из толстой парусины. Ирина берет блестящий шарик и несет его в комнату рядом. Все, кроме Гоши, Олега и Наташи, идут за ней.

ОЛЕГ (Гоше). Волнуешься?

ГОША. Очень.

ОЛЕГ. Я страшно завидую твоему волнению. Ты можешь меня понять?

ГОША. Да. (Все время разговора он мысленно в комнате рядом и остро прислушивается к тому, что там происходит. Костя выходит мрачный.) Что?! Что там?

КОСТЯ. Я предупреждал.

НАТАША. Что же?

КОСТЯ. Начали стружку брать для химанализа — пилка сломалась. Я уйду отсюда. Может, если меня не будет — получится.

ГОША. Дурак. Иди. Если пилка сломалась, значит, твердость большая, понимаешь ты? Твердость.

КОСТЯ. Ты думаешь? (Убегает обратно.)

ОЛЕГ. Как хотелось бы мне волноваться, радоваться успеху и страдать от неудачи опыта.

НАТАША. Этого никогда не будет, пока ты видишь только опыт.

ОЛЕГ. Но ведь это опыт. Вот понесли шарик, и сейчас мы узнаем — получился или не получился сплав.

НАТАША. Ты все о сложности говоришь, а вот понять, что в этом шарике, не можешь.

ОЛЕГ. Сплав, если он удался.

НАТАША. Упрощаешь, Олег, упрощаешь. Мне бабка сказку рассказывала про серебряное блюдечко и наливное яблочко. Помнишь? Повернешь яблочко — море ширится, корабли, мачты, белые паруса взлетают. Повернешь яблочко — пески, караваны идут, ковры везут, камни, сласти...

Петя вбегает. Гоша и Наташа вскакивают.

ГОША. Ну, что?..

ПЕТЯ. Нехватило окиси для шлифовки. Сейчас под микроскоп. (Наливает из банки и снова убегает.)

ОЛЕГ. Ну, и что же?

НАТАША. Вот так и этот шарик. Маленький кусочек металла, а взглядишь — увидишь за ним громадную небесную ширь, и аэропланы, маленькие, большие, целые эскадрильи с красной звездой; взглядишь — и ты увидишь: встают города, реки меняют русла, в песках пустынь идут автомобильные караваны. Умей видеть!

ОЛЕГ. Но ведь это мечта. Ты мечтаешь.

НАТАША. Я осуществляю мечту. За сценой крик, сначала Петин, потом общий. Двери с треском растворяются: Двали, Петя, Ирина, Тоня выскакивают; несколько позже их — Костя.

ИРИНА. Гошка! Гошка!

ДВАЛИ. Сплав на лице. Гоша, дай я обнимаю тебя. (Он обнимает Гошу.)

Гошу обнимают Ирина, Костя.

ПЕТЯ. Мама! Наташка! Мама дорогая! (Он целует Наташу.) Ура! Ура! Музыка! Наташка, можно на руках пройтись? Наташка, обними Гошу!

НАТАША. Гошка! (Идет к нему.)

ГОША. Я... Я, ребята... (Пятится.)

КОСТЯ (Гоше). Ты посмотри, вот ведь он — безусловный и абсолютный

сплав. Оторвали! И я не помешал, и кровь моя не помешала. Вот тебе шлиф. Пробовали на твердость. Стальной шарик не вдавливается, только алмаз.

ТОНЯ (Косте). Все ты сомневался. Видишь, на все сто.

ИРИНА. Пробовали на коррозию. Азотная кислота не берет.

ПЕТЯ. Дайте, я задушу бригадира. Гоша, бирюк проклятый, красная девица, топор пожарный, любовь моя! (Бросается к Гоше, душит и трясет его.)

ИРИНА. Осторожней, баллон.

Петя и Гоша спотыкаются о баллон, оба падают, причем брюки Гоши рвутся, и образуется громадная дыра.

ГОША (тихо). Чорт! Видишь, что ты сделал?

ПЕТЯ (тоже). Прости, Христа ради. Вот, будь я проклят. Стань сюда, Гошка, за прилавок.

Гоша проходит за лабораторный стол и становится лицом к публике, видный только по пояс.

ГОША. Как это ты?

ДВАЛИ. Надо относить директору сплав, Гоша.

ГОША. Да я не понесу.

ПЕТЯ (тихо). Надо зашить брюки-то. Честное пионерское.

ГОША. Да замолчи.

ИРИНА. Все ты скромничаешь, Гошка. Ты же бригадир, ты обязан первый сообщить.

КОСТЯ. Гошка, надо сообщить в управление. Ведь там ждут результатов. Иди.

ТОНЯ. Иди, Гоша. В бригаде должен быть порядок. Каждый должен быть на своем месте. Ты бригадир — иди.

ГОША. Да несите вы сами.

ПЕТЯ. Ну да, несите, а мы тут побудем. Потом пойдем.

НАТАША. Нехорошо без бирюка... без Гоши, я хотела сказать.

ПЕТЯ (тихо). А каково бирюку без брюк?

ГОША. Перестань ты. Несите. Иди, Олег.

НАТАША. Ну конечно, надо нести, раз он упрямится. Дело не ждет.

ТОНЯ. Я тоже с вами пойду.

Девушки выходят.

ПЕТЯ. Ну, снимай брюки. Да скорее, а то, знаешь, ведь прыгги могут. Мы сейчас моментом зашьем. Двали, где твоя иголка?

ДВАЛИ. Там, наверху. И нитки.

ПЕТЯ. Ну, давай, скидавай скорей. Постой, мы сейчас заштопаем. Вот неприятность, и в такой момент главное.

ГОША. Чорт тебя дернул! (Снимает за столом брюки.)

ПЕТЯ. Не чорт, а ты сам дернул, я ж не могу тебя не обнять. Это ж великое дело, а ты брыкаешься. Ну, пошли. (Они берут брюки и бегут в соседнюю комнату.) Костя!

КОСТЯ. Сейчас, сейчас. (Убегает за ними.)

Через мгновение за сценой шум, и в комнату через другую дверь входит толпа народа: директор института, сотрудники, сотрудницы, Наташа, Ирина, Тоня и Настя с большим букетом цветов.

ДИРЕКТОР. Где они, мои ребята? Гоша, иди сюда. Дай руку.

ГОША. Я... не могу.

ДИРЕКТОР. Ну, не скромничай, не скромничай — выходи. Рад. Счастлив. Вот, оказывается, какой результат. Иди сюда, Гоша. Обниму.

ГОША. Да я... Дело в том...

ДИРЕКТОР. Ну, и скромнюга. (Идет к Гоше и хочет пройти к нему за стол, но Гоша тянется к нему через стол, и они обнимаются.) Ты крепко стой, Гошка. Не сходи.

ГОША. Я не сойду.

СОТРУДНИКИ И СОТРУДНИЦЫ (подходя). Поздравляю, Гоша!

— Поздравляю!

— Молодцы, ребята!

— Привет!

— Поздравляем!

НАСТЯ. И я тут. Только приехала. Приезжаю, а мне говорят—твоя бригада штуку отколола мировую. Определенно. Вот мне отдыхающие цветов дали, я там в санатории порядок навела, а я думаю—цветы ребятам отдам, потому я живот грела, а они тут парились. На-ка. (Дает ему букет.)

ГОША. Куда ж я?.. Спасибо.

ДИРЕКТОР. А остальные где? Где же все герои? (В этот момент открывается дверь. Двали, Петя и Костя, торжественно развернув, вносят брюки, но, увидев народ, застывают на месте.) Что это такое? (Пауза.) Что это такое, я спрашиваю?

ДВАЛИ. Это, можно сказать, штаны, или, я бы даже назвал их, брюки.

ДИРЕКТОР. Я вижу, что брюки, но что это значит? Зачем вы их принесли?

ПЕТЯ. Да дело в том, что... Так ведь бригадир у нас Гошка. Вот. Ну, мы решили премировать его. Брюками.

ДИРЕКТОР. И вы не нашли ничего лучшего, как премировать его каким-то старьем? Это что—насмешка над институтом? Завтра я премирую его коверковым костюмом, унесите эти брюки.

ГОША. } Унести?!
ПЕТЯ. }

ДИРЕКТОР. Да, да. И не позорьте институт в другой раз.

ПЕТЯ. Товарищ директор, может, пока эти? А завтра коверкотовые. А эти пусть он на... на память, а?

ДИРЕКТОР. Никаких разговоров. Унесите, чтоб я больше не видал их.

ПЕТЯ. Вам-то ничего, но Гошке-то как? Он же хочет видеть их на себе.

ДИРЕКТОР. Подождет до завтра. Довольно препираться в такой момент. Несите.

ПЕТЯ. Унеси, Костя. (Тихо.) Около дверей положи.

КОСТЯ. Ладно. (Выходит в соседнюю комнату.)

СОТРУДНИК (входит). Товарищ директор, там вас спрашивают. Кто-то приехал.

ДИРЕКТОР. Пошли. Идем, Гоша.

ГОША. Я сейчас, я сию минуту приду.

ПЕТЯ. Пошли, пошли. Он придет, это уж я знаю; он очень взволнован—оправится и придет. (Уводит всех.)

ДИРЕКТОР. Скорей, пожалуйста. (Уходит.)

КОСТЯ (выскакивает из двери). Чго, ушли? Опоздал. (Проносится через комнату.)

ГОША. Стой, погоди. Принеси мне...

Костя убегает. Гоша хочет пойти сам в соседнюю комнату, но за сценой быстрые шаги. Гоша вновь испуганно занимает ту же позицию.

НАТАША (входя). Что ж ты не идешь?

ГОША. Сейчас.

НАТАША. Гошка, я хочу сказать тебе. Такой день радостный. Я ведь поняла тебя, ты же страшный скромнюга, как директор сказал. Я же чувствую—ты любишь меня, я не могла ошибиться, ты просто смущаешься. Ну, иди ко мне, Гошка, родной мой!

ГОША. Нет, нет... Не пойду...

В дверях появляется Петя.

НАТАША. Не пойдешь?

ГОША. Ни за что не пойду.

НАТАША. После того, что я тебе сказала?

ГОША. Все равно не пойду.

НАТАША. Почему?

ГОША. Потому. Не пойду.

НАТАША. Второй раз! Нарочно. Назло. Бирюк. Бесчувственный. Бирюк. (Пробегает мимо Пети. Петя беззвучно хохочет.)

ГОША. Ты-то что смеешься? Дубина. Ты же знаешь, что я не мог выйти.

ПЕТЯ. Я? Смеюсь? С чего ты взял?.. Ей-богу, нет... Что-то в горло попало... Пыль, знаешь.

ГОША. Давай брюки. Я сейчас поговорю с тобой.

ПЕТЯ. Только без эксцессов, Гошка. (Идет в комнату и приносит брюки.) Вот твоя премия, получай. (Гоша берет брюки и быстро одевается.) Ты смотри, какая работа. Сам шил. А ты драться хочешь. Бирюк. Бесчувственный.

ГОША (одевается). Погоди... Погоди.

ИРИНА (входя). Гоша, Петька... Что вы застряли тут? Вы знаете, кто приехал?

ПЕТЯ. Кто? Не пугай только, ну кто?

ИРИНА. Начальник управления со всем штабом, и вас спрашивают.

ПЕТЯ. Мама дорогая! Где ж они?

В комнату входят директор, Двали, Олег, Наташа, Тоня, Настя, сотрудни-

ки, начальник управления и с ним несколько человек военных в форме летных сил Республики. На некоторых из них кожаные куртки и шлемы. У них ордена. Лица их загорелы и обветрены.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ. Где же он?

ДИРЕКТОР. Вот, товарищ начальник. Вот он. Это вот Гоша, лучший наш бригадир, товарищ начальник. Комсомолец, общественник.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ (здороваясь с Гошей). Сколько вам лет?

ГОША. Двадцать три.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ. Недопустимо молод. Недопустимо.

ПЕТЯ. Это у него пройдет с годами, товарищ начальник.

ДИРЕКТОР. Это—Петя Горемыкин, инженер-электрик. У него четыре изобретения осуществлены. А вот это — Ян Двали.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ. Виноват.¹⁾

ДВАЛИ. Это моя фамилия — Ян Двали.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ. Ага. (Жмет руку Двали.)

ДИРЕКТОР. Замечательно талантливый конструктор и все растет.

ПЕТЯ. Прямо на глазах растет, товарищ начальник.

ДИРЕКТОР. И еще Костя Курицыч. Где же Костя?

ПЕТЯ. Он придет. Он немножко запаздывает.

ДИРЕКТОР. С девушками вы уже познакомились. Вот они дали сплав.

ИРИНА. Самый устойчивый против коррозии.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ. Вы сами—чудесный сплав, друзья, самый устойчивый против коррозии. Мне передавали о ваших делах. Мы будем просить, чтобы в день авиации в списке награжденных Республикой боевых водителей воздушного флота были и ваши имена. Как, товарищи командиры?

Командиры, а за ними и все присутствующие аплодируют. За сценой бьет барабан. Идет звено пионеров.

ЗВЕНОВОЙ (входя, начальнику управления). Отодвиньтесь, товарищ, не видите—отряд идет.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ. Виноват. (Отодвигается.)

Пионеры становятся лицом к публике.

ЗВЕНОВОЙ. Третья бригада! Нам сказали, что вы завершили работы. Мы поздравляем вас. Мы постановили приветствовать вас нашей песней. Внимание, ребята! (Он поднимает руку, дирижирует, и отряд поет под аккомпанемент барабана «Песню о юном барабанщике».)

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперед продвигались отряды
Спартаконцев, смелых бойцов.

Средь нас был юный барабанщик,
В атаках он шел впереди,
С веселым другом барабаном,
С огнем большевистским в груди.

Однажды ночью на привале
Он песню веселую пел.

До сих пор звонко и весело, а следующие слова грустно и приглушенно.

Но, пулей вражеской сраженный,
Пропеть до конца не успел.

С улыбкой юный барабанщик
На землю сырую упал.

И наконец совсем тихо.

И смолк наш юный барабанщик,
Его барабан замолчал.

Снова звонко и сильно.

Раздастся грохот канонады,
Мы двинемся в славный поход.
Погиб наш юный барабанщик,
Но песня о нем не умрет¹⁾.

ПЕТЯ (стоит лицом к зрительному залу, говорит, обращаясь к пионерам). Спасибо, будущие народные комиссары. Мы двинемся в славный поход, ребята. Был такой маленький капрал, он стал императором и завоевал весь мир, а вы знайте, что каждый наш маленький ба-

¹⁾ Немецкая революционная песня. Русский перевод М. Светлова, музыкальная обработка А. Давиденко.

рабанщик в тысячу раз выше ихнего капрала. Тот завоевывал территорию, а мы с вами завоевали историю. Капралы полезут на нас, ребята, обязательно полезут, и вот тогда мы двинемся. Наши аэропланы будут из бериллиевого сплава, они полетят высоко над старухой-землей или, если надо будет, пройдут

бреющим полетом: «Пожалуйста бритесь, господа». А внизу с песней пойдут наши бригады. С песней пойдём мы на тебя, старый мир, с песней и барабаном. Может, я и погибну тогда, но до самой смертной точки пойду я с веселой песней. Я хочу быть твоим барабанщиком, моя молодая страна!

З а н а в е с

Москва. 1933 г.

■■■■■■■■■■

Похождения факира

Роман

ВС. ИВАНОВ

(Продолжение¹)

6

Нам поручалось менять мануфактуру и галантерею на киргизское масло. Впереди, крытые холстом, двигались донельзя перегруженные четыре фуры с товарами, каждая запряженная парой коней. На передней фуре сидел Федор Малых, на последней я. За фурами шли телеги с пустыми бочками. В эти бочки мы переливали вымеченное масло и отсылали их с киргизами-возчиками в Урлютюп. Оттуда киргизы привозили нам новые тюки мануфактуры, цыбики чая «Цейлон № 42», мешки с сахаром, зеркала, одеколон.

Много дней мы шли в степь. Мы миновали овраги, перевалили через высокие холмы медного цвета, останавливались возле переселенческих поселков, у белых хат, среди широких улиц. Мы пробовали торговать с украинцами, но они говорили:

— Всяк своим воровством живет. Продавайте немаяканным!

Одна только дивчина, алебастровая, с голубыми глазами, купила у нас зеркальце величиной с ладонь, но и то, оказалось, потому, что ночью она пришла к Федору. На ночь мы составляли наши фуры четырехугольником и ложились спать, прикрывая телом наши товары. Работники спали снаружи. Всю ночь Федор уговаривал дивчину. Она

требовала женитьбы. Он обещал, но хотел, чтобы она подождала его удачи при скором воровстве. Ей, видимо, было страшно смешно: сколько человек знает о воровстве и сколько пространно говорит за и против.

— Ты раньше, Федор, в конокрадах хаживал? Только сознавайся наперед, а то — избьют тебя, а я, перечаявши встреч несколько ночей, еще за битье твое плачь?

Он громко глотал слюну.

— Небрежно судишь. Ты бы лучше подвинулась ближе.

Ночь шафранная и длинная.

Я впервые узнал, о чем могут всю ночь говорить парни и девки. Мне показалось это скучным. К утру у дивчины голос стал совсем ватным и холодным. Она уже не объясняла, а только отвечала на его длинные речи: «Нет, нет». И Федька говорил одно и то же. И мне думалось: «Зачем им так глупо лежать всю ночь под одним одеялом». Но я старался запомнить их разговор. Когда подрасту, я к этим разговорам прибавлю что-нибудь более ловкое.

Взошло щеголеватое солнце. Дивчина ушла. Федор с бранью начал меня будить.

— А я и не спал, — сказал я ему ехидно.

— Дураком растешь. Веди коней.

Мы ушли глубоко в степь, километров за семьсот от Урлютюпа. Каждый вечер за два рубля мы покупали свежего ба-

¹) См. «Новый мир», ки. 4 с. г.

рана. Мясо мы с'едали, а сало из курдюка переплавляли и лили в то масло, которым наполняли бочки. На каждом баране мы, помимо шкуры, наживали по полтиннику.

Обычно мы останавливались у края аула. Товары раскидывали по кошмам. Киргизы усаживались подковой перед нашими фурами и, прежде чем покупать, ждали осмотреть шелка. По шелкам они узнавали: богатая ли торговля, хороши ли товары? Они спрашивали, щупая юно-розовые шелка:

— Эт барма? Мясо есть... — так начинаются их приветствия.

Они помогали нам колоть барана, разводить костер и внимательно наблюдали, как мы едим: не жадничаем ли, не лениво ли. Если жадничаем, значит, запросят лишнее; если ленивы, значит, об'елись и тоже запросят лишнего.

Время от времени Федор лез в котел, доставал пальцами кусок мяса и клал какому-нибудь киргизу в рот. Киргиз с легким присвистыванием проглатывал мясо. Рядом с нами сидеть допускали только аульного старшину.

Киргизы присматривались к нам день, иногда два. Торговаться приходилось бешено. Федору хотелось украсть, а крал он пока, только подливая сало в масло. Киргизы отлично знали цены. Федор браковал масло, но и тут с киргизами спорить трудно: они осмеивали все знания Федора.

Слив в бочку масло, мы ехали к следующему аулу.

Мы увидели иных киргизов, не похожих на тех, которые жили в прииртышских «джетаках». На этих меньше ситцев, штаны сшиты из цельных бараньих шкур, лицом они темнее, с толстыми губами и стремительной улыбкой. Говор их значительно отличен от прииртышского. Они не потребляли хлеба, питались сыром «кiryмчук» и мясом «каурдак». Монет они не брали, так как татары-торговцы завозили к ним много фальшивых.

Перед торговлей они спрашивали:

— Сколько на фунт масла получу аршин?

И они указывали на шелка.

Федор Малых торопился к аулам султана Рахман-Аяза.

Степь иная, травы выше; далеко где-то на юге виднеются водянистые горы, небо васильковое.

Но вещи и дела попрежнему падали из рук Федора Малых. Попрежнему его чуб свисал на губы. Малых жадно хотел обогащения, но ничего не мог придумать, никак не мог уговорить себя: такое количество мыслей доказывает предстоящую неудачу. Вот здесь люди не знакомы с монетами, им новый медный грош можно всучить вместо золотого, купить подлинно «на медные гроши» какого-нибудь сказочного коня, а попробуй! Ведь даже и тут обманут: киргизы лучше Федора понимают коней и подсунут ему сказочную дрянь.

Мы приближались к роду султана Рахман-Аяза, к его кочевьям. У подножья красновато-роговых скал мы увидели его белую юрту, похожую «на вершину горы, расшитую солнечным закатом». У прикольев множество коней. Мы достали новый зеленовато-золотой сундук, где были приготовлены самые редкие товары: фольга и «дикого цвета» бархат. На эти товары и на султана Рахман-Аяза очень надеялся Федор Малых.

— Уж я-то его сумею обуздить. Я покажу вам, какой он двусторонний.

Работник в богатом, «для гостей», искристом бешмете пригласил нас к султану.

Возле дверей, на полочке, качался ручной беркут, голова его покрыта легоньким колпачком. Султан сидел в глубине юрты, на белых коврах, возле кумысного турсука, из которого торчала мешалка. Вдоль стен казанские сундуки, обитые яркой жестью, через открытый верх юрты солнце золотилось на сундуках. По правую руку от хана сидела увешанная серебряными монетами, в круглой бобровой шапке с павлиньими перьями, в фаязовом кафтане и розовых сапожках его дочь, круглолицая Нюр-Таш.

Снаружи султан был какой-то эмалевый, а изнутри... мне показалось, что его сдвинуть невозможно.

Рахман-Аяз хорошим русским языком говорил Федьке:

— Что такое жизнь? Жизнь, молодой человек, это не извод положенных

вам сил, а сдвигание вас с очень большими явлениями природы. Вот я веду по нескончаемой степи свои бесчисленные стада и в середине лета привожу их к моим горам. В моей семье растут возвышенные души. Мы уже видали много гор, много степей, теперь мы хотим увидеть море. Разве вы сможете продать мне море?

— У меня есть фольга, лучших варшавских фабрик. Уверяю вас, господин султан, что она цветом лучше любого моря.

— Красота понятна даже скоту. Я вожу свой скот по самым красивым местам. Такого принципа не выдвигал еще ни один скотовод. У меня скот жирнее голландского. И вот теперь я жду со дня на день покупателей из Китая. Весьма возможно, что моих кобыл, мой кумыс потребуют ко двору китайского императора.

— Прямой свет, не отраженный, лучше даже и не в торговле, — ответил вежливо Федор.

— Но ведь в Китае революция, — сказал я.

Федька остро взглянул на меня. Федька знал — русские чиновники избирают Рахман-Аяз. Он весь в долгах, сундуки ему продают втридорога. Из уважения к императору Китая он отдаст свой скот за гроши, в погоне за красотой и возвышенностями султан изменил вековые кочевые дороги своего рода. Прочие киргизские рода на него обижались и воруют у него скот. Вообще здесь много можно украсть, но как?

Нюр-Таш подвинулась ко мне. Я подумал — она хочет спросить меня о китайской революции, но я забыл и причины, и все, что сопровождало революцию, все, прочитанное мною в «Огоньке». Я знал гораздо больше о Панамском канале, о живом бронтозавре, найденном в болотах Северной Радезии; о том, что, по свидетельству Карла Гагенбека, местожительство чудовища находится в озере-болоте между реками Лунга и Кафу; о кораллах и коралловых островах; о парадоксах равновесия; о находках микенско-финикийского периода; о собирании почтовых марок; о межзвездных пустынях и обо всем другом, что я

читал в «Природа и люди» и «Вокруг света».

Нюр-Таш вся бальзамическая, душистая, опрятная. Она чистит все, что ей попадает в руки. Она многим походила на меня: лунообразное лицо, коротенькие ручки, серые глаза, окаймленные припухлыми веками, впрочем, на киргизский вкус я тогда был очень красив. Кроме того, она смотрела на меня, как на вещь, которую необходимо вычистить. По правде сказать, я давно не мылся.

Она положила на мои ладони свои руки и быстро сказала:

— Я люблю тебя.

Впервые в степи, у гор, которые я видел тоже впервые, на чужом языке мне суждено было услышать это слово. Услышать от чужой девушки, из народа, который казаки иначе не называли, как «немаканным» или «собачкой». Сердце мое треснуло, голова закружилась.

— Я тебя люблю, — сказала Нюр-Таш громко, — протяни мне свою голову. Зачем тебе в такую жару волосы? Их надо снять. Ты будешь совсем круглый и хороший.

Во мне все томилось и ликовало. Но я молчал и не двигался к ней. Я боялся султана. Рахман-Аяз трунил над Федькой и одним глазом поглядывал на нас.

Федька жадно пил кумыс. Ему наверно казалось, что он сейчас выпьет все богатства султана.

Султан описывал Бухару и свою поездку туда. Ему не нравилась бухарская неопрятность. Бухарский эмир за отличную и умную деятельность султана в области распространения магометанства обещал орден. Да, Рахман-Аяз исправит всю степь, наполнит ее просвещением, науками, обновит магометанство и перенесет «купол Ислама» из Бухары к подножьям своих гор!

Нюр-Таш перетрогала все мои одежды. Глаза ее сверкали. Как она вычистит меня! Только мои глаза казались ей достаточно прочищенными, да и то потому, что серые.

— Я убью себя, если ты меня не полюбишь, — сказала она.

Я уходил оробело, натываясь на телат, на кобылицу.

Я совсем взрослый!

Я ушел далеко в степь, будто бы смотреть спутанных коней, и здесь долго плясал и прыгал.

Тут же, на киргизском языке, я составил стихи:

Кыздарай учун Юртуп-нан базарнан
Барыб кельдемауй, дейды.

Юртуп-нан базарнан быр кебис алдымауй,
дейды.

Быр кибис-сын багасы — крык мын теньга,
Кыздарын суйтнены; багасын чэк, дейды¹⁾.

Когда я вернулся, Нюр-Таш стояла возле нашей лавки. Федька раскидывал шелка.

— Назначай любые цены, — говорила она, — отец купит, потому что я люблю твоего приказчика. Назначай, хотя ты и мошенник. Но и мошенника украшает любовь.

— Такого отца нельзя не любить. Прикажете мне его уведомить: не о любви, а о ваших покупках.

Я прочел ей стихи.

Она смеялась, прямо в лицо Федору, а тому казалось, что он поймал самую главную ловкость в своей жизни. По-разному мы все были довольны. Я помог Федьке достать «дикий» бархат и золотую фольгу. Цвета индиго, с удивительным ворсом, мягкий, легкий, этот бархат пришел в нашу степь из далекой страны Франции. Он стоил 18 рублей аршин, сбоку у него выткана европейскими буквами фамилия фирмы, его приобрел накануне убийства купец Лыкошин для любимой своей шансонетки. С великим трудом выпросил Федька Малых этот кусок в степь с собой. И поэтому-то Федька страстно желал поймать кочевья Рахман-Аязя.

— А фольгу для короны, — говорил он. — Непременно, если хан купит бархат, то пожелает соорудить королевскую корону. Здесь бы так изворотиться, чтобы бархат рублей по полтораста за аршин продать. В куске-то 25 аршин.

Но Нюр-Таш отвернулась от бархата. Она смотрела на меня и говорила Федьке:

— Я люблю его.

Мы готовились обедать. Она велела вымыть мне ложки и так ловко поставила мои пальцы, что ложки отчистились, как никогда. Везде она уничтожала грязь и пыль.

— Идет к ней чистота, — подобострастно говорил Федор.

Беспокойство осенило меня. «Неужели всякая любовь беспокойна» — впервые пришло мне в голову. Перед закатом Нюр-Таш поцеловала меня в щеку. Вернулась и прижалась к моим губам.

Я встал рано, с рассветом. Я вычистил чайник, с мылом промыл чашки, принес из колодца шестнадцать ведер воды и вымыл колеса телег. Я вымыл гривы коней, заплел их хвосты. Я вычистил сбрую и смазал маслом хомуты.

Пришел султан Рахман-Аяз, сонный, плотный, малорослый. Мы расстелили для него новую кошму. Солнце стояло над головами. Киргизы робко уселись поодаль. Нюр-Таш стала рядом со мной, за прилавком.

— Какие же товары дадим вам вначале? — спросил Федька.

Сегодня султан казался мне лентяем, соней, что называется все вместе «байбаком». Сонно он указал на меня пальцем.

— Лучшие товары имеются, — сказал Федька.

— Дочь мне призналась.

Окружающие киргизы подтвердили вздохами султанский вздох.

— Я не буду спать много ночей, — сказал медленно Рахман-Аяз. — Будь бы я иным, безвозвышенным и бессовременным, я бы плюнул этому молодому приказчику в морду и сказал бы: запрягайте ваши фуры! За мою дочь уплачен калым, у моей дочери есть богатый жених. А мне она признается в любви к приказчику. Позор! Стыд! Но я хочу вместе с ней любоваться тайгой и морем и вместе с ней поехать путешествовать в Париж и Америку. Она одной крови со мной. Она убьет себя, если я ей откажу.

— Убьет, — подтвердил Федька.

Я придвинулся ближе к Нюр-Таш.

¹⁾ Ради девушки ездил в Урлютюп я на ярмарку,

В Урлютюпе на ярмарке

Купил я ей башмаки.

Башмакам цена сорок тысяч рублей,

А поцелую любимой — цены нет!

Султан продолжал:

— Имей этот приказчик черные глаза, он был бы совсем красив, а то словно капнули на лицо загрязненным молоком. Впрочем наш род всегда имел глупые вкусы.

Я потушился.

— Не обижайся на правду стариков, молодой человек, не обижайся и далеко пойдешь. Ты хочешь на ней жениться? Как тебя зовут?

— Всеволод.

— Я отдам ее за тебя, Сиболот. Хочешь?

— Хочу!

Хан ушел.

Федька чувствовал ко мне уважение. Вот план, который он придумал. Вот что значит далеко предвидеть. Вот что значит французский бархат. Теперь он продаст не только бархат, но и все, что есть в этих фурах; все, что есть в Урлютюпе на складе! Хан приглашает нас вечером к себе! Он режет жеребенка, десять жеребят, он устраивает трехдневный «той», пир! Что поделаешь, если его дочь полюбила русского? Обидно, правда, что даже не только не офицера, но даже не купца, а приказчика, мальчишку...

— Кажись, мне пятнадцать лет, а женятся только восемнадцати, — сказал я.

— Подделаем документы.

Я опять плясал в степи. Я счастлив.

Перед солнечным закатом мы подошли к юрте хана.

Высокий холм весь покрыт белыми кошмами. Внизу расстилалась долина.

Федька весь день не ел, готовясь к пиру. Он велел надеть мне чистую рубашку, отрезал шелку на пояс и дал на время лучший гребешок. Он дрожал от жадности — и боязни за будущую подделку документов, которые б подтверждали мои 18 лет. Страшился он и гнева моего отца, хотя совершенно не знал его характера:

— Как-никак на немаканной женишься. Султанская дочь, а все равно казачки в свои семьи не пустят.

— А мы уедем.

— А деньги? Я же все деньги заберу у хана. Опять ты, Сиволот, будешь в полной зависимости от меня.

К белому холму со всех сторон верхами с'езжались киргизы. Каждый всадник долго держал в своих ладонях руку Рахман-Аяза. Вскоре все кошмы прикрыли разноцветные халаты. Нюр-Таш сидела со мной рядом. Работники, багровые, лоснящиеся от жара, внесли громадные корыта вареной «казы». Самое большое корыто они поставили перед султаном.

Рахман-Аяз положил жирный кусок жеребятины своими пальцами мне в рот.

— О-о-о... — почтительно промычали киргизы.

— Да, это так, — сказал Рахман-Аяз, вытирая о бороду жирные пальцы, — это так. Моя дочь полюбила приказчика, а по всему миру передают: я современный и ученый. Ученые же мудро говорят: зачем угнетать детей, пусть они идут своей дорогой, а ты, старик, своей. Так ли? Мне хочется видеть моря и леса, а им — свое сердце. Пускай лежат в юрте и смотрят друг у друга в сердце.

Из дальних рядов спросили:

— Много ли у приказчика скота?

— У него нет скота.

— Его отец купец?

Еще более дальние ряды спросили:

— Или офицер?

Рахман-Аяз ответил:

— Нет, его отец мулла.

— В большом городе мулла или где поменьше?

— Его отец — мулла в поселке Лебязьем. Приказчик очень бедный и глупый мальчик, но моя дочь балованная, и что я с ней могу сделать, если я уважаю науку?

Передние ряды сказали:

— Ты поступаешь правильно, Рахман-Аяз.

— Еще бы не правильно? Говорите, у него нет скота. Я сейчас покажу вам, сколько он будет иметь скота, когда я умру.

Федор Малых наклонился к моему уху и прошептал:

— Заболванит он тебя. Ты на меня, Сиволот, все свои надежды направляй.

Подали шкатулку. Рахман-Аяз долго рылся в гербовых бумагах. Со дна он

достал шелковый платок, большой и лиловый. Рахман-Аяз высморкался в платок, затем высоко поднял его над головой.

Всадник поскакал на закат. В спину ему била жемчужная луна.

Не успели с'есть второе корыто «казы», как в степи послышался глухой гул. Рахман-Аяз указал мне платком на следы заката. Нюр-Таш наклонилась ко мне и протянула чашку с кумысом, указывая то место, куда прикасались ее губы. Я допил кумыс.

Федор Малых начал торопливо и невявязно рассказывать султану о замечательных бархатах. Султан не слушал его и смотрел на закат.

Сначала проскакали внизу холма по ложине, потрясая укрючинами, пастухи в лохматых малахаях. Они вернулись в степь, затем пошли стада.

Бежало мимо нас множество коней, молодых, необезженных, непрерывным потоком. Они шли часа два. За ними двинулись солидные обезженные жеребцы. Они ржали, от них несло потом, тяжелая пыль колебалась над стадами. Позже медленно двинулись кобылицы, окруженные жеребятами. Лоснились и сверкали под тонкой луной конские спины. Скот шел тесно. Мелькали рога коров, мычали бугаи, прыгали телята, и вот наконец двинулись овцы, прищелкивая копытцами. Это прищелкивание долго стояло у меня в памяти.

Овцы шли всю ночь.

Федор Малых вис на моих плечах.

— Вот оно, хозяйство-то! — бормотал он одно и то же. — Вот оно, хозяйство! Какое? Неужели я его все украду?

Мне опротивел его гнусавый голос и то, что вещи падают из рук, словно у него нет пальцев. Сейчас, видя его радость, я подумал — чему он радуется?! Даже мне, ослепленному любовью, видно, что случилось: султан сегодня узнал о любви дочери и тотчас же согласился на брак. Это возможно. Но нельзя в тот же день согнать со всей степи стада. Федор Малых знает не меньше меня законы степи. Сердце мое заболело: а не ищет ли хан предлога, чтобы похвастаться своими стадами?

А стада все шли и шли.

Вновь — кони. Теперь они разделены по мастям. Идут белые. В тумане рассвета они издали похожи на розовый пух. Мы устали и уже не слышим топота и крика пастухов. Многие из киргизов, опившись кумыса, спят.

Попрежнему сверкают глаза Нюр-Таш. Попрежнему султан Рахман-Аяз говорит о высоких и длинных путях. Он непременно привезет сюда из путешествия моторную лодку. Федька Малых гнусавит: «А где же здесь вода?» Султан Рахман-Аяз будет в ней кататься на верблюдах. Или поставит ее на сани. Рахман-Аяз зевнул. Я стремительно хотел спать. Я устал думать о богатстве и о любви.

Киргиз с длинным и вишневым ртом, сидевший против меня, спросил:

— А как же вера?

— Вера есть вера, — зевая, сказал султан. — Сколь искусственно ни составляй скорлупу, если она без зерна, то не получишь плода.

— Вот и я то же самое говорю.

— Выходит, мы с тобой согласились, и потому ляжем спать.

Длинноротый указал на меня.

— А как же его вера? Его вера одна. Его жены вера другая.

— Его вера одна?

Султан погладил меня по голове.

— Этот приказчик всех перегораздит выдумкой. Их вера будет одной, ибо только истинной вере могут принадлежать такие стада. Что дала ему его вера? Этого? — И он указал на заснувшего Федора Малых. — Твоя вера будет истинной верой. Ступай спать, сыннок.

Я сильно ударил Федьку в плечо. Он закачался и сел. Я тихо сказал ему:

— Я не верю ни в того, ни в другого пророка, я не верю ни в Магомета, ни в Христа, ни в Будду. А кроме того, я не желаю брить голову и производить над собою обряд обрезания.

Федор смотрел на меня заспанными и злыми глазами. Он был слегка напуган: столько «против» встало перед ним. Опять не удастся свершить великую кражу! Этот русский, этот христианин, этот богомольный и богобоязненный казак готов был продать меня. Как я оди-

нок, как мне жаль себя! Я обернулся к Нюр-Таш и протяжно сказал:

— Я не хочу быть магометанином.

— Наша вера опрятнее, — ответила Нюр-Таш.

Ее глаза переменялись. Она осуждала меня. Я понял — мне не убедить ее. Я горестно встал во весь свой рост.

— Я не хочу быть магометанином!

Рахман-Аяз одобрительно прислушивался к тому ропоту, который окружал меня.

— Приказчик, ты глуп и неуч. И ты никогда не будешь ученым. Что такое для ученого вера? Для него важна наука. Стада дадут тебе науку, а не этот... — Он пренебрежительно толкнул ногой Федьку. — Ты бы научился многим наукам, приказчик. Ты бы мог, через мое богатство, довести мой род до самого синего моря. Моему роду не хватает кораблей.

— Чего? — спросил я.

— Кораблей. Рахман-Аязу пора сломать перегородку песков и плыть по обыкновенному синему морю.

— Правильно, — подтвердили киргизы, — нам пора быть мореплавателями!

Рахман-Аяз махнул направо и налево шелковым своим платком.

Киргизы расступились. Они хохотали.

Нюр-Таш сказала мне вслед. В голозе ее мне послышался смех:

— Ты просто глуп.

Пьяного Федора вели под руки.

Работники торопливо запрягали коней. Федора положили вглубь фуры, на тюки. Я пытался ругаться: нам нужно торговать. Работники злобно посмотрели на меня; испуганно — на ханскую юрту. Я все понял. Кони побежали крупной рысью.

Мы мчались краем лощины. Трава истоптана. Это следы бесчисленных стад. Еще висит над травой их запах. Это как бы высыхающая река.

Федька Малых сладко спал. Горы оставались попрежнему высокими, но аул уже давно скрылся. Я был как бы в беспамятстве.

Работники вглядываются.

Всадник скачет по следам нашего обоза.

— Забыли на «тое» бумажник, что ли? — переговаривались киргизы.

Бобровая шапка подпрыгивала, развевались перья.

Нюр-Таш на полном скаку прыгнула из седла ко мне в телегу. Конь ее бежал рядом, посматривая на меня. Работники тотчас же остановили фуры. Они не желают умирать за то, что угнали девушку.

— Вы дураки! — крикнула им Нюр-Таш.

Она поцеловала меня. Я плакал. Большим шелковым платком, таким же, каким махал ее отец, она утерла мои слезы и повязала мне платок вокруг шеи. Она положила мне в руки кусок душистого мыла, в блестящей красной обертке, где был нарисован черный персианин в желтой чалме; зеркальце; гребешок в розовом футлярчике.

Нюр-Таш молча прыгнула с телеги в седло, огрела нагайкой работника, который торопил ее. Она повернула коня. Мне хотелось спросить, что же она думает о своем отце, но слезы помешали мне.

Фуры двинулись дальше.

7

Федор Малых возненавидел степь.

— Цветец недурён, да голова от него болит, как бубён.

Он придумывал всегда чрезвычайно глупые поговорки.

Я скучал по печенуому хлебу, по людям, которые бы говорили более понятно, чем Федька. Торговали мы плохо. При первых заморозках Лыкошины решили вернуться нам в Урлютюп.

Дули холодные ветры, низкие тучи почти волочились по травам. Вставать утром трудно, морозно, дождь. Дорога тяжелая, чем ближе к Иртышу, тем больше глин. Мы закутывались в овчины, дождь их быстро промачивал, а сушить негде.

Мы увидали на лугах стога, еще дальше — и вот синее Иртыш. Мы приближались к парому.

И вот здесь-то я совершил подлинный героический поступок. Я давно и много описывал героические свои поступки. Юноши уважают меня. Но я сомне-

ваюсь в героичности всех моих поступков, кроме этого.

Двинулся внезапно лед и вокруг нашего парома образовался затор. Нас затерло «шугой». Нас могло раздавить. В месте нашей переправы Иртыш шириною километра в три. Колеса парома действовали плохо. К счастью, льдины начали тянуть нас к берегу. Нужно было доставить канат. Паромщики, Федор Малых трусили и только хрипло кричали казакам, стоявшим на берегу:

— Чего же вы канат не даете?

Казак так же хрипло отвечали:

— А вы чего не даете?

Какая брехня поднялась вокруг меня! Казаки внезапно окружили меня и начали хвалить. Я вспрыгнул на коня, взял в руки конец бечевки. Казаки столкнули коня с парома. Вода нестерпимо холодная. Сознаюсь, я очень испугался. Я обвил ногами лошадиную шею, уцепился рукою за гриву. Конь плыл искусно, минуя льдины. Когда конь выскочил на берег, я не смог его остановить. Я бросил бечеву казакам, и конь помчался вперед. Он страстно желал согреться. Я узнал «джетаки», деревянную церковь, лавку Лыкошина. Я свалился в лужу возле дома дяди моего Кузьмы Македонова. Мокрый, дрожащий, но довольный своим геройством, я вошел в дядин дом.

Клавдия, девушка с зелеными сережками в ушах, стояла на табурете, поправляя лампадку перед иконой. В кухне попржежнему тихо и опрятно. Я ожидал, она спросит: где это я ухитрился так вымокнуть. Она сказала с незнакомым мне набожным лицом:

— Разве ты у нас будешь жить?

Ее набожность быстро слетела. Она ее приготовила для Кузьмы Македонова, она его пугала богом и какими-то особыми молитвами.

Я желал сообщить о моем геройстве. Она выслушала и спокойно сказала:

— Ноньче шуга красивая. Ступай в баню. Веник в сенях.

Она отправила меня в баню не потому, что боялась — парень захворает, а просто ждала Кузьму. Она пошла со мной и опять-таки не для того, чтобы проводить меня, а полюбоваться на ле-

доход. Она могла часами смотреть на природу. Она вставала ночью и слушала, как течет Иртыш, уходила в степь, знала все цветы и запахи их, она готова всю жизнь провести в деревне, не понимала она людей, восхищающихся городом. Дядя Кузьма возил ее в Омск, показывал театр. Она сказала спокойно:

— Балуются, жизнь-то скройней.

Она недоверчивая, замкнутая. Я ее спросил о Лыкошинах. Она уклончиво ответила:

— Много про них болтают, а зря. Люди в полном мире живут. Сам-то приехал, выпустили его, передурил он всю положенную ему дурь.

Но спокойствия в доме Лыкошинах я не нашел. Купчиха Юлия Лыкошина неустанно бродила по комнатам, множество вещей окружало ее, а ей все казалось, что комнаты чересчур просторны. Сам Давыд Лыкошин помещался в крошечном чуланчике, на другом конце дома. Говорят, он сожалел, что ему не удалось посидеть в тюремной одиночке, сидел он в общей. Дядя Кузьма Кузьмич радовался: приехал хозяин, даст настоящие распоряжения. А Давыд Лыкошин распорядился так же, как и прежде: скупать кожи и масло, а это теперь совсем невыгодно. Масло вырабатывали новоселы лучше киргизского. Заказов на кожи не имелось. Распорядился также Лыкошин: прекратить Кузьме Кузьмичу встречаться с Юлией. Кузьма Кузьмич подчинился без протеста.

Давыд Лыкошин упрям, самолюбив. Узкое лицо его обведено жесткой каймой рыжих волос, зубы перемолотые, вставные. Ему казалось — он все знает наперед.

— Не кожи надо заготовлять, — говорил дядя Кузьма.

— Кожи негожи, и рожи для одежи — тоже не кожи, — без всякого почтения вставлял Федор Малых.

— Другое снадобье пора заготовлять. Я полагал, он в тюрьме его придумал.

Лыкошин верил, что товары, которых никто не покупал, он продаст на ярмарке, зимой. Три года он думал в тюрьме — правильны ли все принимаемые им раньше решения? Получалось, правиль-

ны. Так он и будет поступать в дальнейшем. Он брал в кредит дорогие товары. «Не потому ли он полюбил шансонетку, — думал я, — что на ней такие драгоценные камни, какими он, Лыкошин, не мог торговать?»

Наготовили длинные мешки пельменей. Готовили их два месяца, всем домом. На ярмарку поехали тоже всем домом.

Снега. Укатанные ухабы. Мы шли возле возов в новых полушубках и длинных валенках. Постоялые дворы в станице Ремолинской переполнены. На площади новые дощатые балаганы. Купцы в толстых шубах, а сверху еще тулупы с громадными воротниками. Нам тоже выдали тулупы.

Давыд Лыкошин радовался: его балаган самый богатый и пышный. Ночью приказчики посменно караулили внутри балагана. Мы грелись возле лампы «молнии» и возле самовара. Стояли прозрачные и холодные ночи.

Выйдешь, площадь пустынна, сквозь щели балаганов видны в лавках желтые «молнии», небо черное. Приказчики ходили из балагана в балаган гостить, играли в шашки и хвастались, у чьей хозяйки больше любовников.

Лыкошин привез шелка, бархат, дорогие сладости, серебряные украшения для седел и хомутов, сафьяны — зеленые, красные, голубые. Товар превосходный, но торговали мы хуже всех.

Лыкошин рано утром приходил в балаган и выгонял приказчиков. Видимо, ему приятно было сидеть одному. Он читал под нос библию.

— Уважение надо внушать покупателю, чего его приманивать, чего его переманивать. Хороший товар сам приведет покупателя.

Приказчики убирали коней, распаковывали тюки. Лыкошин вдруг приказывал запаковать один товар и раскрыть другой.

Вечером ели пельмени и пили водку. Лыкошин быстро съедая несколько тарелок пельменей, выпивал два стакана водки и уходил к ярмарочным девицам. Кузьме Кузьмичу хотелось остаться с хозяйкой, но он все-таки шел за Лыкошиным, ища распоряжений. Юлия Лы-

кошина сумела и здесь нагромоздить вокруг себя множество вещей. Видимо, ей было лень останавливать Кузьму Кузьмича, она придвигала к ногам любимый свой желтый чемодан, доверху наполненный мельчайшими штучками: костяными собачками, металлическими жучками, слониками, раковинами, какими-то искусными монетами, принадлежавшими некогда великим угодникам перед самым их уходом в спасение.

Кузьма Кузьмич никогда раньше не говорил со мной, но Клавдии нету, и он сообщал мне свои огорчения:

— Разоряется Лыкошин, а Юлия Петровна охорашивается, жеманная, с чего б?

— Как же быть?

— Мозги надо Лыкошину жать...

— Ему не сжать, а как бы пожрать, — вставлял Федор Малых. — Где бы мне такой подход найти, чтобы кредиторы все эти товары перекинули вместо своих складов ко мне?

Кузьма Кузьмич покорно готовился к бремени разорения. Приказаний и распоряжений он не умел искать, на себя он не надеялся. Так оно и шло.

Наш балаган разбирали последним. Лыкошин ждал: придут-таки покупатели. Они не пришли. Наши обозы бешено гнали в Урлютюп, словно мы там могли застать покупателей. Но и в Урлютюпе нас забыли. Лыкошин выгонял приказчиков из лавки и сидел один. Он не показывал выручки, не позволял заносить ее в книги, он надеялся еще кого-то обмануть. Подвоз товаров прекратился. К новому году Лыкошин должен платить по векселям.

Год велик только избытком снегов, — вздыхал дядя Кузьма.

Дом дяди Кузьмы на высоком яру. Мы полади яр водой от верху до середины Иртыша.

Лды завалены снегами, а, говорят, в бесснежные зимы Лыкошин подковывал коня на стальные шипы и скакал по льду, держась за вожжи, привязав к ногам коньки. Девки влюблялись. Клавдия рассказывала нам о его победах. Заложив пальцы в рукава, она говорила:

— Как прекрасно, величественно! Я обожаю лед, по которому еще никто не катался.

Мне нравились ее книжные слова, ее определения чувств, ее особый взор на природу. Она помогла мне увидеть иной Иртыш. Я замечал волчьи следы по снегу, понимал хитрый рисунок их. Сквозь снег пробиваются льдины, и каждая иная: зеленовато-бурая, глинистая, клюквенная. Водовоз поднимается с бочкой по яру, и от его бочки откалывается и падает лед коленкорового цвета.

— Чудесно ты, неизвестного творение... — медленно волочила Клавдия слова.

Когда ей хотелось сказать при посторонних о боге, она мешалась и мямילה. Она готовила резкие слова о боге и его гневе для Кузьмы Кузьмича!

Клавдия низко повязывала платок и садилась в мои санки. По казачьему обычаю, скатив девушку, я мог поцеловать ее. Я стеснялся, и девушки деловито сами целовали меня.

Чем дальше уносились в снега наши санки, тем крепче Клавдия целовала меня. Избежать бы этого целования, — она целует не меня, а природу! Если санки опрокидывались, Клавдия долго лежала. За шалью таял снег. Снег забивался в ее валенки. Она, казалось, не имея сил встать, смотрела вверх во все глаза и говорила:

— Как прекрасно! Смотри, какой закат, и как все изменилось.

Я уважал ее, я желал такой же способности видеть и понимать природу, хотя меня больше всего тянуло к людям. Я старался быть подольше возле Клавдии. Я вставал рано, поливал дорожку, чистил санки. С каждым днем ледяная струя все дальше и дальше уходила по Иртышу.

Я ждал от Клавдии удивительных поступков. Где ей любить дядю Кузьму? Оба они цепляются за грех, словно если они расстанутся с этим грехом, то они совершат другой, еще более страшный. Они цепляются за бога и лампадки! Бог должен быть разрушен мной. Мне казалось, Клавдия лишь со мной

откровенна. К другим в санки она не садилась. Я не спал ночей. Я пылал. Я опять любил.

Дни и ночи я думал о Клавдии, об ее скрытой любви ко мне. Ну, что ж? Пусть! Вначале она целует меня, как всю природу, но придет час, когда она поцелует меня, как человека, самого важного для нее! Недоверчивая, замкнутая, искалеченная праздной казачьей жизнью, она менялась, когда мчалась в санках к удивительным снегам, что иные каждый час. Так что, видите, я не был заинтересован в кожах. Их выдумал другой приказчик. Вечером, в одно из катаний, кто-то притащил кожу, широченную юфть. Множество парней и девушек уселись на нее с визгом и хохотом. Я виноват только в том, что чрезвычайно выгладил ледяную дорожку. Кожа неслась по ней не хуже сапок.

Клавдия села в мои санки. Она отказалась от кожи. Это было похоже на свиданье. Забрехала измена! Пусть поплачет дядя Кузьма Кузьмич. Я вел санки безрассудно. Они опрокинулись на половине дороги. И все-таки Клавдия крепко поцеловала меня. С яру послышался голос дяди:

— Клавдия, иди, поставь-ка мне горчичник, что-то в боку закололо!

Я долго катался один. Клавдия не пришла. Ну, придет завтра.

Утром Федор Малых дал мне тяжелый ключ.

— Принесешь шесть ящиков розового «Эйнем» и ящик гильз Катыха.

Наконец-то я открою сладкий склад!

Я медленно повернул ключ. Распахнул высокие двери. Липкий мешок с урюком стоял у моих ног. Я не имел сил перешагнуть. Я набил карманы брюк этим урюком. За урюком лежал мармелад. Я сразу вскрыл две коробки. Рядом шоколадные конфеты. Длинные, толстые, они лежали аккуратными рядами в тонкой оболочке. Я совал их в карманы, совал в рот. Из конфет брызгало вино. Я был хмелен, весел, сыт, я обладал подлинным счастьем. Я ел и ел. Мне хотелось найти такие конфеты, которые сегодня же вечером можно было поднести Клавдии. Я раскупорил не-

сколько ящиков. Мелочь, мелочь, мне нужна конфета в кулак!

Я увидел узкий металлический ящик с наклейкой на чужом языке. У дверей валялся топор. Я сбегал за топором и рубанул им по ящику. В щель сверкнуло что-то жидкое и розовое. Я попробовал на палец. Это было похоже на мед. Я сунул палец в рот. Остро, приятно, вкусно... Но как это назвать и во что налить?

Тут меня схватили за ухо.

Я встал. Я понял все, что произошло.

Я готов отвечать.

Давид Лыкошин скалился. У него злое зеленое лицо, рыжие волосы:

— Он испортил кожи!

Кузьма Кузьмич смущенно смотрел в сторону.

— Судя по конфетам...

— И ты еще, Кузьма Кузьмич, можешь переносить такого племянника? Я ставлю тебе в счет все, что он слопал.

— Слушаю-с, — покорно сказал Кузьма Кузьмич.

Было и стыдно, но было и приятно причинить гадость дяде, которого я ревновал к задумчивой Клавдии.

Я пришел на кухню. Увидав меня, Клавдия ушла в горницу. Дядина сестра вынесла мне мой узелок. Меня посадили к ямщику, возвращающемуся в Павлодар.

Тетка Фиоза попрежнему лежала в постели, поправляя атласное одеяло пышной, розовой рукой.

Дядя Василий Ефимович, улыбаясь, прочел письмо двоюродного брата Кузьмы Македонова. Василию Ефимовичу я, видимо, нравился. Я чем-то походил на те кривые здания, какие он строил. Он посмотрел на мои губы.

— Придется устроить тебя, где кушанье не занозистое. Надо что-нибудь тебе, Всеволод, все-таки перенимать у людей.

Он устроил меня в павлодарскую типографию, принадлежавшую Викентию Ивановичу Владычкину.

Мать униженно благодарила Василия Ефимовича. Она все еще служила у сестры.

Я поселился у тетки Фелицаты. Она готовилась поить чаем киргизов. С вер-

ховьев Иртыша уже двинулись плоты.

Я вышел на яр. За Иртышом темнели Три Острова. Налево — затон и пристани с пароходами. Я привыкал к городу.

Сестра Марья почти не разговаривала со мной. Вместо акушерки появился новый квартирант, о котором Марья с уважением рассказывала, что он каждую субботу ездит в публичный дом, получает в казначействе 75 рублей жалованья. Вдов, у него дочь шести лет, припадочная. Квартирант ходил в форменной тужурке, с такой необыкновенно аккуратной бородой, что она мне казалась почему-то бряцающей.

8

Я приходил в типографию к семи часам утра. Я поил белого и жирного коня, помогал кухарке таскать дрова, давал коню и коровам корм, подметал типографию, а когда приходили рабочие, то вертел колесо печатной машины. Перед обедом я опять поил скот, подметал двор и уходил к тетке Фелицате. Наскоро проглотив несколько тарелок щей, я опять возвращался вертеть машину. Привыкать к верчению было трудно. Я потел, задыхался, спина болела, вставать утром трудно. Недели через три я привык. Я вертел одной рукой и думал о тех книгах, которые я брал в городской библиотеке, о тех странах, где мне непременно нужно побывать. Печатник Бьюков пел песни. Иногда я подтягивал ему.

Типографщик Владычкин имел одну скоропечатную машину, четыре реала со шрифтами, маленький тискальный станок, большой тискальный станок для афиш, крошечную переплетную с ножом для резки бумаг, с папшером и набором шрифтов для золочения корешков. Я с удовольствием шел в эту типографию. Я проходил берегом, мимо прогимназии. Миновав две улицы, сворачивал к двухэтажному дому, в подвале которого мы работали. Вскоре оказалось, что дорогу я выбрал счастливую.

Однажды, возвращаясь с обеда, возле прогимназии я встретил девушку под громадной черной шляпой. Она шла,

размахивая желтой сумкой, я оглянулся ей вслед. Меня удивили ее голубые глаза. Она оглянулась.

Каждый день ровно в два часа я встречал ее. Она оглядывалась. Я быстро выучил лихой поворот ее черной шляпы. Я останавливался и смотрел ей вслед. Это была дочь владельца павлодарской гостиницы господина Шмидта. Он славился длинными рыжими усами и еще тем, что ездил по городу верхом на толстом вороном коне. У нас полагалось ездить верхом только в исключительных случаях, только в степи. Верхом ездят «немаканные», порядочный мещанин или казак должен ездить в таратайке.

Господин Шмидт, развеивая усами, мчался верхом по городу. Вечером, когда горожане выходили гулять на яр, взад-назад от кинематографа к складам «Пароходства Плотниковых», господин Шмидт скакал по яру, и все шаркались от сверкающих копыт вороного его коня. Ах, не эти копыта раздробили мое сердце, а черная шляпа его дочери, голубые ее глаза!

Тихо гуляла по яру его дочь. Локны падали ей на плечи, черное платье сказочно обтягивало ее стан! Как я любовался ею. Расслабленный, пораженный, я проходил мимо нее. Она оглядывалась на меня. Я оглядывался на нее. Я, очень довольный, уходил спать. Как бы да мне и впрямь только так оглядываться на девушек!

Печатник Бьюков тяготил меня своей аккуратностью. Он желал, чтобы при печатании непременно выходили все буквы, он долго подклеивал на барабане, выстукивал, ровнял краску. Таков он был и в остальной его жизни. Квадратный, с длинными, темными зубами, похожими на железные гвозди, он говорил:

— Варвары вы, а я во всем сам разбираюсь. Обопрусь на свою совесть, и разбираюсь.

Наборщиком работал Гришка Заботин, — он себя звал любовно скороговоркой: «Гришкамаленький», — крохотный, в диагональных синих штанах, синей куртке в обтяжку, по праздникам он надевал лаковые сапоги и чесучевую рубашу. Кроме этой одежды, он не имел

никакого имущества. Всякое имущество он считал обременительным, путающим людские отношения. Он бранил Бьюкова за стремление скопить на дом:

— А если ты захочешь бросить дом? Ведь трудно!

Бьюков не понимал.

— Как же бросить? Раз я всей своей совестью решил иметь дом и украсить его.

— А если твои близкие начнут уговаривать тебя бросить дом?

— Кто меня будет уговаривать, если я сам внутри себя разбираюсь.

Бьюков презирал Гришку: «Легко плавится, будто олово». Гришка, если видал, что мимо окна бежит красивая кошка, он догонял ее, лез даже за ней на дом, ухаживал и кормил ее несколько дней, а затем покупал ей бант и дарил кому-нибудь. Если он видел серьезного фотографа, он поступал учиться в фотографию. Его пленяли стекольщики; девушки с крикливыми голосами: «во всю варешку». Работал он небрежно, держал его потому, что в Павлодар, в унылый городишко, наборщики не приезжали. Я не понимал, чем же Павлодар уныл, мне казалось, в нем могло сбыться все, о чем мечталось.

Печатника Бьюкова постоянно сопровождал Иона Зипунов, наш переплетчик. В опрятнейшей холщевой рубаше, с черными усами, высокий, он пугал меня своими знаниями: о переплетном деле, о золочении, о брошировке. Он часами рассказывал о замечательных переплетчиках, которые наживали «тысячи-тысяч», но сам он работал плохо. Любил он рассказывать, как пришлось ему служить в солдатах, унтером, как он, конвоируя, заразил плохой болезнью «политическую». Этот рассказ особенно пугал меня и возмущал. Я знал о политических только то, что они ходят в черных рубашах, с кожаным ремнем, волосатые (я сам носил длинные волосы до плеч), что политические убивают исправников, что политических вешают. Я жалел их. Иногда Иона Зипунов напивался и лез ко всем «своевольничать». Он начинал с «кухарки Анисьи. Он приходил на кухню и многозначительно говорил:

— Я такое знаю о переплетном деле, посмотри на меня ласковой, Анисья.

— Щука сома не с'ест, — отвечала так же многозначительно Анисья.

Анисье лет девятнадцать. Ловкая, с густыми бровями и ресницами, похожими на щетки, она чуждалась рабочих. Все мы знали, что она желает открыть трактир, что выписывает и учит «Бухгалтерию на дому», а по ночам ведет по книгам запись заказов типографии Владычкина. Ее все уважали. Опрятная, постоянно вся в белом, она умело охраняла себя и свое единство.

— Я желаю тебя увещать, — орал переплетчик.

Анисья швыряла на пол трубу от самовара. Являлась пани Марина, жена Викентия Ивановича Владычкина. И сам Владычкин, и пани Марина были выходцами из Польши. Дебелая, волоокая пани Марина уважала Анисью, хотя постоянно уговаривала ее забыть о трактире.

— Зажгите себе другой факел, Анисья, — говорила пани Марина.

Пани Марина много заботилась о своем будущем. В ее спальне стоял громадный желтый шкаф. В нем, говорили, лежат книги об освобождении Польши. Я однажды робко попросил у нее почитать книг. Она сурово ответила:

— У вас другой факел, пан Всеволод. Я вам не дам читать этих книг, так как они снабжены факсимиле.

Никто не мог мне объяснить слово «факсимиле». Я решил, что это тоже относится к политике. Я верил теперь переплетчику Зипунову, когда он утверждал, что «здесь нет никакой бакалей»: если Марина Мнишек продала Польшу русским, то Марина Владычкина поможет Польшу освободить. Пани Марина постоянно торчала в типографии, ей все казалось, что работаем мы медленно, она торопила нас. Когда Иона Зипунов напивался и глаза у него становились глупые и влажные, как сыр, пани Марина понимала его.

— Ай-ай, какой вы, Иона, последовательный.

— Если долбить, так долбить до конца, — отвечал ей переплетчик.

Она отсчитывала 75 копеек и послала меня за извозчиком. Печатник Бьюков брал под руку Зипунова и выводил его за ворота. Пани Марина торговалась с извозчиком: туда и обратно за четвертак, а полтинник извозчик должен был передать Ковалихе. Ковалиха содержала в Павлодаре публичный дом.

Переплетчик стучал кулаком по облучку.

— Вези, кыргыз, важнее!

Пани Марина наказывала извозчику:

— Поскорей его обратно, у нас срочные заказы.

И, возвращаясь в типографию, она тихо восклицала:

— О, смерды!

Ее хозяйственность мы уважали, уважали ее также и за то, что она читает латинские книги. Меня удивляло, как это она может одновременно читать польскую книгу и править наши корректуры. Для этого, — думал я, — нужно обладать великими страстями и великим умом. Хозяина Викентия Владычкина мы презирали. Владычкин постоянно говорил о своем здоровье и о чухотке. Прежде он был акцизным чиновником, скопил денег, ушел в отставку, и жена уговорила его открыть типографию. Он часто приходил на кухню, говорил:

— Анисья, опять вы бухгалтерией занимаетесь, щи перегорят.

— Кого, кого, а себя я понимаю, — отвечала Анисья.

Он вставал по будильнику. Он любил вкусно покушать, после обеда вздремнуть, ровно пятнадцать минут, а затем уходил бродить по городу. У него часто собирались гости. Он утомлял всех своей мнительностью, сводя все разговоры на случай отравления или заразы. По его мнению, прогресс задерживается из-за людской небрежности. Если он появлялся в типографии, то непременно говорил мне:

— Когда же ты, Иванов, волосы остригешь и вымоешь шею? Зачем же свою жизнь укорачивать?

В середине лета в доме Владычкиных появился маляр Глеб Журавко. Он красил кабинет хозяина в белый цвет, по-

тому что Владычкин вычитал из отрывного календаря, что белый цвет самый здоровый для глаз, а на глаза Владычкин постоянно жаловался. После кабинета маляру поручили окрасить в желтое коридор, сени и крыльцо. У маляра было жирное, какое-то мылистое лицо и потрескавшиеся, облупленные руки. Глеб Журавко обожал лаковые краски. Двигая кистью по стене, он говорил:

— Редко кто понимает, какое изменение способны наделать лаковые краски. Я сам родом почти-что из Германии...

— Фамилия-то у вас русская, — сказал я ему.

— Я рожден в Германии. Меня мама на курорте родила, в Карлсбаде. У меня папаша был крупный вор и жену всегда держал при курортах. Мне бы офицером вырасти, а он возьми да от тифа и помри, возле Павлодара. Мамаша превратилась в портниху, а из меня — маляр. Ну, какой я маляр!

Мне хотелось узнать, что он думает про Анисью. Мне казалось, что он нравится Анисье. Хотя я все еще продолжал оглядываться на девушку под черной шляпой, но и Анисья чрезвычайно привлекала меня.

— Вы, Глеб, красите великолепно.

— Маляр я не из слоняющихся, но маляр я на лаковые краски. Германия стала опрятной только после того, как употребила лаковые краски. Бездельники не понимают лаковых красок.

— Чему же способствует, опрятность? — с грустью спросил я, вспоминая Нью-Таш.

— Опрятность в современной работе, милый мой, очень многому способствует. Например, уважению к своему делу. Я склонен к философии, к единой любви, а мне позволяют дурацкими какими красками мазать. Полагал я, один умный человек в нашем городе, Владычкин, но и тот клеевой краской покрыл свой кабинет.

Глеб Журавко старался разговаривать с Анисьей Опракса. Кухарка отвечала ему осторожно. Мне казалось, между ними уже шел какой-то сговор. Теперь я обедал на кухне у Владычкина. Кухарка советовалась со мной.

— Почему он убивается о прошлом и о папаше его, воре? Нет ничего хуже, если человек женится и будет убиваться о прошлом.

— Он тебе предлагает жениться?

— Жениться каждый предлагает.

От обиды на маляра я внезапно осмелел:

— Вот я, Анисья, женитьбы тебе не предлагаю.

Она замолчала. Подала она мне еду с большой медленностью. Видимо, по ее расчетам, подошло время, когда ей нужно было узнать, что же такое любовь, — надо ж в старости вспоминать: вот и я когда-то забавлялась. Но она не желала терять самостоятельности, а Журавко казался ей чересчур степенным. Перед моим уходом она взяла меня за пояс.

— Вечером ты чего делаешь?

— Коня запрягу и пойду домой.

В девять вечера, с'ездив на Иртыш за водой, я обычно перепрягал коня в тележку. Владычкин ехал с женой кататься за город или же в кинематограф «Заря», хотя до кинематографа было всего четыре квартала.

— А ты не уходи, посидим.

Я и остался.

Анисья подробно раз'ясняла мне, как она начнет дело. Бабе, хотя и трудно начинать, но всякие бывают бабы. Надо, главное, избавить себя от забот: по женской части. Но я понимал, что она, хотя и решительна, энергична, но все же планы ей кажутся очень трудными и великими, и ей необходимо поощрение близкого человека. Родственников у нее нет, замуж выйти она страшится, и она знала только один способ, чтобы к ней привыкли. А кроме того, все так поступают.

Она спросила:

— Скоро, поди, хозяева приедут?

Я встал. Она положила мне руку на пояс.

— Ты не больной?

Я рассмеялся.

— Снаружи, надеюсь, видно.

— Избезумишься с тобой, — сказала она ласково. — С девками, спрашиваю, у Ковалихи бывал?

Я покраснел.

— Ну вот, теперь видна правда. Полежай на полати, а то хозяйка, когда придет, непременно в кухню зайдет.

Я трепетал. Мне предстояло сделать настоящим мужчиной. Страх мой увеличился тем, что едва я влез на полати, как приехали хозяева. Владычкин долго распрыгал коня. Пани Марина принесла подсчитать и записать Анисье какие-то накладные. Анисья спокойно отнесла им ужин, долго читала молитву и причесывала волосы. Я укатился к самой стене, возле которой шла толстая железная труба из плиты.

Анисья легла навзничь.

— Ну, иди, дурачок.

Все мои движенья казались мне удивительно ловкими, но, когда я кинулся к Анисье, одна из моих ног сорвалась и с громадной силой ударилась в железную трубу. Раздался дикий грохот.

Владычкин с воплями промчался коридором. Он выскочил на крыльцо и вопил:

— Слезай, я здоровья своего не пожалею, а застрелю!

Ему показалось, что кто-то лазит по крыше. Анисья уже стояла у раскрытого окна и спокойно говорила Владычкину:

— А вы на двор выйдите. Вор-то наверно за трубой сидит.

— А если он меня кирпичом оттуда? — тихо ответил ей Владычкин.

Он выстрелил. Я забился под одеяло. Охая, Владычкин вернулся в спальню. Анисья закрыла окно.

— Слазь, мочало, — услышал я злой ее шопот.

Она протягивала мне плоские мои брюки.

— Штиблеты-то в зубы возьми, а то опять загрохочешь.

Она тихо распахнула окно. Лицо у ней строгое и утомленное. Я выскочил и упал на кирпичи, — в кухне перекалдывали русскую печь, и печники не успели убрать материал. Я сильно зашиб колени. Забор высокий, из толстых плах. Калитка крепко замкнута. Студеная сердцем, я долго лез на забор. В лицо мне глядела точеная луна. Обиды трепали меня.

Улица пустынна, залита песком. Сторож, постоянно дремавший со своей колотушкой всле типографии, видимо испугавшись выстрела, убежал. Верхом на заборе! Грустно я натягивал свои ботинки, грустно рассматривал улицу.

Спрыгнув, я долго растирал колени. Когда я поднял голову, предо мной стоял маляр Глеб Журавко:

— Ты от хозяйки или от Анисьи?

Голова у маляра прилизанная, а тальково-бледные щеки корчатся. Он мертвецки пьян.

— Мое дело! Может быть, у меня их двоечка.

Маляр ухватился за мой ворот:

— Гони три рубля! Иначе всю морду развалю и размалую!

Откуда он догадался, что в кармане у меня ровно три рубля? Я желал страдать и сражаться, но нелепо биться из-за трех рублей. Глеб Журавко всунул деньги, расправил карман и сказал презрительно и вяло:

— Помоги.

Подсаживать это грузное пьяное тело было гораздо обиднее потери трех рублей, но мне хотелось скорей покончить с позором.

Я подсадил — и побежал прочь. Журавко качался и бранился на заборе. Он требовал, чтобы Анисья помогла ему слезть. У поворота улицы я услышал вдруг его испуганный крик. Обернулся. Мелькнули вздетые его руки, и Журавко рухнул вниз головой в типографский двор. Тотчас же раздался вопль Владычкина и за ним выстрел.

Попробуй быть недовольным! Первое мое знакомство с долго ожидаемой любовью ознаменовалось убийством. Я не спал ночь. Я подбирал слова, которые скажу на суде. Кто виновен в убийстве маляра? Я ли, который опрокинул железную трубу? Хозяева ли, возводящие трубы в сомнительных местах? Суд придет освидетельствовать место смерти маляра Глеба Журавко; зрители будут рассматривать меня и думать: что в нем нашла красавица Анисья?

Утром выяснилось, что Журавко от выстрела упал в обморок. Очнулся он в участке. Владычкин хихикал, — револьвер был заряжен холостыми патро-

нами. Коридор долго оставался неокрашенным.

Анисья Опракса ходила по кухне такая же опрятная. Недели две спустя маляр пришел. Он зарекся пить, говорил о своей отчаянной любви и, сидя возле кухонного окошка, до приторности тщательно рассматривал бухгалтерские книжки, по которым училась Анисья. Я понимал его принужденность и не осуждал его.

Гришка Заботин увидал мое расстройство. Я уныло вертел колесо. Он правил корректуру, ловко и бесело выдергивая шилом литеры из набора.

— Тоскуешь?

— Приходится, — ответил я, вяло держась за рукоятку, деревянную и лоснящуюся.

— Влюблен?

Я не желал сплетен и сказал уклончиво:

— Просто так.

— Грамотный?

— Как же!

Он бросил шило на пол.

— Тю!.. Зачем же тебе вертеть колесо? Ты афект должен иметь. Тебе надо, брат, помочь. Хочешь, я из тебя наборщика сделаю?

— Кто не захочет?

— В три месяца!

— Хоть бы в год, и то хорошо.

— Говорят тебе, в три месяца. Цепляйся!

Он яростно принялся за мое обучение. Учиться я торопился. Гришке я мог быстро надоесть, так же, как ему надоели все веселые девушки в городе; все кошки, воспитанные им; битые стекла у Ковалихи; числящиеся за ним несколько протоколов. Он был родом из Семипалатинска. Каждую весну он уезжал куда-нибудь подальше от родных мест, к осени терял свой паспорт и возвращался всего чаще по этапу. В Семипалатинске его отмывали и залечивали от тюремных побоев родственники; друзья устраивали его в епархиальную типографию, и он работал, пока не начинал вновь тосковать.

Вначале он учил меня разбирать, затем преподавал мне правило сплошного набора, афишного набора и под конец —

акцидентного. Если хозяин хворал, а пани Марина уходила по городу собирать заказы, то Гришка вертел колесо, а я работал вместо него. Самоуверенность ли его, мои ли старания, но я действительно научился в три месяца.

Однажды он поставил меня у кассы и велел набрать в час сплошняку: восемьдесят строк на четыре квадрата, корпусом. Я торопился, я понимал, что это — экзамен. Потный, с перетрескавшими от волнения губами, я метался возле кассы. Я пригибался и отгибался. Литеры послушно ложились в мою верстатку. В типографии было темно.

— Выходит, — похвалил меня Гришка.

Он передал рукоятку машины повертеть переплетчику, а сам убежал за водой.

— Единовзвучным будь, по заработку, Всеволод, вот тебе мое завещание, — кричал Гришка, размахивая наполовину опорожненной бутылкой.

— Как вы понимаете единовзвучие, пан Григорий?

На пороге, за его спиной, стояла хозяйка.

Гришка пошатнулся. Его выпуклые глазенки смотрели на меня ласково.

— Всеволод, труби сбор.

Он вдруг высунул хозяйке язык и плюнул к самым ее ногам.

— Расчет! Совесть моя чиста, я вам рабочего сделал.

В тот же день мы его проводили на пароход. Я остался наборщиком. Вертельщиком наняли киргиза. Работать мне приходилось до поздней ночи: то ли заказов много, то ли я не успевал. Приближалась осень. И я подумал: вот выпадет снег, нет сюда, в Павлодар, ни пароходного пути, ни железнодорожного, откуда появиться наборщику? Я желал подражать благородному Гришке Заботину. Я желал, чтобы совесть не изнуряла меня. Я потребовал у хозяев жалованья.

— Пока есть дорога, вы имеете возможность выписать вместо меня другого.

Пани Марина кинулась к Викентию Ивановичу:

— Сбрехал. Вот он, твой Иванов! Сколько за ним ухаживали, а он жалованья требует.

— Никогда с ними не выздоровеешь, — уныло сказал Владычкин, — пьяница на пьянице, нахал при нахале.

Хозяйка вернулась ко мне и сказала с пренебрежением:

— Четырнадцать.

— Восемнадцать, — ответил я.

— Семнадцать, иначе хоть закрою типографию.

Я возгордел. Из-за меня закрывают целое предприятие, целый город будет без прессы. Зима будет без афиш.

— Окончательно восемнадцать, — сказал я.

Пани Марина выругалась очень плохо.

— Будете вы все-таки отбывать часть вашей жизни в тюрьме или даже на торге, пан Всеволод. Да, я вам даю восемнадцать, но вы должны жить при типографии, платить мне шесть рублей за квартиру и за хлеба, дабы постоянно быть под руками.

— Можно.

Я мечтал примириться с Анисьей. Но и восемнадцать рублей жалованья не всколыхнули ее потушенного сердца. Маляр Егор Журавко вскоре женился на ней. Она отменила бухгалтерию и готовилась снять малярное заведение. Маляр опять пил. Она ушла от Владычкиных. Несколько месяцев спустя я встретил ее. Она несла большой и отлогий живот, лицо ее покрыто синяками, и нос свернут в сторону.

— Какую уж там бухгалтерию... — сказала она, хныча.

Самые выгодные заказы поступали из магазина миллионера Дерова. Их приносил непременно вечером приказчик, обладающий чудной фамилией — Жде. Поципывая коротенькие усики, широконосый, широкобедный, он повторял:

— Ну да ну... Прошу напечатать к завтрашнему дню. Ну да ну...

«Зачем такая торопливость?» — думалось мне. Но я быстро понял. Приказчик Осип Жде жил на хлебах у печатника Бьюкова. Жена его Варвара мо-

лода, здорова, «перепеченая», приказчик Осип Жде холост. Бьюков, полагаю, понимал деровскую спешность, но жадность владела им. Осип Жде пользовался уважением Дерова.

Ни сделных, ни сверхурочных мы не получали, и все-таки Бьюков работал часов до трех ночи и меня заставлял. Иногда он останавливал машину, и по лицу его было видно, как бьется его сердце. Он думал вслух:

— Вредно сокращать мысли. Надо во всем разобраться без прикрасу... Чтобы со стороны совести не увидеть противовеса.

Подражая Гришке Заботину, который никогда не отводил смысла беседы в сторону, я спрашивал:

— Дом хочешь отломить?

— Ну и отломлю, если найду в совесть опорную лампу.

— Привередничаешь, — говорил я ему с достоинством. — А ты попроще.

— Вот и попроще, выходит: утомление мне без собственного дома.

Я видел его входящим в церковь. Мне любопытно было посмотреть, как он молится. Я пошел за ним. Он стоял неподалеку от алтаря, смотрел в окно и, видимо, гадал: удастся ему при помощи Осипа Жде купить или выстроить дом или приказчик обманет. Бьюков любил жену, но еще больше любил свой будущий дом, и в церковь, должно быть, зашел потому, что все люди перед постройкой своего дома советуются, а здесь, в таком щекотливом деле, с кем посоветуешься? Еще осмеют. Я порывался, что бог опять впутан в гадость, он явно поощряет ее всем своим нетускнеющим благолепием храма. Но печатник Бьюков был противен мне не меньше бога, и я поспешно ушел.

Добившись жалованья, я решил: пора знакомиться с девушкой в черной шляпе. В обед она все еще встречала меня, вечером она все еще оглядывалась. Я узнал ее имя. Ее звали Ирма Шмидт.

Это редкое имя воодушевило меня.

Я написал ей громадное письмо.

Убежден ли был я, что она мне поверит? Да, несомненно.

С первых же строк открывал я ей великую тайну. Я суть ни больше, ни

меньше, как индийский принц, который брошен сюда, на берега Иртыша, коварными претендентами на престол моего отца. Мой отец Саид-Ахмед-хан принадлежит к древнему роду, который ведет свое начало от потомков Магомета; его предки, пришедшие в Индию из Центральной Азии, занимали высшие должности при дворе могольских императоров. Он умер в Аллах-Баде. Я описал ей корабль, на котором меня везли по океану. Корабль качало, дул скользкий ветер. Острова обозначались удивительными запахами. Вокруг меня стража, готовая при первой попытке к бегству содрать с меня шкуру. Но и эта дикая стража пожалела меня! Ей приказано сбросить меня в Охотское море, а она выкинула меня в Павлодар. Что я предлагал девушке? Точно не помню, но, кажется, я звал ее быть моим другом, помочь мне убежать в Индию. Я обещал ей золото, любимых коней, яхту, Европу.

Твердо знаю, что я исписал не меньше двадцати страниц. Я писал красными и синими чернилами. Я называл города: Пенджаб, Бегар, Оутт, Гузерат, я называл восточные части Индии, я перечислял ей южные края центральных провинций, Берара, Бомбейского Декана. Наконец мне надоело вспоминать города, реки и озера, и я начал выдумывать их. По моему письму ходили слоны, мявкали тигры, гиппопотамы хрюкали на каждой странице. Ничего малюсенького! Я купил громадный розовый конверт. Я накапал сургуча и прикрыл его пятаком, но так ловко сдвинул пятак при нажиме, что каждый должен был принять российский герб за мой собственный.

В обед я дал нашему киргизу, вертельщику Ахтыру, четвертак и попросил его пойти со мной. Когда девушка вышла из-за угла, Ахтыр передал ей мое письмо.

Больше она не выходила ко мне. А когда встречала меня на яру, то отворачивалась.

Получив первое жалованье, я приобрел рубашку «фантази», пышный голубой галстух, черный плащ, накидку с капюшоном, застегивающийся на львиные морды, суконные брюки на выпуск

и зеленое толстое кеди. Я завел дутую железную трость с никелированной рукояткой. Я поднял капюшон и отправился гулять на яр. Была сильная жара. Дули стремительные ветры. Все удивленно смотрели на меня. Жалко, что нехватало на бинокль! Я стоял бы на яру и смотрел на подходящие пароходы. Ну, пусть я не индийский принц, но ведь я похож на путешественника?

Галстух мой развевался. По утоптанной дороге густо идет мимо меня толпа мещан. Вот прошла Ирма Шмидт. Она не смотрит на меня, мне даже показалось, что она улыбается.

Из-за деревянного здания прогимназии белый конь грузно вывез моих хозяев Владычкиных. Они едут в кино. Черный плащ обвевал меня. Далеко внизу плывут по реке тяжелые выцветшие плоты. И я так же медленно и упорно плыву потоком жизни. Я стою гордо на высоком яру. Я уже наборщик. Я пишу удивительные письма и рассылаю их со своими слугами. Я могу уехать, куда хочу. Работать, где хочу, у кого хочу.

Ветер бил по моим тесным ботинкам легким песком. Из сарая возле кино выскакивал голубой дымок: там действовал электрический двигатель, снабжавший током кино. Приятно смотреть на прогресс и цивилизацию создателю этого прогресса.

Хозяйская тележка медленно приближалась. Она пройдет в двух шагах возле меня. Я вежливо сниму толстую суконную кепку и скажу:

— Добрый вечер, Викентий Иванович. Добрый вечер, пани Марина!

— Добрый вечер, Всеволод Вячеславович, — ответят мне они.

— Гуляете, Викентий Иванович?

— В кино едем, Всеволод Вячеславович.

— Хорошее дело, Викентий Иванович. А я вот смотрю на Иртыш и все не могу насмотреться.

Превосходный разговор, отличный разговор! Как доволен Владычкин, как он рад, что не уволил меня, какой исполнительный и грамотный наборщик, как он цивилизует типографию. Ведь вы подумайте, он любит на природу!

А по правде сказать, чорта ли лысого на нее любоваться. Желтый, высокий яр, желтый ветер, течет громадная желтая река и несет тусклые плоты. В кино куда любопытнее: хроника, комическая, научная и видовая, страшная драма. Весь мир мелькает перед вами. На пианино играет дочь священника, почтенная дама в синих очках. Сеанс окончится, пригласишь гостей сыграть в карты, выпить пива, поговорить об эпидемиях и неопрятности киргизов.

Когда тележке осталось до меня не более пятнадцати шагов и она, перед тем как выкатиться ко мне, нырнула в овраг, непонятный огромный стыд охватил меня, и я опрокинулся под яр.

Я перекувырнулся и упал на песок.

Яр высотой метров в пятнадцать, но песок спружинил, я подпрыгнул и шлепнулся лицом в Иртыш. Вода холодная, тугая.

— Осень скоро, — сказал я, лежа на животе.

Плащ прикрывал меня. Я лежал, пока не стемнело.

Утром пани Марина, передавая мне для набора заказ, спросила лукаво:

— Какой это англичанин прыгнул вчера с яра?

— Пани Марина, я работаю здесь не для издевательства, а для просвещения, — ответил я. Эту фразу я обдумывал целую ночь.

Но трудно перекудрявить словами пани Марину. Она вздохнула.

— Ах, просвещение столь опасно, пан Всеволод!

Я понял ее. Дело в том, что в город Павлодар впервые за все его существование приехал цирк. На площади, возле дома купца Дерова, сколачивали огромное здание из досок, и руководил постройкой мой дядя Василий Ефимович Петров. Пани Марина уже успела полюбить борца, — легковеса Роальда Максимовича Азгерц.

9

Осень была томительная, вязкая, непрерывные ливни затопили город. Цирк занял в гостинице все номера, Я видел,

как долго с парохода выгружали имущество. Стриженные, как люди, дудея, обезьяна с оранжевым задом, высокие черные ящики, кольца, сети, вагончики. Но оказалось, что осенью цирк открыть невозможно. Василий Ефимович выстроил цирк необычайно криво, и его еще более скосило от упорных дождей. Спешно пришлось перестраивать.

Циркачи ходили в длинных плоских шляпах. Город неустанно говорил о борцах и акробатах. Мне казалось, что мещане и на себя смотрят лучше, что сам город как бы вырос на их глазах, его как бы продуло особыми целебными ветрами.

Любительские спектакли, для которых почему-то выбирали всегда украинские пьесы, не делали сборов. Обыватель берег деньги на цирк.

Дядя Василий Петров, любуясь топорами плотников, хвастался:

— Уверяю, цирк оставят навечно. Я под него кирпичный фундамент подвожу.

Мать рассказывала, что укротитель и владелец цирка А. Коромыслов пьет много чаю и любит сахарные печенья. Коромыслов рычал, торопил, дядя вертелся возле него, клятвенно обещая прямую постройку.

Однажды у ворот типографии меня остановил паренек в лаковых сапогах, в пальто с бархатным воротником. Толенький, весь покрытый застенчивыми веснушками, он скромно улыбался.

— Я хотел бы поступить в типографию, — сказал он.

— Как тебя зовут? — солидно спросил я.

— Пашка.

— Не подойдешь, Пашка, — сказал я, — нам надобны вертельщики, народ сильный.

— А учеников?

— Не принимаем.

Но тут великодушная мысль осенила меня. Почему мне не поступить так же, как и Гришка Заботин? Он облагодетельствовал меня, зная хоть что-то обо мне, зная, что я люблю просвещение, книги. А если облагодетельствовать человека, не зная его? Это возвышенней и трудней. Пашка не понравился мне, его

скромность казалась напускной, а затем откуда его щеголеватость; лаковые сапоги, зеленые диагональные брюки в обтяжку, фуражка с широкими полями, розовая шелковая рубашка. Почему он решился поступить в ученики?

— Как твоя фамилия?

— Вот возьми, тогда и узнаешь.

— Иди к хозяевам.

Пани Марина посмотрела на его опрятную хулиганскую щеголеватость со странной улыбкой. Хозяин выходил кашлять на крыльцо. Он стоял, прислонившись к двери, и вежливо кашлял, грустно глядя на пригоны. В столовой против буфета сидел Роальд Азгерц. Я до сего времени не знаю подлинной его фамилии, тогда я его считал иностранцем, меня удивлял только его отличный русский язык, его великолепная способность ругаться. Это был громадный розовый атлет с матовым затылком, весь в сером. Передавали, что он вел чрезвычайно аккуратную жизнь. Он едал в день ровно три фунта мяса, выпивал ровно шесть стаканов воды, спал семь часов, а если пил водку, то никак не меньше и не больше, а ровно четверть ведра.

Пани Марина, не обращая внимания на нас, пристально рассматривала Роальда. Вдруг она, точно сливая что-то, решительно сказала:

— Легче жить, если освободить себя от избытка страстей.

— Вот именно, — забасил атлет, — во всем надо знать пределы и уметь избавиться от избытков.

— А избытки в любви например вам известны, пан Роальд?

Голос у пани Марины был особый. Он не нравился мне, и лицо пани Марины не нравилось мне. Голос какой-то раздетый. Пашка понимал больше меня. Он смотрел смелее, даже несколько нагло.

— Известны избытки, пани Марина.

— А врачевание?

Пани Марина обернулась к нам. Я впервые разглядел ее безмерно обнаженные плечи. Сердце у меня захолонуло. Я отвернулся.

— Что вам нужно, мальчик?

— Я пришел. Говорят, вы требуете ученика.

Пани Марина рассмеялась каким-то своим мыслям.

— Вот мы и не думали требовать в типографию ученика.

Пашка улыбнулся еще наглее.

— Значит, наврали.

Пани Марина вдруг как будто охладела. Румянец покинул ее щеки, движения ее стали медленными. Она держала в руках глубокую тарелку и пристально смотрела в медь стоящего на буфете самовара. Наверное это было ее последнее размышление. Если ее тогдашние размышления перевести на мое теперешнее понимание, то она думала приблизительно так: возможен ли более интеллектуальный путь для освобождения Польши, чем тот, который хочется ей взять?

Она улыбнулась опять той улыбкой, которую мы видели, когда вошли в столовую. Движения ее опять стремительны. Меня злило, что я не понимал связи между Пашкиной наглостью и размышлениями пани Марины. А эта связь была. Доказывало мои предположения и последующее обращение пани Марины к Пашке.

— Куда же ты хотел поступить? К переплетчику?

— Нет, в наборное.

— Вы беретесь его научить, пан Всеволод?

— Пан Всеволод берется, — сказал Пашка.

Я угрюмо ответил:

— Надо подумать.

— Чего же тут думать, если взял? — нагло сказал Пашка.

Пани Марина легонько потрепала меня по плечу.

— Я его принимаю. Идите в типографию, мальчики.

Пашка оказался понятливым. Учился он быстро, я вскоре привязался к нему. Я узнал его фамилию: Герасимов. Но фамилия ничего не объяснила мне. Мы ходили с ним гулять вдоль яра, я рассказывал ему содержание книг. Читать он не любил, но ему нравилось слушать содержание прочитанного мною. О себе он молчал. Слово у него не было ни

детства, ни родителей, ни товарищей. Удивляло меня, что рабочие обращались с ним с какой-то презрительной почтительностью, а веселый почтальон в зеленой куртке Денисенко, щеголь и весельчак, постоянно торчавший в нашей типографии, весьма странно подмигивал Пашке.

Холода ударили рано. Пожарная команда устроила возле кинематографа каток с платою пять копеек за вход. Для нашего города платный каток был тоже нововведением, как и цирк. Раньше мы катались или на Иртыше, или с обледенелого яра возле «торговых бань». По воскресеньям на катке играл оркестр пожарных. Пожарные сидели в страшных медных касках, завязанные пуховыми шалями: из степи всегда дул свирепый ветер.

Если на катке появлялась сестра моя Марья со своими подругами, коричневыми прогимназистками, я смелел и приглашал девушек прокагиться со мной. Сестра важничала, на каток ее провожал чиновник. Марья хвасталась, что нахлебника повесили «второе в окладе».

— К семидесяти годам, — язвил я, — его впятеро повьсят.

— Ух ты, молодежь, — смеялась Марья.

В день открытия цирка каток пустовал. Мы катались вдвоем с Пашкой. После обеда пришло несколько барыщень, Марья, три чиновника. Барышни важко проплыли мимо меня. Я поклонился им. Они не ответили мне.

Огорченно я подкатился к Пашке.

— Играют они со мной?

— А ты спроси, — сказал он, косо улыбаясь.

Улыбка его встревожила меня. Я направился к Марье. Она тихо и боязливо ответила мне:

— Ты просто подлец, Всеволод. Тебе еще нету и семнадцати лет, а ты уже ходишь в публичные дома.

Мне льстила эта боязнь, этот тихий голос, и я важно сказал:

— Возраст вполне подходящий. Но откуда тебе известны мои похождения?

— Ты имеешь право на твои похождения, — сказала она с почтением, —

все же кататься возле сына бандерши Ковалихи просто безобразие.

— С кем хочу, с тем и катаюсь. Захочу, девок приведу.

— Весь в папашу, — удрученно сказала Марья. — Я с тобой больше не знакома. Я и дома, и везде с таким развратником не разговариваю. Если на то пошло, лучше бы тебе переехать в публичный дом.

— Вместе с твоим чиновником?

Марья ударила ножкой в лед и откатилась.

Теперь мне все стало ясно. Ясны прятные улыбки пани Марины, смешки печатника, подмигивание зеленого почтальона.

— Зачем ты сказал мне фальшивую фамилию?

Пашка нагло смотрел на меня, облокотившись о забор. В лицо ему бил свет кино. Между ног стлался по льду снег. Девушки поспешно покидали каток. Встревоженно переговариваясь, они шли, одергивая платья, поправляя косы. Впереди них Марья.

— Девчонок напугался? Ничего. Из них в наше заведение еще многие попадут, — сказал Пашка, — можешь и ты мне не кланяться, не учить меня.

«Не кланяться? А вот возьму и научу, возьму и буду кланяться. В конце концов это настоящий подвиг и нечто, похожее на книгу. Весь город удивится», — так думал я.

Я пожал Пашке руку. Он прослезился. Мне было лестно видеть его слезы. Я тоже уронил слезу.

— Я хочу научиться, чтобы напечатать историю нашей злосчастной семьи, — сказал Пашка. — Вот отчего я и решил поступить в типографию.

В этот день Роальда Азгерц пригласили обедать к Владычкиным.

— Употребляете вы водку? — спросил его Владычкин.

— Да.

Я принес четверть водки. Пани Марина велела внести водку в столовую. Волоокие глаза ее наполнены удивительным блеском, плечи опять обнажены.

— Зачем вам освобождать Польшу? — мычал борец.

Возле буфета Владычкин осторожно капал в маленькую ложечку лекарство. Он следил напряженно: не перекапать бы лишнего. Роальд Азгерц тем временем целовал пани Марину в шею. Пани Марина принимала у меня сдачу — и ни она, ни борец, казалось, не видали меня.

Кухарка внесла нарочно сжаренную для борца курицу весом ровно в три фунта. Не знаю, почему водка так подействовала на борца, но вскоре в типографию прибежал бледный Владычкин и крикнул:

— Господи, какая зараза! Метлу!

Я влетел в гостиную с метлой.

Роальд Азгерц, должно быть, попробовал удержаться за книжный шкаф — и опрокинул его. Все книги, освобождающие Польшу, выпали. Азгерц блевал на этот атлас, на эту свиную кожу, на эти красные заглавия, напечатанные аккуратно латинским шрифтом. Лицо пани Марины говорило о негодовании, о брезгливости, о любви. Плечи ее потускнели.

Что я мог придумать? Я подставил под рот борца свою метлу. Но водка и курица лились безостановочно.

— Господи, какая зараза, разве вы не можете остановиться, господин Роальд? — беспомощно говорил Владычкин.

Господин Роальд тупо посмотрел на него и пошевелил локтями, как бы показывая: где уж там, мол, останавливаться. Владычкин вышел на крыльцо.

— Такой закат, а он блюет, — сказал Владычкин.

Он понимал полное свое ничтожество, он знал, что не так освобождают Польшу, но даже изругать и выгнать борца он не имел сил. Ему было совестно перед собой, совестно передо мной, но он любил и, главное, боялся своей жены. Я понимал его трепет. Ему плевать на закат, ему пора вернуться в столовую, а если вернешься не во время? И он поплелся за мной в типографию.

Здание клонилось вбок, но отклонение искупала новизна цирка. Отклонение давало цирку даже некоторую стремительность. Яростно горели дуговые

фонари. Оркестр рассаживался в громадной ложе. Капельдинеры, щеголяя бронзово-бурыми мундирами, расстлали васильковый ковер. И вот выскочили клоуны. Весь цирк захохотал. Киргизы кричали: «Уй, бой!» — здорово. В бархатном березкового цвета костюме выбежала канатоходец Антуанетта Сирбо. У ней блеклое лицо. Проволока гнула, как струна, и пела, как струна, в моем сердце. Канатоходец распустил глянцевый дивно-алый зонт. У ней крутые, «вредные» брови. Я любил ее. Я любил весь цирк, и, когда вышел, шелкая бичом, укротитель и дрессировщик Коромыслов, толстый, жирный, всеми ненавидимый, я его тоже любил.

Коромыслов был во фраке густого дегтярного цвета. Эта блестящая манишка, этот черный галстук, этот фрак сжигали мое сердце.

Последнее отделение. Капельдинеры очистили арену. Вышел низенький, широкогрудый арбитр и свистящим тенором закричал:

— Музыка марш! Парад алле!

Шли борцы, увешанные, как генералы, орденами и медалями. «Эх, кабы да мне, — шептал я, — кабы да мне хоть одного орденочка добиться!» Я испарялся в любви и в восторге. Над ареной высоко сияла проволока и дивная Антуанетта. Сирбо все еще, казалось мне, размахивала там глянцевым зонтиком.

Я посмотрел на пани Марину.

Среди арены стоял Роальд Азгерц, розовый, в черном шелковом трико, с бурной мускулатурой. В его голубых глазах еще отражалась четверть выпитой водки, он икал. Но какая любовь светилась в ее глазах! Муж, сидящий рядом, как бы крошился. Как поднималась ее грудь, как она его любила и как наверно кипяще целовала она его. А я, все равно, любил и борца, и пани Марину, и даже Владычкина. «Все пройдет, все минует, но цирк останется» — думал я.

Арбитр провозгласил:

— Чемпион Северной Норвегии и всех островов Скандинавии господин Роальд Азгерц.

Борец вышел вперед и поклонился. Как ему пышно хлопали! Он поклонился особо низко ложе, где сидела пани Марина. Она закивала головой и захопала так, что и она, и все поняли, что зря этак не хлопают. Она все простила ему. Простила испорченные книги, забытую Польшу, свою испорченную жизнь. «Вот это любовь, вот это чувство» — ошпаренно думал я.

Арбитр прислушивался к хлопкам. Он смотрел внимательно вдоль рядов. Я еще не знал, что арбитр старался догадаться по аплодисментам, кому из борцов предстоит быть любимцем этого города. Хлопали больше всех Роальду Азгерц. И тогда арбитр начал самозабвенно прибавлять к его заслугам все больше и больше побед.

А пани Марина считала, что самая лучшая победа прекрасного Роальда — это победа над ней.

Я вышел из цирка. Чувства мои были раз'единены, как разводят мосты для пропуска судов. Я отрекся от того, что хотел сделать, но, что я хотел сделать в своей жизни, я и сам еще не знал.

Дула метель. Я шел, покачиваясь. Цирк все еще тайно сиял вокруг меня. Я шел, подняв лицо к небу. У, как высоко мы взнесемся! Высоко, чуть ли не у Млечного пути, я протяну свою проволоку и понесусь по ней, одетый в огненное трико. И весь мир будет смотреть на меня, и чудесная Антуанетта Сирбо обнимет меня за шею и скажет... Я и сам не знал, что она мне должна сказать, но что-нибудь непременно сгорающее.

Тетка Фелицата приняла на хлеба рыжего капельдинера Сережу Трошкина. Ему было девятнадцать лет, он очень гордился своей бронзово-бурой ливреей, чистил ее два раза в день. У него длинные, тонкие ноги, он часто говорит, что все в жизни преобразовывается, развивается, что жизнь идет правильным направлением. Если имеются борцы, значит, борцы нужны для развития жизни. Он тоже желал быть борцом.

Я хотел ходить по канату, но у кого мне учиться канатоходству? «За ученье, — рассудительно сообщил Трош-

кин, — циркачи берут крупные деньги. Надо почаще ходить в цирк и подсматривать». Он знал уже много приемов борьбы. Я утащил у тетки Фелицаты большую кошму и постелил ее в амбаре, на чердаке. Все свободное время мы боролись. Мы пожимали перед борьбою крепко руки друг другу, закручивали кальсоны выше колен, чтобы это походило на трико. Трошкин свистел и дискантом говорил: «Музыка марш!» Мы боролись приемами, которые сообщал Трошкин: «тур де бра», «двойной нельсон» и так далее.

По-разному мы снимали нашу жатву с арены цирка. Сережка великолепно воспринимал и воспроизводил все эти «тур де бра» и «двойной нельсон». Я же мог перенять жесты, оттенки голоса, какое-то еле уловимое выражение лица, походку борцов. Я мог подражать только звукам, а ловкость и сила движений ускользали от меня. Я ощущал сильное чувство разлада. Сережка испытывал удовлетворение: все, что он проделывает сегодня, есть нечто более легкое, чем вчерашнее. Эта ловкость ему нравится, она вызывает в нем приятное расположение, это расположение удаляется в далекую глубь, и ему даже не очень хочется его высказывать. Вытирая полотенцем тело, он добродушно смотрит на мое расстроенное лицо и говорит:

— Подожди, отвалится и от тебя мешковатость. Ты и сам не заметишь, как тебя подопрет цирковая панорама, наблюдай за ней, Всеволод, крепче.

Я веселею, передразниваю арбитра, борцов, их пыхтение, их выцветшие дыхания. Сережка хохочет.

— Главное — спроваживай, Всеволод, навоз из головы, что же касается мускулатуры, то она природой отливаается в свои формы более легко.

Город готовится к масленице.

Масленичное гуляние идет кругом — по двум улицам, похожим на крендель, мимо базара, собора, прогимназии, купеческих дворов и двух гостиниц. Улицы наполняются кошовками, санками и розвальнями. Иные убраны коврами, а кто победнее — расшитыми кошмами.

Экипажи идут тесной толпой. Деревянные тротуары наполнены мешанами, казаками и киргизами.

Пани Марина презирала павлодарские гуляния, но не поехать нельзя. Мне велено запречь белого коня в беговые санки. Пани Марина надевает беличью шубку.

Люди вытащили все лучшие одежды. Здесь хвастаются конями, шубами, количеством детей, иные семьи сразу выехали на нескольких санях. Некоторые вместо сидений ставят громадные сундуки с добром.

Деровские рысаки выскакивают из общего потока, обгоняют, ломают санки своим и чужие. Купцы хвастаются количеством поломанных санок. Вот мчитя на огромном дымящемся рысаке Осип Жде. На нем бобровая шапка, а позади в санях сидит Варвара и муж ее, унылый печатник Бьюков. Дядя Василий Ефимович нарочно пригнал из степи двадцатка коней: должны ехать все родственники, все работники, все киргизы. Санок у него нехватает. Он предлагает мне ехать верхом.

Вечером город до изнеможения ест блины и пьет водку. Утром город встает с тяжелой головой, натягивает с трудом мохнатую шубу, падает в сани и опять крутится по этим двум улицам. Опухшие, заспанные лица. Я знаю, у кого сколько с'ели блинов, кур, кто сколько настряпал пельменей. Возле цирка стоят артисты и с почтением смотрят на это катящееся мимо них степное обжорство.

Я отказываюсь ехать. Я обертываю свою шею «соломенной собакой» и брожу пешком. Меня злит тонкость и точность борьбы Сережки Трошкина. Я завидую ему.

Паперть собора заполнена нищими, калеками, юродивыми, странниками. Все они забыли свои несчастья и страдания и восхищаются этим клубящимся вокруг богатством.

Уже улицы покрылись ухабами. Сани ныряют, выскакивают, маслянисто-серы спины коней, в мыльной пене уздечки! Малахитовые ковры, лисьи малахан работников, опаловые шубки девиц, пестренки их платья, посеребренные кудри купцов — все это восхищает па-

перть. Они забыли свое уродство, свой добровольный отказ от удобств и благ жизни земной, от выгод жизни общественной, от родства кровного. Некоторые из них некогда приняли вид безумного человека, не знающего приличий, ни чувства стыда, кривляки, насмешника. Нагие, босые, распустив волосы, «трясясь и биясь», они бегут из города в город.

«Жирная степь опоила вас, дураков, — думаю я, со злостью смотря на паперть, — ничего из вашего обличения не выйдет».

Дома я собрал лохмотья. Сережа Трошкин помог мне разрисовать себя. Мы купили в парикмахерской тросу, клея и соорудили длинные усы и бороду. На всякий случай я приобрел длинный кинжал в деревянном футляре, оклеенном малиновым бархатом. Мы вырезали из картофеля тоненькую пластинку, проделали в ней несколько отверстий, так что пластинка являла из себя круг, внутри которого болтались белые полоски. Эту пластинку я вставил в рот. Я завязал прязной тряпичей щеку, надел рваную шапку. Страшная рожа, волосатая и юродивая, глядела на меня из зеркала. Сережка поднес мне длинный корявый посох, накиннул быстро сооруженный деревянный крест, покрыл его сумой, куда кинул куски хлеба и тряпки.

Для начала я решил обличить тетку свою Фиозу Семеновну Петрову.

Разве это подлинная жизнь, это дрейф какой-то. Лежит на кровати под атласным одеялом, кушает варенье, оплывает жиром, а ее родная сестра служит на кухне. И вообще Петровы совершают много несправедливостей. Дядя Василий Ефимович, подрядчик, обсчитывает не только киргизов, но и более ученых русских каменщиков и плотников, строит кривые дома, дает взятки уездному начальству.

Кухня пуста. Мать моя, видимо, куда-то вышла. Я постоял, кашлянул. Из столовой в длинной белой рубашке, в туфлях на босу ногу появляется тетка Фиоза. Уже два часа дня, пора бы ей и одеться. Тетка Фиоза взглянула на меня, и лицо ее делается беспокойным и

плоским. Она махнула рукой и торопливо сказала:

— Сейчас.

Она вернулась с необычайной для нее поспешностью. Она встревожилась: в доме нет защитников, а если нищий с обманом? Вот он ничего не говорит и стоит с протянутой рукой. Тетка Фиоза успела переодеться. Она протягивает мне лятак.

Как только я убрал руку, по лицу тетки разливается бледность. Ее откормленные толстые щеки вздрагивают.

— Чего же тебе еще надо? — еле выносит она из себя.

Мне смешно. Я поднимаю кверху руку, а в другую беру свою суковатую палку и крест.

Тетка затряслась и повалилась на колени. Картошка в моем рту мешает мне обличать, к тому же я не могу удержать смеха. Я бросаю палку, крест и поспешно бегу из кухни.

Я слышу, как за мной закрывают на засов двери сеней. Сквозь двойное окно я вижу испуганное и словно бы подметенное лицо тетки. Она мелко-мелко крестится.

Получилось глупо. Я огорчен. Я вскакиваю на извозчика. Мне уже кажется, что за мной сейчас гонится полиция, что тетка уже успела спосылать в участок. Я испуган. Извозчик удивляется моей суме, моему виду и говорит:

— Не повезу.

Тогда я выхватываю кинжал. Извозчик затих. Он увозит меня на окраину. Я вручаю полтинник и еще раз грожусь кинжалом. В глухом переулке я зарываю в сугроб суму, бороду, картофельные зубы.

Вечером я прихожу к матери. У Петровых гости. Как тетка разделяет меня? Странное видение посетило ее сегодня на кухне. У ней стронулось сердце, и ей требуется съездить на богомолье. Кто в этом городе растолкует ей видение? Она умолчала только о том, что я оставил возле плиты палку и крест, ибо видение вряд ли могло оставить ей такие неуклюже сделанные предметы. Я молчу. Я доедаю оставшуюся после гостей пищу.

Масленица продолжается. Ухабы все глубже и глубже, лица катающихся совсем заплыли, и едва ли сорок дней поста смогут отделать их заново.

У нас есть еще трос и клей. Днем мы играем с капельдинерами в карты в «двадцать одно» на спички. Купленный кинжал жжет мне руки. Его блестящая сталь часто выходит из футляра. Я щупаю нежный малиновый бархат и неуверенно говорю Сережке:

— Вот мы проигрались с тобой.

— Все развивается правильно.

— Правильно-то правильно, — уступчиво говорю я, — а счастье в игре бывает только от награбленного.

Сережке не хочется, чтобы с него спало величие. Он говорит:

— Отвык я грабить.

Смелость явно убывает во мне. Но если я позволяю загонять себя в цирковой борьбе, то здесь, в степном рыцарстве, я должен уловить Сережку.

Из кинематографа «Заря» в десять часов вечера, после сеанса, последнего и малолюдного, возвращаются мещане и купцы. Некоторые из них сворачивают вправо, через площадь, мимо пожарной команды и городского училища, а редкие направляются яром, около задов дома тетки Фелицаты и складов пароходства «М. Плотников и сыновья». Возле складов, на углу, горит большой керосиновый фонарь: от воров.

Уже прицеплены бороды. Кинжал лежит за пазухой. Верхнюю половину лица прикрывают плисовые маски. Мы останавливаемся за углом и выглядываем. Скоро десять часов.

Очень сложные чувства заставили меня пойти на ограбление. Это и обличение, которое не удалось мне с теткой. Вот сейчас купец вынет из кармана десять тысяч рублей, и мы скажем: «Награбленные тобою деньги пойдут по принадлежности, то-есть бедным людям». Было здесь и желание показать себя более сильным и ловким, чем Сережка Трошкин. Хотелось мне также достать сразу побольше денег, купить завтра необыкновенного рысака, лучше, чем доровские, и обогнать весь город. Хотелось мне в карты играть не на спички, а на большие суммы. Хотелось нако-

нец сидеть в цирке не по контрамаркам, а на свои собственные деньги, в первом ряду и в бенефис канатной плясуньи Антуанетты Сирбо поднести ей серебряное блюдо.

Мы пропустили несколько плохо одетых мешан.

Вот показался тот, которого мы ждали.

Он шел в бобровой шубе, в бобровой шапке, с железной тростью в руке. Рядом с ним жена, накрытая лисами. Сердце схватила тоска. Словом, это шел купец.

— А вдруг у него в палке вынимающаяся шпага? — сказал Сережка.

Я начал расплату. С каким наслаждением я тихо ответил ему:

— Трус!

Я нарочно, чтобы показать свою храбрость, выскочил под свет фонаря.

Купец замедлил шаги. Жена его остановилась. Я высоко поднял кинжал над купеческой головой: «и луч фонаря заиграл на его ужасном лезвии».

— Руки вверх! — сказал я басом.

И вдруг я испуганно увидел, что купец действительно поднял вверх руки. Жена его тоже подняла руки. А я не знал, что же мне делать дальше.

— Руки вверх! — сказал я еще раз.

— Я и так их вверх, — ответил купец, — куда же мне их выше?

Купец, видимо, обладал юмором. Я рассердился.

— Давай деньги!

— Руки-то можно опустить? — спросил купец.

— Давай деньги, — сказал я. — Я вот тебе покажу опускать руки. Садану металлом в живот, так опустишь их на всю жизнь.

Я опять сверкнул ножом. Купец глубоко вздохнул.

— Господи, вы бы хоть не изголялись, — сказала издали купеческая жена, которая со страху опустилась на снег.

Я приказал Сережке:

— Лезь к нему в карман.

Сережка, весь дрожа, сунул руку в бобовой карман купеческого пиджака.

Купец сказал тихо:

— В брюках.

Сережка еще тише проговорил:

— Ой, не могу.

Я сверкнул на него кинжалом — и Сережка поднял вверх руки. Дело было совсем плохо: еще немножко — и Сережка убежит. Держа кинжал наизготове, я сунул руку в карман брюк, достал тяжелое купеческое портмоне и сказал басом.

— Уйдежь отсюда не раньше, как через час. Иначе наши дежурные пристрелят.

— Слушаюсь, — сказал купец.

Мы скрылись за угол. Выглянули. Купец все еще стоял, поднимая кверху руки. Упавшая шапка лежала у его ног.

— Шапку надо было бы взять, — сказал Сережка.

— Трус, — ответил я ему.

С трепетом раскрыли мы дома портмоне. Там лежало медью и серебром один рубль двадцать копеек. Скрывая следы, мы сожгли портмоне, а кинжал мой Сережка кинул в иртышскую прорубь.

Утром за пятьдесят копеек из сумм, мною награбленных, я купил открытку, где изображена пышная девушка с наклеенными волосами и серебристыми блестками на громадной груди. Эту открытку я положил в гляцевый прозрачный конверт. На обороте открытки я написал адрес, а на груди девушки, возле сердца: «Люблю на всю жизнь. Неизвестный разбойник».

Эту открытку я отправил с извозчиком Антуанетте Сирбо.

Борьба оказалась трудно изучаемым искусством. Руки и ноги у меня болели. Постоянно ныла шея. Я плохо спал. Сестра Марья шипела, указывая на мои синяки:

— Все по девкам шляешься? Вот схватишь сифилис.

Я попросил у дяди Петрова двухпудовую гирию. Утром, в полдень и вечером я поднимал эту гирию по пятнадцати раз. У меня начал болеть живот, и почему-то открылся насморк. К тому же мы протерли кошму. Испорченная кошма напомнила мне катание на коже в поселке Урлютюпском, сладкий склад и мое изгнание. Я предложил Трошкину:

— Давай лучше бороться на сене.

— На сене козлы борются, — сказал он строго и отказался меня учить.

Я увеличил поднятие гири до тридцати раз. Я пробовал питаться сырым мясом, пробовал пить пиво, но мускулы мои не разбухали.

Тем временем Роальд Азгерц приобрел в Павлодаре гигантскую славу. Он клал любого борца через пятнадцать минут. Каждую неделю у него были бенефисы. Он выдумывал пантомимы. На его голове гнули железнодорожный рельс, через его тело, стоящее «мостом», проезжала тройка коней. О нем говорили приказчики, ему завидовали мясники, в него влюблялись прогимназистки, казаки, потягивая «носогрейки», говорили про него:

— Приличный бы урядник вышел.

Я завидовал великолепному Роальду. От зависти мне показалось, что мускулы мои выросли. Явившись в контору цирка, я выразил желание бороться с любым из чемпионов. Против меня назначили самого слабого борца, самого рыхлого, старого. Я желал бороться под маской.

Я держал маску цвета охры. Мне предложили надеть трико, но я отказался. Я скинул рубашку. Подле столика, наспех сколоченного из горбылей, стояло высокое парикмахерское зеркало. Я тоненький и наверное очень шаткий. В уборной пахло кожей, все углы завалены седлами. Я открыл дверь в коридор. Антуанетта Сирбо, в белой шубке и высоких ботинках, пробежала мимо. Она не посмотрела на меня. Разве она знает, что я борюсь ради нее! Возле голубого сугроба ее ждет деровский рысак; усатый кучер дремлет.

И вот я — на арене. Тишина. Звенит звонок. Арбитр свистящим тенором провозглашает:

— Павлодарский борец - любитель, скрывающийся под желтой маской, против волжского чемпиона и богатыря Ильюши Произвол. Музыка, марш!

Пожав старую волосатую руку борца, я мгновенно забыл все заученные приемы. Ильюша Произвол пыхтел, переминался с ноги на ногу и скучными старческими глазами смотрел на меня.

Храбрость слоями спадала с меня. Я трепетал.

Борец положил меня в несколько секунд, шлепнул по задку и уныло сказал:

— Туда же лезешь, сопля!

Тонкий девичий смех вспыхнул в первом ряду. Грохот хохота ответил с галерки. Хохот потряс здание. Я снял маску. В первом ряду девушка с высокой шеей смеялась, закрыв лицо руками. Толстая баба взвизгивала: «Ой, тошнехонько, сдохну я, смеючись». Смеялись старые, молодые, весь Павлодар смеялся. В ложе я увидел пани Марину. Она тоже смеялась. Смеялся Владычкин. «Тебе-то совсем не к чему» — с озлобленным подумал я.

Я спал тревожно. Я страдал. «Необходимо воспитать свою волю, необходимо иметь решительность» — думал я.

Вы, ровесники, помнящие нашу юность, знаете наверное эти объявления в тогдашних газетах и журналах: «Сила внутри нас», «Воспитывайте волю». Их много было, этих объявлений. Слово вся страна обезволила, идет, неизвестно, куда.

За рубль двадцать я выписал полное руководство по воспитанию воли.

Я читал внимательно, долго. Брошюра рекомендовала упорно смотреть в одну точку, по возможности блестящую, и говорить всегда раньше вашего противника. Кроме того, — воздержание. Например факиры и дервиши в Индии.

Я купил дюжину никелированных пуговиц и прибил их на самых видных местах. Отрываясь от верстатки, я смотрел на пуговицу. В обед она висела над моей головой. Перед сном я видел ее в моих ногах. Воспитать упорный взгляд оказалось так же трудно, как и искусство борьбы. Я давно забросил гири, но и от упорного взгляда у меня болела поясница, ныли руки, подгибались ноги. А зачем в нашем городе нужна решительность? Вот я хожу другом возле Пашки Ковалева, не пью водки, не курю, — и все-таки воля моя никому не нужна.

Деньги? Скот? Дом? Зачем мне все это? Торговать? Я помню, каким я был приказчиком в степи и в Урлютюпе. Вот печатник Бьюков передоверил свою жену Барвару деровскому приказчику Осину

Жде, а тот ему купил дом. Бьюков уже заказал живописцу вывесок домовладельческую жестянку. А стал ли он, Бьюков, счастливее? Я видел, как тетка Фелицата мучается со своим домом. В цирк я уже не мог ходить, хотя мне и хотелось посмотреть, как Роальд Азгерц будет бороться с приехавшим из Санкт-Петербурга мировым чемпионом — Черной Маской. Я торжественно передал Пашке свою верстатку, крепко поцеловал его, как целовал меня Гришка Заботин, и с первым пароходом уехал в Лебязь.

10

И вот мы стоим у забора школы. Перед нами пыльная поселковая улица, возле черного выгона девчонка гоняет хвостинкой телушку. Мы говорим с отцом об Иерусалиме, Москве, монастырях, но мы чувствуем — надо начинать более серьезную беседу. Я держу в руках отцовскую зубочистку и думаю: «Если где и надо применить волю, так вначале применить ее к моему отцу». Будущее моей матери и моего брата Палладия беспокоит меня. Мать моя теперь не курарка, но она каждый день рискует вновь вернуться в прислуги.

Отец повторил:

— Да, братец, ты и в детстве был тщеславным. Учил я тебя, учил, и все без толку. Чего же теперь тебе от меня надо, Всеволод?

— Мне хотелось, чтобы ты не сваливал тщеславие на меня, а видоизменил себя и свои намерения.

Я быстро проговорил давно приготовленное.

— Мадам Рюизье пишет: «Из тщеславного человека делают все, что угодно, льстя его тщеславию». Боатт подтверждает это, говоря: «Тщеславный человек никогда не может быть свободным; люди, мнения, их взгляды порабощают его: он — раб того, кто его видит». Монтескье говорит: «Чем более людей бывает вместе, тем они тщеславнее, непрестанно ощущая в себе желание отличаться маленькими вещами».

— Это все?

— Тот же Боатт говорит: «Тщеславные люди надоедают друг другу».

Отец радостно сказал:

— Вот самое справедливое изречение, которое, братец, мне когда-либо приходилось слышать. Дай я его запишу.

Он отложил карандаш и начало изречения:

— Но как же? Ведь тогда казаки должны бы мне надоесть? А никто еще не надоел мне! Тщеславие, по-моему, — это, братец, когда человек вроде тебя ездит без толку и теряет хорошие должности. Мало того, ездит, но приезжает и смеет учить своих родных. Тщеславие — это когда сын, не зная ни одного иностранного языка, не побывав в Петербурге или в Иерусалиме, не переславив хотя бы через Уральский хребет, берется перевоспитать своего отца. Тщеславие — это когда сын не уважает своей родины, а почему-то уважает Индию, где сплошная сырость и змеи толщиной с бревно, и люди ходят в разрисованных одеждах, пестрее клоунов. Тщеславие — это когда читают книги без разбора от Майн-Рида до Спинозы. Тщеславие твое, Всеволод, подобно суеверию, которое все превращает в чудеса...

Отец искренне жалел меня. Слезы капали из его глаз. Он говорил слабым голосом. Он хотел передать мне подлинную правду:

— Вот ты, Всеволод, даже в банк не веришь, а ведь это безверие — уже предел всяческого тщеславия. Как же нашему Лебязьему существовать без банка? Город без банка? Без директора? Смешно! Я полагаю, он вырастет в объединенный Иртышско-Китайский банк с филиалами, вплоть до Пекина.

Он топнул ногой от удовольствия. Он развеселился. Он как бы вдруг сдул с себя все тревоги.

Если бы он грустил подольше, я бы чувствовал себя легче. Но такое явное предпочтение несуровой мечты моему серьезному разговору тяжело отозвалось на мне. Я вспомнил, что приехал сюда сгоряча и средств у меня только на обратный билет до Павлодара. У отца ничего нет, кроме зубочистки. Если оставались какие-нибудь деньги от получаемых им в месяце двадцати пяти рублей, он их тратил на пустяки. Например он выписывал глобус с названиями городов

и морей почему-то на немецком языке. Пускай, дескать, казачата учатся, вдруг придется завоевывать Германию. То появлялась модель самого новейшего английского паровоза. А мать все еще не могла скопить денег, чтобы купить корову. Питаются плохо, братишка Палладий жалуется на липкий, как глина, хлеб. Палладий страдает малярией, лицо у него темнооливковое, тощее. Он считает меня беспутным и глупым и все шепчется с матерью о хозяйстве. Мать страдает: из-за меня, из-за мужа, из-за Палладия. Нехорошо.

Отец смотрел на меня сияющими глазами:

— Чего ты сердишься? На правду нельзя, братец, сердиться. Не будь ты мой сын, я бы утверждал, что ты возрождаешься. Очисти себя, Всеволод, от сучьев тщеславия.

— Да ты подумай над окружающим, отец.

Он оглядел выгон, девчонку с хворостиной, избы, дешевое небо.

— Живут люди и хуже. Откроем банк, жизнь несомненно улучшится, Всеволод.

— Да откуда банку-то появиться? Ты вспомни, как мы питаемся, во что одета мать. А где лекарства для Палладия? В степи тысячные табуны, а ты не имеешь возможности каждый день пить кринку молока.

Упреки показались ему чрезвычайно обидными. Он вспыхнул.

— Мне? От сына? Выговоры? Я приказываю тебе замолчать. Откуси язык, но замолчи, Всеволод! Проклянуй!

Ему понравилась мысль о проклятии, лицо у него стало озабоченным. Он, видимо, вспоминал и прицеливался, откуда же начать проклятия. Губы его быстро шевелились. Надо торопиться, а сложный обряд проклятия он никак не мог вспомнить. Учил он ребят молитвам, но ни в одном из молитвенников не имелось хотя бы примерного отцовского проклятия. От напряжения на лбу его показалась испарина, он то ставил ногу на забор, то убирал ее.

— Не отговаривай, не отговаривай, — скороговоркой бормотал он, — раньше бы подумал об устранении препятствий.

Я совсем рассердился.

Я вошел в классную, взял с парты шерстяной матрац, набитый соломой, распорол шов и вытряс с крыльца солому. Матрац был из кашемира, зеленого и дрянного. Набитый, он напоминал спящего пса, и про себя я матрац и называл: «соломенная собака». Он заменял мне иногда шарф, иногда сумку. Сейчас я положил в «соломенную собаку» несколько книжек, краюху липкого хлеба, две луковицы, щепотку соли, бутылку с водой. Мать уговаривала меня тихо: «Отец-то отходчивый. Изображает, а к вечеру, глядишь, и свернется».

Мне уже понравилась мысль об уходе. Кроме того, пренебрежение отца к моей воле, к заученным сентенциям огорчало меня. Да и что мне делать в Лебяжье, зачем обедать и без того полуголодных людей?

Вот я выйду. Утро. Утки, попрежнему переваливаясь, медленно поднимаются по откосу. Отец шлет мне вслед ужасные проклятия. Мать стоит возле крыльца на соломе и качается от горя. Она причитает. Обыкновенное, дешевое небо над нами, обыкновенные, пухлые облака. Обыкновенная река Иртыш блещит за тополями.

Я перекинул через руку черный свой плащ, взял «соломенную собаку», пригладил на плаще львов. Я остановился против отца. Он рассеянно посмотрел на мою сумку.

— На рыбалку пошел? Ноньче рыба на переметы идет плохо.

Не вспомнив проклятия, он рад говорить хотя бы о рыбе.

— Я уйду совсем, папа.

Отец сказал лениво:

— Ну иди. А когда банк откроем, я тебе выхлопочу место и сообщу...

— Не открыть вам банка.

— И тебе не уйти из Лебяжьего. Ты на себя посмотри, разве с такой мордой уходят. И лучше тебя были физиономии, но возвращались.

Он сердито отвернулся от меня и поднял самовар на крыльцо. Самовар потух. Из него могут вывалиться угли, когда начнешь раздувать, и зажгут солому. А убрать солому лень. Затем отец снял са-

пог и пристально уставился на стершийся каблук. Я медленно отошел от крыльца. Я направился не к пристани, а к тракту. Я опасался, что на пристань, пока я ожидаю пароход, прибежит мать и начнет меня уговаривать примириться с отцом. А завтра опять тот же самый спор.

У поворота я обернулся. Отец стоял ко мне лицом, слегка склонившись над самоваром. Позади отца — широкий и черный выгон. Отец весь в желтом, он раздувает длинным сапогом самовар. Острые искры летят на черный выгон. Я стоял, думал. Отец продолжал качать сапогом. Искры летели шумней. Он не смотрел на меня. Мне было жалко себя, что я ухожу так обыденно. Этот длинный, черный, стоптанный сапог! Отец его чистит тщательно ежедневно. Тоже зря. Зачем летом носить сапоги? Это и невыгодно, и жарко, потеют ноги, от пота сапоги портятся и преют. Грязи летом нет, а вот носят, и все потому, что так положено от веку. Какие же тут проклятия.

На Крестовском перекате, в трех километрах от поселка, пароходы идут тише, потому что здесь Иртыш изобилует мелями и корягами. За десять копеек рыбаки отвезли меня к пароходу. Бока лодки почему-то обиты рваной медной жестью.

— Зачем вам медь?

— А для красоты, — ответил рыбак.

— Сети рвете.

— Сеть починить можно.

— Вячеславу Алексеевичу нравиться? — едко спросил я.

Рыбак улыбнулся.

— Учителю-то? А как же, он красоту знает.

До Павлодара я плыл грустный. Если просить денег, то, пожалуй, лучше всего попросить у Пашки Ковалева. Как-никак он, подобно мне, потребовал у хозяев жалованья, и ему назначили восемнадцать рублей. Должен он своего учителя снарядить вниз до Омска? Обязан. Я отработаю и пришлю ему. Бродя среди туюков, возле машинного отделения, размышляя о Пашке и Павлодаре, я как бы взносил свою тоску.

Я ехал в третьем классе. Я не имел права подниматься на палубу, во второй

класс, чтобы погулять. Я поднимался поздней ночью. Я надевал плащ и ходил мимо окон, не смея опереться на перила. Занавески кают плотно задернуты, тишина, молчание, только какая-то высокая дама прижимается к белому кителю чиновника. Плечистый чиновник бацит:

— Тести бывают и приличные. Мой тесть обѣдает меня и позволяет себе стравливать моих детей. Я н-н-не разрешу...

— Но ты, Ксенофонт, совсем-совсем не понимаешь его... — шепелявила дама.

— Н-не разрешу.

При каждой моей встрече с ними я слышал это слово «не разрешу», и каждый раз чиновник говорил его по-разному. Оно звучало то глухо, то высоко, то гневно, то пренебрежительно. Какая сложная наука, какая громадная государственная машина воспитала этого плечистого человека, чтобы он умел так удивительно многообразно выражать в одном слове «не разрешу» великое множество понятий. Недаром же я и раньше боялся чиновников. Проходя мимо этой пары, я поддерживал полы плаща. Дама откусывала яблоки, делая это чрезвычайно изящно.

Яблоки у нас в семье были величайшей редкостью. Отец покупал их только для именитых гостей. «Странно, — подумал я, — вот я уже самостоятельный человек, а еще не ел яблок. Мог бы вместо дорогого галстука купить галстук по дешевле, а на отстатки приобрести яблок. И зачем мне плащ?»

Красные и белые бакены обозначали фарватер. Пароход иногда садился на мель, нагруженный доотказа, он снимался с трудом. Меня раздражали эти стоянки, у меня оставался только полтинник, а я очень хотел есть.

Подходя к Павлодару, пароход празднично загудел, он сделал лихой круг, из трубы его валил густой дым. Пароход блестел и сиял, его долго мыли. Матросы кидали тяжелые швабры в Иртыш и, смеясь, волочили их на палубу. Пароход пристал к барже. Пассажиры толпились у трапа. Меня жали, толкали, из уборной, подле сходен, воняло карболкой. На лестнице, опираясь чемоданами

в медный поручень, плечистый чиновник басил: «Не разрешу».

По обычаю, если пароход приходил в Павлодар вечером или в праздник, то вся городская молодежь и вообще легкие люди спешили «гулять» на пароход. Все время, пока киргизы грузили тяжелые десятипудовые тюки с кожами, мешки соли, бочки масла и сала, пока киргизы, обливаясь потом, бежали по качающимся мосткам, поддерживая на спине крюками тяжести, тесная и густая толпа мещан кружилась на палубе мимо окон кают и салонов первого и второго классов. Киргизы-грузчики питаются одним хлебом, мясо едят не больше одного раза в месяц, часто болеют тифом; киргизы, все изможденные, сутулые, и все знают об их несчастьи, и никто не замечает и не говорит о них. И я не замечал и не говорил об этом. Я тоже гулял на пароходе. Мне нравилось, что капитан стоял на мостике в чистом и новом мундире и все вокруг страшно чисто, празднично и скучно. Погрузившись, пароход отваливал, толпа гуляющих долго стоит на берегу и слушает гудки.

И вот, приятный к стенке мешками и ящичками пассажиров, я ждал, когда сбросят трап, и смотрел на эту павлодарскую толпу, тоже ждущую трапа. Был праздник. Они желали гулять! Я увидел здесь Ирму Шмидт с черными бровями. Она одна в городе красится, а если девушка красится, это позор, — краситься могут только замужние. И она ходит одна, даже деровские приказчики, славящиеся своей беспутностью, не подходят к ней. Неподалеку Викентий Владычкин, лицо у него несчастное и тоскливое, он стоит, опершись на палочку, и ищет кого-то в толпе глазами. Сестра моя Марья, окруженная коричневыми прогимназистками. Рябой сапожник Лев Удавов в яркосерой шляпе и зеленом галстухе, приятель Пашки Ковалева. Мечется Василий Ефимович, наверное встречает знакомого. Весь город здесь, все, кто оглушительно и яростно хохотали, когда меня положили в цирке!

И вот я должен выйти к ним. Они, небось, уже знают, почему я вернулся в Павлодар. Какой хохот встретит меня, какие лоснящиеся наглые рожи! А я

должен буду подойти, поклониться и попросить денег, — у кого, у Пашки Ковалева! Он тоже здесь, он улыбается и приподнимает фуражку.

Ну зачем нужен мне был этот детский лепет об индийском принце, об Индийском океане, ю далеких островах. Вымаливать у мещан веру в дикую и нелепую выдумку, — разве в этом заключается твоя воля, Всеволод Вячеславович? Разве преодолеть твоим взором, хотя бы он был ярче солнца, эти бессмысленные, тупые морды, с заплывшими глазками? Вот они ввалятся по сходням и понесут важно свои браслетики, часы, брюки, кофты, бархатные платья, надетые, несмотря на жару. Все они в черном. Почему? Над ними такое ясное, великопепное небо, такое солнце, которому позавидует Индия, а они не обливаются потом только потому, что это неприлично!

Какой там к чорту индийский принц! Вытравить из себя, отменить! Все смеются надо мной. Разработать другое. Устремить взор вглубь себя.

Отныне я не принц. Отныне я человек низшей касты, но воспитавший в себе чудовищную волю, перед которой должен преклониться мир. Я получаю возможность отомстить всем, которые смеялись надо мной, но воля моя так велика, что я вычеркиваю все мысли о мести и прохожу мимо этих удивленных лиц, растрепав своим милосердием даже эти черствые сердца!.. Да, я теперь факир. Да, я теперь дервиш. В сущности, остается сделать немного. Водки я не пью, табаку не курю, пищей я не избалован, буду питаться черным хлебом и отчасти молоком. Женщины? К ним я не так уж очень привык, а помечтать о любви и факиру не возбраняется. Я возвращусь в Павлодар мощный, великовольный, презирающий все блага мира. Итак, я дервиш.

Итак, я факир и дервиш. Итак, меня зовут...

... меня зовут Бен...

Имя короткое и невнушительное, хотя вполне достаточное для человека низшей касты. Но кто такой Бен? Беном назовется любой немец, — предположим, Август Бен. Вполне возможно. Нужно прибавить нечто восточное. Али? Это имя

всем напомнит «Тысячу и одну ночь». Бен-Али? Правда, это похоже на имя слуги. Надо бы повнушительней. Разве прибавить «бей»? Это, кажется, значит господин. Господин Бен-Али! Разве не может факир называться господином, ведь он прежде всего господин над самим собой?

Я устремил очи свои вперед. Резко и внушительно глядел я.

Итак, меня зовут Бен-Али-бей, великий факир и дервиш.

Нет, не сойдет Бен-Али-бей на павлодарский берег, не смеяться вам больше над ним, господа!

Я попятился.

Я постучался в каюту к младшему помощнику капитана. Лицо его, отцветшее и усталое, казалось мне добрым. Я сказал робко, но в то же время внушительно:

— Не будете ли добры, господин помощник, отвезти меня в Омск? Я, видите ли, издержался...

И вдруг его симпатичное лицо как бы покатилося по скату. Он отвернулся от меня, он доставал конторскую книгу. Когда его лицо поровнялось с моим, то от него как будто была отломана его добрая часть:

— Терпеть не могу, когда клячат.

Я отошел слинялый. Я торопливо огляделся. Возле машинного отделения, у пустых еще пассажирских коек, я увидел громадную бочку в полтора человеческих роста. Такие бочки наполняют «головной» сахар. Она сколочена наскоро. Я заглянул в нее. Крышка свалилась внутрь до середины. Я приподнял крышку. Обрезки плах, стружки, солома, тряпки для обтирания машин заполняли ее. «Бедный Артур Гордон Пим» — вспомнил я.

Я залез в бочку.

Бочка узка, но можно лежать в ней, скорчившись. Я прикрыл сверху себя соломой, тряпками, дощечками, а еще выше положил крышку.

Погрузка продолжалась долго. Я слышал постепенно уменьшающийся топот ног, затем заскрежетала лебедка, поднимающая якорь, раздалась команда: «Отдай концы!» Пароход заревел и отчалил. Я с трепетом ждал контроля. Если меня

поймают, то ссадят на Три Острова, стоящие поодаль от Павлодара. Таков был обычай для пароходных «зайцев». По обычаю, их били, перед тем как ссадить. Три раза по шее. Удары зависят от матросов. Хорошо, если саданут покрепче, поплачешь подольше, злости накопишь для того, чтобы влезть на следующий пароход.

— Ваши билеты, господа, — раздавалось возле бочки.

Кто-то заговорил вкрадчиво. Знакомый голос, но ласковый и мяукающий. ответил вкрадчивому:

— Терпеть не могу-у, ко-огда-а у меня кля-янчат...

Помощник капитана, как надо было понять, соглашался на взятку. Он постучал в мою бочку карандашом.

— А здесь, небось, тоже ваши?

— Здесь, господин помощник, пустая нераспорядительность. Бочки возле пассажира, зачем?

— Да, надо эту бочку в котельную отправить, — сказал помощник и приподнял мою крышку.

Я увидал длинную бледную руку с тросточкой. Тросточка эта быстро опустилась, проверяя. Раз, два! Она стукнула меня ловко и больно по лбу и упорхнула. Мне показалось, что бочка покачнулась. Возможно, что помощник и потрогал ее, и она показалась ему легкой.

— Скатите ее к топке, — сказал помощник, отходя.

Я пощупал вспухнувший лоб. Высокая шишка поднималась от бровей к волосам. Словно опасаясь, что меня еще кто-то ударит, я завязал лоб «соломенной собакой». Сидеть было очень неудобно, ноги затекли, колени болели. Чтобы развлечься, я попробовал просверлить сбоку отверстие попавшимся под руку гвоздем.

Сухое березовое дерево не поддавалось. «Бедный Артур Гордон Пим» — повторил я.

Пассажиры пели «На диком берегу Иртыша». Кто-то откупорил бутылку, смеялись, слышались шутки. Плыла, должно быть, большая и дружная компания, и я подумал: «Если они дали взятку, то почему бы мне не попросить их присоединить меня к себе».

Я потихоньку толкнул крышку и выглянул.

Белые койки завалены перинами, сундуками, чемоданами. Волосатые, веселые люди пьют водку. Рюмки сверкают в их руках, пена от паровозных колес отражается в стекле.

Я узнал их. Это уезжал цирк А. Коромыслова. Я узнал актеров, оркестрантов, капельдинеров, борцов, фокусников. Антуанетта Сирбо держала рюмку с водкой. Подальше стояли клетки, ревел попугай, бляяла коза, прыгала обезьяна с оранжевым задом. Возле перил, обняв пани Марину за покатые плечи, стоял розовый Роальд Азгерц.

Итак, вот где факир и дервиш Бен-Али-бей встретился с ними.

Я опустил крышку.

Опять я вспомнил этот страшный хохот в цирке. Вот я выгляну сейчас с огромной синей своей шишкой на лбу, и опять повторится этот хохот. Они зарорут, завизжат, засвистят: «Вот он где! а мы-то вас искали!» И сейчас же они узнают, что я безбилетный. Хохот усиливается.

Ноги у меня будто сломанные, голову печет, рот пересох. Я сорвал зеленую повязку. Боль усилилась. Я вспомнил отца. Весь в желтом, отец раздувает сапогом медный самовар, летят тяжелые искры с крыльца на широкий черный выгон. «Несчастный Артур Гордон Пим! Бедный Артур Гордон Пим!» — повторил я и горько заплакал.

К о н е ц п е р в о й к н и г и

(Продолжение следует)

Рассказы

БОР. ПИЛЬНЯК

I. КAVKAZСКИЙ ХРЕБЕТ В ЛАГОДЭХСКОЙ ПЫЛИ

В Кахетии, от Сигнаха до Лагодэхи, дорога проложена библейскою пылью Алазанской долины. Сначала она идет долиною пустыни, затем, за Алазанью, убирается в субтропические леса мокрого удушья, москитов и — все же пыли. Пыль устала дороги не меньше чем на четверть метра. Уже в лесах, в километре от мельницы — от единственного жилого места между Сигнахом и Лагодэхи, — автомобиль со скоростью в пятьдесят километров остановился вкопанным в пыль. Сквозь пыль пассажир увидел, как брызнула кровь из носа шофера, хотя на губах осталась озорная улыбка, которая была всю дорогу погони за километрами.

— Что случилось!? — весело крикнул пассажир — и поперхнулся: на ладонь к нему упали два зуба, рот наполнило соленой слюной. Машина уперлась рессорой в древний пенёк, занесенный пылью. Пассажир хотел сплюнуть слюну и пыль: красной струей изо рта и из носа потекла кровь, белая рубашка и колени брюк взмокли от крови. С неба светило полуденное солнце. Померкли все запахи — эти необыкновенные запахи полуденной страны, которые все время преследовали и радовали пассажира, человека с севера. Раскаленное солнце почернело, став вдвое раскаленнее. Шофер дал перегретого коньяку, приложить ко рту и к носу.

На мельнице первым делом спросили: — «обрабили!? — где бандиты!?!» — Шофер на мельничной кузнице выпрямлял ось. Жена директора лежала в

припадке малярии. Мельничная стиралка стирала рубашки и брюки шофера и пассажира. Через час прискакал верхом врач. Пассажир после врача заснул на второй кровати директора, через ночной столик от бредящей в малярии жены, и проснулся к закату. Принесли кувшин мацони; автомобиль был исправлен, пока пассажир спал; заезжали на мельницу секретарь лагодэхского райкома и начальник политотдела. К вечеру воздух занял москитами, распаренный удушьем. Шофер клялся честным словом коммуниста, что он совершенно здоров и никак не утомлен. Ночь навалилась сразу. Головная боль у пассажира прошла. Решили ехать дальше. Шофер улыбнулся озорником и провалил машину во мрак дороги, взрезывая его фарами. Пассажир задремал, загипнотизированный огнями фар и мраком.

Он проснулся от тишины, неподвижности и разговора. Первое, что он понял, проснувшись, это то, что к нему вернулись запахи — и пахло необыкновенно свежим, молодым, сырым табаком. Рядом вспыхнули два автомобильных фонаря. С соседнего автомобиля сказали:

— Ну, трогай, товарищ Тэнгиз, — мы еще в два колхоза заедем. Вернемся — вы уже будете спать, встретимся завтра. Ложитесь спать в гостинице на террасе, клоп в Лагодэхи — как тигра.

Прежде, чем встречная машина двинулась, пассажир услышал странные звуки, похожие одновременно и на лязганье тысячи тупых ножиц, и на стрекот ты-

сачей кузнечиков, причем кузнечики, должно быть, были размером в крысу. Звуки шли издалека и из мрака.

— Это вы с кем разговаривали? — спросил пассажир.

— С товарищем, с шофером лагодэского райкома. Начальник политотдела и секретарь объезжают колхозы, выполняют план, хотят выйти на первое место по табаку.

— Мне бы их повидать. Я ж к ним еду... А что это такое трещит, не то баранту стригут, не то крысы, не то саранча, — слышите?

— А это колхозники табак ломают.

— Почему ночью?

— Табак всегда надо ночью ломать и на сушилках развешивать не позже рассвета. Ломать табак днем — губить табак.

Оттуда, где возникали шумы ломаемого табака, понеслись человеческие крики. Они были необычны для северного уха. Они катились грядой из близки в даль. Они не походили на песню, один голос подхватывал очень тоскливый мотив, тянул его полным дыханием и передавал соседу. Быть может, таким криком отгоняли какого-то дикого зверя.

— Что это такое?

— А это колхозники кричат, ободряют друг друга, соскучились по человеческому голосу.

— Я как-раз по табачному делу приехал, — сказал пассажир. — Собственно, ознакомиться с экономикой...

— Можно свернуть, посмотрите.

Свернули с дороги в деревню. В свете фар деревня показалась очень тесной и напомнила африканские картинки. Кое-где на улице в палисадах, подотстав сумачи, спали семейства. Выехали в поле. И в поле засветились огни. Среди табачков размером выше человеческого роста, с фонарями «летучая мышь», склоненные к нижним на стеблях листьям, в саженом мраке, рядами шли люди и ломали табачные листья в корзины за плечами. Листья, размером до коршуна, ломались, чавкая сыростью и сладковатым табачным удушьем. Черное небо утверждало колоссальную пустоту бесконечным холодом звезд. От времени до

времени люди кричали нараспев, чтобы ободрить свой труд.

Поехали дальше.

Под самым Лагодэхи, справа и слева от большака, то и дело попадались табакосушильни. Они на самом деле напоминали картинки негритянских деревень. Под длинными крышами в свете «летучих мышей» — шкурами обыкновенного зверя — рядами, наколотые на длинные бечевы, висели табачные листья.

Приехали в Лагодэхи.

Новостроенная гостиница разместилась в цветнике и до остервенения пахла табаком — не тем, который курят, но тем, который рассаживают в садах. Свободных номеров не оказалось, но все номера были открыты и пусты: спали на террасе. Опять принесли кислого молока, чуреков и арбуз. Шофер ходил в исполком — добыть право на ночлег, — поместили в номер начальника политотдела, — постелились на полу на террасе. Легли рядом, заснули, как камни, проснувшись от электрического света. Двое, приехавшие позднее, устраивались спать. Шофер прошептал:

— Начальник политотдела и секретарь райкома...

Приехавший из Москвы втяделся в начальника политотдела, приподнялся. Начальник политотдела втяделся в приезжего.

— Никак Николай?

— Никак Нодар?

Два голых — в одних трусах — человека обняли друг друга. Был выкачен новый арбуз.

— Как же, где же ты?

— Сейчас выполняю план... Тогда, как были расстреляны двадцать шесть комиссаров, я работал с Микояном, скрывался в Сабунчах. А ты?

— Я в ханском дворце в подвале прятался.

Эти двое были бакинскими рабочими. Биографии обоих начинались, по существу говоря, расстрелом двадцати шести бакинских комиссаров, — в то время оба они были полуграмотны. Почти анкетно оба они рассказали свои судьбы последних пятнадцати лет. Один — гражданская война, Север, Москва, парторбота,

Свердловка, партработа, совработа, — замнарком. Другой — гражданская война, Персия, партработа, совработа, командировка в Турцию, партработа, командировка в Англию, — торговать коврами, — партработа, политотдел.

Из темноты от спящих заговорил третий:

— А вы помните, как вас обоих. — как его звать? ну вот, километрах в пяти от Баку по железной дороге к Москве, забыл, как его звать! — как вас обоих от этого моста англичане пулеметом гнали.

— Ну да! как же!

— Я тогда вашим командиром был, Дмитрий Буланов, — Митяя Буланого помните!?

Была ночь, надо полагать, час пятый, чуть похолодало. К арбузу подошел третий. Как первые двое, он был в трусах, но на плечи накинута белая китель. На кителе, с каждой стороны ворота, было по два ромба. Он не поцеловался, не пожал рук. Глаза его были счастливы встречей. Он отрезал себе пол-арбуза, счастливо запустил в арбузное мясо белоснежные широкие зубы и молвил:

— Замнарком, значит? — а ты — перевыполняешь план, начальник политотдела? — я тоже приехал сюда ревизовать... — Товарищ Буланов выдержал паузу, с наслаждением выплюнул арбузные косточки. — Не в этом дело, ребята. — Для убедительности Дмитрий Буланов сощурил глаза и скорчил такую рожу, точно вместо арбуза он кусал лимон в арбуз размером. — Не в этом,

ребята, суть главного дела! — я приехал вчера и, не скрою, ругался до самой печенки, — пыль, грязь, спи на террасе... А сейчас, ребята, услышал ваш разговор... я вот френч на плечи набросил, — не скрою, ребята, чтобы о себе не объяснять. В этом главное дело, в этом, ребята, главная суть... — Лимон сошли с лица товарища Буланова, он сказал счастливо и просто: — Прекрасная жизнь! — и опять выплюнул косточки. — А у тебя, я вижу, зубов-то уж нету, весь фасад вылетел!? — И как прошли пятнадцать лет?!

— Да это только сегодня утром, налетели в пыли на пень.

Ночь до обалдения пахнула табаками. Мимо гостиницы до рассвета скрипели арбы, запряженные буйволами, освещенные «летучими мышами», нагруженные табаком. Первым заговорил о сне начальник политотдела: на рассвете он должен был ехать уже за тридцать километров, брать на буксир неудачников.

Утро пришло невероятной прозрачностью. Не замеченные вчерашний день за пылью, за головной болью и за мраком, горы — Кавказский хребет оказался наутро рядом, в отвесе над Лагодэхи, зеленый, в лесах и пастбищах, лиловый, в громадах камня, ослепительно-белый, в снежных вершинах. Он был рядом, он нависал над Лагодэхи, он дышал свежайшим, прозрачайшим, золотым воздухом и пахнул простором.

Ямское Поле.

3 марта 1934.

II РАССКАЗ О ДВАДЦАТОМ ГОДЕ

Это было грозное время военного коммунизма. Удостоверения личностей тогда выдавались только на три месяца. Начало года уничтожало все допрежь выданные удостоверения и мандаты. Анатолий Васильевич Луначарский выдавал молодому писателю каждые три месяца удостоверение, — «Москва, Кремль, Кабинет» — «дано сие такому-то в удостоверение того, что он откомандировывается в личное распоряжение» — «Нарком» — подписи, печать.

Смысл этого «личного распоряжения» знали только двое — нарком и писатель, — он означал, что писатель предоставлен на три месяца в вольную свою волю, может сидеть в Коломне и писать свои рассказы. Писатель и писал. Постучали у калитки, вошел военный человек с заиндевевшей винтовкой, осмотрелся, улыбнулся хитро, сел, сказал: — «покажь документы». — Писатель показал. Человек улыбнулся еще хитрее, закурил махорку со стола писателя, сказал не-

спеша: — «просрочены, — решай сам — либо, как дезертиру труда, вместе с буржуями чистить нужники, — либо становись на биржу». Писатель предпочел биржу. — «А тогда идем, я тебя провожу», — сказал гость. Пошли. Пришли. Добрый человек с заиндевевшей винтовкой сказал, — «вот привел одного такого!» — и распрощался дружески. Писатель полагал, что состояние на бирже труда литературным его занятиям не помешает, ибо — куда в Коломне нужны писатели? Барышня весело опросила, трудолюбиво записывала анкету и — дала ордер на оберточной бумаге, со штампами, подписями и печатями: «профессия — писатель» — «направляется в редакцию газеты «Голос Коммуниста». Писатель оторопел, — писал и собирался писать рассказы на всероссийскую литературу, а тут — коломенский Голос Коммуниста... Тем не менее — в редакцию пошел прямо с биржи. Шел по заснеженным улицам и разглядывал в недоумении небо, не кланялся встречным, а три четверти встречных были знакомы, ибо знали в Коломне друг друга все полностью. Пришел. В редакторском кабинете сидел замечательный человек Михаил Егорович Урываев, директор коломенского машиностроительного завода и редактор одновременно. Михаил Егорович улыбнулся весело, сказал:

— Ага! пришел, добрались мы до тебя, садись.

— Это — как же так — добрались? — спросил писатель.

— А это я тебя подкараулил, чтобы на дело поставить, чтобы ты за Луначарского не прятался и не бездельничал.

— Михаил Егорович, — сказал писатель голосом, просящим сочувствия и страдающим, и чуть-чуть ироническим, — Михаил Егорыч, — ну какой я газетчик? — я лирик, я рассказы пишу, я интеллигент, я беспартийный... Отпусти меня к Анатолию Васильевичу, я свои рассказами отработаю. Какой я газетчик, ты сам посуди...

Михаил Егорович прищурил глаз, улыбнулся, стал серьезен, сказал доверительно и строго:

— Ты дурака не валяй, рассказам твоим я не помешаю. А работать ты у

меня будешь за спеча. Я сам тебе буду темы давать, идеи, матерьялы, — а ты валяй, приводи в порядок, чтобы было грамотно, фельетоны пиши, передовицы, обрабатывай местные корреспонденции. Темы и идеи я сам буду тебе давать.

— Я подписывать своим именем такие вещи не могу, вдвоем, что ли, подписывать будем?

— А ты и не подписывай. Ты подписывай свои рассказы в Москве, а здесь фамилия роли не играет, хоть каждый день новую подпись ставь. А матерьялы — на вот, получай, чтобы времени не тратить. Садись в соседней комнате и жарь до четырех часов. На вот, исправь мою передовицу для пробы.

Передовица была одобрена. В первый же день писатель сделал передовицу, фельетон и исправил с десяток деревенских корреспонденций. Газета выходила два раза в неделю. Писатель работал в газете — целую эпоху по тогдашним временам — месяцев восемь. Через месяц с начала работы половина газеты заполнялась писателем. Оформлял и корректировал газету — писатель. Работал писатель в газете весело, почти с увлечением, тратя на газету очень немного времени. Дома писатель в это время писал повесть, чтобы напечатать ее в Москве. Повести он отдавал гораздо больше времени, чем газете. Повесть была напечатана во Временнике Наркомпроса за подписью писателя. В газете имени писателя не было ни разу.

В дни напечатания повести в Москве, под председательством директора Роста был конкурс провинциальных газет. Редакция коломенского Голоса Коммуниста получила первый приз, он прислан был в Коломну за подписью директора Роста. Там значилось: — «подбор, распределение и подача матерьяла» — «своевременная передовая» — «фельетон» — «ответы читателю» — «оформление», — то-есть, главным образом то, что делал писатель. И в это ж самое время в Москве появилась статья этого же директора Роста, камня на камне не оставляющая от повести, подписанной полным именем писателя.

Культурное состояние писателя в газете и в повести, совершенно естествен-

но, было одним и тем же, равно как и политические его взгляды, — и этот эпизод судьбы писателя остался для него притчею дел человека. Рациональное, мозговое познание вещей и утверждение мыслей всегда опережает эмоции. Повесть, разгромленная директором Роста, была написана образами и оперировала ощущениями. Должно было пройти десятилетие, чтоб это стало понятным писателю. Впрочем здесь же может возникнуть рассуждение о том, что, как вычитал писатель в ирригационных книжках, «природа не знает и не терпит прямой линии», оставив абсолютную прямую математическим формулам, — и эта «абсолютная прямая» индивидуализма повести за полным име-

нем — была скорректирована коллективом Голоса Коммуниста.

Для того ж, чтобы рассказ был закончен в традициях классических ощущений рассказа, следует сказать, что в том двадцатом году зима, кроме революции, была замечательна еще морозами и метелями. Морозы в тот год доходили до сорока градусов, ночами слышно было, как морозы ходят. Дома в тот год заметались метелями по трубы. Рассказать о двадцатом годе то, что тогда были громадные морозы и страшные метели, — это ничего не рассказать о двадцатом годе.

Ямское Поле
8 мая 1934.

III. ПОВЕСТЬ О СПЕЦОВКЕ.

С осени 1933-го года в Москве появились люди, особенные и необычные для городских улиц. Их можно было встретить вдоль Остоженки и арбатских переулков, на Моховой, в Охотном, около театров, у Красных Ворот. Эти люди встречались на улицах, появляясь из-под земли, молодые и очень веселые, румянощекие и замазанные землей. Они встречались и ночью, и днем, — и ночные встречи были особенно необычны, ибо затихшие улицы нарушались тогда молодыми и бодрыми разговорами этих, возникших из-под земли. Их одежда состояла из черной холщевой спецовки, всегда из резиновых сапог, иногда из резиновых курток и шлемов. На женщинах часто бывали красные головные платочки. И эти девушки и женщины, красноскулые от здоровья, в красных платочках, веселые и молодые, обутые в сапоги, одетые в широкие штаны спецовок, особенно весело и гордо несли шахтерскую честь тех, которые с осени 33-го года наполнили Москву особой породой людей. Эти люди бодро и не надолго появлялись над землей и затем исчезали под московскую землю, унося за собой внимание прохожих и здоровую радость молодости.

Над Москвой, над московскими улицами проходили столетья. Над Москвой, по Москве мели метели Октября. Те, которые рыли Москву в 933-м, в 34-м, в октябрьские дни были детьми. Пройдут десятилетия от 34-го, иные из тех, кто молодостью рыл Москву в 34-м, будут наркоманами, иные инженерами, иные публицистами, взяв вообще все те посты, которые предостоят молодежи. Иной раз, в иной майский день, когда за городом весна, но в городе уже зной, тот или другой из них опустится в Охотном под гостиничные небоскребы, подземелья понесут его к вокзалам, за вокзалы, в заповедные Сокольничьи леса. Один встретит другого; взглянутся, вспомнят, пожмут руки, — здравствуй, старина! — Поезд, наполненный новой молодежью, подойдет к станции Красные Ворота, разменяет людей. «Красные Ворота», два столетия простоявшие на Садовом Валу в средневековой Москве, в первое десятилетие после Октября оставили о себе память только названием места, канувшего в историю.

— Ты помнишь, старина, — мы ж с тобой работали именно здесь. Именно тогда так называлось — на этой шахте.. Ну, да, здесь была шахта 21-бис!.. Ну, да, конечно... — Собеседник помол-

чит. — Это было в 34-м, тридцать лет тому назад... А ведь на самом деле тогда этот метрополитен строила вся Москва и — как строила!.. Ты помнишь, как мы и наши девушки лазили тогда под землей как-раз в этом месте, как наши дела тогда, воля и радости на самом деле уперлись в землю, которую мы должны были продолбить... На шахте тогда, на соседней 21-й, я встретил мою жену. У нее до сих пор хранится спецовка, в которой она работала под землей...

— Ты говоришь, — строила вся Москва, и ты вспомнил о спецовках. А ты помнишь, — как ее имя и фамилия? — да, да, товарища Панину, Юзефу Францевну? — Я был молод и глуп по молодости, и эта Панина, Юзефа Францевна, меня кое-чему научила. Ты помнишь ее?.. Всё было очень просто, в традиции тех лет. На нашу шахту, 21-бис, пришла женщина лет под сорок, привела с собою девушек, и впятером они чинили наши спецовки. Панина работала завхозом в швейной школе, и она со своими подружками-ученицами жертовала Метрострою то, что могла, — свое нерабочее время и умение владеть иглой. Сейчас твоя жена хранит спецовку как воспоминание, — а ты помнишь, что такое спецовка на самом деле? — Лазили мы под землей, как черти в преисподней, прели, мазались в различных юрских глинах, вымокали в разных подпочвенных водах. И вот эти спецовки, мокрые и в юре, товарищ Панина чинила, заштопывала и приводила в порядок — по собственной воле, бесплатно конечно, взяв на себя такую общественную нагрузку. Обрати внимание: Панина и — Юзефа Францевна. Панина — это по мужу. Она была польской крестьянкой откуда-то из-под Седльца. Ми-

ровая война и революция оставили ее по нашу сторону «кордона», как по-польски называлась граница. Ее детство сделало ее революционеркой, она была членом коммунистической партии. Москва тогда уже была интернациональной родиной всех трудящихся. Она, товарищ Юзефа Францевна, помогала нам, шахтерам, тем, что чинила наши спецовки, — она говорила, что она помогает государству. У Паниной тогда была двенадцатилетняя дочь, — конечно она ездит теперь по подземке полноправной хозяйкой!.. А спецовка... Ты помнишь Панину?..

— Да, да... кажется, я вспоминаю. Ну, да, ну да, — конечно помню!..

Два старика, два товарища юности, помолчали, дружески глядя в глаза друг другу. Молодежь громко обсуждала свои дела, которые предстояли им в заповедном Сокольничьем лесу. Подземный поезд — за вокзалами — выходил к солнцу из земных недр.

Над Москвой, над московскими улицами, проходили пролетарские годы, стальные, более крепкие, чем доисторические тысячелетья, годы новых человеческих отношений, нового человеческого труда, того труда, где не забывается даже спецовка, и даже спецовка, рваная и замазанная в юре, созревшая в грязи, вызывает ощущение гордости и радости за тех молодых, которые появились в Москве по осени 33-го года вдоль Остоженки и в арбатских переулках, на Моховой, в Охотном, сколо театров, у Красных Ворот, — вообще около улиц старых понятий, оставшихся от феодальной Москвы, — вынося на улицы недра пролетарских человеческих отношений.

Ямское Поле
14 мая 1934.

Два стихотворения

АЛЕКСАНДР ЧАЧИКОВ

I. СЛАВЛЮ МОСКВУ МИРОВУЮ

Не устыжусь я сравнения древнего,
Строчки спокойно вяжет рука,
Была Москва — большая деревня.
Так проходили века и века...
Без вылазок всяких в истории дебри!
Традиции груз,
Не долей надо мной!
Не стану врываться в слоистые недра,
Сегодняшний день поведя за собой!
Далеко отбросив цитатное крошево,
С настоящим,
Грядущим —
Мой разговор.
Пусть старое даже строкою
непрощенной

Не ворвется в поэму,
Как недруг и вор!

Москва означает:
Итти напролом!
Москва говорит:
— Старье на слом!
Москва — уходящему в горло штык!
Москва за собою зовет молодых!
Москва — это лампочек ленинский
свет,
График гигантски растущих побед.
Москва — это хлопок, кендырь
и кенаф,

Москва — то побеги освоенных трав,
Встающих второй пятилеткой!
Стих мой,
Нацелься пулею меткой!
Раздайся,
Песенный полет,
Стихи червонные,
В поход!
И если вы раньше пели
О Гюлистана соловьях, —
Возьмитесь, крепкие, за дело,
Чтоб голос в стройке не зачах!

Москва — республики старшая дочь,
Любящая своих шестерых сестер.
Москва отогнала полярную ночь,
И краше Сиянья зажгла костер.
Москва говорит:
— С полуострова Колы
Стереть белое пятно!
В ответ
Радиограмма советского ледокола:
— Есть,
Товарищи,
Стерто оно!
Москва — это город,
Где Красный Майдан,
На нем —
Кибитка с прахом Ленина...
Если Сталиным знак будет дан —
Птицы изменят свое оперенье!
Куда он захочет — ручьи потекут,
В пустынях арыки будут проложены.
Все побеждает разумный труд,
На большевистскую смелость
умноженный!

Москва созидает алфавиты миру.
Москва — мать родная забитым
и сирым.
Москва — кислород встающих
колоний,

О ней дорогая плывет молва.
Раб усталые плечи уронит
И повторяет: Москва!
Москва вырывает плантаторов плети,
Москва — исцеляющий северный ветер.
И каждый из миллионов рабов
Сердце отдать за Москву готов, —
Чтобы идущее вслед поколение
Говорило бы:
Сталин!
Распевало бы:
Ленин!

II. ВОСПОМИНАНИЕ О РУСТАВЕЛИ

Я поднимаю в этот час
Тост за друзей, своих собратьев, —
Страна Советская богата
Поэтами, но кто из нас
С тобой задумает сравниться,
Перевернув одну страницу?

Я пережил землетрясение
В родимом городе своем.
Ломилась крепость, падал дом,
Казалось, не было спасенья...
Как великанова рука,
На площадь ринулась река
И захватила в свой кулак
Строенья, рощицу, овраг.

Когда же пулковский сейсмограф
Устал биенье отмечать
Земного сердца, — чей-то образ
Передо мной мелькнул опять.
Тебя встречал я где? Дай, вспомню..
С пером на шляпе золотым,

Врываясь в слов каменоломню
Твоей поэмы, — молодым...

Теперь по твоему проспекту
Спешу, — кругом стоит галдеж, —
Но даже августовским летом
Как будто ощущаю дрожь:
Ведь это ты со мной идешь,
Ведь это ты со мной шагаешь,
Тихонько что-то напеваешь...
Ты в каждом из певцов живешь!

Тебя зовут ущелья, горы
И море смуглою волной —
Прославить земляка,
который

Объединяет шар земной.
И только голос твой раздастся,
И песня заревом взлетит, —
Твои друзья, твои собратья
Ее стремительно подхватят,
И к солнцу понесут — в зенит!



Морские просторы

Повесть

Н. НИКАНДРОВ

1. Торжество

Таким образом, товарищи, перед нами стоит ответственная политическая задача!.. Мы должны добыть для страны новые фонды этого ценного продукта питания!.. Мы должны дать рабочим наших промышленных центров новые миллионы центнеров свежей рыбы и поднять на всех участках социалистической стройки новые мощные волны соревнования и ударничества!..

Товарищ, присланный из центра, кончил говорить, и, утомленный, стал осторожно спускаться с неустойчивой, шатающейся под ним батареи порожних сельдяных бочек. На большой высоте, у всех на виду, один, среди новых, незнакомых ему людей, в смущающем всеобщем молчании, он неумело слезал с бочки на бочку, как со ступеньки на ступеньку, одной рукой придерживая на носу пенсне, другой все время помогая соскальзывающим ногам, так что со стороны казалось, как будто человек спускается на трех ногах.

Вокруг него плотным кольцом сгрудилась тысячная толпа рыбаков, рыбачек, их семейств. И пока он спускался с сельдяной тары, все они, и старые и малые, устремив вверх подбородки, с таким самозабвенным вниманием следили за каждым его движением, как будто он проделывал под куполом цирка смертельно-опасные трюки. Запремит он вниз, вместе с боченками, — в хорошем

костюме, в новой шляпе, — или не загремит?

В этот момент оглушительно бухнул и заставил всех содрогнуться странный, как бы двойной или, скорее, даже полоторный выстрел, похожий на неудачный взрыв бомбы, которая сперва не хотела как следует взрываться и только длинно пшикнула на земле, как гадюка, потом, неожиданно для всех, передумала и разорвалась со страшным громовым треском. И над головами припавшей толпы рыбаков, совсем низко, пролетела, подобно хвостатой комете, дымящаяся тряпка, завязанная в клубок, с трудом вырвавшаяся из ржавого жерла маленькой, музейно-древней туфелюшки пушки, ловко пристроенной тут же, вблизи митинга, на плоском гребне искусственного земляного вала, окружавшего рыбацкое селение со всех сторон, — обычная в этих краях защита от «вздышек» коварного моря, от случайных катастрофических его приливов.

Прибывший сюда еще вчера и ночевавший в школе на партах духовой оркестр астраханского союза мясо-рыбников вдруг разорвал вековечное безмолвие серого, бескрасочного, дождливого Каспия, и, в первый раз за все время существования мира, с местной пловучей, в виде баржи, пристани, навсегда пропахшей дешевыми селедками, вольно рванулись в открытый воздушный простор и закружились, закурчавились над безграничной водной гладью плава-

ные, легкие звуки жизнерадостного, почти танцевального марша. На глазах у собравшихся творилось чудо: такие грубые, такие толстые, такие тяжелые медные трубы, и такая нежная, воздушная ласковость музыки! Не русский, иностранец, и давно умерший и похороненный в своей стране композитор в лучшие свои годы, в лучшем своем настроении, однажды, лет сто тому назад, писавший эту превосходную музыкальную пьесу, теперь был бы доволен: рыбацкая молодежь, как была, без слов, с заблеставшими лицами, в веселом чаду, закружилась на месте. Старики, — деды, прадеды, в прошлом царевы слуги, — и те, заслышав мягкие и вместе энергичные, какие-то гарцующие звуки музыки, словно пробудились от нездорового сна, выпрямили давно не разгибавшиеся спины, шире раскрыли на мир удивленные глаза и, как в молодости, вдруг почувствовали острое желание жить, двигаться, не отставать от других, шагать в общем строю, маршировать в ногу со всеми, пусть даже с комсомольцами. Никогда невиданный тут оркестр мощно трубил и трубил; волновал и волновал; звал и звал. И капельмейстер Налбандов, известный астраханский энтузиаст искусства, чтобы не снижать приподнятого настроения публики, не только не давал музыкантам ни на минуту остановиться, отдохнуть или хотя бы немного поостыть на более спокойных низких нотах, но, наоборот, и уничтожающими движениями бровей, и готовой разлететься вдребезги дирижерской палочкой, и всеми своими четырьмя, очевидно хорошо развитыми, конечностями, а под конец и лбом, и грудью, и животом мучительно подталкивал весь оркестр снизу вверх, все выше и выше, точно силясь совсем оторвать его от земли и вместе с ним унести, вслед за звуками, в облака.

Кто-то в толпе, с неизвестным намерением, сказал:

— Вот... Когда-то в этот день служили молебствие, молились богу... А теперь?.. Музыка, песни, пляс...

Второй, еще туманнее, в ответ первому, с длинным вздохом:

— Да-да... Новые времена подошли...

В то же время на бесчисленных рыбацких судах и суденышках, тесно причаленных в один ряд, перпендикулярно линии берега и параллельно друг другу, на их высоких, гладких, как слонобая кость, мачтах, быстро-быстро поползли вверх красные трехугольные флажки, — по одному флагу на каждом судне. Длинные, как ленточки, эти яркокрасные трехугольнички, взбираясь по отвесной линии вверх, мелко-мелко трепетали в воздухе, как живые, головастые, острохвостые змейки. Если на каком-нибудь судне флажок случайно «заедало», и он останавливался на полпути, то там сейчас же, по-матросски, по двум смежным вантинам, как по веревочной лестнице, лезли на мачту, перевешивая своей тяжестью ее вершину на один бок, поправляли на макушке мачты блок, и флажок взлетал выше. На одном таком судне, с застрявшим в блоке флажком, живописный дед, с седыми кудрями и красными щеками, понатужился, каким-то образом — тоже по-матросски — взобрался по паре наклонных вантин почти на треть мачты, с гордостью показался оттуда всем, в особенности молодежи, — какой он есть моряк, — но не учел своих сил и, под горластый хохот зрителей, расставя руки, ноги, с распростертыми, на манер крыльев, лапами ватной куртки, перепутанной курткой полетел вниз.

— Годы ушли твои, — делая ударение на «годы», объясняли другие кудаку. — Только навонял.

— Нет... — не сдавался дед, чересчур долго стряхивая рукой с коленок сор. — Вчерась лишнее выпил... А то бы я...

II. Колхоз «Луч Октября». Пионер Борька

Большой рыбацкий колхоз «Луч Октября», — целиком все село Кукша, — едва закончив предыдущую путину, летнюю или, как ее тут называют, «жарковскую», теперь начинал следующую, очередную, самую боевую в году — осеннюю.

И после пушечного выстрела толга рыбаков рванулась врассыпную с митинга к берегу. Оставляя на мягком светлом песке своими тяжелыми, громоздкими сапогами глубокие черные, затененные ямки, похожие на следы гигантского зверя, и потом в этой же рыбацкой обуви неуклюже балансируя над водой по узеньким, гнувшимся в дугу дощечкам, переброшенным с конца судна на берег, колхозники спешили на свои «посуды», чтобы не отстать от других, отчалить вместе со всеми и, согласно постановлению, в организованном порядке, одной дружной флотилией, выйти в море.

И через какую-нибудь минуту вся длина берега заперестрела бегающим, сутящимся, собирающимся в дорогу народом, таскающим на себе тюки сетей, пачки связанных вместе весел, длинных изгибающихся шестов, мешки ржаного хлеба, бидоны керосина, связки баранок...

Оставались на месте митинга, стояли и продолжали взволнованно беседовать между собой только одни провожавшие, большей частью нетрудоспособные члены семьи. Деды, столетним бременем своей жизни навалившиеся на окостенелые и истертые посохи... Калеки, горбуны, инвалиды, с высокими костлявыми плечами, повисшими на костылях... Криворотые старухи, деревенские вешуньи, знавшие наперед все, что будет... Детвора всех возрастов, начиная от приведенных за руки, без чужой помощи еще не умеющих держаться на ногах... В очень большом числе были тут и рыбацкие дворовые собаки разных мастей, которым не меньше, чем людям, передавалось общее праздничное возбуждение, и они, находясь в состоянии какого-то беспоконного ожидания, ни за что не соглашались сидеть дома одни и, с весело задранной в колечко хвостом, с торжествующе высунутым языком, с незлобным, но чрезвычайно резким, требовательным лаем назойливо юлили возле своих хозяев...

— Уйди ты прочь, окаянная!.. — то там, то здесь покрикивали на них выведенные из себя хозяева. — Не вертись под ногами!.. Надоела!..

Пионер Борька, — в защитной зелено-оливковой форме, с маково-красным галстуком, без шапки, с остриженной ежиком головой и с нежной младенческой шеей, весь подчеркнуто прямой, как игрушечный солдатик, — ловко перегоняя на мостке плетущихся впереди него солидных людей и целиком, даже подметками ботинок, отражаясь на поверхности спокойной воды, промчался по танцующей дощечке с берега на одно крупное судно, отыскал там председателя кукушкинского рыбоколхоза, старого местного рыбака, товарища Хрущова, и, приятно волнуясь важностью доверенного ему дела, подробно отрапортовал тому, что все уже сделано.

— ... Ребята размещены по точкам... — лучась ясными, насыщенными жизнью глазами, звонко отчеканивал он, точно перед целым всесоюзным съездом. — Дезертировать с рыбного фронта никому не удастся! Никто не проберется с моря на ночь домой!.. Ребята просили передать, что настроение у них самое боевое, ни один не заснет в камышах до своей смены!.. И все-таки, товарищ Хрущов, — прибавил он тише, — и все-таки, я думаю, что для таких случаев не мешало бы нам выписать из Астрахани порошков против сна...

III. Председатель Хрущов. Заминка. Общее собрание лодок. Колький сакральный талон

Хрущов красовался на кончике высокого носа большого двухмачтового судна, — маленький, худенький, с острыми решительными глазами, весь в походных морских доспехах, добытых в колхозе, с биноклем, компасом, картой и еще с какими-то новейшими приборами для определения быстроты течения воды, ее плотности, температуры и разных других свойств. С высоты своего судна он окидывал взглядами хозяина лежащий внизу, под его ногами, кукушкинский берег, усеянный снующим взад-вперед народом. По живому, быстро меняющемуся лицу его, по вздрагивающим от избытка энергии рукам, ногам видно было, что момент захватил этого человека полностью и что он искренне радо-

вался последнему распоряжению советской власти об одновременном выходе на путину всего наличного состава колхоза — распоряжению, так прекрасно всколыхнувшему снизу доверху всю Кукшу, это глухое, закоселое, старинное рыбацье гнездо. Немало гордился он и своей ролью в деле проведения в жизнь столь важного мероприятия. И по мере наплыва у себя ценных мыслей, сильных чувств он внезапно стреляющими фразами напоминал колхозникам о некоторых, наиболее существенных своих приказах, отданных раньше, еще в правлении колхоза.

— ... Каждый помни, в какой ты колонне, в какой бригаде, в каком звене!.. — выбрасывал он из себя созревший заряд организаторского пыла. — ... И не отбивайся в море далеко от своего колонного, от своего бригадира, от своего звеньевоего!.. — пускал он немного погода второй заряд по той же цели. — ... И смотри, слушайся их, не выставляй в море своих правил! — стрелял он и стрелял со своего судна. — ... Обратно и вы, выбратые начальники, опытные моряки, бригадиры, спрашивайте с людей строгую дисциплину, чтобы не было распушения!.. В море — как на фронте: только приказание и только исполнение!.. Самое главное мое приказание: до ледоходу с путины не срываться!.. Раньше леду с лова не возвращаться домой!.. На без уважительных причин все равно будем составлять акты, а их самих сейчас же будем отправлять обратно в море!..

С отплытием флотилии в море между тем произошла заминка, до некоторой степени нарушившая намеченный план. Кукшинские ловецкие суда, и маленькие, и большие, были исключительно парусные, — не моторные. И по уходе музыки мясо-рыбников члены путинкома, в их числе Борька и товарищ из центра, стояли кучкой на пристани, нетерпеливо вскидывали лица на нордвест и ожидали оттуда попутного ветра. Но нужного ветра, словно нарочно, не было, несмотря на благоприятное предсказание барометра. Наоборот, вокруг штилело все больше, и тучи на небе уже окончательно остановились, что, по

характеру местной природы, могло предвещать только дождь.

И пока, в ожидании ветра, колхозная флотилия стояла у кукшинского берега, к судну Хрущева не переставали подплывать по воде, деревянно стучаясь друг о друга боками, все новые и новые рыбацкие лодки, все с новыми и новыми вопросами, просьбами, жалобами...

— Гляди-ко-ся, — вырвался у Хрущева веселый смех, когда он в один прекрасный момент вдруг увидел себя окруженным на воде со всех сторон колхозными лодками, — цельное общее собрание кукшинских лодок!.. То их на суше повестками и кино никак не соберешь, а то на воде и без повесток, и без кина собрались!.. Вот что значит моряки!..

Вокруг его большого, высокого судна они держались на воде в своих маленьких, низеньких суденышках так тесно и с таким взволнованно-предвкушающим видом, как будто он собирался им сверху что-то щедро бросать, а они приготовились внизу жадно, в драку, что-то ловить.

— Товарищ Хрущов, а как же будет с хлебом? — с хитрецей в белесых глазах на буром лице прокричал с одного судна вверх пожилой рыбак. — Нам говорили, чтобы мы, работая на лову на осенней путине, не забывали бы готовиться к зимней! Зимой, на подледный лов, за белорыбницей, без лошади никак не поедешь, и вот, когда мне выдали на осеннюю путину 50 кил хлеба авансу, я его кончил, пока убирал на лугу для лошади сено! С чем же мне теперь выйтить в море?! Не говоря уже о том, что надо сколько-нибудь оставить и семейству...

— Да, да! — поддержали его голоса с других лодок. — Правильно говорит Гарасим! Семейства наши тоже надо обеспечить...

— Табаку мало даете и безо время! — сурово загудел из той же лодки могучий дед, широкая, белая борода которого не умещалась на груди и расползалась по обоим плечам.

— Верно, Тихоныч! — полетело вверх восклицание из последнего ряда лодок. — Табак для моряка в море —

первейший друг! Это тоже надо хотя немного сознавать!

Хрущов вслушался в долетевшие к нему снизу вопросы и Гарасима, и Тихоньча, и других, напряг свою мысль, ступил на край судна, уверенно взметнул головой, так что шапка-уханка откатилась немного назад и открыла лоб, и закричал:

— Товарищи!!! Вам было уже объяснено, что хлебом, табаком, а также прочим необходимым продуктом вы будете удовлетворяться на все сто процентов на месте, в море, в пловучих лавках Рыбпотребсоюза, все время, до самого до ледостава!!! Там, в море, за вами следом, будет ходить даже пловучие парикмахерские!!! И которые из вас сроду не брились на сухопутьи и в тридцать лет ходили вот с такими бородами, как старики, те теперь, может, на воде войдут в сознание и начнут бриться каждую пятидневку!!! Астрыбколхозцентр в нынешнем годе, как вы увидите сами, позаботился обо всем!!! И ваше дело: только ловить!!! Только ловить!!!

«Ловить-то мы будем» — молча, одними энергичными жестами и выразительными ухмылками, сильнее всяких слов, ответили из лодок все, кто слышал слова председателя. И по дальнейшему выражению их лиц нетрудно было прочесть последующие их мысли: «Чего же тогда морскому ловцу и делать, если не ловить? Для каспийского ловца ловить — значит жить. Во-первых, он ремесленник лова, человек, который больше никакой другой профессии не знает. Во-вторых, он любитель своего дела, спортсмен, как бывают любители и спортсмены охоты с ружьем. В-третьих, что самое главное, он еще и азартный игрок, который, в надежде на необыкновенный выигрыш, привык ставить на карту все, что имеет, в том числе собственную жизнь. И его не только не надо уговаривать ловить, но, ему запрети лов, пригрози судом, штрафом, — он и тогда будет ловить. При всем своем желании каспийский рыбак никогда не смог бы ни посаботировать, ни пощадить свои силы и отдохнуть, ни просто полениться и не выходить на

лов: стоит только появиться в море серьезной рыбе или хотя бы даже фантастической надежде на серьезную рыбу, как куда полетят и его саботаж, и забота о своем здоровье, и лень! Человек, несмотря ни на что, всю свою жизнь проводит только за ловом. Бегают по морю все четыре путины под ряд: весеннюю, летнюю, осеннюю, зимнюю. Круглый год не вылезает из воды. Можно сказать, отродясь не обсыхает. И жить иначе — не может; не умеет; не желает. А вы говорите: ловите. Ловить-то... мы... будем...»

Ветра никакого не было; флотилия попрежнему стояла на месте; путинком не давал новых распоряжений, лишь подтверждал старое: — ждять, и Хрущову, чтобы незаметнее оттянуть время, ничего более не оставалось, как продолжать выслушивать до конца от всех своих колхозников такие вздорные речи и такие необоснованные претензии, какие в обычное время у себя в правлении он обрывал в самом начале, парой крепких моряцких слов.

— Товарищи колхозники! — пряча бешенство, неоднократно пытался он ввести беседу на воде в сколько-нибудь нормальное русло. — Товарищи колхозники! Не говорите мне о том, что не относится к нашему ловецкому делу! Еще раз предупреждаю: буду отвечать только на те вопросы, которые касаются лова в эту путину!

— Товарищ председатель! — долгое время добивался высказаться третий рыбак, все с того же судна, веснушчатый парень, с рыжими, всклокоченными, как со сна, волосами. — Товарищ председатель! Имею важный вопрос по лову в эту путину! Скажи: а кто у меня перед самой перед этой путиной из продуктовой карточки сентябрьский талон на сахар вырезал? Теперь, значит, и талона на сахар у меня нету, и сахару за сентябрь месяц я уже не получу! Ни талону, ни сахару! Вроде насмешки! А с меня спрашивают! С меня спрашивают, чтобы я хорошо ловил, выполнял план.

— Колька!.. — старался его перекричать со своего судна Хрущов. — Колька!.. Колька, скажи!.. Скажи мне: а я твоему талону на сентябрьский сахар

караульщик?.. Ты меня нанимал караулить твой сахарный талон?.. Чего же ты, сукин сын, с меня его спрашиваешь?.. С тех и спрашивай, кому ты его доверял!.. Может, у тебя дома давно сахар по тому талону получили...

— Ничего подобного! Я свою сентябрьскую продуктовую карточку в руки никому не давал, кроме как продавцу нашей кукшинской потребиловки, когда в последний раз сахарку у него брал, на этот месяц, во всем осьмушек! Вот он и выкрал у меня тогда талон, а теперь вместо меня сахар получит!.. Ну, да, он!.. Он!.. Больше никому!.. Он, г-р-а-би-тель!!!

При последних словах Колька схватил весло и с искаженным лицом стал колотить им по борту собственной лодки, как бы расправляясь с продавцом из потребиловки. Люди вырвали у него весло, — чтоб не изломал нужную вещь, за которую к тому же придется платить всему ловецкому звену...

Истерическая выходка Кольки разволновала других, вызвала в них сочувствие к парню: И на нескольких лодках начали оживленно обсуждать происшедшее.

— Покрывает воров, — негромко произнесли в первой лодке, так, чтобы слова не долетели до судна Хрущева.

— Затирает самокритику, — послышалось на второй.

— Закомиссарился! — подмигнули в его сторону на третьей.

— Засиделся на берегу! — на четвертой.

— Очень обсох! — на пятой.

— Пора ополоснуть! — на шестой.

— Снял бы с себя ящик с лабораторией, а то, пока тронемся в море, ремнем мозоли натрет на плечах!

— Ха-ха-ха! Полный провизор, только очки одеть! Интересно, касторку взял? Лучше бы спиртику прихватил!

— С такой аптекой, если утопать будет, сроду не выплывет, так и останется под ней на дне!

— Пробковый пояс надел бы для безопасности! Или воловий пузырь!

В кое-каких лодках раздавались однако и хладнокровные голоса: велись и спокойные, философские рассуждения.

— Как сказать? Главное дело, сахар-то вещь очень шекотливая. Как говорится, дефицитный продукт. Ради него сейчас и не такие разыгрываются представления. И Колькино дело можно понимать надвое: и так, и этак. Может, и правда талон у него выкрали, — кто его знает; а может, парень метится во второй раз за сентябрь сахарку ухватить, — тоже вопрос. Это ведь только мы, старики, не больно гонимся за сахаром: есть он у нас — хорошо; нету — не надо, обойдемся, биться головой об пол не будем. А они, молодежь, — дай им непременно в накладку! Доводилось видеть — молодые ребята по три ложки сахарного песку на стакан клали! Любят, любят сладкое. А где его взять-то?..

IV. Старед Засекии

С осеннего, беспросветно-серого неба начала сеять на землю мелкая, частая водяная пыль, заслонившая собой все горизонты и моментами превращавшая кукшинскую пристань с конторским домиком на ней в единственный островок, плавающий в сплошном белом океане тумана. И путником, ввиду подобного состояния погоды, наконец согласился, — «только на один этот раз», — пойти на компромисс и послать Борьку-пионера в село за стариком Засекиным.

Стрелой перелетел Борька через вал на своих удивительно быстрых, мелькающих, как спицы, ногах...

О старике Засекине ходили по району легенды. Никто на своем веку столько раз не погибал в море, во всякие времена года... Никто так хорошо не знает Каспия... Никто так неуловимо не облавливал знаменитые каспийские запретные ямы, ежеминутно рискуя попасть под пулю охраны... Никто так верно не предсказывает погоду, — «никакой ваш барометр»...

— Какое-то кукшинское бюро по предсказанию погоды! — посмеивался товарищ из центра, когда местные люди с благоговением расписывали ему сверхъестественные качества старика. — Какой-то кукшинский чародей, кудесник!..

Приодетый старухой в чистую выглаженную рубашу и в длинное, теперь слишком просторное для него, суконное пальто, резко пахнущее нафталином, Засекин тихо вошел в помещение пристанской конторы, поздоровался за руку со всеми, — одинаково, что со знакомыми, что с незнакомыми, — сел на лавочку, заботливо устроил между коленок палку, сладко зевнул в ладонь, издав при этом тоненький писк, как всплакнувший во сне ребенок...

Товарищ из центра жадным взором уставился на вошедшего. От удивления, от неожиданности он первое время даже не мог найти, что сказать старику, и молчал. Так это он, вознесенный людской молвой, герой глухих здешних мест? Так это ему всегда удавалось уплывать живым из ночной перестрелки на воде с морской охраной? Так это он держал в постоянном страхе и заставлял находиться круглые сутки в полной боевой готовности и пловучие морские брандвахты, и островные сторожевые станы? Так это ради него, ради этого мужчины волжские девки мечтали попасть на работу хотя бы на одну путину на пловучие каспийские рыбные промыслы? В чем же его сила? Где отвага? Куда все это делось? И что сейчас от него осталось? Дряхлый, немощный, жалкий старик. Далекие-далекие, как бы уже никого не узнающие глаза в напряженном бессилии остановившиеся на одной точке. Страшное, холодное, совершенно бескровное лицо. Скелет, обтянутый тонкой восковой кожей. Прошел от села всего несколько десятков саженей и никак не может отдышаться. Вот-вот помрет сейчас тут, в конторе, со своим неподвижным, бесмысленно уставленным в одну точку, угасающим взглядом...

— Засекин, сколько вам лет?

— Мне?.. Девяносто третий...

— Когда-нибудь болели?

— Как не болеть... Болел... Нам нельзя не болеть... Наше дело ловецкое: всегда на воде, всегда в мокроте...

— А чем болел?

— Да все этой самой, по-вашему, малярией, по-нашему, лихорадкой... Она и ныне, когда ни то, хватает меня... Вот

и сейчас который день держит, не выпускает...

— Под судом бывал?

— Постоянно... У нас, без малого, все селение такое... Все на замечании... Все в списках ВКУР состоим...

— За что же вас судят?

— Как за что?.. За дела... А больше по подозрению... Будто не по закону ловим... Будто продаем на сторону...

— Ну, а деньги... деньги большие приходилось вам видеть? — после ряда других своих вопросов спросил старика приезжий товарищ.

И только на один этот вопрос Засекин ответил стесненно, с явной неохотой:

— Да, видал... — не сразу и тише, с тенью досады на лице, отмахнулся он от вопроса, уткнув взгляд вниз и в сторону.

Может быть, в этот момент старик вспомнил и пожалел о больших суммах, так и проплывших мимо него, так и обманувших ожидания всей его, полной опасностей, жизни?

Он сидел на лавке, по-стариковски согнувшись, и беспрестанно зевал, а старинный, прекрасно сбереженный, из хорошего сукна, синеватый картуз, с плоским, как блин, верхом, вынутый старухой из сундука и положенный на его голову, как на стол, так и продолжал лежать на его холодной малоподвижной голове, как на столе, все время в одном положении, криво, козырьком к одному уху.

Спрошенный затем путинкомом, какие, по его мнению, на сегодняшний день шансы на норд-вестовый ветер, Засекин вовсе не заторопился отвечать, а оставался в прежней каменной безжизненности, словно за свой долгий век убедившийся, что на этом суетном свете вообще не может быть никаких таких дел, ради которых стоило бы понуждать себя к спешке. Потом, вдруг, отчасти даже с оттенком удивления, он еще раз оглядел всех присутствующих поочередно, как будто они только-что вошли в комнату, заглянул в лицо каждого очень пристально, очевидно путающими и плохо запоминающимися глазами, именно как глубокий старик, слабая ни-

точка сознания которого то и дело прерывалась и дремотой, и зевотой.

Чтобы дать себе встряску и прочистить мысль для ответа на деловой вопрос путинкома, Засекин достал из кармана коробочку с нюхательным табаком, постучал костью холодного пальца по крышечке, открыл, смачно потянул по очереди обеими ноздрями, чихнул раз, чихнул еще, нестигающейся ладонью растер слезинки по щекам, удовлетворенно вздохнул, захватил в руку реденькую бороденку, мельком глянул через раскрытую дверь на воду и уверенно сказал, что нынче ждать ветра сверху, с Волги, «без пользы». Тут члены путинкома дернулись на своих местах, как от толчка, и переглянулись сразу постаревшими и какими-то облысевшими взглядами. Только один Борька звонко кашлянул на всю комнату, и на заигравшем лице его изобразилось: «Ну, это мы еще посмотрим!»

Старик, казалось, ничего этого не замечал и не хотел замечать, — не нуждался, — и, дав себе немножко передохнуть, обстоятельно пояснил, что, «по всему выдать», если нынче после полудня и подует какой, то только низкой, встречный, с моря, — «моряна», — который все равно не даст возможности такой огромной массе парусников одновременно развернуться и потом «парусить» в тесных проходах среди камыша. Будет большая потеря времени... Будет большая затрата человеческих сил, так как придется пускать в ход и весла, и шесты, и багры... Одни суда уйдут слишком далеко вперед, другие сильно отстанут... Возможны наконец разные случайности: столкновения, аварии, поломки...

— А шуму... а крику... а суетни... а этой самой нашей моряцкой матерщины — не оберешься!.. — закончил старик и отмахнулся рукой.

— Что же, по-вашему, делать? — спросил приезжий товарищ. — Ведь продолжать вот так стоять и ждать попутного ветра мы тоже не можем, потому что это означало бы работать по старинке, пасовать перед «стихийными причинами». Мы, большевики, должны проявить какую-то активность и, чего

бы это нам ни стоило, найти выход из положения. Иначе мы будем... не мы!

— Тогда буксироваться... — спокойно сказал Засекин и кивнул через раскрытую дверь на резко зашвиставший в этот момент, совсем как паровоз, маленький, тоненький ведомственный пароходик, весь белый, как видение, одиноко пробирающийся среди темнозеленого океана камыша. — Буксируйтесь до ската в море... А там — любым ветром подхватит...

Когда со стариком прощались, он вспомнил суровый наказ старухи — «без вкусненького не возвращайся» — и попросил у товарищей записку в кукшинский рыбкооп на фунт «витушек» — морские баранки, особой твердокаменной сушки, из самой простой, но все же не ржаной, пшеничной муки.

— Беленького... когда ни то... в чайку размочить...

V. Отплытие

Как посоветовал Засекин, так и поступили.

С помощью пойманных на ходу и мобилизованных путинкомом «казенных» моторных катеров — сторожевых, НКПС-овских, госрыбтрестовских — немедленно организовали несколько караванов из рыбацких парусников, сцепленных вместе в длинные гуськи. Сколько заполнили катеров, столько же выстроили на воде и гуськов.

И гуськи лодок, буксируемые случайными моторами, один за другим оторвались от кукшинского берега, вытянулись в прямые, длинные, туго натянутые ниточки и медленно потащились по узким протокам — «ерикам» — между двух высоких стен глухого камыша, к выходу в открытое море.

Пока пробирались к более просторному водному тракту, «ерики» крутили, путали, делали «зигзаги по необозримо просторному заболоченному камыша, и с берега казалось, что колхозная флотилия идет то к морю, то вдруг обратно, от моря, прямо домой, потом опять к морю. Впрочем, ни самых лодок, ни колхозников в них с берега не было видно, — ни одного корпуса суд-

на, ни одной человеческой головы. Было видно только, как посреди сплошного массива зеленого камыша растянулись на длинные версты, подобно телеграфным столбам, прямые, голые, без парусов, судовые мачты, с темнокрасными точками флажков на верхушках. Двигались эти силуэты мачт очень медленно. Иногда можно было бы даже подумать, что все они в каком-то блаженном оцепенении застыли на одном месте, среди необозримой, нагоняющей дремоту, камышевой пустыни, если бы на протяжении всего их пути не выпархивали, то круто влево, то круто вправо от них, все новые и новые стаи различной водоплавающей дичи, сытой, поосеннему отучелой, очень тяжелой на подъем. Гуси... Утки... Бакланы... Кошклдаки...

VI. Родное село. Родные люди. Опять Борька-пионер. Морской штаб

Дождь усилился; полил по-настоящему, крупными, сильными струями; захватил собой громадные пространства и суши, и воды. И потемнело над всем Каспием, и продолжало еще темнеть, без какой бы то ни было надежды на скорое прояснение. В полдень было, как в самые густые сумерки: без огня невозможно было бы прочесть ни строчки. И сделалось грустно на душе, то скливо, одиноко, как после расставания навсегда.

Кукшинский берег опустел.

Матери, жены, дети рыбаков, проводив своих в море, не торопились расходиться по домам и долго еще провожали друг друга по улицам села и стояли группами у калиток, с длинными вздохами, с мучительными гаданиями...

Своими домами, всюду одинаковыми, дощатыми, некрашеными, сплошь серыми, с дощатыми же, обомшелыми на вечных дождях крышами; и голой, без единого деревца, без единой зеленой травинки, желтой, песчаной землей, тоже везде одинаковой, на которой даже случайная лепешка коровьего помета несказанно радовала глаз, — село Кукша, невзирая на белевшую вдали на бугре старинную каменную церковь, казалось

привезенным на этот пустынный берег совсем недавно и притом не надолго. Ничто не говорило тут ни об оседлости, ни об обжитости, ни об уюте.

— Получил 50 кил хлебушка авансом под будущую рыбу и половину нам оставил... — увязая в сугробах уличного песка, в нанесенных ветром песчаных курганах, причитала старушка, маленькая, ссохшаяся, во всем черном, как в трауре, повидимому, мать уплывшего рыбака. — 25 кил ржанинки в море с собой взял, 25 нам, семейству, оставил... — твердила она, как помешанная, все об одном, по-женски расстраивая и расстраивая себя. — И еще нас соседям припоручил... — уже совсем завсхлипывала старушка и вместе со своими спутницами на момент даже приостановилась среди глубокого песка. — Доглядывайте, говорит, за моими... за малыыми, за старыми... Если, говорит, ржишки своей у них нехватит, дайте им, говорит, сколько ни то, на срок... Рыбки, говорит, пумаю, сдам государству, со всеми, говорит, рассчитаюсь... А если, говорит, в море случится что со мной, наше государство, говорит, вас не оставит... Ох-хо-ой-ей-ей...

Помещение пристанской конторы последним покинул Борька-пионер.

С толстой кипой бумаг в руках он бодро вышел оттуда, вслед за председателем кукшинского сельсовета, секретарем ячейки, одним товарищем из центра, другим из рика и еще двумя-тремя из сельского партактива. Рыбацкий колхоз проводили в море на путину полностью, — не осталось ни одного трудоспособного мужчины на селе, ни одной годной лодочки на берегу, — и Борька ликовал. Хотелось петь, смеяться, прыгать, выкидывать необыкновенные физкультурные номера.

— На очереди много важных вопросов, — потряс он кипой бумаг перед своими сонными, чересчур утомленными спутниками. — Сегодня опять про заседаем всю ночь! Вторая ночь под ряд без сна! — с восхищением взвизгнул он и весь передернулся на пороге, пролезая вслед за другими в странно-одиноко стоящую на самом берегу, покрывив-

шуются к воде, ветхую избенку, похожую на плохонькую крестьянскую баньку, с одним тусклым оконцем и с вывеской на дверях, — борькиной рукой, угольком по фанере, крышке от макаронного ящика: «Морской путинный штаб». «Дежурство членов — до окончания путины — круглые сутки».

VII. Путь в камышах. Авария

— Семь... Шесть!.. — равнодушно, без всякого участия сознания, одними голосовыми связками, как автомат, нараспев выкликал матрос на переднем, ведущем весь колхоз пароходике, стоя в носовой его части, лицом вперед, и измеряя за бортом глубину воды особой «наметкой», длинным шестом, поделенным в нижней своей половине черными и красными линиями на четвертьаршинные дольки. — Шесть.. Пять..

Когда матрос, всячески экономя свои силы, вяло извлекал весь шест из воды на воздух, с шеста, со всей его длины, срывалась дождем вода, а сам шест, намочивший и всюду одинаково тонкий, изгибался в руках матроса сразу в нескольких местах, как взятая за один конец длинная колбаса. Немного продержавшись на воздухе, пока пароходик успевал пройти еще несколько десятков сажень пути, шест-«наметка» по приказанию капитана: «А ну-ка, наметни» — снова лениво валится размеченным концом за борт, протыкал всю толщу воды, вышупывал дно...

— Полнай!.. Средняй!.. Мал-лай ход!!! — в зависимости от сообщений матроса-наметчика передавал капитан свою команду из рубки вниз, машинисту.

А там, в машинном отделении, все время раздавалось громкое, ритмическое отстукивание мотора, похожее на напряженное биение пульса. И от этого непрерывного стука никуда невозможно было уйти: он был слышен не только во всех уголках пароходика, на всех лодках буксируемого им каравана, на других караванах, но и разносился еще многократным эхом далеко по пустынным окрестностям.

— Прихватыват! — вдруг совсем другим голосом, проснувшимся и настроженным, выкрикнул матрос-наметчик, почувствовав, как передняя часть пароходика чиркает килем по шершавому дну отмели, очевидно, по полю мелких донных ракушек, словно ставит на них телеграфные знаки, частые точки, потом тире, потом опять частые точки.

Вместо «прихватывает» матрос говорил «прихватыват».

— Прихватыват! — еще громче и тревожнее закричал он, обернув все свое молодое, свежее, румяное лицо назад, к капитанской рубке.

— Сам-май мал-лай!!! — страстно и раздражительно произнес капитан в медную передаточную трубку, всунув губы в самый ее раструб, как в ухо глухого.

И из широкого окна рубки он стал перебрасывать глазами на воду то влево от пароходика, то вправо, определяя для себя, куда велеть штурвальному править. Справа, на совершенно гладкой поверхности воды, вздувались толстые, округлые, без гребней, волны, раскрывающимся веером уходящие от пароходика к берегу и плавно колеблющиеся там стройный камыш. Слева, на блестящей плоскости воды, никаких изменений не появлялось. Это означало, что справа от хода пароходика — отмель; слева — глубь, фарватер.

Матрос-наметчик заметил это раньше и капитана и штурвального, с папиросами в губах стоявших в рубке рядом.

— Ложи право руля! — скомандовал он им обоим со своего места и еще раз погрузил наметку в воду. — Право на борт! — завопил он отчаянным голосом, взглянув на цифры наметки.

В этот момент все находившиеся на судне почувствовали толчок передней части корпуса о дно протока. Пароходик, казалось, взгромоздился при этом на какую-то мягкую ступеньку выше, чем был, — выше вылез корпусом из воды, — качнулся на месте и лег, слегка накренившись на один бок, а носом вонзившись в камыш.

Мотор продолжал работать, — никто ничего не скомандовал машинисту, —

и зад пароходика часто-часто трясся на месте, как бы подталкивая весь пароходик вперед и заставляя его нос рыть кочковатый берег.

Вокруг пароходика заклубилась в воде густая глинистая муть стального цвета. Среди нее во множестве выплывали на поверхность, переворачивались на все бока и в водовороте ныряли обратно вглубь длинные, похожие на женские косы, зеленые водоросли, до этой минуты даже никогда не подозревавшие, что, кроме темного, подводного царства, существует еще какой-то другой, белый свет. От всей воды, взбуряженной винтом парохода, тухловато запахло потревоженной, накопившейся веками донной гнилью. В непроходимой, едва пропускающей свет гуще девственного камыша, куда вонзился нос парохода, застонала, завопила, зажаловалась на все голоса разная болотная птица. Она забрасывала свои тревожные сигнальные вскрики все дальше, все глубже, однако долгое время ленилась подняться, очевидно, решив выжидать дальнейшего развертывания событий.

А события продолжали разворачиваться...

VIII. Матрос. Капитан. Штурвальный. Масленщик Шурка. Хрущов. Откуда течение? Флотская фуражка

— Сели, — объявил наметчик-матрос таким тоном, как будто сообщал пассажирам о благополучном прибытии на место. — Сели!!! — закричал он затем с ужасной внутренней болью, перекошил лицо, швырнул наметку всей ее длиной о палубу, так что размякший в воде тонкий шест завздрагивал на палубе сразу в нескольких своих точках, заизвивался, как разъяренная, готовая ужалить змея. — Сели, сели, сели, — судорожно замотал он головой, потом на секунду по-собачьи оскалил на рубку белые зубы и, не ведая, зачем, энергично зашагал прямо к другому борту, широко размахивая руками, как новобранец в строю. — Им кричишь: ложи руля право, а они ложат лево! — проговорил он с примасами, почти рыдая.

— Без соображения люди! — ракетой взвился вверх с палубы голос Хрущова, в то время как он сам, как пробка из бутылки, вылетел снизу, из каюты, где расположился было заснуть на мягком НКПС-овском диванчике. — Надо было держать на ост-зюд-ост, а они взяли на чистый ост! — возмущался он, осмотрев место аварии. — Называются моряки! Форменные фуражки носят! «Адмиралы»! Хорошо, что тут болото! А что, если бы тут было море?! И чему вас на курсах учат?!

— Вот нас и учили по морю водить суда, а не по болотам, — попробовал было защищаться молодой капитан, а сам, как будто от сильной жары, заметным образом снял с головы форменную морскую фуражку и сунул ее в угол рубки, где были свалены в кучу фонари, флаги, тенты, веревки.

Тем временем уже высыпал на палубу весь людской состав пароходика: и верхняя команда, и нижняя. И палуба в момент была охвачена огнем самой ужасной перекрестной брани. Матрос-наметчик бранил за слепоту капитана, за глухоту штурвального; оба они — матрос-наметчика за неправильное понимание им своих функций; Хрущов бранил машиниста, после толчка не застопорившего машину; тот — своего помощника, масленщика Шурку, мальчишку лет семнадцати, зачитавшегося увлекательной книжкой во время своей вахты у машины...

Но голос Хрущова все же покрывал всех. Председателю колхоза особенно досадно было то обстоятельство, что оскандалился именно первый буксир, головной, который должен был вести за собой всех остальных.

— С-с-с та-ки-ми с-с-с ка-пи-та-на-ми!!! Вопхнулись судном на полкорпуса в самую землю!!! Нарочно не глущишь судно на берег на такое расстояние!!! Как бы нам, всему колхозному флоту, вовсе не обсохнуть тут, если сверху дунет норд-норд-вест и выгонит из камыша вниз всю воду!!! С-с-с та-ки-ми с-с-с ка-пи-та-на-ми!!!

На время аварии он революционным путем захватил на чужом пароходике всю власть в свои руки.

— Берись за шесты, пока земля нас не засосала! — скомандовал он и сам взял предлинную, с трудом поднимающуюся за конец жердь.

Под его руководством все, не исключая и капитана, вооруженные длинными шестами, как казацкими пиками, носились от борта к борту, точно кололи наседавшего со всех сторон врага.

— Шурка! — разрывался он на части и разрывал других. — Сбегай в рубку, погляди, что говорит нам барометр! Шурка! Бежи в каюту, принеси мой компас! Шурка! Шур-ка-а! Ты глухой?! Шуруй скорей! Пусти машину на полный ход! Шурка! Лети вниз! Застопори мотор!

Упирая животами в шаровидные рукоятки специально для этого сделанных шестов, люди, — команда пароходика и приглашенные на помощь рыбаки, — с налитыми кровью глазами, вместе с надрывающейся под кормой машиной, всячески силились сдвинуть судно с проклятого места. Одну точку судна снимут с мели, но зато сейчас же посадят его другой точкой. Снимут и с этой, второй, — судно тотчас же прирастает ко дну третьей. Казалось, пароходик успел пустить в почву тоненький корешок и крепко держался на нем.

Машина и люди работали изо всех сил, и вода вокруг сделалась сплошь черная, даже начала отдавать синевой, и в ней заворочались вырванные из родной почвы толстые луковичные корневища каких-то новых никому неизвестных подводных растений, с гроздьями плодов на длинных восковых ниточках, вроде хорошо вымытых молодых картофеля. В то же время по обоим берегам протока все чаще и чаще хлопала жесткими крыльями о стволы непролазного камыша улетающая из привычных, насыженных мест разная водяная дичь, очевидно заклячившая, что ждать ничего хорошего тут уже не приходится и что пора убираться отсюда в еще более глухие, недосыгаемые места. И посенному упитанная птица летела трудно, через силу, как подраненная, низко, по-над самой землей, тяжело волоча по всем встречным метелкам камыша свои округлые, ожирелые зады.

Второй буксирующий пароходик, — госрыбтрестовский, — чтобы не терять напрасно времени, самочинно занял место потерпевшего аварию первого, головного, НКПС-овского, и, как ни в чем не бывало, продолжал путь, таща за собой свой караван. И на одном из крупных рыбацких судов этого каравана, вышедшего на первую линию, вдруг рванула во весь дух веселая гармоника, с такой размашистой, стихийной силой, как будто у нее больше не хватало терпения молчать. К ней тотчас же присоединилась — с другого судна — бесшабашная, разудалая, русская хоровая песня, которой сдерживать себя очевидно тоже было невозможно. За первой гармоникой последовали другие, солидарные с ней. За первым хором — второй, третий. Музыка и пенне наполнили тихий, скрытый от всего мира проток необыкновенным, сказочным шумом. Тем энергичнее разлеталась вокруг испуганная водоплавающая птица. То там, то здесь трещал камыш под слепыми ударами ее крыльев.

Хрущов положил свой шест поперек борта пароходика и, держась за его шаровидную рукоятку, стоял и вслушивался в играющую гармонь, в поющие голоса. С нижнего конца его шеста стекала за борт черная, тестообразная, зловонная масса, в гуще которой протестующе дергались всеми своими суставами какие-то невиданные насекомые, — черви не червь, жуки не жуки.

— На каком это судне песни орут?! — направил он круглые, взбешенные глаза на уплывающий вперед караван. — Тут такого меляка хватили, а они песни орать! Кто на тем судне бригадиром? И по какому приказанию они пошли вперед? Кто распоряжается? Где колонный? Вернуть! Шурка, дай частый-частый сигнальный гудок! Ого, уже и бабьи голоса в том хору! Откуда взяли столько баб? Должно, переманули джок-резалок с засолочных рыбниц! Вот народ! Им все нипочем! Они будут петь, хороводы водить, а ты один отвечай за все! Одних частичковых сетей везу больше чем на сто тысяч рублей...

Остановился и караван рыбацких судов, буксируемых первым, несчастливым, выскочившим на берег пароходиком. Эти

суда, всяческих размеров, теперь приводимые в движение только течением воды, сбились в протоке в одну кучу; медленно кружили на месте самым причудливым образом, как семейство плавающих водяных лилий; сталкивались и теми, и этими бортами; путались буксирными тросами; непостижимо сцеплялись вместе — «никак не расцепишься» — и парами, и тройками, и четверками; крупные суда, высокие, поджимали под себя маленьких, низеньких...

— Стой!

— Проходи дальше!

— Лови чал!

— Держи!

— Крепи!

— Отдай!

— Пушай!

— Тащи!

— Трави!

Где-то, в самой тесноте лодок, с шумом треском ломалась обшивка стиснутого со всех сторон судна. И этот треск сухого дерева сопровождался таким, полным смертельного отчаяния, криком, как будто у кого-то ломали не борта судна, а его собственные ребра.

— Ой-ой!.. Бригадир!.. Что же ты делаешь?! Куда же ты прешь, косоглазый чорт, прямо на чужую посуду?! Это же колхозная посуда, я за нее отвечать буду!..

— Не я пружу!.. Течения прет!.. А мне мало радости крушить твою гнилушку, она и так, сама по себе ввидать, при первом маленьком шторме пойдет ко дну!.. Ты хотя покрасил бы ее напоследок!..

— Свою покрась! И какая там, говоришь, течения?! Течения, она работает сейчас из-под зюйд-оста, а ты навалился на меня из-под вест-норд-весту!

— Ничего подобного! Течения, она сейчас из-под чистого весту! Вот я опустило в воду швабру, гляди, слепой, куда ее конец отводит!

— Эй вы, моряки! Чем спорить зря, лучше возьмите у Хрущева аппарат для определения, куда течения! Есть такой градусник! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!

Когда, после больших усилий, пострадавший НКПС-овский пароходик удалось наконец вырвать из цепких объятий земли, и он опять поплыл по воде,

Хрущов, забрав свои приборы, перекочевал с него на второй, госрыбтрестовский, объявив его с той минуты первым, головным. А капитана прежнего, первого, вместо благодарности за гостеприимство многократно изругал матерной бранью, — по разу за каждой своей мотивировочной фразой.

— Ты не можешь передом ходить! — и ругань. — Ты не знаешь тутошней воды! — и ругань. — А ее узнать надо раньше, чем по ней плавать! — и ругань. — Тебе самому на буксире ходить, а не других водить! — и ругань. — Скажи, молокосос, спасибо, что я с моим народом тебе, дураку, жизнь спас, хотя мама твоя теперь не будет плакать! — и ругань. — А то бы ты тут, без нас, и сам утонул, в этой грязище, и государственное имущество утопил! — и опять ругань. — Флот-ско-го ком-сос-тава фу-раж-ку носишь!!!

IX. „Доля моряцкая“

Благополучно миновав еще одно, столь же опасное место пути, о котором говорили еще до отплытия, колхозная флотилия вышла на более просторный водный тракт и вольготно растянулась по середине широкого, зеркально-гладкого протока в одну цельную, прямую, медленно движущуюся по воде нить, составленную из нескольких караванов, по числу буксирующих моторов. Высокие, гордые, ни при каких обстоятельствах не сгибающиеся прямые мачты, к тому же еще увенчанные красными флагами, придавали всей процессии на тихой воде какую-то особую величавость.

Песни и гармони уже гремели на всех караванах, в особенности на том, на котором плыл сам Хрущов, личным участием воодушевлявший и пение, и музыку. Проплывает первый караван, и над безмолвным массивом камыша остервенело режут гармони, навзрыдно льются людские голоса. Проплывает второй и — то же самое. И так на всех, на всех...

Это была буйно-удалая манифестация на воде смельчаков, на плохоньких лодочках, геройски уплывавших на долгое время в открытое море.

Хрущов, неузнаваемый, с непокрытой головой, с бледным лбом, наступив ногой на свою шалку, стоял на палубе, в громадном кругу загрубелого рыбацкого народа, и своим высоким, пронизывающим тенором запевал с надрывным чувством из песни «Доля моряцкая»:

Скоро ль я встречу с родною отчизной?
Или я в море погибель найду?..

Народ — одним дружным мужественным выдохом — подхватывал и продолжал песню.

Потом опять Хрущов, — в полной тишине, один, — вязал тонкую вязь слов из той же бесхитростной моряцкой песни:

В полночь на вахте стоять мне пришлось...
Холодно, дождь моросит...

Народ — густым, утробным, жутко-могучим выдохом, — на тот же мотив:

Дикою музыкой море играет...
Буря бушует, шумит...

Х. Робинзонство

Вначале ловили всем колхозом вместе: отдельные ловецкие лодки — звенья — поддерживали постоянную связь со своей бригадой и бригадиром; бригады — со своей колонной и колонным... Рыба попадалась смешанная, разных пород, размеров, названий и к тому же очень разбросанная, редкая, или, как говорят на Каспии, «гульевая», «ходовая», не та массовая, «косячная», которая имеет в разные времена года свои определенные маршруты. И, за редкими исключениями, пятидневных заданий не удавалось выполнять ни отдельным ловецким судам, ни всему колхозу в целом.

Тогда, в расчете на более крупные уловы, колонны оторвались и от колхозного центра, и друг от друга и начали действовать в море самостоятельно: одна, согласно своему знанию рыбьих «трактов», взяла курс на зюд-вест; другая — по чутью — наоборот, на норд-ост; третья — на счастье — на чистый ост... Затем, немного позже, и внутри каждой из этих самостоятельно действующих

колонн, между составлявшими ее бригадами, вернее бригадирами, возникли серьезные разногласия относительно местонахождения в каждый данный момент «густой» рыбы, и бригады в свою очередь разбрелись в разные стороны, каждая со своим бригадиром: какая на ост-зюд-ост, какая на чистый зюд... Ход рыбы продолжал быть слабым, люди нервничали, объясняли неудачу тем, что их стесняют, уверяли, что, предоставив им полную индивидуальную свободу, и они рыбу найдут. И в конце концов — в соревнующихся поисках главного хода рыбы и под влиянием охватившего всех бешеного игроцкого азарта — и звенья колхоза, отдельные рыбацкие лодки, тоже совершенно оторвались и от своих бригад, и друг от друга и потерялись в необъятных просторах моря...

Врожденная привычка каспийского рыбака к анархическому, неорганизованному, одиночному лову, к морскому бродячеству под парусом в одиночку; осенние «фальшивые» погоды, с беспредельно меняющимися ветрами, не всегда позволявшими парусникам направляться именно туда, куда им хотелось бы; и, наконец, обязательные для этого времени года штормы, зачастую разгонявшие ловцов во все концы моря с нарушением всех их планов, — вот обстоятельства, которые поспособствовали распылению в море громадной, хорошо организованной колхозной флотилии на отдельные водоходные единицы. И настал момент, когда каждое, даже самое маленькое, рыбацье суденышко зажило в море своей собственной жизнью.

И что ни лодка, то — плавающие по морю Робинзоны, на неопределенное время оторванные от всего мира, во всех случаях жизни предоставленные только самим себе, окруженные со всех сторон водой, и даже не островитяне, которые все-таки имеют постоянную оседлость, но, в отличие от них, ночующие на воде ночь здесь, ночь там и таскающие всюду за собой все свое хозяйство: лодку, орудия лова, домашнюю утварь.

Рыбацкие лодки, все осмоленные, сплошь черные, мрачные, без единого красочного или хотя бы светлого пятнышка, и все под двумя белыми паруса-

ми, от зари до зари носились разрозненными одиночками по жиденько-зеленоватому безбрежному морю, имея в виду снова объединиться в бригады, колонны, колхозы лишь в первые предзимние холода, когда рыба «смирнеет», снижает свои «темпы» и сбивается в колоссальнейшие «косяки», в которых ее не столько ловят, сколько просто берут.

Вдруг, по какому-то наитию, лодки «роняют» паруса, останавливаются в одном месте открытого, всюду одинакового моря, «выбивают» на ночь сети, ночуют и, в случае недостаточно обильного улова, с утра поднимают паруса и снова «бегают» по морю, разыскивая для следующей ночи новое, более обещающее место.

И все же, несмотря на громадность разделявших их водных пространств, — с помощью компаса, великолепного знания моря и множества разных своих, им одним известных, примет, передаваемых из рода в род и нигде, к сожалению, не записанных, — одна лодка, при нужде, смогла бы отыскать в море местонахождение остальных.

Человек моря живет и руководствуется многими, совсем особыми чувствами, каких совершенно нет у человека земли.

И стоило какой-нибудь одной рыбацкой лодчонке неожиданно наскочить на хорошую рыбу и где-нибудь среди морской пустыни внезапно «уронить» паруса, хотя бы даже в такой момент, когда вокруг, до всех горизонтов, не было больше ни души, как его удача тотчас же становилась известна другим, и, направив острые носы своих лодок прямо на него, из-за всех горизонтов вдруг выкатывались белые парные паруса, наклоненные выпуклой стороной к воде, в скачущих по бокам, наподобие горячих пристяжных, белогривых волнах. Дойдя до места, на полном ходу они «грохали» паруса, останавливались и спешно «выбивали» в море свои сети, рядом со «сбруей» счастливца и вместе с ним «громили» застигнутую врасплох рыбу. Громили до тех пор, пока не напружали доотказа лодки. А нагружались тут так: положить на борт еще одно кило рыбы, — и лодка пойдет ко дну.

XI. Звено колхоза. Подчалок. Тихоныч, Гарасим, Колька

В течение дня было несколько перемен: дул и холодный сухой норд-вест, и теплый влажный зюнд-ост; тяжелой дробью сыпал на поверхность моря и проливной дождь, от которого среди дня делалось на море темно, как ночью, и вдруг просвечивал, за вуалью бегущих облаков, золотисто-перламутровый кружок солнца... И волны тоже, не успев как следует развить наступательную энергию в одну сторону, не раз поворачивали свой бег прямо в противоположную...

И только к вечеру ветер, казалось, по-настоящему утих, или, по-моряцки, «залег».

Западный небоклон совершенно очистился от туч, словно чья-то невидимая рука в спешном порядке растолкала их в стороны, приготавливая место для важного гостя. И, уже близкое к закату, внезапно уставилось оттуда на вечеряющий мир большое, глазастое, по-предзимнему бледное солнце. И вся поверхность водной пустыни, от запада до востока и от севера до юга, вдруг заблистала мокрой, медно-желтой, с прозеленью, чешуей; как будто это была не грудь моря, лежавшего на покое, а протянулась от горизонта до горизонта одна большая рыбина, дышал только что вынутый из воды исполинский сазан, какие могут только сниться, да и то лишь каспийским рыбакам.

Небольшое рыбацье суденышко, в странном одиночестве неподвижно стоявшее на якоре среди моря, тоже вспыхнуло и заблестало одним своим боком, еще мокрым от недавнего проливного дождя, в то время как от другого его борта и от обеих голых мачт легли на воду длинные черные тени. Утомленное осенними бурями, долгими морскими переходами, не имеющее нигде ни гавани, ни причала, суденышко теперь, казалось, наконец отдыхало. Голубой дымок, прямой струйкой поднимавшийся из трюма между двумя мачтами, еще более усиливал картину глубокого вечернего покоя, наступившего после бури как внутри маленького, странствующего в

одиначку суденышка, так и на всем пространстве необъятного моря.

Судно дремало.

И только по верхушкам обеих его мачт можно было заметить, как иногда, ни с того, ни с сего, в каком-то непонятном смятении, может быть, во сне, принимался раскачиваться на совершенно покойной воде его крошечный, по сравнению с морем, но очень крепкий на вид, как литой, корпус.

Людей на палубе не было. Вероятно, в такой мирный час, не требующий никакой нахты, все находилось внизу, в крытом помещении.

Суденышко, по-местному «подчалок», некрашенное, только осмоленное, сплошь черное, как уголь, выглядело чрезвычайно прочным, как бы выкованным из одного куска железа. Обе мачты стояли в передней его половине: первая — «фок» — на носу, вторая, в полтора раза выше первой, — «грот», или, по-каспийски, «коренная», — как-раз на середине подчалка. От вершины коренной к обоим бортам — по три туго натянутых вантины, по-каспийски «баштуга»; от фоковой — по две. Ванты на блочках. Задняя половина корпуса подчалка, свободная от мачт и более широкая, бокастая, казалась очень вместительной, способной взять несколько сот пудов груза. И вообще все внутреннее устройство подчалка, отражавшее на себе опыт и мудрость целого ряда рыбацких поколений, было удивительно приспособлено для вечного морского робинзонства, для продолжительных скитаний по морю в одиночку, для борьбы со всякими стихиями, во все времена года, в любые погоды. На такой маленькой «жилой площади», всего в каких-нибудь четыре сажени, тут было несколько изолированных друг от друга, очень экономно расположенных помещений: людская каюта, трюм для рыбы, ларь для того, ларь для другого... Перегородки, герметически отделявшие одно помещение от другого, были плотно проконопачены и хорошо просмолены: пробей лед стенку одного помещения, морская вода наберется только в него, и судно не пойдет ко дну, а только пригрузится и будет победоносно продолжать дальней-

шую борьбу. Крыша над людской каютой и люки над рыбным трюмом и ларями, немного возвышавшиеся над бортами судна, открывались и закрывались плотно, как крышки хороших сундуков. Слева и справа от коренной мачты покоились два «немца», по одному с каждой стороны, — обыкновенные мешки с песком, запасный баласт, которым регулировали крен лодки во время штормовых волн.

Черный подчалок на фоне поблескивавшего безбрежного моря и сам был мал, до смешного пузат и кургуз, тем не менее за ним, как за настоящим морским кораблем, вечно волочилась по воде на буксире маленькая, узенькая, двухносовая лодчонка — «бударка», — такая же черная и упрямая. Порожня, без всяких подразделений внутри, точно выдолбленная из одного бревна, и необычайно легкая, она сидела на воде, как пушинка, едва касаясь своим днищем поверхности моря. Всюду следуя на длинной привязи за подчалком, она вертелась на воде, дергалась, прыгала, непрерывно кланялась кому-то и носом, и кормой. Ее поливали дожди, по ней прокатывались морские волны, и в ней всегда плескалась вода, такая же свежая, чистая и прозрачная, как и за ее бортами. Недаром в этой воде всегда жила, как в море, случайно оставленная рыбешка. Вечно мокрая, политая или дождями, или волнами, бударка, в особенности в солнечное время, плывя за судном, сверкала и лучилась на воде, как покрытая лаком.

Первым выбрался наверх из нижнего помещения самый старший из команды, — «кормщик» судна — дед Тихонч, во всем новом, добротном, еще чистом, недавно полученном в колхозе: в темносерых ватных, стеганых штанах, вправленных в великанские сапоги, в такой же стеганой, стального цвета, куртке, короткой и очень пухлой, делающей его широкую фигуру со всех сторон горбатой, откуда ни посмотришь. Дед крепко стоял на палубе на своих широко расставленных, привыкших балансировать, моряцких ногах и острыми, рыскающими глазками окидывал вокруг осенние морские дали. На фоне всего

моря, на своем маленьком суденышке, один, залитый лучами заходящего солнца, с улыбкой уверенного в себе хозяина, вышедшего поглядеть, что делается в его владениях, и со своими большими, зеленовато-седыми, как морская волна, волосищами бороды и головы, он казался тут существом особенным, необыкновенным, вскормленным и вспоеным стихией этого моря. Как будто это именно он укротил недавнюю морскую бурю. Он привел море к полному штилю. От него зависело, что будет с морем дальше...

Вслед за ним, с такой же неторопливостью во всех движениях, вылез онизу на палубу и так же окинул дальнорыжим моряцким взглядом все горизонты второй ловец-колхозник, Гарасим, пожилой человек, с наголо выбритыми головой и лицом, коричневыми от солнца и ветров, и с могучей атлетической шеей, одетый в тесную вязаную рубашку из толстой, грубой шерсти, с очень короткими рукавами на длинных, нечеловечески сильных ручищах, мозолистых от работы и черных от смолы.

Третий, вскоре вызванный ими наверх и одевающийся на-ходу, был простодушный, краснощекий, вислоухий, веснушчатый парень лет восемнадцати-девятнадцати, Колька, с рыжими, постоянно всклокоченными, как со сна, волосами и с прираженным ртом. Тоже очень сильный на вид молодец.

Подчалок, бударка, комплект частичковых сетей, трое ловцов составляли одно звено кукшинского рыбацкого колхоза «Луч Октября».

— Ночь для лова будет хорошая, — произнес «звеньевой» колхоза Тихонич таким веским тоном, как будто и предстоящая ночь тоже находилась под его властью. — Пора выбивать сетки.

XII. „Выбивают“ сетки

Тихонич правил бударкой и руководил всей работой, а Гарасим и Колька «выбивали» на ночь в море одностенные ставные сетки, — с частой ячейей, — рассчитанные на частичковую рыбу. Ночами, темнотой, и рыба смелее совалась головами в ячейю, в которой навеки за-

стревала, и в меньшем количестве ходили по морю моторные и паровые суда, безжалостно накручивающие на винты и колеса рыбацкие сетки.

— Откель течения? — соображал вслух Тихонич, прежде чем выбрать направление для «выбивки» в море сетей.

— Оттель, — кивнул Гарасим. — Изпод зюд-осту.

И ловцы приступили к своей обычной вечерней работе.

— Выбивай, — распоряжался дед и повел, куда надо было, лодку. — Выбивай, выбивай...

Он легко и ловко правил лодчонкой, загруженной горой сухих сетей, медленно-медленно вел ее по совершенно прямой линии, строго согласовывая взятое направление с течением воды, так как знал, что в сетку, поставленную в неправильном соотношении с морским течением, не сможет попасть ни одна рыбешка. А Гарасим и Колька, выкинув первый однолапчатый якорек, сажень за саженью высыпали в море чистую, тонкую, мягкую нитку сетки — «дель». Сухая сетка в первый момент пышными невесомыми кучками плавала на воде, как комки морской пены, потом, под тяжестью равномерно расположенных грузил, постепенно расправлялась и вертикальной стеной оседала вглубь. На поверхности воды оставались только поплавки, как бы пригвожденные к месту.

Грузила, — по-местному «таши», — красивые гончарные бублички, размером немного покрупнее карманных часов, высыпаемые руками ловцов, непрерывно гревели по деревянному борту лодки. Поплавки, — «балберы» — коричневые прямоугольные чурбачки, из обожженного корья, точь-в-точь, и окраской, и формой, и величиной, фряники-коврижки, — протягивались на воде в бесконечную, прямую, плавающую цепочку.

— Хорошая погодка — для ловца праздник, — с удовлетворением сказал Тихонич, любясь и ласковым поведением моря, и слаженной работой людей.

— Еще бы, — сдержанно улыбнулся одним глазом Гарасим, весь ушедший в привычную ловецкую работу, с корал-

ловой гирляндой гремящих ташей на руках.

— В такую погоду ловец работает играючи, — продолжал радоваться дед.

— Если бы всегда было так! — воскликнул Колька, с улыбкой во все свое широкое, в веснушках, лицо, и ловко распутал концами пальцев тройку крепко сцепившихся вместе коврижковых балбер.

Сделали лишь половину дела, когда солнце закатилось за западный край окончательно присмирившего моря. И все остальное время работали при угасающем свете вечерней зари, бледной и холодной. Чтобы развязать крошечный, с булавочную головку, узелок, в который случайно завязалась нежная ниточка ячеи, или, наоборот, чтобы затянуть петелькой случайно распутившееся очко, лица и руки работающих поднимались к заре, к западной половине неба.

Всего выбили в море сорок пять отдельных сеток, — «концов», — по двенадцать сажений в каждом, и в процессе работы особым образом связали их вместе в одну цельную стенку, с версту длиной, по-каспийски — «порядок».

Дело происходило в открытом море, поэтому для прохода случайных пароходов и моторных судов на середине «порядка» оставляли свободные от сеток «ворота». Границы «ворот» отмечались двумя высокими, заметными издали вежами, двумя вертикально стоящими на воде шестами, с пучками листов камыша или осоки на верхушках, похожими на банные веники. Банные веники на шестах трепались морскими ветрами, омывались морскими волнами.

Звено возвращалось с порядка на подчалок крошечной ночной теменью. Плыли, не торопились, журили. Дед правил лодку на оставленный на судне маленький огонек фонаря, всегда так приятно волнующий морского ловца, обещающий ему величайшие блага жизни: тепло, сухость, свет, отдых, уют...

И когда, после работы на воде, в сырости, в холоде, в темноте, вошли в тесное помещение каютки и скудно осветили его экономной десятилинейной керосиновой лампочкой, каютка, — уже в который раз! — представилась людям

такой родной, близкой, во всех отношениях безопасной. Казалось, невозможно и не нужно было большее счастье, чем эта, вечно пригревающая их деревянная коробка.

И на суденышке настал час, самый приятный для морского ловца, когда наконец можно было надолго сбросить с плеч сырую спецодежду, — плохо проолифенную бязь; освободить ноги от неудобно скатавшихся портянок в тяжелых сапогах; раздеться; растянуться на койке; всласть покурить; неспеша насладиться чайком; разобраться в последних номерах доставляемых в море газет, как столичных и астраханских, так и сезонных, специально путинных, печатающихся здесь, среди моря, на особом бегущем по Каспию культпароходике.

XIII. Вечерний чаек

Пока Тихоньч и Гарасим, на случай неожиданных сюрпризов со стороны погоды, готовывали к ночи свой корабль, проверяя общее его состояние, как крепость, в любую минуту готовую отразить натиск врага, Колька ворочал в трюме, точно в лесу, громадные колоды дров, колот их топором в щепу и подбрасывал ее под ведерный чугунный котел, в пылающий огонь «жарника», — легкая переносная рыбацкая печь из листового железа. Из-под круглой дощечки, которой был накрыт котел, валил белый пар и разносил по судну и по морю запах перепаренного чая.

Пили вечерний чай сперва одетые, за маленьким откидным столиком, привинченным к стене каюты; потом, розомлев, раздевались и устраивались каждый на своей койке, по-турецки поджав под себя босые ноги. Спешить было некуда, и пили обыкновенно долго, с передышками; разговаривали длинно, с подробностями. Но стоило сиреной взвыть в вантах неурочному ветру и с грохотом прокатить наверху по палубе порожнее железное ведро или вдруг тяжело качаться и поползти, как в бездну, всему судну, вместе с двумя якорями, — как все швыряли недопитые чашки и, босые, полураздетые, с непостижимой лов-

костью, в одну секунду выскакивали наверх.

Тихоныч, распаренный чаем, с голой, в капельках пота, волосатой прудью, с чашкой в руках, сидя сутуло на своей койке, после долгой работы ногтем пальца у себя во рту, отодрал наконец прилипший к нёбу крупный зеленый лист калмыцкого прессованного чая, очень похожий на березовый листик, — таких же размеров, такой же овальной формы, с такими же мелкими зубринками по краям.

— Сколько раз говорили, что чай будем заваривать в тряпке, в мешочке, — отхлебнув из чашки, с неудовольствием произнес он, с лицом, изнемогающим, почти плачущим от приятного горячего.

— Тряпку надо иметь, — принявши упрек на свой счет, не замедлил ответить Колька и продолжал с шумом насоса жадно всасывать в себя с края обеденной миски крепкий и мутный чай, иззелена-бурый, вроде неочищенной нефти, к тому же насквозь продымленный на смолистых дровах «жарника».

— У меня там, в вещах, от старой рубахи два рукава остались, один могу дать, — продолжал Тихоныч и опять полез рукой в рот за листьями. — Дырку на локте зашить — и можно заваривать.

Таким образом, еще одна тема была дана, и думы, и беседа вокруг нее начали медленно разворачиваться.

— С тряпкой будет и чище, не надо каждый раз рыбными руками в рот за листьями лазить, и много экономнее, — после некоторого размышления сказал Тихоныч и между делом достал из-под высунутого языка еще пару листьев, крупных, шершавых, с острой пилой по краям.

— Чай, если например в тряпке... — начал было излагать свои мысли Гарасим, но не досказал, очень захотелось чаю, отхлебнул из чашки обжигающего раз, еще раз, потом продолжал: — Чай, если например в тряпке, то его можно по несколько раз заваривать...

Дед подхватил мысль Гарасима, склонил шею над чашкой, проглотил глоток, приятно обжегся, заслезился, зарычал, как медведь, и сказал:

— Заварил раз, высушил и опять заварил... Потом опять высушил и опять заварил...

— И так до тех пор не выбрасывать его из мешочка, — подсказал Гарасим, — пока он будет давать настой... Перестал давать настой — долой из тряпки... Да и то не выбрасывать его вон, а сыпать в коробочку на черный день...

— Люди вон по сколько раз заваривают одну и ту же заварку чаю... — говорил в свою чашку Тихоныч. — А мы, «бо-га-тые», запарим раз и за борт... В Астрахани, говорят, на рынке, знаете, почему такой чай?

Гарасим, с сильной мимикой, только промывал в чашку и покрутил бритой головой на бычьей шее.

Наступила передышка в беседе. Все молчали, истомленные слишком горячим. Лишь отдувались после каждой выпитой посудыны.

Было слышно, как приятно и вместе осторожно похрустывал иногда кусковой сахар на зубах деда. Крупный и могучий на вид, старик кончиками зубов нежно прикусывал от куска сахара микроскопические крошечки, совсем муравьиные порции.

Колька, сладостоежка, поедая свой сахарный паек обыкновенно первым. Расходоходил он его и на накладку, и на прикуску, и, когда не мог перебороть желания, грыз просто так, без ничего. Только запрет его на замок в своем сундучке, как сейчас же опять лезет отмыкать, чтобы откусить еще кусочек. Окончательно успокаивался и бросал сундучок незапертым лишь после того, как клал в рот последний кусочек, перед этим тщательно осмотренный долгим, как бы прощающимся навсегда взглядом.

Гарасим, человек вообще с железной силой воли, тот вовсе не трогал ни пылинки из своего сахарного пайка, — целиком переправлял на берег семье.

И теперь оба они пили чай по-калмыцки, — с солью вместо сахара, — отводя свои взоры от сахара деда, как от яда, могущего сразить одним своим видом.

Дед долго и сосредоточенно жевал корочку черного хлеба, перекладывая ее

во рту с левой стороны на правую, с правой на левую...

— Ржанина надоела! — вымолвил он со вздохом, наконец справившись с корочкой.

— Беленького захотел? — рассыпался смехом Колька и вытер подолом рубахи вспотевшее лицо, как кот, умывающийся лапой после еды. — А раньше разве лучше было? Ржаного не ели? Калмыцкого не пили?

Дед отвернул уголок маленькой тряпочки, лежавшей перед ним на койке, достал оттуда кусочек сахара, осторожно, как к святыне, приложился к нему губами, потом завернул обратно в тряпочку, чтобы обнаженным его видом не смущать товарищей, смачно потянул из чашки и в очень хорошем, как бы подслащенном расположении духа сказал, не то шутя, не то серьезно:

— Раньше?.. Раньше вовсе чаю не пили...

— А что же пили?

— Водку...

— Водку? А водку, говорят, вредно пить.

— Это вам вредно, нынешним... А нам, старым, не было вредно...

— Почему же так: одним вредно, другим нет?

— Почему? — ухмыльнулся дед, опять полез огромной лапой в маленькую тряпочку, ухватил концами пальцев отрывочек, уже сделавшийся траненым от множества микроскопических откусов со всех сторон; отхлебнул несколько раз, пока не опорожнил чашку; опрокинул ее на блюдце; отставил в сторонку; вытер жесткой ладонью усы, бороду; и — сказал:

— ... Прежние люди и пили много, и были здоровые, а нынешние и не пьют, себя берегут, и шерстяные портянки носят, а все болеют и все им холодно...

— Й-эх, ты! — воскликнул с тоской Гарасим, обращаясь к Кольке. — Ты понятия не имеешь, как раньше жили каспийские ловцы, особенно если взять красноловцев...

— А как же они, против нашего, жили? — спросил Колька, довольный, что Гарасим входит в азарт, и подмигнул Тихоньчу.

— Мало я тебе про то время рассказывал?!

— Ну, расскажи еще. Всего ведь не рассказал.

XIV. Как раньше жили. „Кулак“— слово громкое

— Ты даже во сне этого никогда не увидишь, как раньше наши рыбаки жили... — оживился Гарасим, и лицо его заиграло, как у молодого. — Бывало, когда удавалось хорошо поймать рыбы, гуляли не только по нескольку суток под ряд, в вине купались, но еще и в землю боченками водку закапывали... Про запас!.. Это у ловцов называлось сдавать в «земельный банк»... Закапывали бочки с водкой в землю по компасу и замечали, какая бочка где: какая на норд-весте от парадного крыльца, какая на зюд-осте от отхожего места... Гуляем, бывало, у какого-нибудь своего ловца, пьем, наконец выпиваем все под чистую, и больше нигде взять... А чувствуем, что сила в нас только-только начала играть, и дух в самом подеме, требует еще пить... «Ну, — уговариваем хозяина, у которого гуляем, — Данила Петрович, будьте любезны, предоставьте еще один боченочек». А тот клянется, что не только боченочка, даже ведерочка больше нет. Нам делается обидно, мы не отступаемся от него, некоторые из гостей, уже хорошо выпивши, вроде грозят хозяину: «Кстись сейчас, — говорят, — на икону, что вина больше нет!» И тащат его, волокут по полу в угол, к иконе... А люди раньше богобоязненные были, не то, что теперь... И Данила Петрович, как глянет, бывало, на икону, так и признается, что по норд-осту от ворот конюшни, в «земельном банке», у него еще один боченок спрятан... С фонарями, с лопатами, пьяные, веселые, толпой, ночью идем с компасом по норд-осту... А все моряки — один к одному, по компасу не ошибутся... И через какие-нибудь пятнадцать минут боченок, как мячик, перебрасываем на руках от одного к другому, прямо на стол, и гулянка продолжается... Можем сказать, размах имели, жизнь видали...

— Ну, Гарасим, в этом тоже мало хорошего, — серьезно заметил Колька, — когда люди много зарабатывали и все пропивали. Вроде работали на ветер.

— Всего не пропивали! — вскричал с жаром Гарасим, разволнованный своими воспоминаниями. — Всего не пропивали! Оставалось! На все хватало, и на вино, и на жизнь! Цены на рыбку стояли подходящие, и заработки у ловца были хорошие, и он знал, что он жил! Плохо ли, хорошо ли, но у него была чистенькая квартирка, приличная мебель, комоды там, шкапы, граммофоны... Одевался он, как хотел. Кушал, что хотел. Все было доступно купить, что ни вздумал. В праздник принимал гостей и сам ходил в гости... Одним словом, имел все вращение жизни. А что он имеет сейчас?

— А почему жеты, Гарасим, не сказал, сколько ловцов так хорошо жили, какой процент? — спросил Тихоныч с лукавой усмешкой. — Процентом десять-пятнадцать? А остальные как? Вот в том-то и дело, что, как ты сейчас тут нам описал, так раньше только одни кулаки жили. А прочая ловецкая масса никогда не выходила у них из долгов: вечно на них работала, на чертей, вечно брала у них авансы под будущий улов и вечно была у них в кабале. Это известно всем, даже Кольке. Его старики, тоже батрачавшие у таких ловцов-богатеев, небось, немало ему про то время рассказывали...

— Сколько хочешь, — горячо подтвердил Колька.

— Батрачили только те, которые не хотели быть хозяевами, — раздраженно защищался Гарасим. — А кто хотел, тот две-три путины батрачил, а на следующую сам выходил полным хозяином.

— Да, да, держи карман шире, — горько рассмеялся Тихоныч. — «Хозяином»! Мало я на них батрачил?! Ты, Гарасим, теперь порядки хаишь потому, что тебя раскулачили. А кто раньше бедно жил, вот как я, тем сейчас нравится.

В беседе коснулись вопроса, самого большого для Гарасима, и он завозился под одеялом, зачесался, потом привстал на койке.

— А за что меня раскулачили? Разве меня правильно раскулачили? Я не отрицаюсь от советской власти, я только спрашиваю, за какие дела меня раскулачили?

— Много имел, — просто сказал Колька.

— Люди больше меня имели, а их не тронули. Если бы я пользовался только наемной рабочей силой, а то я сам на хозяев работал, раньше чем на свои ноги встал! «Много имел». А как я это приобретал? Чунки с 15-пудовым грузом по льду на себе возил, чтобы как-нибудь лошаденку для подледного лова завести! Лошаденку нажил, потом благодаря ей несколько зим подряд на белорыбье хорошо заработал и с помощью государственного кредита рыбницу моторную приобрел. Ведь в 1925—26 годах, помнишь, что делалось у нас? Тогда по Каспию и дни, и ночи непрерывно рейсировали целые караваны груженных рыбой рыбниц и Волго-Каспийского госрыбтреста, и Калмтреста, и Центросоюза... Работало в море и многое множество частных рыбниц, за-контрактрованных государством... И вдруг, в одно прекрасное утро, их раскулачивают, как имеющих собственные моторы, несмотря на то, что они были нажиты личным трудом и с помощью государственного кредита...

— Все равно кулаки, — спокойно зачеркнул Колька все разглагольствовавшие Гарасима.

— «Кулаки»! «Кулаки»!.. — помотал головой Гарасим. — «Кулак» — слово громкое, и бросаться им так, как бросаются у нас, не следует! Меня определили в кулаки... А какой я кулак? Правда, у меня, случалось, бывала наемная рабочая сила, когда я с сыном не управлялся! Но у меня моим «бат-ра-кам», может, в десять раз лучше жилось, чем рабочим на любом государственном промысле! Есть свидетели! И, прежде чем раскулачивать, надо было опросить этих свидетелей, людей, которые работали у меня. Они и по сю пору остались мне должны: тот тысячу, тот две... В чем же дело? Я своему делу специалист? Специалист. Моряк? Моряк, и сильный моряк против других: когда другие в

«чернях», по мелякам ловили, а плавал на глубях, рисковал жизнью. Значит, какое мое социальное прошлое? Я работал? Работал. Рыбу государству сдавал? Сдавал. Государство премии мне выдавало за хороший лов и за примерное сохранение ловещей сбруи? Выдавало. И вдруг — ба! — лишенец!.. Хорошо еще, что избирком скоро восстановил меня в общегражданских правах, а то бы сейчас и в колхоз не приняли... А тебе-то, Тихоньч, при теперешних порядках, конечно хорошо. Сейчас ты плаваешь звеньевым, а захочешь, попадешь в бригады и еще выше...

Колька глянул на ужасающе могучую, космато-седую, насупленную фигуру Тихоньча, сидящего по-турецки на койке, с громадными когтями на босых ногах, и расхохотался:

— О!!! Тогда ему портфель придется завезть!!!

И беседа, серьезная вначале, в конце перешла на шуточный тон. Острили и потешались друг над другом... Добрались и до Кольки. Припомнили им самим рассказанную любовную драму, какая произошла между ним и одной девушкой: не успел он как следует нагуляться с ней на берегу, как вдруг распоряжение — в назначенный день уходить всему колхозу в море...

Пока старики шутили, Колька рылся в последних номерах астраханской газеты «Коммунист» и откладывал в сторону материал, наиболее интересный для прочтения вслух. Потом он сидел, читал, а они лежали, дымили махоркой и слушали.

«... В снижении темпов вылова рыбы сыграли видную роль кулаки, затесавшиеся в колхозы. За последнее время выявлено немало кулаков, после чего кулацкая агитация против лова несколько затихла. Но несомненно, что в коллективах еще прячутся замаскировавшиеся чуждые элементы. Поэтому необходима дальнейшая проверка состава ловцов...»

«... Нарсуд в селе Красный Яр разобрал несколько дел о хищениях колхозниками рыбы. Ловцы теплинского колхоза «Новая жизнь» М. Смердин и А. Юртов, подпавшие под влияние кулачья, занимались продажей на сторону

пойманной рыбы, чем подрывали выполнение плана и хозяйственную мощь своего колхоза. Оба приговорены к лишению свободы на пять лет, с содержанием в концлагерях, без применения амнистии». «Тоневой бригадир Мамутов из села Черемуха бросил свой невод на произвол судьбы, и его каждый вечер рвут проходящие телята...» «Колхозник А. Кононов из села Барановка, получив лучшие морские сети и морской аванс, оказался караульщиком арбузов на бахче. Часть сетей он употребил на ловлю перепелов, а другую часть развесил на бахче для предохранения проса от хищения птицами. Сети пришли в негодность...» «Вообще директивы о выводе всех ловцов на лов, о снятии их с других работ и с сельских бахчей сельсоветами не выполняются. По некоторым сельсоветам на бахчах сидят и твердозаданщики. Мер к возвращению их на лов не принято. Необходимо послать по всем бахчам соответствующие бригады...»

«В колхозе «Новая жизнь» (Астрахань) венгерная бригада Аристова выполнила план пятидневки на 141 проц., второй пятидневки — на 146 проц.

Бригада объявила себя ударной и заявила, что в религиозные праздники (рождество, крещение и др.) она не только сама будет работать, но поведет массовую работу и среди остальных колхозников, агитируя за выход на лов в праздники...»

«Женщины уже не раз показывали образцы работы на лову. Так например женская бригада ловцов Ясенской в составе 8 женщин все время перевыполняет плановые задания, работая исключительно на глубьском лове. Бывали случаи, когда в сильные штормы даже опытные рыбаки не выходили в море, а женщины-ловцы выходили одни и привозили рыбу...»

По окончании работы 2-й межрайонной конференции рыбацких-колхозниц и единоличниц были премированы лучшие из лучших рыбацких, выполнившие и перевыполнившие план.

Тов. Шумуртова (колхоз «Пятилетка»), несмотря на то, что колхоз снаб-

дил ее плохими сетями, вместо 26 центн. выловила 31 центн. Премирована на 45 руб. 50 коп. Тов. Болдырева (колхоз «Волна революции») первая вышла с мужем на морской лов. Тов. Болдырева дала обязательство на весеннюю путину организовать стойку и выйти на губьевой лов. Премирована на 31 руб...»

Но больше всего звено Тихоньча увлекалось в долгие осенние ночи рассказыванием сказок. Рассказывали и слушали сказки, лежа на койках, сквозь возрастающую дремоту. Сперва говорил один, а двое слушали. Потом один из слушавших засыпал крепким моряцким сном, и рассказывали друг другу только двое. Потом и единственный слушатель внезапно поддавался уже давно валившему его сну. Тогда последний рассказчик обрывал свою сказку на полуслове, прикручивал лампочку, и через минуту в тесном накуреном ящике, к двум богатырским храпам присоединялся столь же могучий третий.

Тихоньч и Гарасим, как старшие, обыкновенно укладывались на низеньких дощатых койках — одна вдоль левого борта судна, другая вдоль правого; Кольке же, как молокососу, полагалось ложиться прямо на полу, в проходе между койками старших, головой под откидной столик и к переборке, отделяющей людскую каюту от рыбного трюма, ногами к выходной дверке.

Когда был с ними сейчас отсутствовавший, четвертый ловец, тогда его клали, по праву старшинства, тоже на пол, рядом с Колькой. Но его на подчалке все не было и не было. Повез под парусом на бударке вместе с колхозником из другого звена домой, в свое село, «гостинец» — контрабандный подарок свежей и просоленной рыбки и либо засыпался, либо загулял на берегу, либо на обратном пути никак не мог найти их в море, хотя ему было ясно сказано, чтобы искал их на зюд-зюд-осте. Погибнуть в море на бударке он тоже не мог, так как за время его отсутствия не было больших штормов.

И сейчас раскинулся в проходе между койками на полу, занимая два места, один Колька на своем полушубке, без

подушки, со сладко откинутой назад головой, как отрубленной топором, и с парой громадных, босых, наслаждающихся свободой ступней, далеко вылезших из всяческого рванья, заменявшего парню одеяло.

На всякий случай спали одетые, в верхнем платье, только без спецодежды и сапог. Вообще на судне снимали с себя все до нитки только в тех случаях, когда, в свободное время, при свете дня, занимались истреблением вшей. Трое голых людей сидели тогда вокруг пылающего жарника и, перебирая снятое с себя платье, бросали в огонь насекомых. Мирно беседовали при этом о чем-нибудь легком, приятном, веселом. Гарасим же каждый раз распространялся на ту тему, что, по его наблюдениям, вши заводятся у человека главным образом от дум. «Раньше люди меньше думали, и вшей было меньше. Теперь нет человека, который не ломал бы головы над разными вопросами, и все обовшивели...»

XV. Рыбацкая страсть

Тихоньч вечером немножко схитрил и только сделал вид, что спит. На самом же деле, дождавшись, когда его товарищи заснули, он встал, закурил махорочку, потихоньку оделся, обулся, низко наклонился в выходной дыре, какая бывает в собачьей конуре, и, крупный, трудно, со стариковским кряхтением, выдрался сквозь нее на воздух.

Погодка была еще отличнее, чем с вечера. Воздух и море были одинаково неподвижны. И тишина стояла такая, что казалось, произнеси здесь разговорным голосом одно слово, — все море услышит. И темень была такая, что если бы не разлитая в ночном воздухе особая, специфически-морская влага, то можно было бы подумать, что вокруг судна просто ничего не было: ни земли, ни воды, одно воздушное пространство, пустота, бездна.

Дед, человек редкого, непоколебленно-здоровья, прежде всего почувствовал, как все прекрасно на этом свете, — прекрасно и благополучно. Живет он и живет, и нет ему ни в чем никакого изно-

су. Тот жалуется на то, другой на другое, а он ни на что никогда не жалуется, у него нигде ничего не болит. Жить ему и жить без конца...

Первое время после света лампы в каюте он ничего не видел. И шел по хорошо знакомому ему судну по памяти, как с завязанными глазами. Обошел то, обошел это, ни за что не задел, ни на что не наткнулся. Потом, когда немного пригляделся, стал различать в темноте кусок палубы под ногами; борт, вдоль которого шел; угол люка; бок одного «немца» и, наконец, чал, возле которого остановился. Взял в руку конец этого чала, потянул к себе, — веревка легко поддалась его небольшому усилию, — и из потемок мгновенно приплыла к его ногам, точно прилетела по воздуху, подвижная и вертлявая даже на тихой воде, порожняя бударка. Дед грузно влез в заглобавшую под ним жиденькую лодчонку, оттолкнулся от судна и в тот же момент исчез в темноте. Немного позже было видно, как подвигался в черной тьме маленький огонек его папиросы, точно летящий в ночном воздухе светлячок.

Хорошо было плыть старику. Стоило только слегка направить в ту или другую сторону лодку, как она сама туда шла по мягкой и неслышной воде. В воде было столько неподвижности, покоя, что никак не верилось, будто здесь открытое море, плавают большие корабли, бывают штормы, от которых гибнут и люди, и пароходы...

Дед плыл от места стоянки подчалка прямо к «порядку».

Услышав царапанье плавающих поплавок — балбер — о дощатое дно лодки, он остановился, багром захватил в воде верхнюю «подбору», — верхняя веревка, на которую была насажена дель, — и начал выбирать из воды сетку. Опытная рука ловца с первой же сажени сетки почувствовала хотя и небольшую, но приятную, живую, только притаившуюся, постороннюю тяжесть. Было похоже, рыба пока что давала себя поднимать из глубы на поверхность спокойно, без протеста, без сопротивления, как в состоянии глубокого ночного сна. Дед кашлянул от удовольствия и стал на-

пряженно глядеть в тот небольшой кружок разбуженной воды, из которого выходила на воздух мокрая сетка. Уже сколько десятков лет вытаскивает он вот так из морской воды сетки, а все никак не может делать это хладнокровно, без охотничьего волнения и безрассудных надежд игрока. А вдруг в его частичковую сетку вместо воблы запутается своими шипами красная рыба, хороший осетр!.. А вдруг в том осетре экспортная зернистая икра!.. А вдруг на ту икорку найдется хороший частный покупатель...

Под рукой деда, выбирающей сетки, в черной толще воды, на глубине полуметра, у самого борта лодки, вдруг ярко забелела перевернутая вверх брюхом, точно вся светящаяся изнутри, как матовая электрическая лампочка, хорошо известная старику фигура крупного судака, — одна из самых излюбленных его рыб. Кто знает только того мертвого, облезлого, прилизанного судака, которого продают в продуктовых магазинах, тот не имеет никакого представления о настоящем живом судаке, в его нормальной будничной обстановке, в море, на глуби, на пльву. Красиво и пропорционально сложенная рыба, хорошо вооруженная крепкими иглами и совершенно звериными зубами; быстрая, в меру нервная, с хорошо развитой мускулатурой всего тела; мясистая и в то же время твердая, как палка, без излишнего отягочающего жира, столь частого у других пород рыб; вся в таких пышных, далеко торчащих, голубых веерах-плавниках, которые делали ее совсем не похожей на судака из магазина. Дед же издавна полюбил эту рыбу за то, что благодаря ее постности ему удавалось съесть ее раза в два больше, чем какой бы то ни было другой рыбы. Если в один присест он мог осилить одно кило осетрины, то этой рыбы — по крайней мере два.

Полная жизни рыбина, еще не отдающая себе ясного отчета в том, что с ней произошло, нежно опутанная тонкой ниткой сетки, как паутиной, весело и энергично заколотилась сильным хвостом по обоим голенищам деда и заплел-

скалась в лужице, когда он бросил ее вместе с мокрой сеткой на дно лодки.

Вслед за судаком, через полметра сетки, шумно затрепыхались на воде, таща по поверхности в разные стороны сетку, как бы впрягшись в ее ячею, три крупные, некрасивые, сильно брюхатые воблы, благодаря высунутым на воздух головам похожие на плывущих змей. Сейчас же за воблами заходило спросток под дном лодки что-то еще, потяжеле...

— Рыбка есть... — ласково прохрипели в темноте старые, усатые губы дед. — Рыбка будет... Завтра навалюем ее...

Быстро выбросив из лодки обратно в море вынутую сетку вместе с рыбинами, дед, не торопясь, поплыл назад и вскоре был опять в теплой каютке подчалка.

Теперь он мог спокойно уснуть. Если с вечера рыба идет в сетку, значит, утром будет улов. А когда с вечера ничего нет, тогда и ночь ничего не прибавит.

Уже засовывая босые ноги под одеяло, дед при слабом свете прикрученной лампочки взглянул в сторону крепко спящих Гарасима, Кольки, прислушался к их яростному храпению, и в его душе шевельнулось мимолетное чувство протеста и ненависти к обоим. Это... не люди. Он беспokoится, он не спит, он хлопочет о деле, он плавает среди ночи к порядку, а они — хоть бы что! Им на все наплевать. Они равнодушны к тому, будет завтра рыба в сетях или не будет. Они способны храпеть до завтрашнего обеда, если их не поднять. На подобных людей действительно нужны бригадиры. В иных мероприятиях советской власти проглядывает такой удивительный, такой крепкий хозяйственный ум.

XVI. Утро ловца. „Выдирка“ сетей

И утром опять первым завозился на судне дед.

Было еще темно, когда он, полуодетый, поднялся на палубу, взял со своего строго определенного места высокое, окрашенное суриком ведро, — на крепкой веревочке с засаленным узелком на конце, — забросил его за борт, зажав

в руке узелок, ловко зачерпнул из моря ровно столько, сколько ему нужно было, умылся овежей морской водичкой, повеселел, утерся суровым полотенцем, расчесал гребнем волосищи на голове, бородищу, ушел подальше от каюты, встал на палубе черным силуэтом рядом с фок-мачтой и, выспавшийся, умытый, причесанный, праздничный, — как именинник, — обратив ясное лицо и к небу и к морю, долго молился богу...

— Колька! Гарась! — раздался вскоре в полутьме его крепкий, с хрипотцой, голос, возле двери в каюту. — Время подыматься, выдирать сетки!

Пока те потягивались на койках да одевались, он, не открывая никому своей тайны, что рыба в сетях есть, приготавливал для улова трюм, перекладывал оттуда вещи в смежный ларь. И через несколько минут, когда на восточном горизонте едва начала намечаться узенькой щелочкой утренняя заря, они втроем, три темных силуэта, спешно поплыли на бударке от подчалка к порядку.

— Сегодня в сетях рыба должна быть, — углубленным тоном предсказателя заявил Тихоныч в пути и только для вида бросил скользкий взгляд на воду.

— Наверяд, — не согласился Гарасим, сонный, понурый, никуда не глядящий. — Для рыбы слишком тепло.

— Вот у нас три балберы под ряд затонули, может, красная рыба! — вытянулся вперед, по движению лодки, Колька.

Тихоныч рассмеялся.

— Красная рыба не три, а тридцать три балберы затопила бы. Она, когда попадется, как пойдет каруселиться на месте, как пойдет напутывать на себя снасть...

Гарасим поймал в воде «приух», выбрал первый якорек и вместе с Колькой энергично принялся «выдирать» из воды сетки, в то время как Тихоныч вел лодку.

Выбранные сетки вместе с замертво застрявшей в ячеях рыбой сваливали горой на дно лодки.

На первых нескольких саженьях сетки кое-какая рыбешка была, — дед узнал

и вчерашнего судака, и трех вобл, — а дальше, как отрезало, ни одной.

— Краем прошла! — с досадой воскликнул дед. — Тем краем! Я говорил, надо было выбивать на ползакроя дальше, там рыба шла!

— Разве за ней угоняешься? — спокойно отозвался Гарасим. — Наша от нас не уйдет. Свою возьмем.

Дед молчал, только угрюмо глядел в ту сторону, где, по его предположению, шла вчерашняя рыба.

Завтракали свежей, слегка присоленной частичковой икрой и остатками от ужина. Проработав натошак несколько утренних часов на воде, на свежем морском воздухе, поедали все с громадным, прямо волчьим аппетитом. Еще вчера за ужином выбирали только самые видные куски холодной отварной рыбы, одно филе, остальное браковали, а сейчас и забракованное казалось необыкновенно вкусным; не залеживались на столе ни рыбные головы, ни хвосты.

После завтрака Тихонич убирал посуду и вообще направлял домашнее хозяйство, а Колька с Гарасимом выпутывали из ячеи сеток рыбу.

— Разный хлам, — пренебрежительно морщился за работой Гарасим, бросая на кучу выпутанную рыбу.

— Вобла... Судак... — регистрировал Колька своих рыбин, выпутанных из ячеи. — Лещ... Сазан... Тарашка...

На куче смеси исключительно серебряной рыбы странным чужаком выделялся маленький, головастый, чрезвычайно живучий соменок, имевший вид не рыбы, а какого-то звереныша, — без чешуи, черный, эластичный и скользкий, как галошная резина.

Колька поглядел на него, подумал, взял за поджабры и зашвырнул за борт.

Лучшие экземпляры рыбы — стерлядок, чалбыш, костереш, крупного сазана — бросали отдельно, в ведро, себе «на котел».

— Пудов двенадцать будет, — когда кончили выпутывать, прикинул на-глаз Колька.

— Двенадцать пудов — это не рыба, — проворчал Гарасим, снимая с себя спецодежду, всю в чешуе. — Если

из-за двенадцати пудов будем сетки парить...

— Выбросим маяк, что есть для сдачи рыба, — распорядился Тихонич, обращаясь к Кольке, когда уже выбрали якоря, подняли паруса и оставили навсегда еще одно место случайной морской ночевки.

Колька насадил на конец длинного шеста черное драное пальто с отвисающими клочьями белой ваты и укрепил шест стоймя на корме судна. Этот «маяк», с опущенными рукавами, производил впечатление повешенного человека, болтающегося за кормой над морем.

Дежурящие всю путину в море специальные моторные суда должны были с помощью бинокля уловить поданный им сигнал и немедленно прибыть к подчалку для приемки у него пойманного свежего. Если же приемного судна в данном районе моря не оказывалось, ловцы или выбрасывали улов за борт, или сами присаливали его и потом сдавали государству «малосол», — по более низкой расценке.

XVII. Работы хватало на весь день. Морские просторы

Плыли по компасу. Держали на зюд-зюд-ост.

Сами летавшие по морю, как чайки, они зорко следили за морскими чайками, за тюленями, за течением воды, ее температурой, степенью солености... Мартын весь уселся на меляках — рыбы поблизости нет. Мартын снялся и закружил над глубокой водой — показалась рыба. Тюлень опять и опять высунул из воды круглую морду, — пасется на рыбке. Вода очень пресная, — рыбу ждаты сверху, с Волги; очень соленая, — снизу, из Персии. Температура воды высокая — рыба разрозненная; холодная — густая...

И управляли ходом парусника; и искали рыбу; и вели на судне обычную работу.

А работы на судне хватало на весь день.

Утром, после выдирки сетей, — уборка. Мыли слань от грязи с якорьков, от рыбьей чешуи и слизи, от морских

водорослей, тины. Отливали черпаком натекшую с сетей воду. Освобожденные от рыбы сетки набирали на руку за одну подбору и старательно полоскали в воде, как белье, за бортом. Между вантами обеих мачт, на сажень от пола, протягивали горизонтальные шесты, устройв, таким образом, вокруг всего судна деревянные «вешала», и развешивали на них для просушки вымытые сетки. И потом, в течение всего дня, то и дело подходили к вешалам, щупали руками просыхающую на ветру дель, расправляли ее на складках, искали прорванную ячею и тут же чинили ее деревянной вязальной «игличкой»...

Не замечали, как приближалось время обеда.

Громадным топором, со всего размаха, как на земле, кололи на палубе настоящие толстые дубовые дрова и растапливали жарник. Сидели на люке, немного возвышающемся над палубой, и на специальной квадратной доске, — как бы крышке стола, — широкими короткими ножками, вроде сапожных, чистили свежую рыбу. Рыба всегда была, если не живая, то действительно самой первой свежести, с телом, твердым и хрустящим под ножом, как сплошной хрящ. Ловко отрубленные хвосты, — «махалки», — как и в один прием вынутые все внутренности, прямо из-под ножа летели за борт, описывая в воздухе, над головами поваров, высокий полукруг. Очищенную от чешуи и выпотрошенную рыбу насекали с обеих сторон глубокими поперечными ножевыми надрезами, — мудрый кулинарный секрет, очень помогавший отделять у вареной рыбы мясо от костей. В каждом из этих надрезов голубовато прозрачное свежее, упругое рыбье филе. Отдельно складывались на доске, наподобие сосисок, узкие полоски свежей, чистиковой икры, в ее тонких, прозрачных, совершенно не ощутимых рукой чехольчиках, с разветвлениями красных прожилок. Когда рыбы начищали полное ведро, ополаскивали ее водой и сваливали в котел. Соли бросали в варено много, добрую рыбацкую горсть. Зато ни овощей, ни крупы, ни какой-либо другой засыпки не было, и рыбацкий

обед на море состоял из одних и тех же двух бессменных рыбных блюд. Первое — отварное рыбье мясо, без жижи, в сухом, хотя и горячем виде; второе — самое любимое! — «тюря» — рыбный бульон, густо засыпанный распаренными в нем кусками ржаного, мелко крошеного хлеба. Первое ели руками, второе — деревянными ложками. От первого на столе без ножек оставались три сквозных пирамидальных башни из тщательно высосанных белых рыбьих костей. От второго — настолько вылизанный — досуха — громадный чугунный котел, что его можно было не мыть.

За обедом каждый из троих ел по-своему, — сообразно своей нагуре, вкусам, привычке. Тихонич находил особую сласть в рыбьих головах и высывал их одну за другой с таким свистящим шумом и с таким выражением лица, точно выцеживал из узкого горлышка дорогое вино. Колька норовил захватить себе всю икру, какая была в вареных рыбаках, и старательно прятал ее от других на своем углу стола. Гарадим больше всего любил снимать широкой ложкой желтый рыбий жир, пластом плавающий в котле со ржаной тюрей...

Обедать всегда предпочитали на открытом воздухе, — было и приятнее, и спасало каюту от лишнего сора. Вокруг рыбацкого стола без ножек сидели на палубе всей робинзоновской семьей, давно не видевшей берега, — с непокрытыми головами, с развевающимися на ветру длинными волосами, с грубой, обветренной, морщинистой кожей лиц, щек, рук, небритые, прокопченные дымом походной кухни. Отдавались еде всецело. Молчали. И все же дальнорюжими морячками взглядами не переставали жадно рыскать по всему морю, до всех горизонтов, точно ожидали, не покажется ли наконец где-нибудь, на какой-нибудь волне, сказочное рыбацкое счастье.

— Рыба... вода... соль... — наевшись до одурения, заплетающимся языком, как пьяный, пробормотал Тихонич, сонными глазами силясь заглянуть в котел. — Рыба... вода... соль... — с гримасой на лице перечислил он во второй

раз. — За одну маленькую луковку отдал бы сейчас своего осетра! — вспомнил он про живого осетра, что ходил у него в воде, за бортом, на привязи, на «кукане».

— Ну, нет, — заулыбался одними губами Гарасим. — Я своего лучше домы, семейству отправлю. Лучше там пусть с'едят.

— А я за своего белужонка, знаете, сколько сахару возьму? — возмечтал Колька и от полноты желудка зевнул с длинным воем. — А нашими харчами я довольный. Рыбы — сколько хочешь и какой хочешь. Хлеба — тоже хватает. А без остального можно обойтись. Этак питаться буду, дома меня не угадают, когда кончим путину. Скажут, «буржуй» приехал. Вот только сахарку не мешало бы прибавить хотя еще кило к тому кило, который мы получаем.

После обеда еще и еще раз перетряхивали на заботливых руках сетки, потом сняли их с «вешал» и «набрали» в известном порядке, самом удобном на случай внезапной «выбивки» в любом месте моря.

— На этой колхозной сбруе можно озолотиться, а рыбы нет, — похвалил Тихоньч добротность перетряхаемых сетей и потосковал о настоящей, массовой рыбе.

Бежали по морю под парусами и бежали. И все время видели перед собой только воду. да воду. Несколько дней тому назад еще случалось, на линии горизонта, на фоне тяжелого темносинего занавеса туч, вдруг вспыхивал ослепительно-белым крылом островерхий парус рыбацкого суденышка и через момент опять скатывался, как под гору, за черту горизонта, точно не желая отставать от погони за кем-то. А теперь даже и эти далекие видения прекратились.

И Кольке не раз казалось, что Тихоньч сбился с пути и что они заплыли в такие нелюдимые края, откуда нет возврата.

— Дед, долго нам еще плыть?

— Моряк плывет, пока живет. Я плыву седьмой десяток. Вот и считай,

сколько тебе еще плыть. Годов полсотни проплывешь...

В одном месте глухого пути дед зачерпнул из моря ведерком, попробовал глоток, остальное — чтобы не пропало добро — вылил обратно в море и сказал:

— Колька, набери бочку пресняка. Тут опять пошел чистый пресняк. А то как бы нам не довелось несколько суток пить соленую воду, как в тот раз.

И Колька принялся еще за одну ловую работу, придуманную для него делом.

— Колька, пока погода позволяет, согрей котел воды для стирки, — опять не мог вытерпеть дед, чтобы молодой, сильный парень, с такой красной рожей, часами дремал враспяжку на палубе, без всякого дела.

Стирали белье все в тех же ведрах, из которых пили и в которых мыли очищенную для варева рыбу.

— Несмотря на такое ясное солнце, за столько времени не может просохнуть белье! — сказал однажды Тихоньч, щупая на веревке между мачтами сырую рубашку. — Значит, теперь тепла не жди. Вот-вот ударят настоящие зимние холода, с морозами, со снежными буранами...

Безостановочный бег по морю под парусами; равномерное потряхивание судна на маленьких волнах; монотонная музыка поплескивания разрезаемой судном воды; однообразно-унылая картина вокруг: по-осеннему грязно-серое небо и такое же, отражающее все его краски, море; длительное сидение в тесной лодке, без всякого движения; и — главное — полное отсутствие каких бы то ни было признаков «густой» рыбы, — все это нагоняло на рыбаков скуку, сонливость, желание поскорее приткнуться наконец к какому-нибудь месту, заняться каким-нибудь делом.

— Дед, — полулежа на люке, с раздражающей зевотой спросил Колька, — Дед!.. Где мы сейчас находимся?.. Какая это местность?

— Какая местность?.. Верхнее плечо зюйд-остовой бороздины...

(Окончание следует)

Разведка

Из записок красногвардейца

А. НОВИКОВ

Над утопанной площадкой, в лучах уходящего солнца, клубами восходила золотистая пыль.

В широком кругу бушлатов, форменок и тельняшек горласто надрывалась гармошка. Мы с Ершом носились среди круга, соревнуясь в коленцах. Ленты бескозырок развевались, клещи подметали пыльную гладь площадки. Братва подбадривала нас криками, смехом.

— Наддай, Сашок!

— Ерш, не вихляй, шука слопаёт!

— И-иххх, закружил!

— Ерш, не сдавай! Зад подбери, обтреплешь!

Колесом вертелись мы в присядке. Ерш замедлял, выдыхаясь.

— Саш-о-о-к! Сашк-а-а-а! — слышался как бы издалека зов. Но прислушаться было некогда: самое главное — надо было Ерша обставить. И вот уже совсем рядом:

— Сашка, чорт! Живот отдергал себе, кричавши. Вода, что ль, в уши тебе попала? Иди, командир кличет.

Гармошка осеклась. Выпрямился я, оглянувшись. Побагровевший Ерш стоял на коленях, не закончив коленца. Братва, не погасивши еще смеха, повернулась к Пузикову, пришедшему за мной.

— Ну, чухайся! Ай доложить, что танцами, мол, занят? Некогда? — брюзжал Пузиков.

— Что за спешка? — выкрикнули из круга.

— Котлетки на сливочном подгорят!

На-ходу очищая от пыли клещ, быстро шагал я к штабу. Сзади снова разгоралась плясовая.

В штабе, раскачивая ногами, сидел на столе и густо дымил трубкой комиссар отряда Федорчук. Рядом низко склонился к карте командир, в ловко пригнанном кителе, в широких светлых галифе. Не дойдя до стола, я настороженно застыл. Командир, оторвавшись от карты, медленно закуривал.

— Хорошее дело есть, дубок, — обратился ко мне комиссар.

— Важное, — как бы про себя поправил командир.

Я ответил:

— Есть!

— «Есть! Есть!» Чердак можешь там оставить! — поддразнивал комиссар.

— Есть, чердак оставить!

— Ну ты, дубок, чердаком своим не кидайся; негде будет белее бабам сушишь. Да потом не твой он, отрядный.

— Дело в следующем, — строго перебил командир, — перебежчик донес, что в двадцати верстах, в Лосяном лесу, расположен штаб и большинство бандитского отряда. Перебежчик подозрительно-горячо настаивает немедленно двигаться туда, всем отрядом. Нужно проверить. Берите шесть человек. Выступать немедленно. К полночи вернуться. Дело опасное, больше осторожности. Все понятно?

— Есть, все понятно!

— Смотри, дубок, чердаком зря не набивайся, пригодится мышей разво-

дить, — дополнил добродушно комиссар, выходя со мной из штаба.

Я подозвал Пузикова, и тот быстро ушел подбирать пяток для разведки.

Доскребал я в котелке кашу. Братва приставала с вопросами, набиваясь ехать в разведку вместе с нами.

— Мало семерых, даешь двадцать!

— А ты знаешь, на какое дело? Может, семерых много?

— Из большого не вывалится.

— Саш, возьми меня, — приставал Крокодил.

— Отлынь, шелуха!

— Не бери его, Саш! Как с делом столкнется, из всех дырок сопля полезет!

— У кого? Крокодила? Охалпел! Да он первый у нас. Вертляв, что мертвец, храбер, что свекла, не боец, а тетка Фекла! — зубоскалил Вьюн.

Хохот колыхал животы.

Подошедший комиссар сердился.

— Затарахтели, дубы, командирский приказ исправлять? Бабы дотошные! — И спокойно: — Газеты пришли, пойдем читать!

Кони оседланы. Комиссар, отведя меня в сторону, повторял:

— Дубок, дело хорошее, опасное. Если выполнить его, чердака не жалко. Ты действуй позмеиней. Счастливо!

Он крепко, до нестерпимой боли, сжал в своем громадном кулаке мою руку.

Взмахнули в седла. Сразу пошли широкой, машистой рысью. Дорога бежала в овраг. Пропало сзади село с отрядом. Мягко печатали копыта влажную полевую дорогу. Ленты бескозырки рвались с затылка. Орловка «Вьюга» пласталась подо мной, рассекая широкой вороной грудью посвежевший воздух. Дорогу преградила изгородь. Не сворачивая, щекотнул бока, Вьюга подобралась — топ! — и легко перемахнула. Не сбиваясь с ноги, она сталась дальше, вытянув длинную шею и шевеля маленькими ушами. Ехали около двух часов.

Раза три-четыре пускали шагом. Не утомляли коней, чтоб оставить в запасе силы. Впереди затемнела полоска леса. Свернули влево, в небольшой овражек. Колесом скатилось за горизонт солнце.

Стало темнеть. Решили подождать темноты погуще. Растянулись на дне оврага. Осторожно раскуривая трубку, я продолжал обдумывать детали дальнейшей разведки. Братва шопотом переговаривалась. Бодряще растекался по полу вечерний холодок. Пузиков дернул меня за локоть, оборвав мои мысли:

— Саш, тронулись! Совсем уж стемнело!

— Да, докурю, успеем. Кони свежие, обратно наддадим.

Выбил трубку. Округили копыта коней мешковиной, чтоб не слышно было топота. Кони храпели, кося глазами на непривычный наряд. Когда засветились первые звезды, тронулись скорым шагом. Светлел край неба, обозначая скрытое убежище луны.

Под'ехали к лесу. В настороженной тишине прорезались далекие, еле слышные, высокие ноты гармошки. Охватило сомнение. Откуда здесь быть гармошке? Неужели близко деревня? Перебирал в памяти места карты, показанные командиром. Нет, там деревень близко не было. Неужели не туда заехали? Перешептывались с Пузиковым, он тоже недоумевал. Мелькнула догадка: не белая ли в лесу веселятся? Осторожно, вытянувшись по-одному, в'ехали в лес. Направились на звуки гармошки. Звуки становились все слышней. Доносилось и пение. Чаша леса не давала двигаться верхом. Спешились. Повели коней в поводу.

Для обеспечения тыла оставили Митьку, наказав ему, в случае чего, два раза аукнуть. От темноты, от настороженности спутывалось ощущение времени. Казалось, давно крадемся в этой черной чаше леса. Уж совсем близко разливалась хоровая под аккомпанемент гармошки. Над головой скользили тени ночных птиц. Ухнул вблизи филин. Вьюга, медленно переставляя ноги, тихо похрапывала. Ветки хлопали ее по голове и шее.

Вдали еле заметной искрой мелькнул огонек. Остановились. Прислушались. Кроме хора, гармошки и шорохов леса, ничего не слышно. Двигались на огонек. В узких просветах мелькнул еще один, другой, третий, много огоньков.

Чаща леса поредела, стало немного свободней.

Я передал поводья Пузикову и полез на дерево. Хрустели сухие сучья, шелестели под руками листья на ветках. Вдруг перед моими глазами раскрылась широкая, круглая, как тарелка, поляна. На поляне полыхали костры. Направо у коновязей много коней. Налево белелись палатки. Людей мало. Только около большого костра, у самой опушки, группа человек в тридцать-сорок, развалилась, орала хором под гармошку.

Жадно обыскивал я глазами поляну.

Чу! Сухой треск сучьев и как будто еле слышный звук, похожий на задущенный стон или на далекий крик совы. Не Митька ли? Повернул туда голову, напряг слух. Опять тихо. Внизу шевелились товарищи. Сильней храпела Вьюга. Окинув последний раз глазами полянку, я быстро спустился вниз. Родилась нетерпеливая мысль — не пугнуть ли беляков? Они не ожидают, — можно создать у них панику. Подумают, что окружила их большая сила. Шопотом рассказал братве о том, что видел. Братва, будто угадывая мою невысказанную мысль, тоже настаивала на том, что надо подползти поближе к банде и пугнуть.

Но вспомнились наставления комиссара. В самом деле, есть тут что-то подозрительное: лошадей у коновязей много, а людей мало... Не ловушка ли? Надо обратно вертать. Доложить. Категорически отверг предложение пугнуть беляков. Вьюга, перебирая передними ногами, усиленно храпела, прядая ушами. Я успокаивал ее, трепля крутую шею и щекоча за ухом.

Вдруг грохнул оглушительный залп. Мне ожгло слегка шею. Вьюга дикорванулась и потащила меня на поводьях. Я наскоро привязал ее к ближайшему дереву. Бросился к товарищам. Легли. Отстреливались из карабинов — наугад, в темноту. На поляне оборвалась песня. Стреляли с двух сторон, а может, и со всех четырех. Пули беспрерывно ныли, щелкали о ветви, осыпая нас падающими листьями. Пули летели высоко.

Приказал ребятам прекратить беспечельную стрельбу в горизонт, патроны были дороги. Быстро перебегая от дерева к дереву, двинулись мы по направлению к тому месту, где оставили Митьку. Двое вели в поводу коней.

Шедший впереди меня Тимошук вдруг взвизгнул и, раскачиваясь, грохнулся о ствол дерева. Впереди выросла черная тень. Выхватив шашку, я со всего маху рубанул по чему-то твердому, хряснувшему. Охнув и так же раскачиваясь, как секунду назад Тимошук, тень поползла к моим ногам. В следующую секунду за спиной я услышал треск хвороста и, успев отскочить, все же почувствовал страшный скользящий удар в голову и шею. В глазах поплыли зеленые круги, запрыгали искры, и все покрылось черной завесой тьмы.

Очнулся я от сильной жары, которую ощущал лицом. Открыл глаза. Веки, тяжкие, как чугунные заслонки, противились усилиям. Лежал я близко у костра. Сделал попытку подняться, но сильная ломящая боль в шее и спине заставила опять припасть к земле. Все же я оглянулся. Рядом сидели со связанными назад руками Ершов и Вавилов. Кругом толпилось много белобандитов, в разнообразной одежде, большинство в защитной. Около нас стояли трое с винтовками. Ершов, заметив мое шевеление, пододвинулся ближе. На мой немой вопрос ответил, что Митька, Тимошук и Медведев убиты. На остальных навалились, сбили с ног и обезоружили. Тащили меня сюда, по приказу беляков, по очереди Пузиков, Вавилов и он. Пузикова повели сейчас на допрос.

— Все-таки семерых гадов укоцали. Вон в стороне смердят падалью! — закончил Ерш.

Проходивший мимо белобрысый, плюгавый, затянутый во френч, с четырехугольным пенсне на длинном прыщеватом носу подпоручик остановился, услышав последние слова Ершова.

— Могчать, краснозодый мегзавец! — взвизгнул он. — Сейчас ваше хамское большевистское отгодье на куски газложим.

— А ты, халява плюгавая, уж сам разлагаешься!

В руках подпоручика свистнул стэк, и Ершов завертел головой. Его лоб и щеку прорезал иссиня-багровый рубец.

Превозмогая боль, я сел. Подпоручик, размахивая стэком, уходил к палатке. Невольно сжимались кулаки, скрипели зубы, и забывалась боль. Мимо провели с допроса окровавленного Пузикова; бушат на нем был изорван в клочья.

Из горла рванулось:

— Пузиков, браток! Прощай! Держись! Мы бить умеем и умирать умеем.

Пузиков обернулся ко мне, отбиваясь от тащивших его конвоиров. Незнакомым голосом, шепелявя от выбитых зубов, выкрикнул:

— Прощайте, братки, за свою власть не страшно помирать! Гадовы дни считаны! Скоро в дым разнесем их! Сашок, отряду передай, как умирал! Победа н-аш-а-а!

Конвоир грубо увлекал Пузикова дальше.

Неотрывно смотрели мы в темноту, скрывающую его. В груди кипело и жгло.

— Эх, выручить бы!

Я обернулся на приближавшиеся шаги. Подошли ко мне двое с винтовками. Толкнули прикладом в спину: «Пойдем!» Ершов и Вавилов глядели на меня прощающимися глазами. Первые шаги отзывались болью в спине и шее. Но постепенно немела, притуплялась боль. Конвоиров было двое. Один — белобрысый деревенский паренек, повидимому только мобилизованный, он неумело держал винтовку, мешковато двигал ногами. Второй, видимо старый фронтовик, четко вышагивал по траве. Стал я с ними заговаривать:

— Братки, ведь своих заставляет вас офицерня коцать!

Молчание.

— Земляки, для вас землю добывать пришли мы. С далекого моря к вам, крестьянам, на подмогу прибыли. Помещиков и офицеров вместе нам бить надо, а то крепче прежнего нас зажмут. Что ж...

— Молчать, чортов клешник! — грозно крикнул тот, что постарше. И через секунду добавил уже колеблющимся голосом: — Строго приказано с вами не разговаривать. Погибать из-за тебя?

— Не хочешь из-за меня погибать? А я вот из-за тебя пришел погибать. За твое дело смерть принимать буду. А ты к благородиям переметнулся? Своих продаешь? Землица, небось, нужна? Разорительных податей не любишь? И с офицерьем ссориться боишься? Думаешь, так переждешь? Врешь, голубок! Запасайся панихдой! Благородия тебя пожалуют за усердную службу. За предательство, за пролитую братскую кровь. Они твою голову тебе за пазуху спрячут. Эх-х! Короста кровяная!

Конвоиры, опустив головы, тяжело сопели, но молчали. Ввели меня в большую палатку. Налево стоял стол, у стола плетеное кресло. По другую сторону стола прислонена скамейка. На столе яркая лампа, письменный прибор, груда бумаг, пустые стаканы, тарелки. Справа, в углу, две походные койки. В кресле сидел капитан, худой, с длинной шеей, с лошадиными зубами. На скамейке плюгавый подпоручик близоруко склонился над бумагой. Изнутри, по обеим сторонам входа, с шашками наголо, стояли два кавалериста. Капитан нервно курил, длинными затычками. Знаком приказал подвести меня ближе к столу. Подвели. Капитан впился в меня немигающим взглядом. Я стоял, широко расставив ноги, тоже не отводя от него глаз. С минуту следил я за воспаленными, с красными жилками, пьяными глазами капитана. Он коротко приказал: «Развязать!» Старший конвоир быстро развязал меня, и по знаку оба конвоира быстро вышли.

Голос у капитана был низкий, сиплый.

— Садись. — Капитан указал мне на скамейку.

— Не хочу.

Капитан встал, медленно протянул мне раскрытый золотой портсигар с толстыми папиросами:

— Закуривай!

Я вытащил кисет и стал набивать свою трубку. Портсигар опустился на стол. «Значит, хочет сзади, лисой обойти, обходом, — думал я, раскуривая трубку. — Ну валяй, гад, валяй, попробуй...» Внесли поднос, на нем бутылка вина, нарезанный гусь, белый хлеб.

— Небось, проголодался, закуси.
 — Сыт, не хочу.
 — Напрасно-с, напрасно-с чуждаешься. — У капитана забегал живчик под левым глазом. — Начнем допрос, подпоручик.

Плюгавый, дернувшись, приготовился писать.

— Как фамилия, имя, отчество?

— Запаятовал, — цедил я сквозь зубы, не выпуская трубки изо рта.

— Кто у вас начальником по разведке был?

— Отряд.

— Где расположен отряд ваш?

— Везде, где есть рабочие и трудовое крестьянство.

Левая сторона капитанского лица держалась мелкой судорогой. Плюгавый подпоручик еще ближе, вплотную приник к бумаге.

— Сколько в вашем отряде людей?

— Трудно подсчитать, а если огулом, то рабочие и трудовое крестьянство всего мира.

Я раскуривал вторую трубку. Капитан подошел ко мне вплотную. Лицо его было перекошено злобой. Повидимому, он делал последнюю попытку говорить спокойно.

— Ты знаешь, что я тебя расстреляю? Но до этого пытаться буду. Так пытаться, что сотни смертей легче, или... Или останешься жить. Прощу тебе все, получишь чин. Будешь при мне. — Кулаки в моих карманах заходили ходуном, с большим усилием удерживал я их на месте. — Дам тебе денег. Уничтожим большевиков, будешь богато жить. Все это конечно за маленькую услугу. Наш человек не смог заманить ваш отряд сюда, в лес. Ты сейчас проведешь нас к своему отряду и...

Я взмахнул кулаком, но на руке повисло что-то тяжелое. Левую руку заламывали назад. По лицу хряснул удар. Рот заливало кровью. На нижнюю губу выплыло три зуба. С дикой, беспамятной яростью я рванулся. Левая рука освободилась. Молниеносно ударил я во что-то мягкое, хлипкое и отскочил к койкам. Обвел левым, незапавшим глазом палатку. Успел заметить лежащего на полу подпоручика и бегущих на меня ка-

валеристов и еще третьего, который, повидимому, незаметно вошел во время моего допроса.

— Взять мерзавца живьем, я его леденцами накормлю! — крикнул капитан.

Я, повернувшись спиной к стене палатки, сыпал ударами в нападавших. Вдруг один упал к моим ногам и рванул их. Я немного пригнулся, чтоб ударить его по голове. В следующее мгновение, вслед за моим ударом, на меня рухнули двое остальных, и все мы комком упали на земляной пол. По голове, шее и бокам моим барабанили кулаки. Двое, схватив мои руки, заламывали их назад. Все кончено. Я стоял опять со связанными назад руками. Из рта, носа и ушей струилась кровь, сбегая на изорванный бушлат. После короткого приказа капитана «накормить леденцами» меня увел прежний конвой.

Шли молча. Я отхаркивал кровь. Грудь распирала злоба. Прошли мимо костра, где должны были сидеть Вавилов и Ерш, но их там не было. Белобрысый конвоир вздыхал и бросал изредка на меня жалостливые взгляды.

— И за что так били? — вырвалось у него.

— Зачесал языком, теля слезливая, — вскипел старший. — За бунт на смерть бьют. За что били? Эх-х, терять!

Меня взорвало от этих слов.

— Шкуры! Продаете? Навозные жуки! Вам бы домой, к бабьей ляжке, к самогону, к туго набитому животу. В дерьмо рыло закопать! Про помещика и офицера забыли? В выкладках ошибаетесь! Гните, суки, спины перед офицерьем! Бей нас, безоружных и связанных! Может, вам в рыло швырнут гусиную косточку с офицерского стола! Но зарубите у себя на плевательнице: меня убьете — десятки встанут, десяток перебьете — тысячи придут! Офицерско-помещичий конец вихрем приближается. Ответ и вы держать будете перед рабочими и трудовым крестьянством, офицерские подзадники!

Белобрысый растерянно моргал безбровыми, водянистыми глазами. Другой, хмуро потупившись, молчал. Приближались к противоположной опушке.

Подвели меня к костру, горевшему на краю небольшого пруда. У костра спиной к нам лежал Пузиков. При нашем приближении он оглянулся и сделал быстрое движение вскочить, но медленно опять осел. Около него стоял конвоир. Я опустился рядом с Пузиковым.

— Тебя, Сашок, здорово разделили. Не лицо, а развороченный спелый ка-вун. Ребята где?

— У костра не было, должно, на допрос увели. Что у тебя на допросе было?

Рассказ Пузикова был схож с картиной моего допроса. Разница была в том, рук ему не развязывали, папиросами и гусем не угощали. После каждого вопроса, на которые Пузиков отвечал презрительным молчанием, его валили на землю и били. Капитан бил преимущественно в лицо. После приказа капитана «накормить леденцами» увели.

Накрапывал мелкий, холодный дождь. Глухо, порывисто шумел лес. Дым костра, продуваемый ветром, стлался, лохматясь, по земле, лез в глаза и горло. Я рассказал в свою очередь подробно про свой допрос.

— Они, браток, сейчас на все пойдут, чтобы узнать расположение отряда. Пока ночь и нас в отряде ждут, застать его врасплох им нужно. Для этого всевозможными пытками будут стараться выжать из нас хоть одно слово. Думаю, ребята выдержат.

— Ребята надежные, из них не выжмут, — подтвердил Пузиков.

Спустя полчаса привели Ерша и Вавилова. Дрожь метнулась по спине при взгляде на товарищей. У Ерша вместо глаза чернела мокрая дырка. Разбитый нос, без хрящей, лепешкой расплывался меж щек. По шее и бушлату сбегали струйки крови. Вавилов, иссиня-белый, с перекошенным лицом, дугой выгнутой, цепляясь руками за низ живота. Левая сторона головы его белела от вырванных волос, и лилась кровь с угла рта.

От страшного вида товарищей злоба железом сковала кулаки. У Пузикова дрожал от напряжения подбородок. Конвоиры отводили в сторону глаза. Я кинулся к братьям:

— Ерш, что на допросе говорил?

— Кроме матерного, ничего, — ответил он высоким, вибрирующим стоном. И тише добавил: — Вавилова сильно калечили, между ног били, молча терпел. Вавилов, скрючившись, застыл на земле. Изредка вырывались у него короткие хрипы.

Четверо бандитов притащили две пары козел, на каких дрова пилят. Поставили около костра, на расстоянии роста человека друг от друга. Минут через десять явился капитан в сопровождении группы бандитов. Среди них был с закутанным бинтами лицом и головой плюгавый подпоручик и стоявшие в палатке кавалеристы; сейчас они держали в руках шомпола вместо шашек.

Капитан подошел ближе, бандиты окружили нас тесным кольцом: «Как, не передумал? Леденцы ждут, тают на дождике...» — ехидствовал капитан. Не выдержал я. Нагнув голову, кинулся на капитана. Несколько рук из кольца бандитов рванули меня назад. Капитан, злобно скалясь, раздвинул кровавые нитки губ. Собрав во рту слюну, я стрельнул плевром в капитанский оскал. Кровавая слюна, повиснув на носу и верхней губе, медленно стекала на его подбородок. Секунду все кругом цепене-ло. Капитан ошеломленно ворочал глазами. И тотчас же, по-пороссячи взвизгнув, кинулся ко мне. Но его удар наткнулся на мою вытянутую ногу. Меня свалили на землю. Избивая, стаскивали с меня брюки, срывали промокший и изорванный бушлат.

Бушлат застрял на связанных назад руках. Подтащили меня к козлам, развязали. Стали привязывать плечи и руки к передним козлам, а к задним — ноги. Через минуту мое тело повисло между козлами. Слышал я яростную брань и угрозы капитана. Прозвучала команда: «Приготовиться!» Подошли с обеих сторон кавалеристы с шомполами. Томительные, жгучие секунды ожидания. Снова команда: «Начинай!»

Взвизгнуло в воздухе. Я почувствовал на спине огненно-острый ожог, прорезавший кожу и мускулы. Свистящие удары сыпались равномерно с двух сторон. Всего меня пронизывала нестерпи-

мая боль. В горле сперлись крики. Сердце бешено билось. Тело выгибалось судорожно меж козлами. А шомпола равномерно врезались в тело. В мозгу будто повторялись обжигающие удары. Из закушенного языка растекалась во рту солоноватая, теплая кровь. И одна мысль билась в голове: только бы выдержать, не крикнуть, не застонать. И время неподвижно застыло. Казалось, что боль началась давно и тянется бесконечно. Поплыли, колышась, ответы костра, трава, ножки козел. Пруд приблизился и вспыхнул ярким пламенем. Опушка леса запрыгала зелеными кругами. Все смешалось в одно пятно и бешено завертелось. Удары шомполов чувствовались уже, словно тупые толчки. Давила какая-то черная стена.

Очнулся я от раздражающей боли. Лежал на животе у самого края пруда. Рядом, разбросав руки, лежал Ерш, словно мертвец, с бело-мучным лицом: кроваво-мясная масса виднелась вместо его спины. К козлам привязывали уже Пузикова и Вавилова. Последнего никак не могли разогнуть. Так, со скрюченного, и сдирали одежду. Положили его на землю, сели на голову и на ноги. Завизжал воздух под шомполами, перемальывающими мясо. Перестал идти дождь, проглянул в окошко туч серебряный осколок месяца. Засеребрилась опушка леса. Перекинулась лунная дорожка через пруд. Потускнел огонь костра.

Вдруг резнул уши дикий, металлический, ледяющий кровь крик. Резнул и оборвался, будто задушенный. Прорвалось это у Вавилова, после того, как один из палачей ударил его шомполом между ног. От крика застыли сами палачи с поднятыми шомполами. Минуту никто не шевелился. Только после окрика капитана: «Продолжать!» — уже гораздо медленней и с меньшим ожесточением возобновилась страшная работа. Очнулся Ерш. Пошевелился. Обвел кругом единственным мутным глазом, и заходили у него желваки на скулах. Рядом положили недвижных Пузикова и Вавилова. Поодаль совещался капитан с плюгавым. Через некоторое время подошли двое бандитов и неожиданно столкнули

меня в пруд. Холодная вода охватила меня по грудь. Тотчас же рядом оказались и остальные товарищи. Скрюченного Вавилова вода покрыла с головой. Нагнувшись, преодолевая страшную боль, я начал поднимать его. Вавилов стонал. С другой стороны Вавилону помогал Пузиков. Мы стояли у самого берега. В первую минуту тело охватила бодрящая свежесть. Потом, словно тупыми ножами, заскребло и заковыряло в искромсанной спине. Боль штопором ввинчивалась в каждую ранку. Вавилов продолжал тихо, сквозь зубы, стонать. Лунная дорога, колеблясь, расходилась вокруг нас кругами по воде. Подошел к самому краю пруда капитан и с злобной насмешкой спросил:

— Не передумали?

Молчание.

— Пока не заговорите, я вам, красная сволочь, ад на земле покажу. В бога поверите!

— Врешь, белая сука! — вырвалось у меня. — Большевиков-матросов никаким адом не запугаешь! Скорей от злости околеешь, кровавой жижей изойдешь, чем своего добьешься!

И к его свите:

— Эй, вы! Офицерская, помещичья скотина, любуйся, как за власть рабочих и крестьян стоять надо. Бей белых гадов — офицеров, помещиков!

— Замолчать! — ревел капитан.

Пузиков превозмог свою боль.

— Чего пугаешь? Стреляй, слизняк белый!

— Нет, так легко не отделаешься, сволочь! — продолжал срывающимся голосом кричать капитан. Часть бандитов, потупившись, отвернулась. Капитан, заметив смущение, рявкнул: «Убрать лишних!»

Плюгавый, построив бандитов, увели их. Остались двое кавалеристов. Капитан сел на пеню у костра, закурил. Холодная вода пронизывала дрожью мое голое тело. Зубы, не слушаясь, стучали мелкой дрожью. Вавилов слабел и все тяжелее опирался на меня и на Пузикова. Времени потерялся счет. Издалека слышался приближающийся топот копыт и вдруг затих. Через некоторое время к капитану подбежал бандит и вру-

чил пакет. Пробежав глазами бумагу, капитан быстро удалился.

Тело стало неметь. Не было сил держать Вавилова. Ноги, как деревянные, подгибались. Ерш пополз на берег, но, не успев он подняться над водой, как получил удар прикладом от одного из кавалеристов и покатылся обратно в пруд. Скрылся под водой. Потом стал медленно подниматься, придерживаясь за склон берега. Поднялся, сделал два-три неуверенных шага и прислонился к берегу.

У меня застывала в жилах кровь. Оцепенение охватило все тело. В голове плыл густой туман. Вавилов не давал возможности двинуться. С громадными усилиями подвели мы его к отвесному берегу и поставили там, рядом с Ершом. Вавилов, негнувшийся, деревянный, с застывшими, немигающими глазами, походил на мертвеца. Чтобы согреть его и самому согреться, стал я в воде растирать ему грудь. Неосторожно задел его за живот, и тотчас раздался такой глубокой стон, что я невольно отдернул руку.

В лагере на поляне все возрастал шум. Слышался топот лошадей, команда, окрики. Тушились костры. Кавалеристы тоже настороженно повернулись лицами к лагерю.

К кавалеристам подбежал бандит, что-то сказал им и скрылся. Нам крикнули, чтобы мы выходили. Я помог Пузикову и Ершу вылезти. Втроем вытащили Вавилова, потом полез и я. О, как чортовски болела спина. Судорогой сводило и подкашивало непослушные ноги. Поползли на четвереньках к костру, в самый огонь. Закоченевшее тело не чувствовало жары. Затлели обрывки рукавов бушлата, оставшиеся единственным прикрытием моего тела. Пузиков, подпавив себе спину, длинно выругался. Нам стало теплее, но, чем больше мы сопревались, тем яростней пронизывали тело возвратившиеся боли.

Подехала запряженная парой подвода. Кавалеристы расшвыряли костер.

— Полеза́й в телегу, клешная сволочь!

Взобрались на телегу. Возница — худой старик, с всклокоченной бородой.

Из старого ватного пиджака его торчали ключья ваты. На голове, скрывая уши, надвинута облезлая шапка. Возница бросал на нас украдкой жалостливые взгляды. Подъехали к пустым уже конюшням, где стояли две лошади. Кавалеристы, вскочив в седла, поехали по сторонам телеги. Впереди, у самого леса, рысью уходило около трех сотен бандитов и тянулись несколько телег.

Было очень холодно. Нас била дрожь, чередуясь с судорогами. Зубы неудержимо стучали. Вавилов и Ерш громко икали.

Попытались прижаться от холода друг к другу, но жгучая боль в спинах разомкнула нас. Сидеть было неудобно от нагруженных в телегу лопат, ломов и патронных ящичков. Рассветало. Над верхушками деревьев небо быстро меняло краски. Вехали в лес, стало темней. Перекликались птицы. Тянуло предрасветной, бодрящей свежестью. Рождающийся день всколыхнул в нас жажду жизни. Ерш, стуча зубами, шептал:

— Братва, а что если попробовать нырнуть? Не всем. Мне с Вавиловым не уйти, мы ослабли. Ты, Сашок, с Пузиковым. Попробуйте. Верховые едут поодаль, темно. Загородим вас от возчика. Да он и не крикнет, должно, сочувствует, а?

Молчали. А радость кипятком разлилась в груди. Твердо верилось, что убежим. Доводы у Ерша верные. Пристально посмотрел я на Пузикова. И в меня уперлись его заискрившиеся глаза. Шопотом просипел Вавилов:

— Дуйте скорей.

Это были единственные слова, произнесенные Вавиловым с начала пленения до смерти.

Пришли другие мысли:

«Как же бежать, бросив товарищей? Никогда!»

Эти мысли потушили радость. Мы продолжали шептаться. Ерш приводил новые доводы: надо дать знать своим, где белые, для этого и следует бежать.

— Нет, двоим бежать нельзя, — решил я. — Заметят, все пропадет. Одному нужно. Пузиков, ступай. Быстро.

Пузиков сначала артачился. Вдруг порывисто и крепко пожал нам руки и неслышно перевалился за грядку телеги. Прошла минута, другая. Слух ловил шорохи. Чу! Затрещали сухие сучья, и опять все стихло.

— Что там? — крикнул кавалерист, подскочив к телеге. — Только трое? Убежал?

Он кинулся в сторону. Второй остался у телеги с направленным на нас карабином. Возница остановился. Потянулись тягучие секунды: поймают или не поймают? Пузиков где-нибудь тут, рядом, не успел еще далеко отбежать... Трещал сухой хворост под копытами. Вдруг — «Стой, стерва! не спрячешься!» — свист нагайки, выстрел. И стал приближаться хруст шагов и копыт.

Пузиков снова сидел в телеге со свежестреленным плечом. Из раны у него лилась кровь. Возница, тронув лошадей, толкнул меня локтем. За спиной он что-то совал мне. Я протянул незаметно руку, в руке оказалась тряпица. Я стал перевязывать Пузикову плечо. Кавалерист, заметив это, перегнулся с седла и два раза ударил возницу по лицу нагайкой.

— Дерьмо жалеть вздумал, старый чорт. Подожди, доложу капитану. Он тебя вместе с клешниками отправит к Адаму.

Старик, всхлипывая, вытирал кровь с лица.

Подвигались медленно, шагом. Мы удалялись все дальше от места расположения нашего отряда. Таяли последние надежды на спасение. Хотелось скорей какого-нибудь конца.

Деревья поределли. В просветах забелел туман.

Перед глазами ширилось поле. Далеко-далеко на горизонте темнела едва заметная линейка леса. Узенькая полоска

зари просвечивала сквозь туман. Туман будто боролся с солнцем. Клубился, змеился, густел местами. Но уступал, побеждаемый, пронизываемый золотыми лучами.

«Вот так и белые гады от большевистского солнца пропадут». Товарищи мои, тоже не отрываясь, смотрели на подымающееся солнце, на его борьбу с туманом. Черная мыслишка заскочила в голову: «Последний восход солнца вижу. Без меня кончатся белые будут...»

Послышался приближающийся конский топот. Сильней загучало в груди. Из тумана вынырнула группа. Скакали на нас. Скачущих было шесть человек, во главе плюгавый подпоручик с забинтованным лицом. Окружили нашу телегу.

— Слезай, скоты! — топорщился плюгавый. Взвизгнула нагайка, ожгла мою больную спину.

Слезли. Плюгавый, соскочив с коня, подошел ко мне. Злобно ворочались его водянистые глазки (уже без пенсне).

— Сейчас гасстгеливать тебя буду, скот.

И ядовито захихикал, обнажив гнилой оскал зубов. Шагнул еще ближе и, прицеливаясь к больной спине, поднял нагайку.

— Задушу, плесень белая!

Но, повидимому, страшен я был в тот миг. Плюгавый, побледнев, отскочил от меня шага на три, и уже оттуда:

— Я тебя сам гасстгеливать буду, гаснозадый скот. Не спазу, а медленно, с мучениями подыхать будешь. С десяти пуль заставлю тебя подохнуть, скот.

Беялки спешили, ожидая распоряжений. Плюгавый что-то придумывал, водя кругом близорукими глазами. Подошел к телеге и быстро обернулся к одному из бандитов.

— Дай скотам лопаты, пусть гоют себе могилу!

Бандит вытащил из телеги четыре лопаты, поднес их нам. Мы переглянулись, не двигаясь с места.

— Взять лопаты! — взвизгнул плюгавый. Мы не трогались с места.

Плюгавый приказал свирепо:

— Взять их в плети!

Бандиты кинулись к нам. Взвизгнули нагайки. Мы сбились в кучу, прикрывая собою Вавилова. Ожгло мне шею, ухо, голову, резануло большую спину. Мучители отхлынули.

— Взять лопаты! — опять крикнул Плюгавый.

Вдруг пришла мне в голову одна простая мысль. Я сказал ребятам:

— Возьмем лопаты. — И шопотом, одними губами: — Бей!

Лопаты были на длинных палках, железные.

Не успел бандит, после раздачи лопат, повернуться, я высоко взмахнул лопатой, и беляк с раскроенным черепом прохнул к моим ногам. Бандиты на минуту застыли. Мы угрожающе подняли наше оружие. Бандиты кинулись было к нам, но, видя нашу решимость, остановились. Плюгавый растерянно вращал близорукими глазами. Бандиты взяли на-изготовку карабины, ждали. Плюгавый что-то шепнул крайнему беляку. Бандиты отошли к телеге, шептались.

Четверо беляков, загородив телегу, выстроились против нас. Плюгавый выхватил пашку и, взмахнув ею, скомандовал, растягивая:

— По ско-о-т-а-м... (пауза)... пли!

Меня окутало безразличие. Спокойно ждал залпа. Грохнуло, раскатилось... Пули взвизгнули над головой. В следующую секунду сзади что-то тяжелое ударило нас по ногам, и мы повалились.



Беляки вывертывали и завязывали нам назад руки. Ноги мучительно разламывало. В стороне давился визгливым смехом плюгавый. Около нас валялся лом. Пока мы ждали залпа, сосредоточив все внимание на прицеле карабинов, один из бандитов забежал сзади и швырнул лом нам под ноги. Залп же был дан над нашими головами.

— Что, красная сволочь, думали, что спокойно подождете. От одного залпа, да с огужем в гуках. Н-е-е-т, я слово сдежду. Медленно, мучительно подождете.

Беляки заставили возчика-старика рыть могилу. Нудно ныло внутри. Мысль о жизни, только-что отброшенная, упорно возвращалась в сознание. Я заел: «Смело, товарищи, в ногу».

Братва поддержала, и песня стала крепнуть, разносилась все громче: «Духом окрепнем в борьбе...» И дух, действительно, стал крепнуть. Растворялось личное в общем. Встало перед глазами великое большевистское солнце, за которое радостно умирать. Мы поднялись на ноги, продолжая петь. Никогда до этого не пелось так всем телом, всеми жилками... На второй план отошла боль. Бандиты два раза принимались бить нас нагайками. Но песни все-таки прервать не могли. В песне была наша сила, из нее глядело будущее нашего класса. Так чувствовал я. Плюгавый злобно метался, поторапливая могильщика. Начали помогать старику и бандиты. Кончив, по команде они опять выстроились. Плюгавый с наганом стал против нас. Мы пели, не обращая на него внимания. Вдруг сзади, из леса, послышался шум. То был быстро приближавшийся топот множества копыт. Мы окончили песню. Бандиты тоже настороженно застыли с карабинами. Из леса запели пули. Оглянулся я на братву. В глазах у всех вопрос и неосознанная еще, невероятная надежда. Бандиты сломали свою шеренгу. Топот приближался неумолимо быстро. Плюгавый растерянно смотрел в лес, затем быстро, не целясь, выстрелил в меня два раза и кинулся к коням. Пули пролетели мимо меня.

Вдруг лес стал выбрасывать всадников. Миг — и широкая лава с быстротой вихря покатила на нас. Извивались сверкающие клинки над головами всадников. Парусами дулись у стремян клещи. Плясали на затылках ленты бескозырок. Захватило дух у меня. Хотел крикнуть, но голос не проходил через горло. Будто сквозь туман, видел, как лава катилась за бандитами, охватывая их кольцом. Впереди всех — комиссар. Кольцо всадников сузилось. Вот опустились клинки. Темно в глазах, солнца не видно мне стало. Кругом братва что-то говорила. Голоса слышны мутно, издалека. Кто-то больно жал руку: да это ж

братишка-комиссар. Еле улавливаю сквозь какую-то тяжелую муть:

— Эх, истерзали то вас, дубки, как. За одну ночь, а не узнаешь.

Я вспомнил о бандитах и из последних сил крикнул:

— Товарищ Федорчук, отряд бандитов сабель в триста скрылся по направлению вон того леса.

Тускло видел внимательно слушавшего меня командира. На траве карта, командир водил по ней карандашом. Рядом склонялся комиссар. У меня кружилась сильно голова. Тошнило.

Братвы кругом много. Глазами искал я товарищей по мучению. Ага! Вон. Ерша и Вавилова понесли к телеге. Руки их болтались на-весу. Около Пузиков ва круг, он громко хохотал, упирался, не шел к телеге. Меня под руку повели. Лег я ничком на телегу и сейчас же будто поплыл. С громаднейшим усилием поднял последний раз голову, раздирая глаза. Последнее, что видел: темная, грозная, вихревая лавина, с вспышками молний, неслась к далекой линейке леса. Вон кусок откололся от лавины и понесся правой. «В обход» — промелькнула мысль. Заколебалось перед глазами. Все придавил тяжелый, как земля, туман.

Где был, что делалось кругом и сколько времени прошло, я не знал. Мерещились какие-то скользкие тени. Чудились мухи с конскими головами, кружившие надо мной. Большой медный котел подмигивал солнцем. Плыл я, поднимаясь вверх, и с замирающим сердцем летел вниз на золотистый, волнисто-клубящийся туман. Нутро сжигал огонь. Хотелось пить, но просить не мог. Потом черные, душные провалы. Первое, что ясно увидел однажды, это снежно-белые стены. Большое окно. За окном высокие деревья с желтыми, опаленными осенью листьями. Подо мной железная кровать, чистое белье. Лежал на боку. Тело влажное. Пытался поднять голову, голова не шевелилась. Руки не слушались, были они — как плети, безвольные. Подошла молодая женщина с черными густыми бровями, в белом ха-

лате. Шупала мой лоб. Силится ее спросить, где я. Женщина приникла ухом к моим губам, но не поняла. Услышал я музыку спокойного голоса:

— Лежи тихо, друг, не надо говорить. Вредно, да и не слышно. Слаб ты еще. Только смерть отогнали. Мученья силу твою высосали. Скоро все обратно заберешь. Лежи спокойно, милый.

Хорошо от голоса этого. Закрыв глаза.

Проснулся. Тускло горел свет. В окне густо-темно. Шумели деревья. Болел бок, неудобно лежать. Сам не мог пошевелиться. Напрягая всю силу, крикнул. Получился тихий-тихий стон. Неслышно появилась белая женщина. Наклонилась: «Что тебе, дружок?» Опять наклонилась к самым губам. «Лежать неудобно, бок». — «Сейчас, милый, сейчас сделаем удобно». Что-то развязывала. Нежно скользили по телу ее ловкие руки. Приподняла меня за плечи. Осторожно перевернула на другой бок. Почувствовал острую резь в спине. Женщина поправила подушку. Ушла и возвратилась со стаканом. Приподняла мою голову с подушки. Поила с маленькой ложечки чем-то белым, густым, вкусным. «Теперь ты молодец. Скоро поправишься. Только лежи спокойно, меньше просыпайся. Тебе много спать нужно» — ласково журчал ее голос. В голове моей хрустальная ясность. Мягкая рука ее гладит мой лоб. Тихо опустила мою голову на подушку. Удобно. Хорошо. Шевелиться не было сил и не хотелось. Закрыв глаза и уже спал.

Проходили дни. Сколько, не мог считать. Когда просыпался, подходила белая женщина. Если ее не было, я звал. Терпеливо ждал ее прихода. Она переворачивала меня, кормила. Я уже поднимал сам, правда, с трудом, голову. Шевелил руками и ногами. Как-то попробовал лечь на спину, стало больно. Белая женщина, заметив, немедленно повернула меня на бок, добродушно журя: «Тебе, дружок, нельзя на спине лежать. Спина больная, не заживет, пролежни будут. На боках нужно. И я растрепана,—

все привязывала тебя, а сегодня забыла. Ну спи, милый».



Однажды, проснувшись днем, услышал у дверей разговор. Белая женщина кого-то убеждала:

— Товарищ, я ж вам говорила, нельзя, слаб он еще. Никаких волнений нельзя. Вы ему близкий товарищ, разволнуете его. Доктор узнает, сильно ругаться будет.

— Мне бы дубка посмотреть только. Я говорить не буду. Четвертый раз прихожу, все не пускаете. Доктор не узнает, пустите. Я издали, быстро взгляну на дубка и пойду, а?

— Ну вот, заладил — дубок да дубок, гляну да гляну. Хороший ты ему друг, а зло ему делать хочешь.

— Что вы, что вы, — зло. Ладно, уйду. Приду дня через два, тогда уж пустите. Пустите?

Узнав голос комиссара, я крикнул сестру уже окрепшим немного голосом. Подбежала белая женщина. «Хочу комиссара видеть. Верни скорей, уйдет. Я волноваться не буду и говорить не буду» — просительно добавил я.

Сдалась. Добродушно бормоча о недисциплинированности и прочем, подождала рукой ожидавшего комиссара. Комиссар шагах в трех от постели остановился. Брови его вопросительно дернулись вверх. Бугорками застыли желваки на щеках. Должно, поразился он моему виду и вдруг спохватился. Оглянулся виновато на белую женщину. О, как мне хотелось забросать его вопросами! Услышать про товарищей, про родной отряд. Но рядом стерегла белая женщина. Рассердится, прогонит комиссара. Попросил у ней попить. Думал, уйдет за питьем, тогда обо всем спрошу. Но она поняла хитрость, улыбнулась:

— Уйдет комиссар твой, тогда напою.

Комиссар растерянно улыбнулся. Не удавалась ему улыбка. Не выдержал он и стал сразу прощаться:

— Я пошел, дубок. Мне только взглянуть на тебя хотелось. Вид у тебя (запнулся) — хороший. Молодцом пузы-

ришься. Скоро опять будем с тобой белякам чердаки разваливать... — И осекся. Белая женщина одернула его. Смущился комиссар, не знал, как закончить. — Скоро приду, ребят еще приведу, потолкуем. Ты смотри, поправляйся скорей. Вид у тебя молодцовский.

Комиссар вдруг заинтересовался потолком, стенами. Отвел от меня глаза. Тяжело было моему комиссару.

Это посещение взбудоражило меня. Быстрее заходили мысли. Заболела голова, глухо ныла спина. Тревожно билась мысль: неужели я стал инвалидом? Неужели не гожусь в отряд? Не смогу больше беляков бить? Нет, не может быть, поправляюсь. И белая женщина, и комиссар говорят, что выгляжу молодцом. Но вспомнил растерянность комиссара, и что-то заныло внутри.

Прошло дня три после комиссарова посещения. Я мог сидеть на кровати. Стал просить белую женщину ответить мне на несколько вопросов. Она колебалась, ссылаясь на доктора, но наконец согласилась.

— Прежде всего, как я попал сюда? Что со мной было?

— Привезли тебя, друг, тринадцать дней назад, связанного. Кидался ты сильно, выше 40° температура была. Доктор признал тиф и нервное потрясение, в очень тяжелой форме. Спина у тебя была — иссеченное в клочья мясо. Лицо распухшее, окровавленное. Много крови ты потерял. Нервы издерганы, да и тиф тяжелый. Доктор мне говорил — не выживет. А как кризис прошел, удивлялся. Сердце, говорит, стальное. Редкий случай. На спине тебе нельзя было лежать, а ты, как юла, вертелся. На бок привязывали. Ежедневно почти товарищи навещать приходили, не допускала. Ругались, еле выпроваживала. Особо часто ходил большой, с трубкой, комиссар. Ну вот, теперь скоро, совсем скоро поправишься.

— Второй вопрос: а товарищи мои где? Почему их здесь в палате нет?

Белая женщина, сдвинув черные дуги бровей, встала, поправляя подушку.

— Их сюда не привозили. В другую больницу отвезли. У них другая бо-лезнь.

— Можно вас попросить узнать, что с ними сейчас? Вавилов очень плох был. Дали Ерш к концу сдал. Вот Пузиков — тот быстрее меня поправится, литой, кряжистый. Значит, узнаете, сестрица? Очень прошу вас.

— Узнаю, только не скоро. Мне нельзя уходить из больницы. Ну, а сейчас, милоч, отдыхай.

Долго в эту ночь я не спал, думая о товарищах, о пережитом. Иногда казалось, что всего этого не было. Будто страшный сон приснился. И опять потекли однообразные дни. Стал я вставать с постели, но ходить еще не мог, ноги гнулись, как восковые. Ежедневно ждал от белой женщины рассказа о товарищах. Первые дни спрашивал ее часто об этом, но она отвечала, что некогда ей выйти из больницы. Потом стала коротко отвечать: «Еще не узнала». Меня возмущали эти ответы. Неужели трудно ей такой пустяк сделать? Ведь она для меня больше делала, — ночей не спала...

Я стал относиться к ней холодней. Говорил только по делу, без лишних слов. На не относящиеся к болезни вопросы или не отвечал совсем, или ограничивался короткими «да», «нет».

Ждал товарищей из отряда. Ждал особенно комиссара. Но никто не шел. Негерпение росло. Неумолимая жажда увидеть братву, комиссара нарастала. Доктор при обходе заметил ненормальное состояние. Он пытался узнать у меня причину и, не добившись, коротко отрезал: «Если не перестанете волноваться, будет сильное осложнение. Я ответственность с себя снимаю. Пеняйте на себя, молодой человек».



Я чувствовал, как с каждым днем росли во мне силы. Быстрее бежала кровь, ту же набухали жилы. После обеда или ужина хотелось снова есть. Передвигался медленно по палате, правда, держась за спинки кроватей. Никто не приходил, но я ждал спокойнее. Нашел для себя причину: не приходят, значит, далеко отсюда, беляков бьют.



Стояла дождливая осень. За окном мокрая, ватная муть. Раздетые деревья, дрожащие от холодного ветра ветки.

В палате нас пять человек, — все выздоравливающие. Сдружился я с соседом по койке, кавалеристом. Он тоже болел тифом. Черный, ловкий, сухой, с горячими черными глазами. Целый день резались с ним в шашки. Меня удивляло, что все сопалатники пристально всегда разглядывали меня. На мои недоуменные вопросы, как сговорившись, все отвечали: «Очень быстро поправляешься, на глазах наливаешься, оттого и смотрим». Не верил, решил посмотреться в зеркало. Попросил как-то сестру дать зеркальце. Высоко подскочили у ней черные дуги бровей. «Зачем?» — «Посмотреть на себя хочу». — «У нас, друг, зеркал нет и не полагается. Когда выпишем, тогда смотришь, сколько влезет».

Прошло двадцать восемь дней моего пребывания в больнице. Я чувствовал себя совсем здоровым. По старой привычке каждое утро занимался физкультурой. Легко ступали ноги. Выпирали упругие, крепкие мускулы. Разрешено мне было выходить на больничный двор. Но отсутствие одежды и непрерывно льющие дожди держали меня в палате. Иногда накипало раздражение: когда же братва и комиссар придут? Неужели забыли? Если бы одежда была, ушел бы сам.



При обходе доктора я стал настаивать, чтобы выписали, — я, мол, совсем здоров.

— Нет, молодой человек, мне видней. Еще десять дней, тогда посмотрим.

Решил дать маху самовольно. Задерживало отсутствие одежды: в халате и туфлях не уйдешь. Решил: «Если через два дня не придут, дерну ночью в халате до ближайшей деревни, а там одолжусь у кого-нибудь одежонкой. Наступило утро двадцать девятого дня. Проснулся рано. В окно пристально глядело солнце. Было радостно от проснувшейся силы, от солнца, от мысли о

близкой встрече с товарищами. Бледно-голубое, будто выстиранное, небо было чисто, без единого пятнышка. Уходящее лето сверкнуло последней нежной улыбкой. Чувствуя прилив силы, упруго вскочил я с кровати. Разбудил соседа, Кольку-кавалериста. Стали играть в шашки. Вошла сестра. Улыбка колебала ее пухлые губы. «Только с кровати — и сейчас же за шашки, бойцы». И ко мне: «Гостей принимай». А в дверь боком, нерешительно влезал комиссар, с узлом в руках. Я кинулся к двери: «Товарищ Федорчук, ведь заждался ж я». Мою руку сжали тиски его ручищ, но быстро разжали, спохватившись.

— Что смотришь, товарищ Федорчук, не узнал? Пойдем, сядем, рассказывай.

— Поправляешься, дубок?

— Не поправляюсь, а уже здоров. — И тихо: — Завтра выйду. Если не пустят, убегу.

Комиссар пристально меня рассматривал. Я сунул ему под нос бицепсы и хлопнул его изо всей силы по плечу, чтоб показать свою силу.

— Как будто ничего, только самовольно не надо уходить, дубок. Я с доктором поговорю. Дисциплина везде нужна.

— А если не пустит? Он говорил: еще десять дней..

— Не пустит? Потерпи, дубок. Ему видней. Мы с тобой понимаем в болезнях, как фонари в картошке. Не горячишься.

— Товарищ Федорчук, скажи, что в отряде. Почему никто не приходил? Как тогда кончили бандитов? Выздоровели ли ребята?

— Прямо, что якорь с цепи сорвался. Обо всем долго рассказывать. Придешь в отряд, все узнаешь. С тобой тут карболкой протухнешь. На-ко, возьми одежку, я пойду с доктором перекинусь. Обратно зайду.

В принесенном узелке клеш, тельняшка, бушлат, ботинки и бескозырка. Стал примерять, вошла сестра.

— Нельзя в палате, дружок, одеваться.

— Сейчас сниму, сестрица, я только примерить.

Несмотря на протесты сестры, одежду положил в шкафчик. Категорически отказался отдавать на хранение. Через полчаса пришел комиссар.

— Уговорил доктора отпустить через пять дней. Меньше не сдастся. Потерпи, дубок, — через пять дней зайду за тобой. Не озоруй, дубок.

После завтрака вышел я на больничный двор. На скамейках грелись на солнце выздоравливающие. Несколько человек украдкой, за товарищескими спинами, курили, оглядываясь, не идет ли доктор или сестра. Подошел я к одной группе, сел. На меня с удивлением нацелились глаза окружающих. Вплотную рядом сел молодой паренек на костылях, с одной ногой.

— Товарищ, отчего ты седой?

Я осмотрелся кругом. К кому он обращался?

— Я тебя спрашиваю, — толкнул меня паренек локтем.

— Меня?

— Ну да, тебя, аль ты не видел себя?

Я ошеломленно смотрел на всех. Щупал себе голову, лицо.

— Я сейчас тебе ментом зеркало притащу. Поглядишь.

Паренек весело заковылял от меня.

— Куда, дурак, запрыгал? — раздались возгласы. — Человека расстраивать...

Паренек остановился в нерешительности.

— Тащи, тащи скорей, браток, — крикнул я, все еще щупая голову.

Любопытные, изумленные и сочувственные взгляды щупали меня. Я начал догадываться: значит, в палате кое-что скрывали от меня. Паренек принес осколок зеркала, я взглянул.

Из зеркала смотрело на меня бледное лицо. Белые, как снег, волосы на голове, такая же белесая щетина на щеках. Это не испугало, а только удивило меня. Какая-то связанность, неловкость почувствовалась. Я ушел обратно в палату.

— Коль, почему не сказал, что я поседел? Зачем скрывал? — упрекнул я кавалериста-соседа.

— Сестра просила нас всех не говорить, Расстроится, мол, он, не выздоровеет. Ты не сердчай, Саш. Давай сыграем, запру.

Неловкость не проходила. Убеждал себя, какая разница, — были волосы темные, стали белые. А если б родился с белыми? Рыжие еще хуже.

Перед сном сказал Кольке, что рано утром уйду. Если не проснусь, просил разбудить. Колька сразу и полностью одобрил мое решение.

Проснувшись сам. Солнце смотрело в окно. Я быстро и тихо оделся. Осторожно разбудил Кольку. Пожал ему руку, просил после выхода из больницы притти в отряд. Колька посоветовал снять башмаки, — могут услышать. С башмаками в руках вышел я осторожно в коридор, оттуда вниз по лестнице. Во дворе надел ботинки. Калитка была заперта, полез через забор, заторопился и сорвался. Второй раз лез осторожнее. Вот уже я за забором, под ногами тротуар. От непривычных усилий кружилась голова. Густой, свежий утренний воздух наполнил легкие. Быстрым шагом мерил я еще безлюдную улицу. На повороте столкнулся с кем-то грудью.

— Котенок слепой! — ругнулся встречный.

Я огляделся.

— Вьюн, ты! — черненькие, живые глазки с великим удивлением забегали по мне.

— Сашок! О, дельфин косолапый! — затряс порывисто мои руки. — Комиссар вчера через пять дней обещал тебя приволочь, а ты уж отшвартовался. Озорен! Седой? Белый? Смотри, совсем белый. Ну и чорт! Пойдем братву радовать. И ждали тебя, ждалки плесневеть начали.

Вьюн без-удержу тараторил, не давая мне задать ни одного вопроса. Вот за эту быструю и острую речь, за то, что всегда обо всем раньше всех узнавал, сыпал всегда свежими новостями, и прозвали в отряде его «Вьюном». Так и жил без имени и фамилии.

— Допоздна ждали вас тогда с разведки. Федорчук тучей ходил. После полночи стал настаивать, что надо наступать. Командир предлагал еще подождать, а комиссар свое долбил: «Надо выступить немедленно. Разведка должна была б уже вернуться. Сашка не такой, чтоб приказа не выполнить или в кулак море ловить. Значит, попались в засаду, а раз бандиты там, надо наступать». Незадолго до рассвета выступили. Здорово гнали. После, как вас отбили, бандитов нагнали верст за двадцать от того места. Не ждали нас, врасплох их взяли. Кинулись они вправо, а там сотня наша обошла. Стиснули, окружили, много порубали, остальных с собой взяли. Ни один не ушел. Командира ихнего живьем взяли. Жарко было. Наших двенадцать человек убили, тридцать ранили и...

— Постой же ты, молотилка. Дай спросить. Брось на минуту хоть молот. Скажи, вернулись уже в отряд Пузиков, Ерш и Вавилов? Где они сейчас?

Вьюн замер на полуслове. Молча потупясь, рядом шагал.

— Ну?

— Плохо, Сашок, с ними кончилось.

— Ну? — дрогнуло у меня нутро...

— Вавилов и Ерш на месте померли. Врач говорил — от разрыва сердца, лопнуло, значит, от радости, а Пузиков помешался. Все хохотал, ругался, лез драться.

Тяжелыми ударами били меня слова Вьюна. Перед глазами вырастали фигуры товарищей. Литой, коренастый Пузиков, ловкий, гибкий, огневой плясун Ерш, хмурый здоровяк Вавилов. Нет их. Голова клонилась к груди. Эх, братки, братки!

— Вьюн, а ребята какие были! Как же это? Ведь вместе муки принимали. Вместе на смерть шли.

— Да-а-а. Хорошие, они всегда впереди.

И вдруг молнией блеснуло в голове: «Не в этом толк».

Вьюн! Вопрос: за что муки терпели? За что умирали? За свое кровное. Для своего класса, для себя, значит, власть и хорошую жизнь добываем.

— Ну и что ж. Все равно померли...

— А ты как бы хотел, чтобы на тарелочке тебе жизнь-то хорошую поднесли? После кофия? Ты примешь ее, а кругом тебя все живы, здоровы? Ну, померли они для нас, — мы живы. Мы умрем, — наш класс получит хорошую жизнь. А боялись бы на смерть итти, все равно либо капитал тебя вымотает для себя, либо для забавы пристукнет, а жизнь хорошая сама не придет. Ее вырвать надо, не жалея себя.

Вьюн не отвечал. Смотрел под ноги себе и что-то перемалывал в голове. Шли молча.

Вот вспомнил я, Вьюн, где-то прочитал я хорошие слова: «Мы, живущие в эти великие, победные дни, умирая, не скажем, что даром жили и ни за что

умирали». И ребята бы так не сказали. Я хоть сейчас готов вторично, не только вторично, сколько хочешь раз, на муки, на смерть за свой класс, за нашу победу, потому что она наша, твоя, моя, всего отряда, всех трудящихся мира. А ты, Вьюн, разве не готов?

Вьюн остановился и удивленно поднял на меня глаза.

— Я? Да когда ж я был неготовый? Эх, голова садовая! Да хоть сию секунду. — И весело заулыбался, качая головой, дивясь несуразности моего вопроса.

Бодро зашагали мы к родному отряду — навстречу новым опасностям, боям, победам.

Великий фасад

МАКС ЗИНГЕР

I. ОСТРОВ ДИКСОН

I

В разных местах острова Диксон зимовщики радиостанции ставили промысловые избушки, в них держали небольшой запас патронов, продовольствия и топлива. Эти избушки были без окон, но с узкими щелями бойниц и маленькой низкой дверью. К избушкам зимовщики тащили по снегу убитую нерпу, оставляя кровавый след; это называлось потаск. Белый медведь чуял запах крови и шел по следу к самой избушке, где сидел настороже охотник.

Зимовщик штурман Можаров побрел по каменистому берегу. Черные камни Диксона высились над снегом угрюмо и безжизненно, только на снегу заметил штурман пунктиры следов мыши-пеструшки.

Пурга налетела неожиданно. Заштормовало так, что ветром останавливало человека и не видно было из-за пурги протянутой руки. Штурман решил выкопать в снегу ямку и отлежаться в ней, пока стихнет погода. Раскидывая большими рукавицами, будто лопатами, снег, Можаров неожиданно натолкнулся на дверь промысловой избушки. Он раскопал занесенную снегом дверь, едва прогиснулся в нее и увидел на дощатом столе примус. Можаров встряхнул примус. Керосин плеснулся по медным стенкам и потек слепка из насосика, замочив ладони. Человек набрал снега в чайник и разогрел примус. Скоро закипела вода.

Как только прояснело и стихла пурга, Можаров вышел из избушки. Попутный ветер помогал штурману идти, ведя его, будто ребенка за руку, по сухому, сыпучему снегу.

Одиноко и неожиданно вырос тычок — шест. Тычки ставились в камнях как опознавательные знаки для кружавших в пурге зимовщиков. По этим шестам люди определялись и находили радиостанцию в любую погоду.

Поднялся Можаров на прибрежный утес, и вдруг в расстоянии полкабельтовых перед ним замаячили огоньки радиостанции.

II

Мирно встретили Можарова островные собаки, привязанные на цепь к своим домам — конурам. Это были потомки сибирских лаек и полярных волков. Стоячие уши, короткая шея, сильная грудь отличали этих полярных коней и друзей зимовщиков. Только глаза собак в отличие от волчьих были не серые, а с желтизной. Диксоновские собаки были способны без корма пробежать в день сотню километров. На дневке, разгоряченные ездой, они подолгу глотали снег, утоляя томительную жажду.

Можаров открыл незапертую дверь и вошел в широкий коридор.

В просторной комнате стоял небольшой буфет, длинный стол, несколько стульев и скамей, да полки с книгами, зачитанными и истрепанными. Над столом висела большая керосиновая

лампа — «солнце», как говорили любовно зимовщики, не видевшие животворящего светила в долгую полярную ночь. Заложив руку за борт военной тужурки, из рамки багета смотрел Сталин. Это был известный портрет работы Бродского.

Раскидывая в сторону непослушные усы, вошел в комнату кок Прокофьич и привычно набросил на стол длинную скатерть. Через несколько минут на голубевшем столе забелели звонкие обеденные тарелки, и затем протяжно грянул медный колокольчик, будто в школе перед началом урока. Зимовщики острова чинно, словно моряки в кают-компаниях, расселись по местам.

III

В бухте Хеймен, близ острова Диксон, зимовала шхуна «Лысун». Часть людей разместились на зимовку в кают-компаниях корабля, а старший механик Шагаев с женою и штурман Можаров устроились на радиостанции Диксон.

На стене в комнате, отведенной Шагаевым, рукою Анны Александровны был размечен календарь, и она, ложась спать, зачеркивала в нем каждый истекший день зимовки. Таких дней накопилось уже немало.

За это время на длинной веревке люди Диксона высушили уже свыше сотни песцовых шкур. Можаров обучил Шагаеву стрельбе из винтовки в цель на дальнее расстояние. Из запасов оружия, находившегося на рации, штурман получил для Шагаевой легкий мексиканский пятизарядный карабин. И жена старшего механика «Лысуна» стала первой вооруженной женщиной этого далекого и сурового края Советской земли.

За несколько дней до нового года Шагаева поехала на небольшой упряжке по привадам, в обезд пастей. Приманка нигде не была тронута.

— И куда вдруг весь песец подевался? Не берет приваду! — думала Шагаева.

Головной пес «Баской», что значит по-сибирски красивый, путал постро-

ки, и Шагаевой часто приходилось останавливать собак и поправлять упряжку. Пес действительно был красивцем, самым сильным и умным ездовым на острове; он отлично гаркался¹⁾ и понимал много слов человека.

По глубокому снегу — уброду — трудно было собакам тащить за собой нарты. По самое брюхо уходили собаки в снег, и над заснеженной тундрой виднелись только собаки, поднявшие высоко хвосты, которыми покручивали в воздухе, помогая этим движению.

Шагаева шла за нартами в пимах по снежному настилу тундры. Она пробиралась с собаками по сугробам от пасти к пасти, возле которых лежала приманка на песца — оленье головы или внутренности нерп и медведей.

Обогрвшись чаем в избушке, Шагаева пошла материковым берегом на северо-восток. Шероховато белело окоеванное льдом Карское море, и казалось, будто это не море, а бесконечная тундра, занесенная снегами.

Вторые сутки не возвращалась Шагаева с обезда пастей.

— Ансанна, поди, сейчас в снеговой пещере или в промысловой избушке отсиживается! Ишь, как метет! — говорил в раздумьи над шахматной доской кок Прокофьич, раскидывая в стороны богатые усы.

Выла, взметая снежные космы, метель. Со стеклянным звоном передвигалась снежная пыль по тундре и морю. Пурга пела протяжную и волнующую песню.

— Ишь как стонет! — сказал снова кок Прокофьич, прислушиваясь к подываниям ветра, и в окна рации вдруг словно бросили песком, — так задрожали и звякнули стекла.

— Пурга стучится! — сказал Суслов, набивая самодельную трубку из мамонтовой кости, пожелтевшей с годами от курева.

— Ты куда? — спросил Суслов Можарова, надевавшего полушубок.

— Выйду за дверь посмотрю, не кружит ли она возле станции.

¹⁾ Слушал команду каюра.

Можаров вышел на крыльцо и свистнул своего любимого пса «Рваного». Заслышав свист, «Рваный» примчался к Можарову и уткнул свою острую морду в колени человека и так застыл на мгновение. Это было лучшим проявлением чувства покорности и уважения собаки к человеку.

На семи собаках штурман помчался к лемберовской промысловой избушке. Ее плотник, Степан Никитич Лемберов, прожил безвыездно на Диксоне четыре года и четыре месяца. Ему было лет под пятьдесят. Он происходил из крестьян Тобольской губернии, где долго работал пильщиком и плотничал. Не было еще такого человека, который бы так любил и понимал собак, как Степан Никитич Лемберов. Это он собирал их по всему карскому Северу для полярной экспедиции Циглера. Пятсот сорок собак собрал один человек и командовал этим небывалым табуном. Лемберов ходил на «Герте» искать Седова. Будучи опытным об'ездчиком, он участвовал в экспедиции по оказанию помощи зимовавшим у Таймырского полуострова ледоколам «Таймыр» и «Вайгач». И, когда было решено основать постоянную радиостанцию на Диксоне, Лемберов вызвался работать плотником на этом безлюдном острове.

Отряхнув рукавицами снег с полушубка, Можаров вошел, слегка пригнувшись, в промысловую избушку, куда быстро примчалась собачья упряжка.

«Рваный» громко лаял.

«Что это пес сегодня так разливается?» подумал Можаров. С трудом загнал собак в избу, и только собрался разводить примус, как вдруг услышал шорох за стеной. Открыл бойницу, видит: медведь перед самой бойницей разделяет убитую нерпу — приманку. Он пришел сюда на потаск по кровавому следу, оставленному на льду нерпой, которую сам штурман недавно убил и приволок сюда. След замело снегом, но запах звериной крови привел медведя к избушке.

Винтовку в избушке обычно не держали. Если винтовку вынести из тепла сразу на холод, то она запотевала и

вскоре ржавела. Винтовка штурмана стояла за дверью.

Тихонько, чтобы не вспугнуть зверя, стал Можаров приоткрывать дверь. Медведь услышал шорох, захватил недохарченную нерпу в зубы и неторопливо зашагал к морю. Штурман выстрелил, но сгоряча попал не в убойное место. Раненый медведь остановился, оглянулся, будто разыскивая стрелявшего. Тогда Можаров прицелился с колена, и зверь рухнул на снег вместе с ношей.

Лужа горячей крови протаяла глубоко в снегу. Можаров приложил свои губы к медвежьей крови, от которой шел пар, и пил ее, как пьют далеко на юге в знойный день студеную воду.

Самоедский длинный нож, выхваченный штурманом из деревянной ножны, болтавшейся на поясе, ходил по медведю, словно скальпель в руке опытного хирурга. Годы работ на новоземельском Севере с самоедами многому научили Можарова. Закончив работу, Можаров обмыл окровавленные руки снегом. Шкура медведя с застывшими росинками крови лежала пушистым ковром на синеватом снегу. Охотник разрубил мясо на части и, подвязав задние ноги зверя, потащил их волоком по снегу на ремне к избушке.

Долго еще бродил с собаками штурман Можаров, но нигде не находил следов пребывания Шатаевой.

Уставший и обессиленный, он свалился в последней от Диксона избушке и сразу заснул. Рядом с ним, тесно прижавшись друг к другу, свернулись и собаки. К ночи от спавшего человека и собак в избушке стало тепло. А за избой шумела снова непогода.

IV

Кок Прокофийч вбежал в комнату начальника рации, стянул длинные шерстяные рукавицы, бросил их на стол и, запыхавшись, проговорил:

— Олени на материковом берегу! Табун голов десять-пятнадцать, а то и больше! Я дрова колот, глянул на материк, а там зверя пасется видимо-невидимо.

Много оленей приходило на край материка близ острова Диксон. Зверь был непуганый, не слышал выстрела, не видел человека. Стали люди наезжать из-за моря на остров. Построили радиостанцию, ходят повсюду, ищут зверя, стреляют. Напугался зверь, пашет сторожку, ко всякому шороху прислушивается. Зорко видит олень, но своему чутью больше, чем глазам, доверяет. Ветер издалека приносит к носу зверя запах человека. Почует олень незнакомый запах, выбросит высоко задние ноги и умчится в тундру.

Запорошило, занесло все снегом. На тысячу миль кругом все бело. Стадо оленей пасется в тундре. Далеко слышно, как олень выкапывает своим крепким копытом мох ягель, бьет ногой по снегу. Снег хрустит, и звон идет по полю от оленьих ударов. Копают олень из-под снега ягель, а сам нет-нет да поднимет свою красивую ветвистую голову, потянет носом, прислушивается. Это важенька-самка, передовой олень всего стада. Она охраняет оленей, она старше всех, сильнее и опытней. Ее все слушаются.

Быки смиренные, не боятся человека и близко подпускают к себе, надеются на свою силу, на крепкие рога.

Убил охотник быка, — важенька все стадо за собой уведет. Убил охотник главную важеньку — и будут звери неподалеку бегать, как одурелые, словно стадо без пастуха. Вот почему и выбирает охотник на первый выстрел старую важеньку с ветвистыми рогами.

Раз в год собираются олени в большие стада. Гуляют. У жирных быков на голове рога, словно борода. Дерутся быки из-за красивой и кокетливой важеньки, а та спокойно щиплет траву. Вцепятся рогами, переплетутся ветви рогов, и никому не разнять оленей. И хотели бы уже сами звери разойтись любовно, да крепко держат друг друга их рога. Так нередко погибают самцы в пединке из-за важеньки.

Отгуляют самцы, сбросят свое нарядное головное украшение, станут комолье. Через год их рога отрастут еще богаче. А важенька носит рога всю жи-

му, только когда отелится, — сбрасывает головной убор.

Отгуляли олени, разбились на мелкие стада и разошлись по тундре, по ягельникам, а важенька ходит с телятами, водителствует молодым стадом.

Трудно телятам доставать себе корм зимой. Подойдет важенька, раскопает снег крепкими ногами, и теленок щиплет ягель из-под снега.

Если ветер идет на промышленника, олень не почует тогда приближающейся опасности и никуда не убежит. Спрячется охотник за камень и не сразу выстрелит, а еще полюбуется красивым зверем, его порядками и вольной жизнью.

Начальник рации Диксон Суслов второй год зимовал за полярным кругом и хорошо изучил повадки оленя. Суслов знал, что, если убьешь матку, теленок от нее никуда не убежит. Побегаёт невдалеке и к матери скоро вернется. Сядет зверобой возле убитой самки, покурит и уверенно поджидает теленка. Подойдет теленок-неблуж близко к охотнику, станет и смотрит на человека ничего не понимающими глазами. Человек уже поднял винтовку, целится, сейчас выстрелит, а неблуж никуда не уходит. Он впервые видит человека и его смертоносное ружье.

Лежа за камнем, зимовщик выбирал из стада важеньку и бил ее наповал пулей по животу. Важенька оседала сразу на передние ноги, и стадо разбежалось врассыпную. Но не далеко отбежали олени от убитой важеньки. И вслед за удачным выстрелом по важеньке охотник обычно бил из стада еще несколько зверей. Но нелегко подстрелить важеньку: слишком она умна и осторожна.

Если зимовщик убивал теленка, самка отбежала сначала прочь, но вскоре возвращалась, словно для того, чтобы как-нибудь помочь беде. Суслов знал, что, если убьешь теленка, скоро снимешь шкуру и с важеньки. Она побегаёт кругом, даже к стаду отбежит, но вдруг потянет носом, почует своего неблужа и полетит стрелой к охотнику, пренебрегая опасностью встречи с человеком.

Плохо приходилось оленьим стадам в гололедицу, когда тундра покрывалась тонкой ледяной корой и становилась скользкой. Нельзя в гололедицу ходить оленю по тундре и добывать себе из-под льда мох ягель.

Нанесет снега в тундру, покропит дождем или опарит туманом, потом прихватит морозом, обледенеет сразу земля, станет скользкой. Уходят тогда олени из обледенелой тундры на «сухое место» и там ищут свой ягель.

Здесь и стреляли его в такие зимы, и сколько ни били зверя, он всегда приходил на сухое место, — ему некогда было деваться, нигде кроме нельзя было найти корма. Это знали олени. Это знали и зимовщики. И они поджаруливали здесь голодного зверя.

К чуткому, сторожевому зверю можно было итти людям только в одну черновину, гуськом друг за другом, прячась за ветер и пригорки. Тогда олень, щиплющий мох ягель, мог видеть впереди себя только одну точку на горизонте. Недремлющая важенка, завидев несколько движущихся к стаду точек, увела бы за собой крылатоное стадо от опасности.

Начальник радики Диксон Суслов отобрал пять зимовщиков и велел быстро снаряжаться в путь.

— Нам нужно разделить на две партии, — сказал Суслов. — Двое со мной пойдут берегом, а остальные на запад, до возвышенности. Стрельбу начнет моя партия. Олени, которых мы на месте не уложим, бросятся от выстрелов на запад, их остановит гора, тогда они повернут на юг и побегут прямо на вас, вы их и принимайте! Смотрите, сгоряча друг друга не перехлопайте! Первыми не стреляйте! Первыми мы будем стрелять с берега! — строжил зимовщиков Суслов.

Пригибаясь к земле, шли люди по снеговому твердому настилу тундры к тому месту, где звонко стучало копытами оленья стадо, выбивая из-под снега мох ягель.

— Ну и ветрина! — шопотом сказал Суслов.

Медленно продвигалась береговая партия, люди ползком подкрадывались к стаду.

— Во-о-он важенка! — прошептал снова Суслов, указывая рукавицей. — Вон, слева ходит, подальше от стада. Она что-то чувствует, может, духхватила. Голову вскидывает, принохивается. Я стреляю по ней, — быстро проговорил Суслов. — Как только услышите мой выстрел, стреляйте и сами!

Охотники разбились на две партии. Та партия, которая ушла в гору, вскоре скрылась из виду. Партия Сулова полегла за камень и выжидала приказания начальника.

Первым выстрелил Суслов. Важенка села на передние ноги, потом свалилась на снег и забилась в судорогах. Стадо бросилось было врассыпную, но, видя неуходящую с поля важенку, закружилось, забегало возле нее.

Несмотря на жестокий мороз, дула винтовок разогрелись от частой стрельбы. Убитые и подраненные олени остались на снегу у своих кровавых пятен. Уцелевшие помчались сначала на запад и, не добежав до горы, свернули к югу, прямо на засаду, как и говорил Суслов.

Восемь оленей, семь крупных и одного неблюя, напромышляли диксоновцы в этот день. Чтобы перевезти добычу на станцию, послали кока Прокофьяча за собаками.

Когда олень сложили на нарты и люди и собаки потащились вперед к радики, Суслов спросил Прокофьяча:

— Ну, что, как там на радики? Вернулись?

— Нету.

— Что за притча? Погода стихла, а их все нет. Если не явятся к утру, придется снаряжать поисковую партию.

V

В избушке, где крепко спал на полу, укрывшись оленьей постелью¹⁾, Можаров, по углам лежал смерзшийся снег. Кем-то натаянная из снега вода в ведре давно превратилась в лед. Во-

¹⁾ Шкурой.

эле штурмана, свернувшись в пушистые комки, спали ездовые собаки, спрятав морды в свою густую шерсть.

Снится Можарову, что он в Архангельске и завтра с утра получает новое судно, которое поведет с грузом леса в Англию. Кто-то стучится в комнату, очевидно старший помощник с нового лесовоза. Можаров открывает глаза и видит... Шагаеву.

Она сидит, прислонившись к стене. Лицо закутано шарфом. Шарф обледенел. Шагаева молчит, только горят ее зеленые лучистые глаза.

В избе полно собак, значит, это не сон. Шагаева добралась до избушки. — Ансагна! — окликнул ее Можаров.

Шагаева не ответила.

Можаров подполз к ней на коленях, потряс ее за плечи и снова громко окликнул. Шагаева вдруг закрыла глаза и повалилась на землю.

— Ознобилась, должно быть, — решил Можаров.

Быстро размотал ломкий от льда шарф, снял с нее малицу, совик, пимы и оленьи тяжи, расстегнул юнгштурмовку и стал растирать тело Шагаевой снегом. Можаров растер докрасна ее ноги и вытер их насухо своим шарфом. Снял с себя сухие тяжи и обул Шагаеву в свои запасные лапковые камусные, пимы. Шагаева лежала неподвижно. Едва коснувшись рукой, он отвел в сторону ее тугую грудь с розовым пятном соска, и, склонив свою голову, слушал биение сердца простывшей на морозе зимовщицы. Сердце ее стучало замедленно, пульс был слабый.

Можаров перенес ознобившуюся на оленью шкуру и, с трудом раскрыв посиневшие губы зимовщицы и от дрожи в руке стуча горлышком алюминиевой фляжки по ослепительно-белым зубам Шагаевой, ожог ее несколькими глотками спирта. Шагаева раскрыла глаза и, увидав расстегнутую блузку, протянула руку, чтобы поправить. Можаров накрыл женщину полушубком, затем вышел из избы, взял из шатра бревно плавника и стал рубить его на дрова.

Когда штурман вернулся с охапкой дров в избушку, Шагаева полулежала, прислонив голову к стене. Краска снова заиграла на ее недавно мертвеном лице.

— Ну, как, ожили немножко? — спросил Можаров.

— Спасибо, — тихо ответила Шагаева.

Штурман не стал ее расспрашивать, только сказал, что поедет к ближайшей избушке, где у него лежит медведь.

Вскоре собаки дрались из-за медвежьих костей, а Можаров, держа ножом, будто на шампуре, несколько кусков мяса, жарил их, как шашлык.

В избушке, где расположились Можаров, Шагаева и собаки, нашлись галеты и соль. Обед получился обильный и вкусный. Подкрепившись медвежатинной, Шагаева рассказала о том, как она кружала по тундре в пурге, как положились на собак, как вывезли они ее к избушке.

— Ну, «Рваный», вставай, пошевеливайся! — расталкивал головного пса Можаров. — Домой поедем!

— Хватит у вас силенок держаться на нартах? — спросил Можаров Шагаеву.

— Думаю, что не рассыплюсь, — сказала, улыбаясь, Шагаева.

Она сушила возле камелька обледеневший шарф, и с него струйками стекала вода.

— Подальше его от огня держите, паленым уж на всю избу пахнет, — сказал Можаров.

Он запряг собак в две нарты, усадил Шагаеву и вместе тронулись к Диксону.

Впереди ехал Можаров, его нарта «делала» дорогу по наметенному пургою снегу. Следом за можаровской упряжкой тянулись нарты Шагаевой. Трудно было узнать в обросшем бородою длинноволосом Можарове некогда стройного и празднично-парадного моряка.

Погода давно стихла. Наметенный снег лежал нетоптанными никем сугробами. Когда показались огоньки и высокая мачта радиостанции, штурман

свернул своих собак на обледеневшую бухту.

Припай был ровный и лежал, будто скатерть на столе. Собаки хорошо тянули по шероховатому льду. Нарты со звоном катились в местах выдувки по ледяной дороге. Штурман часто придерживал «Рваного», соскакивал с нарта и пробовал длинным хореем крепость льда, по которому бежали нарты. Он научился этому у новоземельских промышленников в Больших и Малых Кармакулах, где вынужденно зимовал.

Лед гнулся иногда под хореем, и близко вдруг где-нибудь из-под снега показывалась темная полоска побежавшей воды.

— Куда правите, вода побежала! — услышал вдруг Можаров голос Шагаевой.

Тонкий лед, покрывший вчерашнюю полынью и запорошенный мятелью, затрещал и ушел под воду. Вылегавшие на него сразбегу собаки оказались на плаву. Передовой два раза вылезал на лед, где еще держался на нартах Можаров, но умное пса льдина не поднимала и уходила с ним под воду. «Рваный» беспомощно барахтался в студеной воде. Штурман перерезал стантовую су, которая была сделана из ремня и крепила к нартам всю упряжку. Держит Можаров нарты, кругом в воде барахтаются собаки, подплывают к самой кромке, руки лижут человеку, глазами молят о спасении.

Спал с диксоновскими собаками Можаров вместе в промысловых избушках, ел из одной тарелки не брезгуя, и горе комом стало в горле, — так жаль тонущих собак. Ходит он по льду возле них. Одна уж заглотнула соленой воды и погрузилась в море. Вот и другая перестала показывать свою просящую морду. Обвязал тогда Можаров себя одним концом вязки, другой передал Шагаевой, разбежался и прыгнул в воду к собакам. Очутился у самой спочки, которая связывает пилейку, чтобы не разбегались собаки во время езды. Схватил Можаров своего любимца «Рваного» за ошейник и крикнул Шагаевой:

— Тяните веревку! Я подплыву с собаками!

Вытащил штурман собак, они стоят, дрожат от холода и испуга, едва на ногах держатся, падают. Стал их штурман разминать, трясти, как в деревне утопленников, чтобы вернуть им дыхание. Около сердца каждой растирал рукавицей.

Только один «Рваный» помогал штурману тащить нарту по припаю к рации, остальные собаки едва волоклись за ним.

Промокший полушубок на Можарове обмерз, покрылся тонким стеклом льда, Обледенели и пимы. Но самому было жарко, потное белье прилипло к телу. Можаров снял малахай, и потная голова вмиг заиндевала и будто стала седой. Звенящими сосульками повисла борода. Казалось, что нарту тянет высокий старик с юношески румяным лицом.

На рации Можаров растер снегом свое тело и смазал его белушьям жиром; то же сделала и Шагаева.

Долго после того собак томила жажда: так много соленой воды нахлебались они в полынье.

VI

Олени ушли с Диксона на юг, давно не показывались белые медведи. При тусклом свете лампы Можаров разбирал патроны, сваленные в ящике. Годные патроны откладывал на стол, негодные бросал на пол.

Заложил Можаров патрон в мелкокалиберку и нечаянно спустил курок. Пуля попала в ногу штурмана. Прыгает он по комнате, ружье бросил на пол. Набежали зимовщики на выстрел, разули раненого. Пуля прострелила ему мякоть правой ноги, левая была подогнута под скамью.

От валенка набилось в рану много шерсти. Лекпом очистил товарищу рану, промыл ее водой и перевязал.

С неделю пролежал Можаров в постели. На севере раны плохо заживают, и раненый палец долго болел и тревожил подхрамывавшего штурмана.

— Нерпа выстает в воде! — сказала однажды Шагаева, входя в кают-компанию, где никого, кроме Можарова, не было.

Нерпы вот уже с неделю не показывали черных, круглых, полированных, лоснящихся голов из полыней. Появление зверя в бухте сулило корм, радость собакам.

Штурман, припадая на одну ногу, пошел к вешалке, снял полушубок и стал одеваться.

— Вы куда?

— Посмотрю, не разучился ли ходить и стрелять, — сказал Можаров, беря винтовку, стоявшую в пирамиде.

— Ногу не растревожьте! — напутствовала Шагаева.

— Без мяса сидеть и того не лучше.

Можаров вернулся к дому, волоча за собой по снегу нерпу. Кровавый след — потаск — тянулся за нерпой от бухты до самого дома общежития. И к ночи на потаск пришел большой казак-медведь¹⁾. Громким лаем встретили его собаки. Не обращая внимания на шумную встречу, зверь шел вперед, куда маняще вел его потаск. След вел к крыльцу, и сюда подошел медведь и тянул своим черным пятчком раздражающе-приятные запахи нерпичьей крови. Собаки лаяли всем скопом в сорок глоток.

Выбежал Сулов на крыльцо и лицом к лицу встретился с медведем. От неожиданности человек попятился назад к двери. Медведь и не думал нападать на Сулова. Тогда, успокоившись, человек поднял винтовку и прицелился зверю прямо в сердце. Зверь рухнул на крыльцо и скатился по ступенькам на снег, окровавленный потаском.

Шагаев не испробовал ни нерпячьей крови, ни котлет из свежей медвежины. Бодрившийся в начале зимовки, старший механик «Лысуна» осунулся, затосковал по Архангельску, по городскому шуму и редко выходил из комнаты. Ноги Шагаева распухли, глаза глубоко запали, скулы выступили и об-

тянулись восковой кожей, и резкий запах гниющих досен заставлял каждого во время разговора с больным держаться от него на расстоянии.

— Мне бы свежих фруктов, кисленького чего-нибудь, я бы живо поправился, — говорил жене Шагаев. — Один только лимон, и я бы встал на ноги!

— Что там «Рваный» лает? — поднялся Можаров и пошел к дверям.

— Должно-быть, кто-нибудь с «Лысуна» приехал, — сказал начальник радиации Сулов. — Может быть, новости есть?

На «Лысуне» болел цынгой кочегар второго класса Миротадзе, попавший из далекого Сухума, из субтропического тепла сюда на Диксон, ко льдам Полярного океана. Ухода за кочегаром никакого не было, и командир сам привез больного на радию.

— Вы уж нас извините, — сказал капитан Сулову, хмурия топорщившиеся брови. — Мы вам привезли с «Лысуна» харчей на больного, только уж примите его, пожалуйста, — просил капитан. — Молодой, но хороший был кочегар, общественник большой. Вся команда просит радию о нем позаботиться.

Больного перенесли в комнату гидрометеонаблюдателя Сергея Теплоухова.

Сулов отозвал капитана в сторону и на ухо сказал:

— Зря только человека тревожили. Не все ли равно, где загибаться — на «Лысуне» или на Диксоне?

Сулов не ошибся. Через несколько дней тело моряка завалили камнями, разбудив покой скалистых берегов раскатистым ружейным салютом. Кочегара Миротадзе похоронили недалеко от могилы плотника Лемберова. За день до смерти кочегар просил гиметнаба Теплоухова, когда придут к Диксону грузовые пароходы, отправить на юг письмо его невесте в Новый Афон, в совхоз Псырдуху. Миротадзе писал невесте прощальное письмо.

Недолго поговорили о покойнике на станции, и зимние дни потянулись своим чередом.

¹⁾ Самец.

Гиметнаб острова, совсем еще мальчик, Сергей Теплоухов, которого все звали на рации Сергунькой, чертил в общей комнате розу ветров Диксона. Она получалась с вытянутыми остроугольными стебельками, она становилась похожей на морскую звезду, и белобрый Сергунька нарядно раскрашивал чертеж. Похлопывая в ладоши, он под-детски радовался удачному рисунку.

За последнее пятилетие гиметнаб вывел среднюю месячную температуру. Самым холодным месяцем оказался декабрь. Но и февральские стужи мучили порой не менее декабрьских.

Трижды в день радисты Диксона передавали метеорологические сообщения на Югорский Шар, откуда сводка погоды всего Карского бассейна летела по эфиру в Москву. По этим сводкам, собранным с радиостанций всего мира, синоптики крупных центров на материке делали карты погоды, чертили кривыми изобарами пути ветров и циклонов, предсказывали дожди, туманы, снегопады, жару или похолодание.

Весной, когда солнце чертило по небу уже большие дуги и в бухте появился роспуск льда, Шагаев не выходил из своей комнаты, и Анна Александровна проводила возле постели больного напролет целые сутки.

— Нас предали, — сказал однажды жене Шагаев.

— Он бредит, — подумала Анна Александровна. У него с утра высокая температура.

— Нас предали, предали, — хрипло проговорил механик. — В штурвальную рубку кто-то подбросил кусок железа. Компас перестал показывать верный путь «Лысуну», и мы хватили грунта.

Анне Александровне стало страшно сидеть одной у изголовья больного, сверкавшего воспаленными глазами. Она позвала Можарова, громко закричав, как зовут на помощь.

— Можарыч, ты слышишь, нашего «Лысуна» загубили, предали! — сказал Шагаев вошедшему штурману.

— Да ты успокойся, все будет в порядке, вредителей всех расшлепают здесь же на острове.

— Гады! Гады! — прохрипел бредивший и откинулся на подушку.

На следующий день Шагаева не стало. Он умер, не приходя в сознание. Его похоронили рядом с кочегаром Миротадзе.

Глаза Шагаевой раскраснелись от слез. Но на третий день очередь в обезд пастей выходила Шагаевой, и она с утра запрягла собак и уехала далеко на северо-восток, где были расставлены песцовые ловушки.

VII

Весенний роспуск льда неожиданно прекратился. Несколько раз штормовало, раскидывало зимний покров залива и уносило молодой лед в море, наторашивая друг на друга большими ропаками. И снова полярные морозы принимались за свою работу. В один день закрыло бухту Хеймен блинчатым льдом и затем сплошным ледяным покровом.

Бухту замело снегом, и трудно было узнать, где море, где материк.

Подолгу простаивал Можаров у припая, выжидая черного зверя — нерпу. Каждую минуту с моря могла накатиться волна на лед, разломать его, захлестнуть зимовщика, утопить собак. Кто станет тогда подвозить плавник или убитого зверя к зимовью? Не проходишь без собак по сто километров в день, проверяя пасти. Кто отвлечет внимание белого медведя, хватая его за мохнатые гачи, и даст возможность охотнику вернее прицелиться?

Диксоновцы берегли собак пуще самих себя и заботились о них, словно о детях.

К радиостанции впервые за зимовку приехал промышленник с Гольчихи из фактории по Енисею на собаках. Он надеялся получить на Диксоне радиogramму от жены из Красноярска и ответить ей.

По пути в одной избушке он встретил человека, неожиданно здесь зазимовавшего. Узнав о том, что Саргин едет на Диксон, зимовщик написал

письмо и убедительно просил передать его начальнику рации Суслову.

Достав очки из запыленного футляра и далеко отставив от себя письмо, Суслов стал читать его вслух.

«Уважаемые товарищи.

Оставленный для наблюдения над засевшим пароходом «Искра», я с матросом парохода Семеном Ищенко рассчитывал добыть себе на зиму рыбы и диких оленей. Но нас постигла неудача: хорошую пушальню унесло, а винтовка погибла вместе с ушедшим и закружившим моим товарищем Ищенко. Его вот уже шестую неделю нет дома. Должно быть, пропал человек. Продукты у меня на исходе. Обращаюсь к вам с великой просьбой снабдить меня через Саргина до окончания зимовки сахаром, маслом, крупой, сухими овощами и чем-нибудь кислым. Иначе положение мое будет тухлое.

Готовый к услугам матрос Шорин».

— Надо морячку помочь, — сказал Суслов, снимая очки и пряча их в футляр. — А когда вы думаете в обратный путь?

— Ожидая на Диксоне телеграмму. Отвечу и поеду. С неделю, больше не проканителюсь. Если за этот срок не получу, уеду так.

— Ну, лады, лады! — сказал Сулов. — Мы тебе к тому времени приготовим. Всего-то у нас не найдется, а что есть, тем поделимся.

За чаем Саргин рассказывал зимовщикам о новом городе на Енисее.

— Морской порт на реке! Океанские пароходы среди нерубленой тайги! Свист радио и медвежьи следы на высокой, примятой таежным хозяином траве! Избушки на курьих ножках — и три лесопильных завода, сооруженных по последнему слову техники! Девственная земля — и свежие огурцы на шестьдесят восьмой параллели! Газета, телефон, электричество! Пятнадцать тысяч народу! Улицы в тайге! Морские пароходы подваливают прямо к самому берегу величавой протоки Енисея! Так глубока протока! Шумят лебедки кораблей, поднимая стропы сибирского леса с пристани в трюмы пароходов, прибывших с далекого Запада.

Это — Игарка!

Морской порт на реке.

В восьмистах километрах от Карского моря.

Вверх по Енисею, красивейшей реке мира.

И зимовщики слушали Саргина, затаив дыхание.

VIII

Бухта Диксон освободилась от льда в один день. Прилетели на остров крикливые чайки, утки. Прошли над островом, не останавливаясь, держа путь на северо-восток, длинные шеренги гусей. Поднялся и засвежел пригретый июньским солнцем моховой покров. Солнце уже светило круглые сутки, сбивая с толку людей.

Можаров часто выходил на утесы острова посмотреть, не идут ли пароходы Карской экспедиции. На одном из этих пароходов шел уголь зимовавшему «Лысуну».

И Сулов гоже высматривал с утесов.

Его как начальника острова интересовали не только пароходы, но и белухи — полутонные морские звери. Они несли в себе большие запасы сала и крепкую кожу, годную для приводных ремней. Белушиное сало и кожу зимовщики сдавали государству.

В бухте Диксон за островом Пирожок, названным так за свой малый размер, была расставлена большая сеть, а посреди нее находилась малая сеть, в которую загоняли белух.

Сулов вскинул бинокль и повел им по горизонту, как пулеметом красноармеец. И стекла бинокля показали вдруг близко от Диксона милях в двух от радиостанции искрящиеся радугой вспышки белушиных вздохов. Подобно китам, белухи выбрасывали из воды высокие фонтаны. Они дышали часто, потому что прошли большой путь подо льдом до бухты Диксон, где было много омуля — белушьего корма.

Большое стадо морских зверей шло с северо-востока в бухту.

Надо было зайти в тыл будкому и пугливому зверю. Можаров с Суловым прыгнули в стрельную лодочку и пошли

в охват стада. Стали близко видны пенные всплески звериных хвостов и плавников и белые спины и высокие фонтаны чудовищного зверя, шедшего военным строем с вожаком впереди. Можаров и Суслов, зайдя в тыл стаду, стали кричать, сколько было сил, чтобы напугать белух и гнать их в открытые ворота большой сети.

Из общежития, заслышав о белухе, выбежали все зимовщики. Вышел неторопливой походкой и кок Прокофьич, раскидывая в сторону свои длинные усы.

— Собрались, как коты на чердаке! Белух не видали! — недовольно сказал Прокофьич. — Этого добра у нас в Кармакулах тринадцать на дюжину. Сетями закрывать приходилось, девать ее некуда было.

— Это во времена оны! А теперь белуха туда не густо идет, Прокофьич! — заметил метеонаблюдатель Теплоухов.

— Когда это теперь? — спросил Прокофьич с явным недоверием и пренебрежением.

— Я в прошлом году в Пуховой губе зимовал.

— В Пуховой? — переспросил кок.

— Да.

— А-а-а... В Пуховой, говоришь? А я в Белушьей, в Малых и в Больших Кармакулах и в Пуховой твоей зимовал. Понял? — задористо спросил кок.

— Прокофьич — старый полярник, — сказала Шагаева, и кок сразу приободрился, повеселел, перестал заирать собеседника и повел плавно рассказ о том, как он зимовал на Новой Земле.

— Прожили мы три года на Новой Земле. Пришел к нам на четвертое лето пароход, — рассказывал Прокофьич, наблюдая за стрельной лодочкой Суслова. — Жена мне и говорит: «Поедем, Прокофьич, домой, своих повидаем, и дети свет хоть увидят». Согласился я, а то и впрямь одичаешь! Пять-шесть домов — вот и все становище. Склались мы со своими вещешками на пароход, вышли в море. Стали к Архангельску подходить. Девчонка-то моя, махонькая, трех лет, видит лес на берегу и спрашивает: «Тата, а, тата, кто это там тычки в землю понатыкал?»

Она лес отродясь не видала, дивно было ей на него смотреть. А потом вдруг увидала — стоит лошадь, хвостом вертит, от мошки спасается. Когда к нам на Новую Землю летчик Нагурский прилетал, девчонка-то моя его ероплан видала, а лошадь негде было поглядеть.

Стоит кобыла и так это хвостом вертит вроде пропеллера.

Кричит мне девчонка: «Тата, тата, смотри, сейчас полетит!»

— Сколько ей лет будет? — спросила Шагаева.

— Да теперь, поди, она уж своих детей имеет, — не без гордости ответил кок.

Суслов и Можаров, выйдя тем временем в тыл белухе, неистово кричали. И несколько зимовщиков в стрельных лодочках вышли к начальнику на подмогу.

Заслышав позади себя шум, испуганное стадо, спасаясь от погони, заторопилось вперед в бухту, где были расставлены сети. Теперь охотникам оставалось загнать вожака в сеть. А за вожаком стадо скорее можно было загнать в ловушку.

Зверь послушно шел впереди стрельной лодочки в широкие ворота большой сети. Можаров насчитал по фонтанам двенадцать белух.

Перед самыми воротами два зверя вдруг бросились в сторону, столкнувшись с сетью, остальные вошли в нее и продолжали путь вперед, не зная о том, что он ведет в малую сеть. В это время охотники затягивали, закрывали ворота большой сети, и стадо было уже в западне. Теперь оставалось загнать белуху из большой в малую тоню, тогда зверь становился уже добычей зимовщиков. Из малой сети ему трудно было вырваться.

Десять белых, как молоко, зверей вошло в ловушку и, почувствовав, что шум погони прекращен, стали спокойней, — не так учащенно дышали и реже выставляли из воды свои могучие молочно-белые спины.

На спинах некоторых зверей Можаров заметил синекожих «обрамков» — «сеголетошних» зверенышей. Если не-

уклюжий и тупомордый обрамок сваливался на воду, отец приближался к нему и помогал взобраться на спину матери.

У каждого из людей тускло блестело в руке острое копые—гарпун, которым метились в зверя, плюхавшего по воде, вспугнутого победным кличем человека.

Можаров бросал острый гарпун в маленькую мишень дыхла.

Заметались испуганные звери, увидев окрашенную кровью воду, стали искать выхода в просторы моря. Вот белая спина показалась вдруг у края сети, где плавали буйки, вот переметнулась одна белуха через сеть. Но остальные звери, преследуемые людьми, мелились со страха, выскакивали на берег или запутывались в сети.

Суслов дважды выстрелил из винчестера по зверю, которого не мог добить гарпуном.

Иззелена-синие студеные воды полярной бухты потемнели от звериной крови, словно окрашенные заходящим солнцем.

Смертельно раненый зверь щепал огромным хвостом из последних сил, вздыбливал и пенил воду. Люди со стрельных лодочек гарпунили убитых и

буксировали их к берегу. Здесь большими ножами-клепиками нарезали зимовщики высокое белушиное сало и укладывали его в бочки.

Девять туш было вытащено на берег Диксона и ровными белыми рядами устлали темносинюю, причудливую прибрежную гальку. Тут же валялось несколько синекожих обрамков.

На «следующий день на берегу оставались лишь раушки, ободранные туши, уже без сала и кожи, убранных в бочки. Мясом белухи — раушкой — диксоновцы кормили собак. Теперь надолго было припасено корма полярным ездовым, и собаки радостно рвали крепкими зубами свежее мясо. Толстая и крепкая кожа белух шла отсюда в Архангельск для выделки приводных ремней.

За белухами пришел к острову Диксон ледокол — проводник судов Карской экспедиции. Здесь, у Диксона, он становился в ледяной дозор. По первому зову радиостанций карских кораблей он выходил к ним на помощь. Первый караван судов продвигался по чистой воде от Диксона к Игарке. В трюмах кораблей шло в Игарку оборудование для фабрик и заводов полярной, енисейской Сибири.

И ИГАРКА

I

Синоптики верно предсказали приближение южных ветров к Карскому бассейну. В два дня весь лед, забивший выход каравану грузовых судов, утнуло на север. Проход лесовозам из Европы в Игарку был открыт.

И вот из-за Самоедского острова вдруг один за другим в Игарском порту показались корабли с заморскими гостями.

На Енисее, в восьмистах километрах южнее Карского моря, партия гидрографа Шорохова обследовала открытую лоцманом Очерedyкo Игарскую протоку. Когда на Енисее штормовало и гневно вздымались шипучей пеной беляки над речной волной, покачивавшей даже морские пароходы, в Игарке в это время нежной рябью голубела едва зыбившая протока. Суда подходили к приглубым берегам Игарки, сверяясь с картой Шорохова, где верно были показаны глубины.

Шорохов высадился на этих берегах, когда они были еще закрыты ковром черники, голубики и брусники. В течение одного года люди оголили мерзлую землю, сняв мшистый покров. Лиственницы, ели, комлистые кедры и тальник, глядевшие в спокойную протоку, отступили от берегов, дав место стройке молодого города, заводам, электростанциям, баракам, домам, магазинам. Лесопильные заводы, графитообогатительная фабрика, крупная силовая установка, мощная радиостанция поднялись в новом городе первой пятилетки.

Шорохов был свидетелем рождения советского полярного порта.

Много лет назад жил какой-то беглый человек Егорка, зимовье которого находилось по ту сторону Енисея, километрах в семи от теперешнего порта Игарки.

«... А ежели северные ветры, то весьма велика вода бывает в наводнении, так что по реке вверх восхаживала, в некоторые прежние годы, до Игоркина зимовья...»

Так в восемнадцатом веке писал один из братьев Лаптевых, чьим именем позднее было названо море, омывающее Таймырский полуостров с восточной стороны. Об Игоркином зимовье знали уже при Лаптевых, во времена Великой северной экспедиции, организованной по идее Петра Первого. Но о протоке не знал никто. Никто не знал, что на восемьсот километров глубокосидящие морские пароходы могут подниматься от устья вверх по реке и подваливать к самому берегу. Старый енисейский лоцман Очерedyкo первым дал сведения об этой протоке.

Разные люди приходили в этот город. Население Игарки росло, перегоняя количество домов и бараков, в которых было невыносимо тесно. В комнатухах, перегороженных тонкими листами фанеры, спали вповалку по пять-шесть человек. Многие жили на берегу под открытым небом или в шалашах, сделанных из раскиданных по берегу отбросов стройматериала.

II

В шороховской комнате висела большая карта Советского Союза. Голубыми линиями были жирно прочерчены реки Сибири. С самого полюса повисала над Союзом, над всей страной, шапка вечных льдов, а перед ними вытянулся фронтом советский материк от Мурманска до самого мыса Дежнева.

В свободные минуты Шорохов любил смотреть на эту карту, на шестую часть планеты. Жирно прочерченные реки вставали перед ним голубыми линиями, как живые. На Лене он родился, на Колыме стал широко известным ученым-гидрографом, а Енисей выдвинул его в первые ряды познавателей рек. Голубые извилистые линии были путями его жизни, следами его работ.

Водные жилы манили его к себе, как огонек в тундре, показавшийся путнику неожиданно после целого дня езды на морозе по безлюдным просторам.

«Простой взгляд на карту России показывает, что она своим главным фаса-

дом выходит на Ледовитый океан», — так писал С. О. Макаров, создатель первого мощного ледокола «Ермак» Шорохову — пионеру полярных рек, их познавателю — по душе был широкий размах макардовской мысли.

«Если это и не главный фасад Советской страны, то во всяком случае великий. От моря Баренца до моря Беринга протянулись его ледяные границы» — так думал часто гидрограф Шорохов, глядя на карту Советского Союза с синими жилками сибирских рек, стекающих в Ледовитый океан.

Шорохов с женой занимали одну комнату в доме, который был отведен радиостанции. По стенам комнаты висели пушистые серебристо-снежные медвежьи и бархатно-мягкие пыжиковые, оленьи шкуры. Несколько диаграмм, показывавших кривые температур полярного порта и розы ветров, вычерченные Верой Михайловной — женой Шорохова, карта Игарской протоки заполняли пустовавшие между звериными шкурами места на стене. С потолка свисал длинный электрический шнур, посеревший от копоти железной печурки. На шнуре болталась электрическая лампочка в самодельном бумажном абажуре. У стола, сколоченного из ящичных необструганных досок, стояло несколько табуреток. На некрашеной двери висели под простыней платья Веры Михайловны и синий морской костюм Шорохова с яркими пуговицами и золотом нарукавных знаков.

Деревянный потолок был побелен, и оттого в комнате казалось светлей и просторней.

Громкоговоритель передавал радионовости из Москвы, за тысячи километров отсюда. Много раз прилетали с новостями из Красноярска самолеты, приходили пароходы, привозили письма и посылки из разных уголков Союза людям Игарки. У кино всегда толпился народ, и нарасхват разбиралась только что выпущенная типографским способом игарская ежедневная газета.

Острота жизни чувствовалась в этом маленьком городе, как и по всему великому Союзу. В каждую кампанию Игарка алела плакатами, транспарантами и

полотнищами лозунгов, которые призывали к выполнению ста процентов распилочной программы, к социалистическому труду, к дружной подписке на заем. Надо было срочно, до рекостава, до того, как затихнет скованный льдами могучий Енисей, подтащить плоты к Игарке, обеспечить лесопильные заводы сырьем на зиму, чтобы не сорвать экспортный план будущего года. Работа по лесосплаву была объявлена ударной. Игарка работала без выходных дней. Каждый человек отдал себя целиком в «штаб спасения леса» для защиты полярного городка от грозившей ему беды.

В центре города висел огромный плакат, где штаб спасения леса обещал различные награды отличившимся рабочим. На первом месте среди наград значился полет на воздушном корабле от Игарки до Красноярска, на втором — выезд из Игарки Северным морским путем в Ленинград или Архангельск. За этими наградами следовали другие, среди них значились: кожаные тужурки, болотные сапоги, полное собрание сочинений Ленина, часы, малопульки и прочее.

III

Горпартком собрал общее собрание сплавщиков полярного порта ночью, под открытым небом, в Медвежьем логу, около бежавшего между зыбунов ручья. Ночь была ясная и светлая, как день. Тайга горела вся в бликах незаходящего полуденного солнца, которого не боялись глаза.

В холщевых пиджаках и болотных сапогах с приспущенными голенищами пришли сплавщики к ручью, журчавшему в Медвежьем логу. Собралось более ста человек, и, будто от костра, тянул над сплавщиками сизый дымок маорки.

Начальник «Полярстроя» Кремнев пришел к Медвежьему логу своей решительной походкой. Несмотря на сорок пять лет, он ходил быстро и не утомляясь. В сутолоке расписанного до минуты дня Кремнев находил время для того, чтобы ежедневно ранним утром пойти на берег Енисея, заваленный валунами, на совхозный остров, за три километра

от полярного города. Там, на каменистом крутом берегу Енисея, он сбрасывал болотные сапоги, военную гимнастерку, брюки и бежал в студеную воду, поднимая фонтаны брызг. Кремнев заплывал далеко. С берега едва виднелась его большая голова. Он бился здесь же на берегу и шел в избушку на пригорке согреться чаем и узнать о всходах картофеля на бесструктурной, девственной земле, о количестве удоя молока и других новостях совхоза.

Так начинались рабочие сутки начальника «Полярстрой» Кремнева. Отрывая время от сна, Кремнев работал при незаходящем солнце по шестнадцать часов ежедневно. Привычно было видеть его высокую несгибающуюся фигуру у конвейеров лесозаводов, у бревнотаски, на плотках, подходивших к протоке или сидевших на мелях. Кремнев закалил себя ходьбой и спортом, а царская ссылка выковала в нем твердый характер, решительность и мужество.

Верповальная лодка, на которой он шел в Курейским графитовым рудникам, с полного хода выскочила на подводный камень. Тунгус-лоцман так оторопел от неожиданности, что бросил штурвал и побежал на нос лодки смотреть, что случилось с форштевнем. Кремнев стал у штурвала, крикнул мотористу «полный назад» и сам снял лодку с камня.

На первом самолете Кремнев летал над Нижней Тунгуской, на речных суденьшках ходил по ледовитому Карскому морю от Диксона до Пясины.

— Для мужчины, которому сорок пять лет, уже не страшно ничего! Самое страшное осталось позади! —

Так рассуждал Кремнев.

У Кремнева была одна слабость, которая сильно мешала ему. Кремнев не умел подбирать людей. А на Север шло много таких работников, которым не находилось места в Центральной Сибири. Северные новостройки наводнялись в первые годы своего существования людьми, мечтавшими о длинном рубле, но малополезными для дела.

В «Полярстрое», находившемся в одном из портовых бревенчатых домов, Кремнева ожидала по утрам высокая

стопа красных листков радиogramм из Москвы и из центральных пунктов Западной Сибири или с моря от групповых капитанов Карской экспедиции. Надо было спешно отвечать. Помощник Кремнева по морской части любил прятаться за широкую спину начальника, а сам бездельничал, не осмеливаясь подписывать и решать самостоятельно ни одного серьезного вопроса. Портовики дали кличку этому помощнику: «Нуда». И действительно, он всегда был чем-нибудь недоволен, но никогда своевременно и самостоятельно не принимал мер к тому, чтобы предупредить неполадки. Боясь ответственности, уклоняясь от резолюций на бумажках, приходивших ежедневно в «Полярстрой», он был охоч до разглаговльствований, в которых пестрели приевшиеся всем слова: «в отношении», «что касается». Он был одним из лишних людей на новом строительстве.

Кремнев не спал уже вторые сутки. Он ходил днем по плотам, беседуя со сплавщиками. После обеда заседал с инженерно-техническими работниками по рационализации производства. Надо было срочно принять меры к тому, чтобы уменьшить простои прибывающих в Игарку пароходов.

Кремнев пробовал перед собранием немного соснуть, но клопы не дали. Лицо начальника было бледнее обычного. Он шел к сплавщикам, не вынимая трубки изо рта. Его болотные сапоги увязали по колено в илистой почве логга, потому что Кремнев шел не тропой, а напрямик, чтобы вышло покороче.

Высокая несгибающаяся фигура Кремнева показалась издалека.

— Кремнев, Кремнев идет! — пробежал шопоток по толпе, завидевшей приближавшегося начальника «Полярстрой».

Народ любил его за простоту и доступность. Каждый на стройке знал в лицо этого решительного человека.

На полярном фронте решать приходилось быстро. Сроки были всегда на пределе, а возможность сноситься с Москвой была ограниченной, и все приходилось брать на себя, на плечи маленького партийного игарского актива.

Кремнев поздоровался с передними рабочими, многие из которых были знакомы ему, снял кепку, показав густую, седеющую шевелюру и высокий без морщин лоб.

— Товарищи сплавщики! — начал Кремнев. — Рабочие лесозаводов выполняют честно свои обещания, данные штабу содействия лесоэкспорту. Экспортная программа лесозаводов уже близка к выполнению. Рабочие лесозаводов предъявили штабу повышенные встречные планы распиловки.

Дело теперь за вами, товарищи сплавщики!

Если вы провалите сплавную работу, то заводы недополучат лес и будет сорвана лесоэкспортная программа. Наша страна недополучит валюты, у нее уменьшится покупательная способность на внешнем рынке. Если все заводы в стране будут так же плохо выполнять свои планы, то мы сорвем дело строительства нашей пятилетки. Мы сделаем контрреволюционное дело!

Допустим ли мы это?

Нет, не допустим!

Этого не допустят товарищи сплавщики. Сплавщикам так же близки интересы пролетарского государства, как и рабочим лесозаводов Игарки, и вы сделаете все, чтобы не провалить экспорт. Иначе окажутся напрасными героические усилия товарищей ударников игарских лесозаводов.

Остались считанные дни! За дело, товарищи! Докажите свою преданность партии и правительству нашей Советской страны!

Прения были коротки. Дорог был каждый час. Требовалось немедленно и горячо приниматься за подгонку отборного леса к заводам из протоки. И сплавщики обещали честно послужить новому городу.

Кремнев уходил с собрания окруженный сплавщиками. Многие из них пришли в Игарскую протоку еще два года назад. Тогда медведи часто приминали по ночам высокую траву в логу, и сплавщики не раз лакомились медвежиной. Заинтересовавшись огнями дальневосточных мигалок, расставленных по берегу изыскателями, медведи вали-

ли эти опознавательные знаки речников.

Многие сплавщики увидели Кремнева в Игарке, когда только еще рубились первые таежные просеки, первые улицы нового советского города у преддверья Ледовитого моря.

И, провожая Кремнева до самого порта, сплавщики говорили ему, что «не подкачают».

Вечером в горпартком сплавщики прислали делегацию с письмом, в котором обязывались перед партией и правительством выполнить взятые на себя обязательства и устанавливали показатели соревнования между собой и рабочими лесопильных заводов.

IV

Кремнев любил торить неторенные дороги, ходить туда, где не ступала еще нога человека, и, когда ему предложили быть начальником «Полярстроя», он с радостью дал согласие.

Из Москвы он перекинулся в Центральную Сибирь. В Красноярске, спрятавшись в затоне, ждал Кремнева воздушный корабль «Севморпуть-2».

На этой водоплавающей искусственной птице Кремнев перенесся в Игарку над зеленоверхой тайгой, над гористыми берегами и пенящимися порогами красавца-Енисея.

На крылатом огнедышащем драконе, оседланном людьми, Кремнев побывал в Карском море, на острове Диксон, на зверобойных промыслах бухты Север и Гыдояма. Залетел Кремнев и на Нижнюю Тунгуску, где поднималось большое дело, выростал Тунгусбасс, будущая энергетическая база полярного Севера.

Кто близко знал Кремнева, того поражала его неуемная энергия, бесстрашие, выносливость и жизнерадостность. Он любил рисковать. Кремнев считал, что в полярном строительстве и вообще в условиях крайнего Севера, если пятьдесят процентов — за, а пятьдесят — против, то надо обязательно браться за дело. Но Кремнев рисковал и против шестидесяти процентов. Рискуя так, он загорался огнем грядущей победы, в ко-

горую горячо верил, и заражал этой верой своих сотрудников.

Кремнев ходил на заводы, становился у лесопильных рам, показывал сам рабочим, как можно при внимательном отношении к бревну взять с него больше пиломатериала для экспорта.

Самолет «Севморпуть-2», покидавший Карское море, опустился за день до рекостава в Игарской протоке и в тот же день скрылся за снежными, лиловыми тучами, провожаемый вздохами гудков игарских лесозаводов, «Севморпуть-2» дал два круга над заводами и ушел на юг к Красноярску на зимовку.

Наутро нельзя было узнать Игарку, — ее замело первым снегом. Снег не стоял к полудню, и новым снежным зарядом к вечеру так насыпало Игарку, что сразу установился санный путь.

Ночью раз'яснело. По чистому звездному небу забегали переливчатые огни северного сияния, и люди, накинув полушубки, простывая на холоде, долго любовались цветным полыхавшим небом.

Когда скрылось надолго солнце и наступила темная пора, пришли пятидесятиградусные морозы. На мачте радиостанции часто взвивался красный флаг, он говорил о прекращении работ на лесозаводах.

V

В тот год весна пришла неожиданно и дружно погнала ручьями быстро оседавшие снега. Радио приносило известия о бурном ледоходе в верховьях Енисея.

В Игарской протоке лежали ее богатства — несколько тысяч невыкатанных на берег бревен. Их могло поднять ледоходом и унести в Карское море, раскидать по Таймырскому побережью и даже забросить к восточным берегам Новой Земли.

Потеря бревен угрожала срывом лесоэкспортного плана. Лесозаводы остались бы без сырья.

Надо было отстоять бревна в протоке от ледохода.

На бюро партколлектива, в рабочкоме, в столовых, бане и на улицах порта

говорили только о предстоящем ледоходе.

— Предлагаю организовать чрезвычайную комиссию по борьбе с ледоходом, — выступил на бюро партколлектива Кремнев. — Эта комиссия будет бороться не только с ледоходом и его последствиями, но и с наводнением, которое нас несомненно ожидает. Ведь если где-нибудь пониже Игарки случится большой затор льда, то вода в протоке поднимется высоко и зальет берега. Предлагаю мобилизовать все население Игарки, начиная от восемнадцатилетнего возраста. Мы выступим, как один, и отразим грозящую нам беду. У нас есть аммонал. Мы взорвем лед в протоке и, пока еще не ушло время, выкатаем бревна из протоки на берег, до вскрытия Енисея под Игаркой.

На завтра вся Игарка расцветилась пестрыми приказами на белых, красных и синих листках. Все население Игарки объявлялось мобилизованным и находилось в распоряжении штаба по борьбе с наводнением. Во главе штаба назначался Кремнев, его заместителем — гидрограф Шорохов.

Шорохов разбил Игарку на участки. Каждым участком командовал один бригадир, который служил в свое время в армии и знал военную дисциплину.

Десять отрывистых гудков должен был дать завод № 2, чтобы оповестить Игарку о наступающей тревоге.

На радиостанции был вывешен плакат, в котором указывалось о под'еме воды в Енисейске, Верхне-Имбатском и Туруханске. Толпы людей собирались у радиий читать известия о приближающейся беде. К спасению береговых сооружений, флота и леса в протоке была призвана вся общественность нового города, и много полезных советов и ценных предложений выслушали Кремнев и Шорохов от рабочих Игарки в штабе по борьбе с ледоходом и наводнением.

В середине мая на заседании по борьбе с наводнением (заседание продолжалось с шести часов вечера до пяти утра) было решено приступить к взрывным работам на протоке во время ледохода на Енисее.

У полосатой будки за чертой города, где жрался в землянке аммонал, был выставлен сторожевой пост. Решено было взрывать лед большими площадями и выталкивать его из протоки при помощи портового парохода и мотокатеров, отстаивавшихся у Медвежье-го лога.

На выкатке бревен из протоки работал весь конный парк Игарки. За зиму лошади откормились в денниках конного двора и стали гладкими и сильными.

Бригады Кремнева и Шорохова ходили по льду протоки с пешнями и ломами. Вся протока была исколото пешнями, разорвана аммоналом. Из протоки спешно доставали зимовавшие плоты и выкатывали бревна на высокий берег к заводам.

Изыртый и исколотый лед, взорванный аммоналом, не выдержал напора весны и пошел к выходу из протоки раньше енисейских льдов и запрудил устье протоки. У самого выхода Игарской протоки в Енисей нагромодились высокие торосы и ледяной дамбой стали перед Енисеем, преграждая бревнам выход на простор реки.

Эти торосы помогли Игарке отстаивать плоты в протоке. План, разработанный Кремневым и Шороховым, удался. Енисейский лед почти не заходил в протоку, устремляясь мимо, а торосы, образовавшиеся у выхода из протоки, заперли ее и сохранили бревна для лесоэкспорта. Игарские заводы ни разу не стояли из-за недостатка леса для распиловки.

Широко залила вода низины совхозного острова, и там, где летом буйно рос и зеленел тальник, люди ходили свободно на лодках. Незаметный ручеек в Медвежьем логу разбух от прибылой воды, разлился широкой рекой, и в нем укрылся от ледохода весь караван судов, зимовавших в Игарском порту.

Честь Игарки не уронили ее первые горожане.

Игарка готовилась к встрече морских караванов, до прихода которых оставались недолгие дни. Росли и ширились терпко пахнущие смолой штабеля пиломатериала на лесной бирже.

VI

В Игарском клубе было людно и шумно.

Дощатые стены тесного помещения не могли вобрать в себя всех желавших послушать вечер смычки моряков Запада с советскими моряками и рабочими — освоителями необжитых окраин Союза.

Лавки, стоявшие правильными рядами, были заняты людьми, курившими махорку и говорившими об игарских делах. В первых рядах сидели иностранные моряки с пароходов первого Карского каравана. Среди игарских скромных толстовок и кожанок иностранцы празднично выглядели в своих белых сорочках с яркопестрыми галстуками. Англичане принесли губные гармошки, на которых наигрывали труднейшие мелодии, вызывая большой к себе интерес. Немцы приволокли громадные гармоны.

Еще перед тем, как прозвонил колокольчик председателя собрания, иностранцы-моряки грянули хором «Смело, товарищи, в ногу», и гармонист загудел басами певучей гармонии.

— Агитацион! Шреклик! Унергерт! — кричал на берегу возле клуба немецкий капитан. Он был небольшого роста, с огромным животом, который матросы называли в насмешку «морской грудью». Бычья багровая шея капитана предвещала близкий апоплектический удар. В коротких, толстых пальцах он держал трубку, от которой шел сладковатый, медовый аромат. Капитан говорил одному из своих штурманов. В отличие от капитана штурман был непомерно высокого роста, худ и бледен. Посасывая трубку, он поддакивал капитану:

— Русланд! Швайнлянд! Бóльшевик!

Капитан возмущался всем, даже постройкой советских лесовозов, прибывших в Игарку из Ленинграда. Команды на этих советских судах были размещены не в кубриках, но в каютах, по два человека в каждой, и спали не в койках, а на кроватях. В каютах сверкали чистой умывальники, блестело

зеркало и в красном уголке после вахты и горячего душа советские моряки слушали лекции по техминимуму или заводили патефон с речами вождей, говоривших о победе пятилетки.

Все это возмущало капитана, не заходившего в игарский клуб и поносившего Советскую Россию и ее порядки.

— Дас ист нур агитацион! — размахивал короткими руками капитан.

Немецкие моряки тут же рядом у входа в клуб растягивали свои гармоны и пели советские песни.

Тысяча ног протоптала тропинку к деревянному зданию, где сегодня в день отдыха собрались люди послушать речи, музыку и повидать иностранных моряков.

В президиуме среди других был Кремнев.

На дощатый податливый помост сцены выходили один за другим ораторы с приветствиями. Официальная торжественная часть вечера подходила к концу, и скоро должны были начаться танцы. Игарские девушки ждали их с нетерпением, переглядываясь с моряками.

— Может быть, еще кто-нибудь выскажется, товарищ? — спросил председатель собрания, встав из-за стола и оглядывая собравшихся.

В зале стало тихо. Потом где-то в далеком углу завозились, кто-то поднялся на скамью и несколько раз откашлялся.

— Говори, говори, если душа просит! — подталкивал старик-рабочий Панов рабочего Помельцова, робевшего перед большой толпой.

— Разрешите мне сделать маленькое сообщение товарищам морякам, которые пришли к нам из-за границы, — сказал Помельцов, выходя на сцену.

Он не стоял на одном месте. Подвижность заставляла его вымеривать дощатый чисто выметенный пол сцены. Помельцов размахивал руками, словно отбиваясь от кого-то, будто помогая языку сбрасывать в толпу тяжелые на подъем слова.

— Вот, товарищи иностранные моряки! Мы понимаем, что у нас еще мало пароходов ходит по Енисею и насчет

питания и одежки у нас не богато и тырк-мырк и пятое десятое. Но нам в долг за граница не дает. Вот и приходится самим у себя одалживать, оторвать от себя на стройку. У нас в деревне, когда мужик дом строит, в это время яблочка не ест. А что заработал — все в избу вколачивает.

Вот мы с Кремневым да ученым человеком Шороховым пришли сюда в Игарку. Тут вам и мерзлота, и полярная ночь, и северное сияние, и северное влияние. А мы строили себе! Но нам мешают работать и строить наше мирное строительство. Англичанка гадит. Японцы пакостят. Подстрекают нас к войне! Товарищи иностранные моряки, скажите вашим товарищам рабочим, что мы не хотим воевать! Эти самые аэропланы, танки, танкетки, тырк-мырк, пятое-десятое, все это у нас наготовлено не меньше вашего, но мы заняты великим строительством. А если нас вяжут в драку, то пусть запомнят слова нашего вождя: «Ни одного вершка своей земли не отдадим никому». Это передайте вашим хозяевам. Да здравствуют иностранные рабочие и наш союз с ними!

Когда речь Помельцова перевели на немецкий язык, матросы встали со своих мест и прокричали, подняв вверх кулаки:

— Рот фронт! Рот фронт! Рот фронт!

И немецкая гармонь загудела «Интернационал».

После митинга начались танцы.

Последним из клуба выходили Кремнев с игарским доктором Сидневым. По бревенчатому настилу мостовой они ушли в сторону тайги, где клейко пахло срубленными лиственницами и кричали кедровки.

— Здесь у нас будет строиться университет, — сказал Кремнев. — Мы стоим сейчас с вами на том месте, где началась стройка одной из самых оживленных улиц города. Это будет улица детских садов, яслей, школ и рабфака. Мы так и назовем ее Школьной улицей.

По обеим сторонам мостовой валялись стружки и горы опилок, высались срубы новых зданий. И многие из этих

деревянных домов уже не походили на строения первых лет Игарки. Вместо грубых и простых изб без намека на затейливость теперь поднимались нарядные корпуса с широкими окнами, высокими башнями по углам домов с фасадами, украшенными деревянной колоннадой.

Беспощадно вырубленный в первые годы, весь прибрежный лес унес с собой и красоту берегов. Люди поняли это и стали насаждать возле домов молодые саженцы.

VII

Прошла пятилетка. По великому фасаду Советской земли выросли новые города, полярные порты Игарка, Усть-Ленск, Амбарчик близ Колымы. Гру-

зовые пароходы стали приходить колоннами к устьям сибирских рек — Оби, Енисея, Лены и Колымы. Ненцы, якуты, чукчи увидели на своих берегах, граничивших с Ледовым морем, пароходы с красными флагами Советов, самолеты — покорители бездорожных просторов тундры. В красных уголках пароходов северные люди в терпкопахнущих одеждах из звериных шкур видели человека, который посылал эти пароходы и самолеты далеко на север. Этот человек в военном кителе смотрел вдаль пронзительными глазами. Он смотрел не из золоченой рамы, но из драпировки красного сатина. Моряки объясняли туземцам, что красный цвет — это символ крови, пролитой рабочими за новую жизнь на земле без классов, без эксплуатации.

III ЧУКОТСКИЕ РАССКАЗЫ

1. Карэм!

В начале мая зорька сошлась с зорькой над Чукотской землей. На смену тоскливой полярной ночи пришел сплошной солнечный радостный день. Море недвижно стояло до середины июня. Южным штормом в одну ночь разломало лед и, словно парусные байдарки, ушли далеко от берегов высокие горосы.

Заиграл в воде тюлень, показывая черную голову, сверкавшую на весеннем солнце. Клинья уток вонзались в небо с далекого юга. Высоко над чукотскими ярангами перекликались гуси, пролетая на север. Море, освобожденное от ледяного панцыря, зыбило, ломая на своей вздымающейся груди дрожащую солнечную дорожку. Ликующая весна пришла и сюда, к ледяной границе мира.

Мальчишки-чукчи чинили свои закидушки для ловли пролетающих над селением птиц. Это было первобытное, терявшееся в веках оружие, сделанное из нерпячьих ремешков, к которым подвязывались зубы моржа. Птица, опутанная на-лету закидушкой, падала, не будучи в силах взмахнуть крылом.

С юга к мысу Инчоун проходили стада моржей. Звери держались вдали от берегов. Несколько чукчей-охотников заметили их со своих вельботов. В переднем вельботе среди чукчей был один русский. Он пришел на Север с берегов Тихого океана. Ему не приходилось еще ни разу, видеть живого моржа, а тут неподалеку от байдары резвились на солнце моржиха с моржонком. Детеныш пытался забраться на спину матери, но та шлепком могучих лап отбрасывала далеко надоедливую моржонку.

Русский выстрелил из винчестера по моржонку и сразу убил его. Моржиха закружилась возле убитого, поднимая волны, вспенивая воду, покрасневшую от крови возле вельбота. Но, убедившись в гибели детеныша, оставила его и стала быстро подходить к людям.

Чукчи перестали говорить между собой и тревожно затихли, будто в ожидании чего-то грозного, неминуемого.

Зверь подплыл к людям, «выстал» из воды и положил свои белые клыки

Будто онемевшие, чукчи продолжали «ола винэбжен чль члогчэв лог ен сидеть недвижно. Вдруг русский схватил винчестер. Тогда чукчи на миг встрепенулись и сдавленным от испуга голосом прохрипели слово запрета:

— Карэм!

Чукчи запрещали стрелять в моржиху.

Старый чукча Айван, рулевой вельбота, бронзоволицый и длинноволосый, медленно поднялся с кормы и пошел туда, где свисали с борта два звериных клыка, белых, как чайчья грудь. С клыков стекала в вельбот морская вода, словно слезы огромного зверя. Айван подошел к зверю и осторожно взял его за клыки. Чукчи подняли весла, чтобы не производить шума всплеском воды и не испугать зверя. Айван ласково и тихо прошептал что-то зверю и, взяв его за клыки, опустил в воду.

Чукчи объяснили русскому, что он мог погубить людей, если бы выстрелил в зверя. После выстрела зверь непременно метнулся бы в сторону и увлек за собой в морскую пучину чукотский вельбот.



Как всякий чукча, Айван был привязан к своим детям и нежно любил их. Он научил сыновей делать закидушки и вместе с детьми выезжал иногда на ближнюю охоту. Он приучал их к тому, чтобы они могли, когда вырастут большими, добывать зверя и сытно кормить себя и собак.

Дети любили отца за его силу и ловкость. Они с интересом смотрели за тем, как он искусно правил собаками, как эти быстроногие и сильные животные боялись одного только окрика своего хозяина. Однажды, когда в Тэпкане, где жил Айван, сильно пурговало,

он вылез из полога, захватив с собой копье-гарпун.

— Куда ты? — спросила его жена.

— Медведь ходит вокруг яранги. Пойду посмотрю его, — ответил Айван.

Он пошел на зверя без винчестера, с одним только копьём, чтобы не разбудить выстрелами заснувших ребят.

В свободные от охоты дни он часто усаживал сыновей на нарту и прокатывал по морю, которое замерзло кряду несколько лет ровно, без торосов, около берега чукотского селения.

Старшему сыну сравнялось шесть лет. Он родился в тот год, когда американскую шхуну «Поляр стар» раздало льдами у чукотских берегов. Старшего сына звали Уммка, что значит по-чукотски белый медведь. Младшему было и пяти лет. Он родился в тот год, когда впервые над Чукотской землей показалась «русская птица» — самолет, «летающая байдара». Младшего мать ласково называла Атыкай, что значит по-чукотски собака.

Укунаут — жена Айвана — вшивала в кухлянки мужа кусочки горностаевого меха. Если злой дух нагонял ее мужа на берегу или среди торосов в море и пытался схватить его за одежду, он отрывал лишь горностаевый хвостик, не причинив вреда хозяину одежды.

Лицо Укунаут не было так широко-скуло, как у ее соседок по Тэпкану. В узких щелочках глаз светились еще по-молодому ясные черные глаза. В молодости, когда Айван привел ее в свой полог как жену, она была по-своему красива. Толстые губы Укунаут казались Айвану сахарными. У Айвана долго не было детей. По чукотскому обычаю он мог взять поэтому к себе в ярангу другую жену, но он не делал этого. Укунаут принесла ему потомство, когда морщины залегли уже близ уголков ее черных глаз, говоря о прошедшей молодости. Укунаут всегда смотрела с каким-то удивительным спокойствием, и в ее взгляде было много ласковости и тепла. Глаза Айвана были быстры и пронзительны. Айван шел по снегу, оставляя глубокие следы. По этим следам дети всегда узнавали сво-

его сильного отца. По маленьким, почти детским следам дети безошибочно определяли, куда проходила их мать. Черные волосы Укунаут были жестки и синеваты. Седина не тронула ее головы. Укунаут была всегда весела, она любила смеяться, и смех ее был заразительно звонок.

Случилось так, что Айван привел все же к себе в ярангу молодую жену. Укунаут затаила обиду на мужа, худела с каждым днем и становилась раздражительней. Дав волю словам, она долго упрекала Айвана за вторую женитьбу, она говорила ему карэм — слово запрета, она угрожала ему мстостью.

Молодой жене не было и восемнадцати лет. Она ходила в тонком пыжиковом керкере, в пестрой матерчатой камлейке, и лицо ее было разрисовано красивыми тонкими узорами синеватой татуировки.

Укунаут не выносила веселого смеха соперницы. Молодая жена словно украля смех у старой. Укунаут больше не смеялась. Она страдала от соседства чужой женщины в яранге. И напрасно ласкались к Укунаут ее любимые и ничего не понимавшие дети.

Укунаут значит по-чукотски: каменная женщина. И Укунаут стала каменной женщиной. Целыми днями она безмолвно сидела в пологе и думала о потерянной любви.

«Он поступил со мной несправедливо. Ведь я принесла ему двух прекрасных сыновей, двух помощников. Он любит их больше всего на свете. Как же мог старый Айван вдруг изменить мне с этой девчонкой?» — думала томительными ночами, страдая бессонницей, Укунаут.

Днем она помышляла о мести и ночью в жарком пологе все думала о том, как отомстить Айвану, которого совсем еще недавно так любила, с таким искусством расшивала его одежды, приготавливала любимые кушанья, встречала после охоты за стенами яранги, помогала распрягать собак, выбивала снег из одежды мужа.

У чукчей не принято наказывать детей. Дети — отрада жизни чукчи, его

утеха, они — самое дорогое в жизни человека на краю земли, на берегу Холодного моря. И вот Укунаут придумала, как отомстить мужу. Ночью, когда Айвана не было в яранге, — он уехал на факторию в Уэллен за товаром, — она взяла топор и зарубила обоих сыновей.

Айван долго не возвращался из Уэллена, и все время над трупами детей проливалась жаркие слезы Укунаут. Трупы лежали в пологе, там, где еще недавно дети смеялись перед сном или живо рассказывали матери о поездках с отцом на собаках по берегу моря.

Молодая жена, заслышав стоны убиваемых детей, сбежала из яранги к соседям.

Никто не пришел на крики в ярангу Айвана. У чуждей не принято вмешиваться в чужие дела.

Приехал Айван из Уэллена. Укунаут услышала об этом по лаю собак, которых распрягал за ярангой ее муж. Она не вышла, как обычно, к нему навстречу. Он был этим немало удивлен. Он сильно промерз в дороге, ветер был встречный, и часто пурга слепила глаза. Айван с трудом распряг и накормил собак. Он прошел в полог, где увидел на оленьих шкурах своих детей с проломленными черепами и склонившуюся над ними Укунаут.

— Ты убила их? — спросил Айван.

— Я, — ответила Укунаут.

Айван сам набил снегом чайник и повесил его над жирником. Когда чайник закипел, Айван осушил его до дна, выкурил трубку и сел возле детей, поджав под себя ноги. Так он сидел до утра и все молчал. Это молчание было томительнее для Укунаут, чем его крики, истязания, которых она напрасно ожидала.

Он заговорил, неожиданно разрезав остороженную тишину мягким голосом, который так любила Укунаут.

— Как же они будут теперь жить одни на том свете? Кто достанет им свежую нерпу? Кто добудет им пищу?

Укунаут ничего не ответила Айвану, только достала из-за пазухи трубку, выделанную из моржового клыка, набила ее черкасским листовым табаком и закурила.

— Они одни без старшего не проживут! — сказал отец.

Укунаут курила и молчала.

— Одни они пропадут там. Убей и меня! — сказал жене Айван после раздумья.

— Ладно, — согласилась Укунаут.

Утром положили ребят на нарту, и сам отец, впрягшись в нее, пошел в тундру, чтобы бросить там по чукотскому обычаю мертвые тела. Узнав о похоронах, пошло вслед за нартами все население Тэпкана. Позади с винчестером шла Укунаут.

Отец бережно снял с нарт обезображенные трупы детей, положил их на снег, достал из кожаной нерпячьей ножны острый чукотский длинный нож и разрезал одежды детей. Оставил возле них любимые игрушки, мячики из кожи нерпы, закидушки, лук и стрелы, которыми дети так любили забавляться, постели, на которых они безмятежно засыпали в пологе под чудесные сказки отца или матери. Обряд похорон был закончен. Отец сел на нарту возле сыновей, распростертых перед ним на снегу, и обращаясь к Укунаут, сказал:

— Я готов!

Укунаут подняла винчестер на Айвана.

— погоди! — остановил ее Айван.

Он достал трубку, закурил и потом стал медленно давать последние наставления по хозяйству, которое вел расчетливо и бережливо.

— Я много убил в эту зиму медведей, много наловил капканами песцов. Ты не продавай их все сразу, а по одному, и у тебя долго будет в пологе чай и сахар из кооператива.

Он окончил короткую речь, выкурил трубку, спрятал ее подальше за пазуху, как всегда, чтобы не терять в далеком пути, и сказал, обращаясь к Укунаут:

— Ну, теперь можно!

Она прицелилась прямо в висок и сразу убила Айвана.

Стоявшие неподалеку старики разрезали на убитом одежду, дали ему на дальний путь табаку и спичек. Толпа смотрела за всем молча, никто не из-

дал вздоха, не вскрикнул, не остановил Укунаут. Она сидела на нартах и говорила сама с собой.

— Дети мои на том свете. Муж тоже. Кто будет им шить и чинить одежду, кто будет варить им пищу, выбивать по утрам полог, смотреть за ээком — жирником? Надо и мне итти вслед за ними!

Она разула правую ногу. Приставила дуло винчестера к груди и выстрелила.

Родственники порезали на Укунаут одежду и разошлись по своим ярангам.



Комсомолец Рольтынват, народный судья в Уэллене, получил из анадырского окружкома выговор за то, что не возбудил судебного преследования против чукчей, в безучастном присутствии которых произошло убийство и самоубийство. О выговоре, полученном Рольтынватом, прошел слух по всему берегу до самой реки Амугемы, и это волновало молодого чукчу. Он думал о том, как на будущее время избегнуть повторения тэпканского происшествия.

Рольтынват часто заходил на радиостанцию Уэллена послушать новости с далекой земли. Когда за деревянным домом радиостанции пурговало так, что не видно было протянутой руки, Рольтынват любил слушать здесь, на краю земли, последние новости Хабаровска. И вот однажды ночью, когда, не переставая, третьи сутки дул северный ветер, сметая снег со льдин и перекатывая его к берегам, Рольтынват, примостившись к ящику, где лежала нераспакованная аппаратура радиостанции, писал радиogramму в Москву.

Он сообщал о том, что уэлленский рик открывает в Тэпкане школу.

2. Легенда о Рольтыргине

Сосульки на опушке малахая старого чукчи отошли от огня, и вместо них при свете костра блестели, искрились росинки. Рамнуун развязал у самых

торбазов завязки конайт¹⁾, быстро разулся и, придвинув босую ногу ближе к огню, стал просушивать свои женчи²⁾ и торбаза³⁾. От них шло облачко пара.

Чукчи—каюры собачьих упряжек—за день три раза распускали снег в чайнике, кипятили воду и пили чай. Три чайника опорожнили чукчи у костра и, когда напились, закатали чашки в тряпки и каждый спрятал их в свою нарту.

Рамнуун был замечательный рассказчик чукотских былей и небылиц. Мы слышали еще на Певеке об этом и не раз просили старика рассказать что-нибудь о Чукотской земле. И только впервые сегодня старик согласился исполнить нашу просьбу.

Подложив в костер больше плавника и разбив топором догоравшие головешки, старик откашлянулся и начал рассказывать древнюю чукотскую легенду о Рольтыргине.

«Давным-давно у Белых скал, в Эльхенмеме, на Чукотской земле, жил был сирота со своей теткой-старухой. У нас, чукчей, — сказал Рамнуун, — тетка считается для ребенка дороже, чем родная мать. — Жил сирота с теткой бедно и голодно. Однажды, когда в ээке (жирнике) оставалось очень мало жира и гас фитиль из сухого мха, решил сирота итти в селение Сешан. Там, в тридцати километрах от Белых скал, надеялся он получить жир, чтобы не остаться без света и без тепла в полярную темную ночь. Тетка долго его отговаривала.

— Куда ты пойдешь в такую даль! Одежка у тебя плохая, ты замерзнешь и не вернешься ко мне! — плакала старуха. Но мальчик оделся и вышел из яранги. Зимняя одежда его была без меховой подкладки, одинарная, какую носят самые бедные береговые чукчи.

Погода стояла хорошая. День был солнечный и без ветра. Долго шел сирота, пока наконец увидел высокие скалы.

Слышит он, что кто-то там наверху поет песенку о мальчике Рольтыргине

¹⁾ Меховые брюки.

²⁾ Меховые чулки.

³⁾ Меховая обувь.

не, что идет этот мальчик в Сешан за женой. И почувствовал вдруг сирота, что это он и есть сам Рольтыиргин, о котором поют на горах песню. Остановился он и смотрит на скалы, откуда доносится песня. Сидят на скале два человека и просят его зайти к ним в гости.

— Не могу, — отвечает мальчик. — Я тороплюсь в Сешан за жиром. Меня ждет в яранге тетка, и я должен скорее вернуться к ней!

— Слушай, Рольтыиргин! — сказал снова человек со скалы. — Здесь в горах живет один старик, он обязательно просил тебя зайти к нему.

Рольтыиргин согласился зайти к старику, — он был приучен уважать старших. К нему спустились двое с гор. Это были не люди, а духи. Они завязали ему глаза, но мальчик почувствовал, что поднимается высоко-высоко. Когда открыли ему глаза, он увидел, что стоит перед ярангой, сложенной из камней, как строили чукчи свои жилища в глубокой старину. Услышал он голос из яранги, приглашающий его зайти. Рольтыиргин вошел в ярангу и увидел там старика.

Старик сказал мальчику так:

— В Сешане живет старый кочевник — чаучу, — у которого есть молодая дочь, очень красивая собою. Чаучу этот все равно скоро помрет, так ты женись на ней, Рольтыиргин!

— Где уж мне жениться? Я беден, у меня нет ни собак, ни хорошей одежды!

Тогда старик приказал духам принести для Рольтыиргина красивую одежду, и в новой кухлянке и в новых конайтах Рольтыиргин стал выше ростом и самым красивым юношей на Чукотской земле. Велел старик духам позвать собак и привезти нарты. Духи привели ему двух волков, запряженных в нарты.

— Ты не бойся их, Рольтыиргин! — сказал старик. — Они побегут быстрее собак! В Сешане живут две сестры, они будут к тебе свататься. Ты не бери их, они плохие женщины.

Научил старик его одной песенке и сказал: «Когда станешь под'езжать к

селению Сешан, затяни эту песенку. Тебя услышит красивая девушка, дочь старого чаучу, и сразу полюбит. Сейчас погода тихая, ясная, и хорошо слышно издали. Под'едешь к мысу и запой. Она услышит и выйдет к тебе навстречу».

Опять завязали глаза Рольтыиргину, а когда сняли повязку, то увидел он, что едет на нарте по морю, которое замерзло в том году очень ровно, без торосов. И волки бегут быстрее собак. У мыса чуть придержал Рольтыиргин волков и запел песенку, которую научил его петь старик. В то время девушка-невеста работала в пологе, отец ее был на охоте. Как только услышала девушка песенку из-за мыса, тотчас выбежала из яранги, стоит и слушает. Две сестры, о которых говорил старик, тоже услышали песенку и выбежали из яранги. Дочь старого чаучу радостно позвала свою мать и сказала ей:

— Смотри, кто-то едет из-за мыса! Не пойму никак: то ли на собаках едет, то ли на оленях? Очень быстро мчится и песенку спел красивую.

И почувствовала девушка, что любит Рольтыиргина.

Две сестры тоже были восхищены этой песенкой, но решили, что это не иначе какой-нибудь чорт едет, и не подошли к нартам. А волки будто знали, куда им ехать. Подкатили нарты к яранге старого чаучу и остановились. Выбежала девушка-невеста встречать приезжего, увидела волков и удивилась:

— Какие они большие да пушистые! — сказала девушка.

— Ты их не бойся! — сказал Рольтыиргин.

Тогда она подошла поближе, погладила волков и помогла распрячь их. А после сбегала, принесла для них оленьего мяса и помогла поставить нарты на козлы, чтобы собаки не погрызли ночью ремней.

Вернулся отец с охоты, приглашает приезжего зайти в полог. Рольтыиргин залез в полог, чаю напился и курит табак, которым угостил его старик.

— Откуда едешь ты? И зачем? — спросил Рольтыиргина старый чаучу.

— Еду с Белых скал, за жиром, — ответил Рольтыиргин.

Сидит старик и удивляется.

— Как же ты можешь ехать с Белых скал, когда там, где раньше было большое селение, все повывмерли, и остались только двое — одна бедная старуха со своим племянником-сиротой?

— Это и есть я самый сирота! — сказал Рольтыиргин. — Я приехал за жиром и завтра уеду обратно.

Вышли они со стариком из яранги на тундру волков посмотреть и узнать, какая завтра будет погода, а примечали это по ветру и закату. Потом зашли опять в полог. Рольтыиргин заявил вдруг старику, что приехал он сюда в Сешан за женой.

Старик сказал, что не возражает отдать свою дочь за него замуж, дело за дочерью. И сам спросил ее: хочет ли она выйти замуж за Рольтыиргина?

— Я давно хочу выйти замуж за сиротку, — сказала дочь. — Сиротки имеют всегда тяжелое детство, но зато потом, умудренные опытом, хорошо живут.

— Ну, раз дочка согласна, то и бери ее с собой! — сказал старый чаучу. — Но смотри, бери ее навсегда! Обратного к нам не присылай! Мы уже старики, скоро помрем. Родных у ней никого нет. Куда ей тогда деваться?

После того попили они еще чаю, и мать постелила им большую постель, как мужу с женой, у главного жирника с левой стороны.

Утром поехал Рольтыиргин в обратный путь. Едет он опять мимо высоких скал. И снова сидят на скалах те два человека и песенку поют про него, о том, что едет Рольтыиргин с женой на волках в свою ярангу к Белым скалам.

Спустились они к нему со скалы и говорят:

— Ты далеко на охоту не ходи! У вас около селения есть полынья в море. Там охоться и каждый день будешь убивать нерпу.

Приехал Рольтыиргин домой в Белые скалы, заходит в полог, а там уже темно. Старуха плачет: иссяк в жирни-

ке жир. В пологе холодно, и покрасились инеем стены из оленьих шкур.

Дал Рольтыиргин старухе жир, и вскоре затеплился огонек в жирнике и стало светло в пологе. Старуха удивленно смотрит на одежду племянника и на женщину, которую он привел с собой в ярангу.

— Это моя жена, — сказал он своей тетке.

Старуха ничего ему не ответила и поправила жирник, чтобы не коптил и светил ровнее.

А жена сразу за работу принялась, стала полог убирать.

— А где от отца моего оставались гарпуны и закидушки? — спросил старуху Рольтыиргин.

— А зачем они тебе?

— На охоту собираюсь!

Старуха удивилась. Рольтыиргин никогда еще не охотился один. Но достала ему гарпуны и закидушки. Он с вечера привел их в порядок и лег спать.

Поднялся Рольтыиргин рано утром, еще до восхода. Пошел на охоту, сел у полыньи за торосом, и не успели еще ноги простынуть на морозе, как вдруг показалась из воды нерпа, и он убил ее гарпуном. Вернулся домой, солнце еще не вставало. Жена быстро разделала добытую нерпу, бросила внутренности волкам. А к вечеру все три жирника в пологе Рольтыиргина сильно разгорелись от нерпячьего жира.

И каждый день с той поры стал Рольтыиргин убивать нерпу. Кочевники чаучу начали ближе подходить к Белым скалам, потому что им нужен был звериный жир для жирников. Взамен чаучу давали береговому чукче оленья мясо, шкуры и жилы для шитья одежды.

Однажды у одного богатого чаучу сильно заболел единственный сын. Отец больного поехал за Рольтыиргином и просил его полечить больного сына. Рольтыиргин отказался ехать, потому что не хотел оставлять жену, у которой приближались роды. Но чаучу разжалобил берегового чукчу, и Рольтыиргин согласился поехать к больному.

Прожил он у чаучу несколько дней, пошаманил и уехал к Белым скалам, а там у него уж и сын родился.

Понравился сын чаучу. Радуются его родители, не знают, как отблагодарить своего спасителя. Но тот от всего отказывается. Тогда предложил богатый чаучу половину своего оленьего стада.

— Лучшей мечтой берегового чукчи — стать кочевником, — сказал наш каюр Рамнуун, набивая трубку листовым черкасским табаком и поправляя огонь костра. — Что может быть лучше того, чтобы бродить по вольной тундре с оленями?

«И Рольтыиргин согласился принять дар чаучу.

— Ты летом приходи к нам, и мы отдадим тебе полстада, — сказал ему старик-чаучу на прощанье.

Приехал домой Рольтыиргин, рассказал все жене и тетке-старухе. Заплакала старуха, не хочет идти кочевать.

— Я стала стара и достаточно уже пожила — убей меня!

По обычаю он уговаривал ее целую неделю, а потом взял и удавил ее ремнем.

Летом перебрался в тундру. Сам ничего не работает, только головой работает. Чай пьет, оленей ест, в гости ездит к береговым и к оленям чукчам. Родился у него второй сын, еще лучше первого. Стали все о Рольтыиргине говорить, что вот жил был бедный сирота, а стал богачом-шаманом, и много стада у него, и много людей на него работают.

Жила одна бедная старуха на острове Иттыгран, недалеко от Чаплина. Муж у ней давно умер, и она осталась одна в яранге с кучей маленьких детей. Сама их выходила, но в один из жестоких штормов они погибли в море, — их унесло на льдине вместе с заляжкой моржей.

Богач Рольтыиргин отказал однажды старухе в помощи. Забыл об этом Рольтыиргин, но старуха помнила обиду. Стала старуха шаманиль, накликать беду на Рольтыиргина и на его детей. Сначала умер у Рольтыиргина

старший сын, и вскоре за ним закрыл свои черные быстрые глаза и второй. Отвез отец их тела на нартах в тундру, изрезал новую одежду умерших. Бросил по обычаю тела в тундре, чтобы растаскали их песцы и голодные собаки. Дома перед ярангой встретила его жена с пучком зажженного вереска и помахала его очистительным огнем у лица мужа.

Думает Рольтыиргин о том: кто же накликает на него беду и напасти?

Однажды видит во сне Рольтыиргин старуху и заметил, куда она ходит. А ходила старуха через мыс Дежнев. А сам он кочевал между Уэлленом и Науаном.

Пошел чукча подкарауливать старуху ночью к мысу Дежнев и увидел там ее.

Завязалась у них борьба. Долго они боролись. Три дня и три ночи, до самой смерти. И на том месте, где они кончились оба, стоят ныне два камня. Побольше камень — Рольтыиргин, а поменьше — остров Импенеукай, что значит по-чукотски — старушка».

Рамнуун кончил сказку, выбил трубку о плавник и спрятал ее в кисет за пазуху, под кухлянку. Он вывернул свои кенчи и торбаза и натянул их сухими на согрешшиеся у костра ноги.

Рамнуун не имел спального мешка и вытянулся на оленьей шкуре прямо возле костра, накидав в него побольше плавника, чтобы хватило до утра. Собаки, лениво вытягиваясь, подошли ближе к костру и повалились возле него на протаявшую и оголившуюся от снега землю тундряного берега.

Рамнуун подозвал головного пса, и тот, вытянув лапы, разлегся возле хозяина. За головным подошли к Рамнууну еще несколько собак. Спать с собаками рядом было теплее, и старик спал с ними в тундре, спасаясь от ветров и стужи.

На утро снова замела пурга. Ветер дул с такою силой, что гасил наши костры, и мы отлеживались в спальных мешках-кукулях, жевали сухари, заедая снегом.

3. Конец Акра-шамана

Три моржовых лежбища осталось всего-навсего на земном шаре: Инчоунское — на мысе Инчоун, Аракомчеченское — на острове Аракомчечен и Ретькинское — на мысе Ретькин. Инчоунским лежбищем владел еще недавно шаман Тынэтэйгин. Он регулировал бой моржей на лежбище и брал с каждого охотника для ведения праздника моржа звериные головы и клыки.

На Инчоунском лежбище насчитывалось до семи тысяч зверей. Лежбище небольшое, и зверям было так тесно, что они ложились в два и даже три ряда, друг на друга, нередко давая своей тяжести более слабых. Каждый раз, когда моржи покидали лежбище и уходили в море, на берегу оставалось до полутора десятков задавленных зверей.

Звери ложились обычно в августе, с наступлением первых темных ночей. На прибрежной гальке моржи проводили свои брачные пиры, отдыхали, забавлялись и спали. В августе на Инчоунском лежбище стоял такой рев и стон, что чукчи за мысом не могли спать от шума. Чтобы не пугать все стадо стрельбой, зверя убивали копьём под ласт, в шею или в спину. Убивали строго определенное количество зверей, потребное для жизни чукчей. Иначе моржи могли обидеться и наслать беду на чукотские яранги.

Шаманы запрещали иноземцам ходить на лежбища. Один сотрудник-переписчик из Уэллена нарушил во время полярной переписи этот запрет. Он пошел на лежбище для того, чтобы точно описать его размеры и количество зверей, которые приходят сюда ежегодно с юга. Он долго не возвращался в Уэллен. Переписчика нашли обезглавленным недалеко от лежбища. Тело его было выброшено прибоем к самому устью лагуны.

Аракомчеченским лежбищем владел Акр-шаман. Он ходил в женском керкере-комбинезоне, объясняя это тем, что дух, покровительствовавший ему, был мужчина. Чтобы больше снискать к себе симпатии этого духа, Акр-шаман носил женскую одежду.

Никто так и не знал, почему этот злой человек убил свою молодую жену. Ее нашли на острове Аракомчечен пронзенную копьём. Не в характере чукчей расспрашивать соседа о его семейных делах, и чукчи никогда не говорили об этом происшествии.

Чукчи и эскимосы боялись этого жестокого человека в женском платье.

Акр-шаман кормил своих собак через день и только во время больших поездок кормил их ежедневно по вечерам мороженой звериной кровью, моржовым или нерплячьим мясом. До ста километров в день пробегал он на своих нартах по ровной дороге. Обирав людей, Акр-шаман заботился о собаках. Подъехав к яранге, Акр-шаман прежде всего распрягал собак, бросал им корм, а потом шел в теплый полог. Жирным собакам трудно работать. И у чукчей не принято кормить собак ежедневно. Собаки Акра были лучшие в округе. Они честно выполняли свою работу. Они указывали ему ледяную лунку, из которой выходил подышать свежим воздухом морской зверь — тюлень. Они возили Акра на осмотр капканов далеко от его яранги.

Чтобы задобрить шамана, чукчи таскали ему после каждой охоты звериное мясо, дарили Акру табак. Чукчи опасались, как бы Акр-шаман не накликал беду на их яранги, на их промысел.

Осенью сильным штормом оторвало льдину от берега. На льдине унесло в море чукчей и эскимосов. Акр стал распускать слухи о том, что дух-покровитель отомстил за него, подвергнув жестокой пытке людей на льдине за то, что они без должного уважения относились к шаману, ничем не одаривали его.

Акр-шаман говорил чукчам о том, что это он наслал беду на ярангу Айвана в Тэпкане. Айван никогда не дарил ему табаку и звериного мяса, и духи отомстили за Акра Айвану.

Эскимос Матлю — председатель первого и самого лучшего колхоза на Чукотке, в Чаплине, был ярым противни-

ком Акра-шамана. Шаман решил умертвить его. Акр отрезал у трупа палец, высушил его, истолок в порошок и прибавил в пищу, которой угостил Матлю. Матлю не умер. Но об этом узнали в Уэллине и судили старого шамана за покушение на убийство. Акра присудили к высылке из района. Это было самым тяжелым наказанием для чукчи.

Но еще задолго перед тем поколебалась вера у чукчей в шамана. Один пьяный шаман попросил знакомого чукчу выстрелить в него, сказав, что тело шамана не боится ни пули, ни копья. Чукча выстрелил и убил наповал шамана. Тогда чукчи стали говорить о том, что повывелись настоящие шаманы и остались только негодные. Один не мог умертвить врага, другой — сам погиб от своего бахвальства.

Акр-шаман еще до суда был замечен чукчами в том, что таскал из чужих капканов песцов. Это считается самым большим преступлением у чукчей. И Акр-шаман навсегда потерял уважение чукчей. Его дети, с которыми он обращался жестоко, отказались от него и вступили в колхоз.

По амнистии в честь годовщины Октября Акра-шамана оставили в бухте Лаврентия, не высылая в Анадырь, так далеко от Чукотского моря.

Высылка в бухту Лаврентия так подействовала на Акра-шамана, что он сбросил с себя женский керкер и стал ходить в обычном мужском одеянии. Изредка он пробовал еще пророчить, но его предсказания только вызывали смех у сородичей.

Видя Акра-шамана в мужском платье, чукчи перестали его бояться. Духпокровитель отшатнулся от шамана. Чукчи увидели слабость Акра. Видно, недаром снял с себя защитительную одежду Акр-шаман. Женский керкер не спас его от приговора, вынесенного уэленским судом.

Поздно осенью в бухте Лаврентия отставивался от шторма грузовой пароход

«Сталин», снабжавший товарами фактории и кооперативы Чукотки. Он возвращался из полярного рейса. Чукчи вышли к пароходу на байдарках, ловко забрались по шторм-трапу на борт корабля и ходили по палубе, заглядывая в открытые двери. Они ощупывали в кают-компаниях зеркала, включали и выключали электрический свет и сами пытались играть на пианино.

Среди поднявшихся на борт парохода был и Акр-шаман.

Здесь, на пароходе, он вдруг увидел своего старшего сына.

— Ты куда едешь? — спросил отец.

— Еду к Тану-Богоразу в Ленинград учиться в институте народов Севера, — ответил сын.

Глаза отца блеснули тем гневом, который некогда так страшил чукчей. Он прохрипел злобно сыну запрещающее:

— Карэм!

В это время к шторм-трапу прибежало несколько чукчей. Они звали Акра к байдарам. Боцман обходил пароход и торопил гостей с отъездом. Паровая лебедка, таракта и надсаживаясь, поднимала с морского дна тяжелый якорь, мутя илом воду. «Сталин» готовился к выходу в море.

Отец спустился по шторм-трапу в байдару, а сын, не попрощавшись, ушел к себе в каюту.

Трижды гулко и басовито прогудел салютая берегу, «Сталин». С моря шла крупная зыбь.

Акр-шаман пришел в свою ярангу, выкурил трубку и попросил жену позвать старых чукчей селения, которые изредка приносили ему американский табак в железных коробочках.

Акр-шаман объявил пришедшим, что ему пора итти на небо в светлую и чистую ярангу и что он хочет поэтому принять смерть от близких ему людей. По обычаю чукчей его отговаривали целую неделю и потом удушили ремнем и положили его тело в тундре.

Тело Акра не занесло пургой. Еще не пришла зима, как прожорливые песцы и собаки обглодали его кости.

Люди и факты

МОСТ НА АЗАРГО

Роман Фатиев

I

По равнине ползет тень, похожая на густую отару¹⁾, взбирается на кручу, переваливает через хребет.

В такой жаркий полуденный час от случайного синего облачка сумеречным становится день. Глубже опускаются тени под большими и длинными навесами саклей, и сами сакли кажутся темными, глухими. Все чаще и порывистее в кривые щели скал хлещет неровный ветер, шумно пролетая поверху, как стая птиц. Медленно, с сухим скрежетом, словно перемалывая дорожные камни, ползут арбы, — их путь долог, как долга в горах ночь.

Добрый, хорошо об'езженный иноходец после четырех суток пути начал сдавать. Загид все чаще и чаще, обжигая ладони о седельную подушку, спешивался, волоча за собою в поводу коня.

Уже давно позади гремящее Хартин-Куининское ущелье, Ругуджа и Гоаб, и теперь за перевалом Чот его родной, далекий Азарго.

Бьется грязная белая тряпка на конце чуть покачивающегося шеста, — отметка могилы «святого», — Загид знает: отсюда вниз Азарго, а вверх Цемул-Хор — Соленое Озеро. Почему это селение, величиною с ишачью голову, названо так? Никто не знает, никогда никаких озер там не было. Загид пом-

нит: только раз он был в Цемул-Хоре, это было очень и очень давно, когда еще жил отец. Кроме густых, как свалывшаяся шерсть, облаков, в которых вечно был аул, у Загида в памяти ничего не осталось. Эти облака, как непрошенные гости, врываются в комнаты и стояли в них подолгу, похожие на привидения. Он, Загид, как всегда, лежал возле очага, покрытый тяжелой отцовской буркой, лежал и глядел, как вместе с приходящими людьми, словно их призрачные двойники, вползали серые клочья облаков. Сквозь дремоту за ними было страшно наблюдать, следя, как они медленно принимали все более и более уродливые формы, таяли, расплывались, путались в ногах, обволакивали то один предмет, то другой, исчезали.

Только это и осталось в памяти у Загида о Цемул-Хоре.

Глядя на одинокое, бегущее перед ним облачко, он невольно вспомнил об этом.

Теперь путь под откос — Загид опять в седле, короткий ожог плети по крупу коня горячит и дает ему прежнюю резвость. Вот он уже догнал тень, теперь она кажется большой и грузной, под нею дышится легче и ему, и его коню.

С каждым шагом все темнее и темнее. И вдруг белый свет раздирает облако, и смутный, далекий грохот падает в ущелье. За ним — второй, третий... Первые капли дождя глухо шлепаются в мягкую пыль. Небо, оставаясь таким

¹⁾ Стадо овец.

же голубым, стеклянеет холодным блеском. По низине, под копытами коня, расплывается изогнутый клинок радуги; один конец ее ложится на скалу, другой падает в Койсу.

Это первое весеннее предгрозые, оно сразу же поглощает все звуки: и гул истока, и шум леса, и короткие удары дождевых капель о землю. Конь идет легче, шумно вбирая в себя освеженный воздух. Капли, падая в пыль, свертываются, как ртуть, в тугие серые шарики, сбегают в копытные воронки.

Загид спускается к мосту, к узкому, горбатому мосту, каких немного уже осталось в Дагестане.

Добирается до Азарго, когда хмурые предвечерние струи уже обволакивают кривой минарет. По этим темным дрожащим струям бегут другие — холодные шуршащие струи воды. С юркой торопливостью они заполняют щели, просачиваются под камни и теперь бегут по извивам дорог. Скот, словно ослепленный, теснится, то запружая проходы, то стремительно взлетая на подьемы и там замирая. Люди, всегда такие спокойные, невозмутимые, суетятся, бегают.

В этой оглушенной тишине — не то на кручах скал, не то в глуби вздувшегося потока — бьются удары грома, подкатываясь все ближе и ближе.

Человеческие голоса хотят покрыть эти удары и не могут; грохот заглушает их, а тишина, вбирая, растворяет их в себе. Потоки все гуще, сдавленное. Улицы похожи на трубы, из которых бьется черная густая масса; еще один удар грома, и вода затопит аул.

Туча не двигается, и в этой своей неподвижности она особенно страшна. Минарет подпирает ее, высверливая своим острием узкое отверстие.

Загид видит, как на край крыши осторожным шагом выходит будун¹⁾. Застыв на самом краю ее, поворачивает свой хищный профиль к востоку. Раздаются первые, уныло-тягучие слова молитвы:

— Аллаху абкар!..

Будун повторяет эти слова два раза, и — словно в ответ им — снизу, где дрожит черная густая масса человеческих тел, раздается другое:

— Ля ильля!.. Иль-алла!..

Площадь приходит в движение. По середине ее образовывается провал. Вокруг него, вначале медленно, потом быстрее и быстрее, начинают двигаться черные сторбленные фигуры. Загид не может различить, мужчины это или женщины, только отчетливо слышит, как они вразброд шлепают ногами по грязи. Они раскачиваются из стороны в сторону и тихо, почти трогательно поют:

— Ля ильля иль-алла!.. Ля ильля иль-алла!..

Круг растет. Голоса крепнут. Пение становится стройным и сильным. Это поют женщины.

— Ля иль-ля иль-алла!.. — несется снизу надрывным, протяжным стоном.

Короткие, но сильные гроззовые порывы то скрывают от Загида за густой сеткой дождя зикристов, то опять обнажают их перед ним. Их тяжелые, пропитанные жиром бади²⁾ похожи на глянцевые, вспыхивающие ответами клинки.

— Ля ильля иль-алла!..

В эти звуки священного экстаза то и дело врывается рев ишаков — трубный, дикий рев.

Прислонясь к упору навеса, Загид стоит, ошеломленный виденным. Ему кажется: если существует ад, то он должен быть именно таким: так же злорадно стихия должна терзать людей и так же наивно-беспомощны должны быть люди.

Мечутся в иступлении женщины. За ними еще более черные, чем они сами, с теми же ужимками и кривляньем, что и они, ползут длинные тени. Одни падают, другие, обегая упавших, продолжают с еще большей силой вертеться по черному, заколдованному кругу.

Устав от напряжения, Загид, оскальчиваясь на камнях, идет вниз, как вдруг на крышу крайнего дома выпрыгнул худой, высокий парень.

¹⁾ Мулла.

²⁾ Покрывала.

Легкая косоворотка на нем распахнута, из-за пестрых журабок выбились штрипки от галифе, раструбы чувяк полны грязи! Парень махнул на будуна рукой, — этот решительный жест мог означать одно: молчи! И, хотя голос будуна был давно уже перекрыт, все же тот закрыл рот. Парень, сдержив папаху с головы, скомкал ее и швырнул вниз, в толпу.

Зикр остановился.

— Вода! Вода! — надсаженно крикнул парень, подаваясь вперед. — Мост!..

Площадь покрылась желтой сыпью человеческих лиц.

— Мост!.. — повторил, парень и спрыгнул наземь.

Площадь снова пришла в движение. Где-то хлопнул выстрел. Горы глухо повторили его.

Загид видел, как метнулась хилая фигура будуна и канула в черном провале. Сверкнула молния, располосовав селение надвое. Перескакивая через уличные щели, пробегая по узким, дребезжащим мосткам, Загид кинулся по крышам саблей на холм, куда уже бежала толпа.

Койсу огибала холм, селение отсюда походило на остров. Загид был высоко над всем. Сквозь разорванные клочья облаков он видел: близко, почти рядом, косой скат горы на другом берегу Койсу; видел, как отара, словно черный страшный оползень, шла вниз, готовая смести все. Старик-чабан¹⁾ что-то кричал мальчонке, но тот не слышал; увлекаемый отарой, он бежал вниз, к мосту. Два короткошерстных волкодава кинулись наперерез баранте; испуганная и оглушенная, она отпрянула в сторону.

Тонконогий вожак-баран рогами налетел на мальчонку, повалил его и первым вбежал на мост. Чабаненок, ошеломленный ударом, лежал на земле, два волкодава барьером прикрывали его собой. Издали это место походило на воронку в черных волнах шерсти. Старик кричал хриплым, отчаянным голосом и, раздвигая палкой баранту, двигался к мосту. Мальчонка, почти невидимый за овечьими спинами, шатаясь, поднялся.

Красавец-вожак стремительными, большими скачками перелетел мост. За ним, толкаясь и теснясь, пошли передовые.

Белый свет молнии царапнул скалы, рассек отару. Она, на секунду присмирив, вдруг рванулась вперед и, переваливая через берег, камнями посыпалась с кручи. Мост сразу набух, закачался.

Загид видел, как с моста отрывались черные комья и падали в Койсу; видел, как шатался мост, готовый рухнуть. Дождь затих, словно выжидая. Старик все кричал.

Мальчонка вступил на мост. Отара на секунду задержалась. Пес, срезав угол, перескочил с берега к ногам чабана, начал наступать на черное полчище. Маленький чабан, работая палкой, словно штыком, колот наседающих на него овец, сбрасывая их в пропасть.

Мост освободился, но берега все еще продолжали осыпаться черными тушами овец. Задние давили на передних, и эти со спокойным равнодушием шли в пропасть.

Перепрыгнув на другой берег, умный пес бросился бежать вдоль него. Отара снова повернула на мост. Чабаненок чуть подался назад, и этого было достаточно, чтобы ничем не сдерживаемый поток пошел по мосту. Вода поднялась, подступила под самые упоры. Старик все еще кричал, борясь в волнах шерсти, как утопающий. Ветер изредка доносил эти крики, — они походили на рев, такой же жуткий, как самый рев воды.

Арка моста разомкнулась. Похоже — берега тронулись в разных направлениях. Над ревушей бездной выдались два острых клыка. Дождь захлестал сильнее, сбрасывая последние трепещущие комья овец. Они падали, похожие на чудовищные капли. Вместе с ними падали и расщепленные бревна и доски. Мост, казалось, не был сбит, а только сплетен и сейчас, намкнув, рассыпался. Было страшно следить, как он обнажался все больше и больше. Скоро остались торчать только одни культяпые упоры. Вода, прибывая, начала хлестать под них.

¹⁾ Пастух.

Аульский берег набухал людьми; скоро здесь стало так же тесно, как и там, где колыхалась черная, еще не отстоявшаяся масса шерсти и мяса.

Старик взывал о помощи. Загид, стоя на высоком холме, растерянно глядел на обезумевшую отару, на растерянных и бессильных людей, не в силах отдать себе отчета в происходящем. Он увидел, как плечистый старик, — он узнал в нем старого Мавлото, — порывисто поправив папаху, то бежал на самый край берега, то снова возвращался к толпе, словно боясь от нее отделиться. Треск ломающихся бревен, грохот падающих камней и быстрый, белый, как вспышка магния, свет молнии приводили его в неистовство. Он судорожно корчился, что-то кричал, будто себе в оправдание, в слепой ярости бросаясь на край бушующей бездны, и снова, ослабевший, возвращался.

Он загипнотизировал своими порывистыми и страшными движениями толпу. Очарованная, она не двигалась. Наконец старик сбросил с себя бурку и кинулся к сломанным упорам моста, головой, руками, всем телом подзывая к себе толпу, и она неудержимо последовала за ним. Он хватался за огромные камни, пытаясь столкнуть их, и — не мог. Тогда пришедшая ему на помощь толпа, зловеще хрипя и воя, роем облепила камни и с грохотом сбросила их вниз. Что хотел этим сделать старик? Остановить воду? Безумное желание.

Загид смотрел, как люди, отупев от отчаяния, делают ненужное дело, не замечая того, как брошенные ими камни, ударившись друг о друга, раскалываются, словно яичная скорлупа. Он хотел было им крикнуть, — не было голоса.

И вдруг над толпой снова появился парень в косоворотке. Теперь только Загид заметил, что в руках у него карабин. Размахивая им, он шел большими, быстрыми шагами к самому краю берегового обвала. Широко расставив ноги, он остановился на каменном возвышении. Четкими движениями вскинул карабин к плечу, — и сделал первый выстрел.

Толпа сразу замерла в каком-то еще неясном ожидании. Парень выстрелил второй раз, третий... Он бил в упор по наседающей баранте. Но она все ползла и ползла, и ничто, казалось, не в силах было ее сдержать.

Скоро рядом с парнем встал другой — с ружьествольным охотничьим ружьем. Вперемежку, обгоняя друг друга, они палили, не уставая, и Загиду уже стало казаться, что черная мохнатая полоса на том берегу начинает отставиваться. Это же заметила и толпа. На тот берег полетели камни, целый град камней. Берег начал набухать овечьими трупами. Они росли от каждого нового выстрела. И — Загид не мог поверить глазам — баранта хлынула назад. Долина огласилась ликующим ревом. Отара спасена!

Парни все еще продолжали стрелять, но теперь уже в воздух, — торжествуя.

II

Долго, до самого полудня, дымился пропитанный влагою крутой пастбищный холм. Разбредшиеся овцы, лениво выщипывая зеленую траву, бродили по нему. Овец осталось до обидного мало, и почему-то казалось, что они как-то особенно тощи.

Воздух прохладен, как всегда после дождя. Звонко гремит в ущельи Койсу. Ничто, кажется, не напоминает о том, что было ночью, только два черных клыка торчат из каменной десны берега, да легкой испариной дымитесь еще, не совсем высохшая полоса по карнизу скал, — уровень ночного подъема воды, — только это и говорит о том, что было.

Вдоль берега, вправо и влево от черных клыков, высятся завалы из овечьих трупов. Над ними кружатся липкие, назойливые мухи. Старый чабан растаскивает мохнатые овечьи туши крючковой палкой, пряча их в тень от камня. Его маленький внук рвет руками траву и засыпает их ею, то и дело с опаской взглядывая на солнце. Их две черные тени как-то особенно унылы и одиноки среди этих тройных курганов.

Над селением уже начал виться при- торный кизячный дым, и тяжело за- пахло жареным мясом: это у тех, что пошли раньше других вниз по течению Койсу и уже вернулись с перехваченным у воды мясом. Через час в очаге каж- дой сакли дымилась и шипела барани- на,—было похоже на то, что весь Азар- го справляет тризну по погибшей ауль- ской отаре.

Загид не пошел вылавливать баранов из Койсу, хотя у матери ничего, кроме кукурузного чурека да чеснока, не было. Он прибыл в свой родной Азарго, как посторонний, неизвестный никому, про- хожий. То несчастье, которое сейчас по- стигло аул, для него было чужим, — он был только случайный и далекий свидетель.

Загид сидел в сакле матери, ни о чем не расспрашивая ее, ничем не интересу- ясь. Мать тоже молчала, как молчат все горские матери, уважающие покой и одиночество своих сыновей. И только, когда солнце пошло по второму хреб- ту, Загид вышел на двор, чтобы задать корма коню. Он услышал окрик:

— Вай, Загид!..

Повернувшись, он увидел того длин- ного парня в косоворотке, — это был Кара, его кунак и однолеток. За спи- ной у него торчало дуло карабина.

— Мне сказали, что видели тебя вчера...

Загид провел Кару в саклю.

— Какое несчастье! — грустно про- говорил Загид. — Как теперь будет жить Азарго?

— Да, больше половины погибло, — согласился Кара. — А главное, мост теперь нужно строить. Как с этим быть?.. Ну, ладно! Сегодня аульский сход, решим... Как в городе? скажи...

— Как в городе? Хорошо.

— Хорошо! — снял с плеча Кара ка- рабин и стукнул им об пол. — Хорошо, да?.. А от нас все уехали. Никого нет в ячейке. Айшат, и та уехала...

Загид рассказал Каре о встрече с Фатимат в Буйнакске.

— Видишь, все там! — сокрушался Кара. — Трудно теперь. Как хорошо, что ты приехал!

Кара ушел также неожиданно, как и пришел. Загид проводил гостя до ворот.

— Не забудь, — сказал Кара, про- щаясь, — к вечеру аульский сход.

Загид прошел вдоль улицы до самых ворот аула. Ему встретилось несколько аульчан с бараньими тушами на пле- чах. Один старик нес двух связанных по ногам барашков. При взгляде на них казалось, что он несет не баранью тушу, а сгусток крови, — так они бы- ли изодраны и окровавлены. Загид опять вспомнил kloчущую черную ре- ку и разбивающихся об острые камни падающих баранов. Запах паленого мя- са остро напомнил о страшной ночи.

Загид повернул домой и сидел, не выходя из сакли, до вечера, до самого начала схода.

Что здесь такое? судилище или джа- маат¹⁾, убийство или помилование? Осты- ла расплавленная медь хребтов, аул просветлел, словно поднялся из низины выше, тени укоротились. Время вечер- ней молитвы прошло, но никто не по- кинул гетикан, — каждый решил поме- длить еще час, узаконное время от- рочки. Старики, похожие на библей- ских пророков, сохраняя торжественную важность, сидели на почетном месте, у самого выступа михры, не двигаясь. За все время никто из них не проронил ни одного слова. И это их упорное молча- ние было особенно тягостно. Кажется, судя по их позам, они безразлично от- носятся к тому, что происходит сейчас. И только по жадному огню глаз можно судить, что творится в их душах. Чер- ные старухи, юркие, как ящерицы, пря- чась в щелях саклей, в подворотнях и под навесами, следят отовсюду.

Бледные струи кизячного дыма вьют- ся над этим, сплошь состоящим из шер- сти, кругом. Чернолицый горец, переби- рая четки, поет: «Ля илья иль-алла!», покачиваясь из стороны в сторону. Он поет с полускрытыми глазами, — по- хоже, что он не слышит ничего вокруг. Но это только так кажется. Двое дру- гих, в рваных и залатанных, как будто сшитых из отдельных разноцветных

¹⁾ Аульский сход.

кусочков, бешметах, стоят возле и несвязно, поглощенные каждый своею мыслью, разговаривают. Один — с большим, в расщепленных ножнах, кинжалом, таким тяжелым, что он оттянул ему пояс и повис, словно у мясника, между колен, говорит спокойно и тихо, с ярвым вызовом на разговор своего собеседника.

— В чью голову пришла такая мысль — строить мост из святого камня? Кто решился ее высказать? Я Кахкар¹⁾, накажи его!.. — он так громко щелкнул зубами, как будто у него треснула челюсть. — Только в собачьей голове она могла родиться.

Его собеседник, искоса взглянув на него, побоялся ему ответить.

— Кто потерял свою землю, кто ушел в город, кто проклят своими родственниками, тот сказал это! Нельзя подумать — какие слова!..

— Что слова! — наконец снизошел до ответа тот, к кому обращался говоривший. — Они без головы и хвоста, не удержишь их. Сказал — и вот пошли скакать...

Они взглянули друг на друга и, словно по команде, умолкли.

А гетикан набухал, поднимался, готовый выплеснуться из своих берегов.

Загид с трудом добрался до самого остроконечного выступа михры и, вдавившись в одну из ниш, ждал, когда начнут говорить «белые бороды». Но они попрежнему сидели спокойно, даже не переговариваясь между собой, — они как бы наслаждались этим предгрозем человеческих чувств, ожидая бури. Загид, повременив еще с полчаса, поднялся на уступ михры, чтобы найти других — Абдурахмана, Гамзата Мавлото — и перейти к ним. И только стоило ему подняться на голову выше есей толпы, как сейчас же взоры всех обратились к нему. Откуда-то со стороны кадиевского дома раздался громкий и злой выкрик:

— Будет мост?

— Как сход решит! — ответил Загид, наклоня голову. — Как жить без моста? Нужен мост!

— Что же, в горах камня мало, что могильный хотите брать? — повторил вопрос тот же голос.

— Этого никто еще не решил, — повернулся на крик Загид. — Вот сход решит... — Он опять сделал то же движение головой, оглядывая сидящих стариков.

— Нужен мост, все отдадим: и камни с могил, и бревна с ворот, все!

У Загида явилось непреодолимое желание сказать о мосте много, и так, как он все это время думал, но что-то непонятное удержало его от этого. Он вопрошающими глазами оглядывал толпу, словно ища в ней поддержку. И вдруг он увидел, как из тех рядов, что в ногах его, поднялся Мавлото, поправил на голове папаху и направился к михре. Загид посторонился, чтобы дать ему место, но тот не взошел на уступ, заговорил снизу. Гул начал порывисто стихать, и скоро стало совсем тихо. Мавлото тронул короткие усы, осмотрел испытующим взглядом стоящих справа, потом слева, и только тогда начал:

— Джамаат! — было первое его слово. — Джамаат! Кто выйдет сюда и скажет, что мост Азарго не нужен? Не найдется такого человека, его нет среди всех сельчан!.. Мост нужен, и его нужно строить. Но где взять такие деревья, из которых он раньше был построен? Теперь таких деревьев нет. Где взять столько камня, чтобы из камня сложить его? Кому тесать его?..

Круг сомкнулся вокруг Мавлото, со всех сторон устремились на него взоры. На одних лицах появилось любопытство, на других — вопрос, на третьих — злая усмешка, на четвертых — испуг. Мавлото сделал паузу, и это безмолвие показалось тягостным Загиду. Его опять охватило желание заговорить страстно, горячо, но он сдержал себя.

— Нужно взять с кладбища камни и из них класть мост! — наконец произнес Мавлото, обводя близстоящих глазами.

Гетикан вдруг взорвался неистовой суматохой противоречивых возгласов. Нельзя было понять: стоны это или крики? Загид, огулушенный, решил, что

¹⁾ О боже-мститель!

вопрос о мосте позорно провален: сход против. Он торопливо искал глазами Гамзата и, когда увидел его, махнул ему рукой, чтобы тот шел к нему. В эту минуту предложение Мавлото самому Загиду показалось действительно нелепым. Но это только на одну минуту. «Почему?» — спросил он себя и не нашелся, что ответить.

Сход шумел, но это уже был равнодушный шум усталого зверя. Голова Гамзата ныряла то там, то здесь, постепенно приближаясь к Загиду. Мавлото толпа отмыла в сторону.

— Да, камни с могил нужно отдать! — неожиданно для самого себя выкрикнул Загид, взмахнув кулаком, словно грозя кому-то. — Как без моста Азарго будет жить? Мост будем строить!

— Будем строить! — отдалось понижу. — Будем!..

— Решайте теперь: отдаем могильные камни или нет? Только из этих камней можно построить такой мост, как был; из других — нужны чугунные балки. Разве их можно доставить к нам из Буйнакса? Разве привьючить их к ишкаам? Разве доволокут они их?..

— Будем строить! — снова ударило снизу. — Отдать камни!

— Кто не хочет отдавать, пусть скажет сейчас — почему? Будем слушать, Вай, Муэддин, говори!

Но никто из стариков не пошевелился, никто не вышел.

— Берем камни на мост! — крикнул еще раз Загид и прыгнул с михры.

Сход медленно, словно нехотя, начал расходиться, и скоро гетикан опустел.

Загид долго ходил по селению, спрашивая себя о том, что произошло, и — не мог ответить. Тревогу и подозрение ему внушило поведение стариков. Почему так быстро и так легко все согласилось отдать камни? Он, Загид, этого никак не ждал.

Он помнил, какие раньше собирались сходы в Азарго, и потому сегодняшней сход ему казался как бы не настоящим. Хотя все было, как должно быть: были старшины тухумов, были старики и даже был будун, — он видел его, хотя тот и прятался за спины. Он

помнит, как было раньше всегда: еще не успеют предложить и вопроса сходу, как какая-нибудь «белая борода» уже рапортует, что мы, мол, за, что мы, мол, благодарствуем аллаха за совет, довольны все, от великого до малого, новыми порядками и всем другим. Так обычно было. Никто другой и не говорил, как только они, и если начать настаивать, тогда кто-нибудь выйдет и повторит те же слова, что были сказаны «белой бородой». И так и не узнаешь правды и истинного положения дел. Почему же сегодня было по-другому? Загид ждал, что именно так и будет: выйдет старик и скажет, что нельзя трогать святые камни, нельзя оскорблять умерших и гневить бога, а за ним выйдет другой и повторит это же.

И уже тогда, стоя на михре, жалел, что он один, что друзей нет с ним рядом. Но все сложилось совсем по-другому: никто даже и не сказал ничего. А ведь как речисты бывали джамааты в Азарго! Чувствовал Загид: что-то здесь не так, не могут старики согласиться на то, чтобы камни были взяты. Но почему же они молчали? Ведь он, Загид, был один, — чего ж им бояться? А может быть, Мавлото говорил не то, что думал, может быть, и Мавлото лицемерил, как лицемерит Гаджи, когда нужно скрыть свои мысли?.. Загид знал хорошо, что нельзя добиться правды от тех, кто стоит впереди друзей: правда идет от тех, кто стоит сзади. Но эти никогда не говорят. Они прячутся за краснобородыми и таят в себе то настоящее значение сказанных громко слов, которое им и тем, что стоят впереди, известно. Он знал речистость и дипломатичность говоривших первыми. Он так же хорошо знал, как крепко заостенело его родное селение в стародавних атадах, как стоит оно против всяких нововведений, как боится оно расстаться с прошлым...

Загид понимал и чувствовал это, и это было страшное, новое и такое понятное ощущение, и он был рад, что оно перешло к нему. Он сразу понял, как далек его аул от жизни, от той настоящей жизни, какая сейчас идет всюду, как он темен и стар! Постепенно это

чувство становилось все более острым, и он уже мог все свои мысли сосредоточить на нем одном: он ясно себе представил все прошлое Азарго, всю его жизнь, и тогда понял, почему это происходит.

На тяжелой, скрипучей и неуклюжей арбе предстало его детство. Эта арба шла в горы, и буйволы не могли уже больше ее тащить, — встали... Кругом был туман, все было смутно и невидимо... Тогда он слез с нее и пошел один — арба осталась позади...

Нет, Загид не напрасно приехал в Азарго! Он нашел свою арбу, свою прошлую жизнь... Теперь он с уверенностью может сказать, что он поможет ей вытянуться.

И Загид шел между узких каменных стен, заглядывал в двери и ворота, вдыхал знакомые и приятные запахи самана и кизьяка. Азарго был тот же. Те же змеиные щели, скривленные ограды и провалившиеся подворотни... Та же несмываемая грязь дворов и улиц. И — удивительная тишина, какую он уже давно не слышал там, где живут городские люди, — густая и обволакивающая. Она казалась Загиду неестественной и коварной, как сегодняшней сход.

Загид поднялся на холм, откуда платиновой лентой виднелось Койсу, и там простоял долго — пока не стемнело.

III

Какие надгробия оставить, а какие отдать на постройку моста, будун сам решить не мог.

— Об этом надо спросить кадия из Цемул-Хора, — сказал он. — Тот знает...

Ни один из старшин гухумов ничего не нашелся возразить: справедливо сказал будун! Нужно надгробия взять у тех, кто менее праведен. А кто это может решить? Конечно один только кадий.

И на другой день, когда солнце еще не вышло из-за гор, уехал в Цемул-Хор человек. А сельсовет в тот же день отправил своего человека в Махач-Кала за техником: хороший мост надо строить!

Неделя прошла с того самого дня, как уехали люди, и ни один из них еще не вернулся. Густели с каждым днем учары: только и было разговора, что о мосте. Говорили разное, каждый свое. Только бородатый Шагабуддин молчал. Почему? Никто не мог понять, ведь спрашивали всех, кто против моста. Не было такого! Да и как же жить без моста: больше ста верст в обход итти надо, — не близкий путь! А как отару гонять?.. Да, мост нужен! Только почему молчит Шагабуддин?..

Другие старшины тухумов, хотя и дали свое согласие на постройку моста, теперь, глядя на Шагабуддина, стали сомневаться: так ли они сделали? Обратиться к нему сейчас, когда вопрос уже решен, когда в Цемул-Хор отправлен человек, — это значило бы обидеть Шагабуддина: почему могли решить тогда, когда он ничего не сказал? Все тяжелее смотрел Шагабуддин на окружающих, все чаще приходил на учары слушать, что говорят о мосте.

И в этот раз, когда Загид, завернувшись в мохнатую хапочу, сидел среди прочих на большом, гладком, как кость, бревне, слушал внимательно разговоры, он заметил, что Шагабуддину не терпится сказать свое слово, но он не хочет себя унижить до этого. Как можно, чтобы Шагабуддин вступил в спор?

Темнел Шагабуддин, исходя тяжелым смрадом, словно разлагаясь изо дня в день. Через пять человек Загид чувствовал тошнотворный, смешанный с чесночным, запах гниющего мяса и шерсти. Окаменев в своей обычной позе, скрестив руки, опустив голову, спутав рыжую щетину бороды с черной шерстью хапочи, он сидел так часами.

Загид с отвращением глядел на него, перебарывая в себе все возрастающее чувство неприязни.

Недаром Шагабуддин был прозван Залимау — свирепый. Никто его иначе и не звал, как Залимау. Даже старики. Его взгляда боялись: он был тяжел, словно камень. Так и говорили: «Волчий взгляд для овцы — смерть, для человека — взгляд Залимау». Он редко смотрел на того, с кем говорил, словно зная ему цену. Говорил же Залимау

неохотно, силло и скрипуче, жалея слова и голос. Лицо его было медно, как пережженный в чаре¹⁾ кувшин, и волосато, как хапоча. И когда он только еще собирался произнести первое слово, у него двигались уши.

— Залимау! Залимау! — кричали дети, видя его издали, и кидались врассыпную. — Залимау!..

Даже псы, пригибаясь к земле, поджав хвосты, уползали в подворотни.

Он был страшен всему селению.

Старики хорошо еще помнили, как он, Залимау, в день первой борозды, когда были игры и скачки, и он с Большим Кадиром оказался победителем во всем: и в джигитовке, и в стрельбе, и в бросании камня, даже кони их пришли первыми, голова в голову, и потому нельзя было решить, кто из них достоин принять звание учан-тарау, и тогда-то Залимау предложил:

— Кто скорее съест живую змею, тот и будет учан-тарау.

Им поймали в расщелинах скал двух змей и принесли. Давясь и отрывивая, они начали их есть. Змеи извивались и выскальзывали, они же, сдавив им головы, запикивали их в рот, смотря безумными глазами на окружающих. Кадир не мог дожевать змею, сплюнул зеленой харкотинной: Залимау съедал всю, вместе с головой. Он победил. После этого получил власть учан-тарау — страшную, неограниченную власть победителя. Старики не помнили, чтобы кто-нибудь так пользовался властью учан-тарау, как он:

— Это приказал Залимау!

Тот, к кому относилось это приказание, знал: его нужно выполнить, иначе Залимау на пощадит.

Все это хорошо, слишком хорошо знал Загид. И до сих пор еще не мог преодолеть детского, почти мистического страха перед ним. Залимау же, не пропуская ни одного дня, приходил на учар. Приходил он после второй утренней молитвы, когда солнце еще только карабкалось на спины гор, и сидел до восхода. Потом уходил на молитву и снова приходил — до обеда. И так еже-

дневно. Когда бы Загид ни пришел на учар, он всегда был здесь. Слушал и... молчал. Порой Загиду казалось, что его широкие уши, примятые мохнатой папай, шевелятся, как уши собаки.

И все же, несмотря на молчание стариков, учары иногда были оживленны, как бывают они оживленны только под осень, когда на полях собрана пшеница и сломана кукуруза, когда отдых заслужен и долгожданен.

Молодежь горячо и смело поддерживала мысль начать строить мост из мегальных плит. Старики молчали. И, как всегда на учарах, от разговоров о мосте переходили на собственные дела, от них — к дороге: кто во сколько дней добрался до Буйнакса; и от дороги — опять к мосту. Когда говорила молодежь, было шумно и весело, но стоило заговорить кому-нибудь из стариков, все сразу притихало: в далеких горах еще живы традиции прошлого. Старики осуждали старого Абдулу и его внука, которым доверили общественную отару, а они не уберегли ее: но осуждали не резко — так только, чтобы поговорить.

— На каждого своя судьба, — говорил старый Мавлото, и в его мутных глазах светилась мудрость, накопленная за долгую жизнь. Он шурил глаз и качал головой, и нельзя было понять, осуждает он или оправдывает Абдулу. — Каждый знает, что доброе имя целой отары может испортить маленькая овечка... Значит, так угодно было аллаху...

Молодежь на это молчала тем учтивым молчаньем, которое свойственно только горцам далеких селений, боясь даже слишком пристальным взглядом оскорбить старика.

Но сегодня старый Мавлото говорил иначе, и слова, и мысли у него были другие, сегодня кое-кто уже решался возразить.

Мавлото говорил:

— Что, если жизнь на земле стала такой, что человек не хочет трудиться, а хочет взять все готовое, то, что сделано его отцами и дедами. Что можно спросить с такого человека? Что он мо-

¹⁾ Печь для обжига глиняных изделий.

жет дать? Он хочет легкого труда и легкого хлеба, он не хочет есть кукурузу, а ищет пшеницу. Такому человеку трудно жить в горах, он идет в город.

Загид, услышав эти слова, подался вперед, но прямой и строгий взгляд старика остановил его, и он опять опустился на бревно.

— Нашим отцам этот мост разве легче было построить, чем теперь нам? Труднее! И они все же построили. Когда начали строить его, мне было семь лет, а когда кончили, мне уже было двенадцать, и я помогал им... И вот сколько лет прошло, как стоит он, и все ходили по нему, сокращая намного дорогу, и никто не задумался, как он был построен.

Мавлото повернулся в сторону Загида и теперь говорил, глядя на него:

— Молодежь и не хочет знать, как строили их деды, как вырубали в скалах дыры и туда засовывали такие бревна, что шесть ишаков, и те не могли волочить их по земле. И откуда эти бревна привезены?..

Старик провел ладонью по бревну, на котором сидели все, и заключил:

— Сейчас такого и дерева-то не найти, — срубили их...

— И не надо! Из бетона и железа будем строить! — крикнул Загид с края учара.

Как будто не слышал этих слов старик; огладив бороду, продолжал:

— Много ли теперь людей, которые делают себе поля — камни и землю носят? Мало таких стало... Плохо это... И еще плохо, — старик взглянул на Загида, словно впервые заметил его, — когда кто-нибудь побывает там, в городе, в горы уже и не хочет ехать... Много там соблазнов, удовольствий много... В ауле уже скучно и делать нечего. Да еще если научится по-русски говорить, на своем родном языке ни с кем говорить не хочет. И это плохо!..

Загид отвел глаза от старика, насупился. Тот опять с любовной лаской погладил бревно.

— И скалы ломаются, и дерево, — как не сломаться людям?

Все хорошо поняли скрытый смысл этой фразы. Понял и Загид; он изви-

няюще взглянул на старика и вдруг порывисто встал.

— Построим мост, хороший построим мост! — крикнул Загид.

Старик улыбнулся, улыбнулся и рыжий Залимау, и это было две такие несхожие улыбки.

— Кто будет строить — ты?.. — спросил, щетина брови, Залимау. И тут же сам ответил: — Некому строить мост!..

— Как некому? Всем обществом строить будем!

— Всем обществом? — Залимау улыбнулся снова.

Загид оглядел учар, словно ища поддержки, помялся, затем, чмокнув языком, зло выпалил:

— Тебе мост не нужен, да? Ты по нему ходить не будешь? Нет?.. Тебе по Эль-Сырратскому¹⁾ мосту нужно идти!.. — и ткнул рукавом в небо. — Тебя ждут там сорок гурий и баранья отара, и русский самовар, и... — Загид запнулся, не зная, что еще может ждать почтенного Шагабуддина.

Старик медленно, с усилием выпрямился во весь свой огромный рост, зашевелил ключьями бровей. Загид умолк. Он хотел было сплунуть через плечо, но во-время удержался. Шумно проглотил невыплюнутую слюну. Учар притих, он весь ушел в слух: такие слова в горах еще никто не говорил старикам.

Залимау все выпрямлялся, словно в нем вывинчивалась невидимая пружина, он рос, — это было действительно страшно. Загид отклонился назад, — так отклоняются в драке, остерегаясь неожиданного удара, — застыл. Было заметно, что только сейчас он понял смысл сказанных им слов.

— Ты из города, молодой? Ты что, не знаешь, что в горах седины священны?..

Так пытались устремленные на него глаза всех, кто был вокруг, и он, растерявшись, оробел.

Залимау, освободив правую руку, погладил ею опушь хапочи. Все ждали, что он скажет, но он, пожевав черные, сухие губы, отвернулся. Худое, про-

¹⁾ Адов мост в рай.

зрачное лицо его сморщилось. Постояв чуть, он отошел на конец учара.

Учар недолго оставался тихим, холодная капля ненадолго могла остановить его кипение: через полчаса он снова бурлил ключом.

— Строить мост надо на разливе Койсу, где вода ниже, где дно тверже, — вскочив со своего места, голосил Замир, багровея от крика. — На пути в Цхо!

— Сколько камня тогда надо? Кладбища нехватит, сакии тогда ломать надо! — урезонивал Замира рябой Магома. — Один мост у нас и будет, а жить будет негде...

— Техник придет и скажет, на каком месте, — остановил спор спокойный Гамзалау, отряхивая хапочу.

— Мост на Цхо, что мост в Махач-Кала! Сколько сократим дороги? — кричал Замир, но, не встретив видимой поддержки, сконфуженный сел.

Воспользовавшись тишиной, тухлявый, как сгнивший пень, старик ядовито, ни к кому не относя сказанного, вставил:

— Благодатно то селение, ворота которого стоят к востоку.

— Что же, значит, там, где был старый мост, там и новый строить?! — дернулся Замир.

Старик не повел бровью.

Неожиданно, когда все уже забыли о Залимау, он трескуче, разрывая сухой воздух, проговорил:

— Нельзя из камня, который ответственность бога, класть мост. Не будет он стоять.

Помолчал, затем ткнул черным пальцем на запад, где было Цхо, потом на восток, где стоял мост. — Что отдано на святое дело, то обратно взять нельзя... — Старик быстро убрал руку под хапочу. — Не будет стоять такой мост, — еще раз тверже проговорил он, уползая головой из можнатый воротник шубы.

Загид вздрогнул, как и все другие.

— Как собаки, без отметок, на земле будете лежать вы! Когда придет еще раз Мухамед, он не найдет вас... — В горле у Залимау заклокотало, тяжелая шуба его то вздувалась, то опадала, как

мех; лицо стало черным, словно обуглилось.

Залимау встал и ушел, — это было впервые, когда он ушел раньше предобеденного часа.

Какая судьба забросила в Цемул-Хор кадия, никто не знал. Говорили, что он бежал вместе с Алихановым и тремя его сыновьями в Грузию, и, когда те погибли в пути, он вернулся и остался жить в Цемул-Хоре. Знали также, что он два раза ездил к шейху Али Акушинскому, и после того, как шейх Али умер, стал жить безвыездно в Цемул-Хоре. И первое, куда он выехал, было Азарго.

Он прибыл в полдень в сопровождении будуна и трех своих мюридов.

Старшины тухумов вышли на дорогу с хлебом-солью, чтобы приветствовать его. Он проехал прямо в дом Залимау и у него остановился. Весь аул заговорил шопотом, как в дни поста. Женщины больше, чем надо, прикрикивали на детей, учары опустели, только в доме уполномоченного аулсовета стоял гвалт сильнее прежнего.

Уполномоченный не мог понять, нужен ли кадий, чтобы с могил взять каменные надгробия, которые сами родственники умерших отдали на мост, или нет. Думал — и не мог решить. В его сакле толкалось все больше и больше народа, это была уже не сакля и не канцелярия уполномоченного азаргинского аулсовета, а учар. И разное здесь говорили — то же, что говорят на учаре. Уполномоченный слушал и не знал, что предпринять.

Говорили: когда кадий под'езжал к аулу, дорогу ему перешла женщина с золой, а это, как известно каждому горцу, предвещает несчастье: не будет хорошим мост.

Говорили: ночью в комнату, где спал кадий, влетела птица. Беда неминуема, — разрушится мост.

Говорили: та сухая чинара, что стоит при в'езде в аул, нецветшая уже несколько лет, сейчас, к лету, вдруг зацвела: смоев вода мост.

И уже стали говорить о том, что кадий не пойдет на кладбище, и некото-

рые передавали те слова, что сказал приехавший цемул-хорец:

— Обтесанный камень не должен лежать без дела у дороги. Кто возьмет его на саклю, у того она будет крепче, но кто возьмет обтесанный могильный камень и положит его в камни своей сакли, сакля того разрушится первой... Как же можно строить целый мост из могильных камней?..

Из сакли уполномоченного по всему Азарго шел такой гаргар. Такой же гаргар шел и из сакли Залимау.

IV

Загид долго думал над словами старого Мавлото и наконец решил пойти к нему и еще раз, наедине, обо всем поговорить. Застал он его за починкой седла: Мавлото скреплял лопнувшую лучку.

— Алейкум салам! — приветствовал Загид, сгибаясь у низкой подворотни. Загид нарочно отдал этот старый салам Мавлото, чтобы сразу заручиться его расположением, и легко простил себе этот естественный метод житейской дипломатии.

Мавлото отбросил от себя седло, радостно принял салам, встал и протянул Загиду руку.

— Будь гостем.

И, толкнув толстую дверь, проводил в дом, крикнув что-то жене. Та метнулась навстречу, но, увидев входящего Загида, торопливо закрыла нижнюю часть лица чухтой¹⁾ и подалась назад. Мавлото бросил несколько подушек на ковер, предлагая Загиду сесть. Его жена, опустившись поодаль на колени, гремя медным тазом, принялась месить тесто. Дети, кроме самого маленького, сейчас же выбежали на двор.

Мавлото, как и подобает настоящему горцу, не удивился приходу Загида и не задал вопроса, зачем он пришел. Загид же не знал, как приступить к этому, как ему казалось, очень важному делу. Мавлото, словно нарочно, в разговоре ни разу не упомянул об аульском сходе.

Загид сам заговорил о нем. И Мавлото как бы нехотя ответил:

— Такая стала молодежь — скорей папаху сменить на кепку, онучи — на башмаки с кнопками... А аул пусть живет, как жил... Пусть в нем будет все так же плохо, как было...

Мавлото похрустел кукурузным листом, повертел, разглядывая его, в руках и, помолчав, продолжал:

— Есть и неплохое в старых обычаях... И даже хорошее есть, очень хорошее. А вот парень побывает в городе, вернется в аул и давай смеяться над девушками, что они не хотят разговаривать с ним, любезничать и на виду у всего аула гулять. Разве старый обычай так говорит? И, скажешь, плохой обычай?.. А ведь те парни, что не были в городе, считают, что так надо делать...

Мавлото долго и напряженно раскуривал свернутую из кукурузных листьев самокрутку, пряча от Загида глаза. И после того, как пыхнул два раза крепким «шамильским» табаком, повел разговор о другом.

Тогда, наконец решившись, Загид спросил прямо:

— Кадий не даст камни на мост, как ты думаешь, Мавлото?

— Не даст? — улыбнулся Мавлото. — Зачем они ему?

— Зачем?.. Знаешь, Мавлото, поговорку: будун чеснока не ест, а если найдет, так *и кожу с него не оставит. Не нужны они ему, а дать, не даст! — Загид подобрал на ладони серебряный наконечник пояса. — Натура у них такая!..

Мавлото опять улыбнулся той рассудительной улыбкой, какая свойственна только старикам.

— Ай, Загид, ты хочешь, чтобы все было сразу: чтобы и камни сразу были, и мост... Нет, так скоро не будет. Азарго — это не город...

— Но мост всем нужен! Как жить без него? Отару прогнать нельзя...

— А что отаре делать в селении? — сохраняя все ту же тихую улыбку, спросил Мавлото.

— Но как же без моста? — растерялся Загид.

¹⁾ Платок, которым женщины закрывают нижнюю часть лица.

— Нельзя без моста, — согласился Мавлото. — И скоро все это узнают... не только ты.

— Тогда скорее строить надо!

— Ни один не сказал, что не надо строить. Ты разве слышал?

— Нет.

— Так зачем же ты говоришь?

Загид не знал, что и отвечать: Мавлото был как будто и прав.

— Но скорей, скорей надо! Темпы!..

— Это новое слово, оно годится только для города.

Вот здесь-то Загид и вспомнил свои думы после схода и заторопился говорить, словно боясь, что Мавлото опередит его.

— Ты знаешь, что сейчас делается в городах? Что там строится?..

Загид волновался от обилия пришедших ему в голову мыслей. Ему хотелось сказать их сразу все, и так сказать, чтобы хорошо понял их Мавлото. Он всегда, учась в Махач-Кала, думал о том, как он придет к себе в Азарго, как он будет рассказывать о том, как работают в городе люди и что строят они. Вспомнил о Сулакской плотине, рассказал и о ней, и о Гергебиле, хотя о Гергебиле уже слышал Мавлото.

— Азарго тоже нужно так жить, — закончил Загид. — А чтобы ближе быть к городу, нужна хорошая дорога. Ты, Мавлото, это знаешь!

Да и кто этого не знает? Нет такого человека! Все Азарго это знает, не нужно и говорить об этом.

Жена Мавлото подала душистый плов и чурек. Загид и Мавлото принялись за еду.

С улицы доносился далекий шум Койсу и тягучий призыв будуну к полуденной молитве. Загид и Мавлото молчали: каждый думал о своем. Неожиданно, шумно и весело, пришел Кара.

— Вот ты где! — крикнул Кара еще со двора. — А я тебя ищу по всему селению.

Кара поздоровался с Мавлото, и этот засуетился, усаживая его на ковер.

— Я ненадолго, — сказал Кара, сдвигая на затылок рыжью папаху. — Дело у меня...

— Говори, — попросил Загид, улыбаясь в сторону Мавлото. — Может быть, он нам поможет...

— Я вчера видел, как к будуну на двор Батырхан сушеное мясо нес... — Кара задержал свой взгляд на Мавлото. — Сушеное мясо и другое что-то, сыр, верно... Вот запомни: заналы¹⁾ на батырхановских камнях не будет... Валлах, не будет!

Старик поднял брови и улыбнулся грустной улыбкой. Загид следил за ним с вопрошающим любопытством, и когда тот со спокойным равнодушием проговорил:

— Кто не знает, что будун — это собака, отнимающая святую душу у ангела! —

Загид радостно улыбнулся ему в ответ.

— Ну, Мавлото, — весело проговорил Кара, — ты веришь им не больше, чем они нам! — Кара показал рукой на дверь, и все поняли, что он показывает на дом Залимау. — Верно, Мавлото?

Мавлото промолчал. Кара не стал допытываться: он по глазам видел, что да, — Мавлото согласен. Перевел разговор:

— Посмотрим, чьи камни этот цемухорский кадий оставит... Посмотрим, кто окажется у него святым... Уж не твой отец конечно, Мавлото, и не мой дед! И не Абдурахмана...

— Кадий сказал, — вдруг встрепенулся Мавлото, — над кем стоит шагйда²⁾, того могила священна: камень с нее брать нельзя.

— Правильно! Пусть! — быстро согласился Загид. — Кто похоронен, как храбрый джигит, кто умер от пули врага, кто заслужил это, — пусть! Но скажи мне, добрый Мавлото, а что, если ханские камни он не отметит? Потому, может быть, что на них краски много, да?.. Потому, может быть, что они самые красивые и самые большие, да?..

Мавлото опустил голову. Загид, увидев это, замолчал. Ему хотелось не так об этом сказать: громче, обиднее, но он

¹⁾ Отметка.

²⁾ Белый тряпичный значок на шесте.

уважал Мавлото и не хотел, чтобы старик думал о нем плохо.

— Ты и все другие старики говорили, что тот, кто умер в битве с врагом, святой человек, — начал тихо Загид. — Ты рассказал мне, как вы под пулями врагов уносили тело Абдурахмана и как после за много верст везли его в Азарго, чтобы похоронить здесь... Помнишь?.. Ты и все общество поставили ему камень, а над камнем водрузили шагиду... Посмотрим: поставит на нем заналу кадий!..

— Ложка знает, какой хинкал в котле.., Спроси самого кадия, — наконец ответил Мавлото, не поднимая глаз. — Пойди, спроси, он скажет...

— И пойду! — поднялся Загид.

Кара, вдруг став серьезным, остановил его.

— Не дело комсомольцу спрашивать отчет у кадия. Успокойся, Загид, сядь!

Загид нехотя опустил ся на ковер.

— Посмотрим, — продолжал Кара, — на чьих камнях будут стоять заналы, тогда и будем разговаривать...

В холодной утренней мгле до совершения рассветной молитвы кадий в сопровождении будуна и тех, что приехали из Цемул-Хора, отправился на кладбище. Горы и само селение были еще в тумане, когда они вышли за его ворота и пошли в обход, крутыми и узкими тропами. Коней не взяли: кадий сказал, что на такое дело на конях ехать нельзя, и все хорошо поняли, почему.

Кадий шел первым, опираясь на тяжелую хансу¹⁾, упрямо смотря себе под ноги; будун возле него, а остальные — на почтительном расстоянии. В руках у будуна был коран, он нес его, крепко прижав к себе, как любимую и драгоценную ношу. Он своим размером и толщиной скорей походил на черную, с отполированной крышечкой, шкатулку, чем на книгу в кожаном переплете.

Кадий шел быстро, не останавливаясь и не оглядываясь, ни на секунду не замедляя шага, как будто за ним кто-

то бежал. И только на самой вершине хребта кадий резко, словно кто-то невидимый схватил его сзади, остановился. Те, что шли позади, приблизились к нему вплотную. Кадий дышал быстрым, горячим и зловонным дыханием.

— Там! — сказал он, показывая рукой на запад, где бродила молочная муть тумана.

— Там! — сказал будун, перекладывая коран из одной руки в другую.

Кадий снова, не сбавляя шага, двинулся вперед. Теперь пошел спуск: камни шуршали и катились из-под ног вниз, обгоняя идущих. Будун ступал осторожно, то неожиданно удлиняя шаг, то укорачивая, как бы боясь споткнуться и уронить свою ношу. Внизу, еще невидимо где, мягко, как последние, угасающие раскаты грома, рокотал поток.

Теплело. Туман смягчал и таял, олукаясь все ниже и ниже. Когда дошли до роды, настало время первого намаза. Кадий, разостлав намазык, обмыв ноги, лицо, руки и раковины ушей, встал на молитву. За ним встали тут же и другие.

Солнце еще не вышло из-за хребта, но уже ярко и полно освещало небо. Койсу перешли по камням на месте ее широкого разлива.

На кладбище, у самой могилы святого, опять совершили намаз, и шейх, еще раз специально помолившись, принялся за свое дело: ставить на могильных плитах заналы. Он читал надписи на камнях или делал вид, что читает, переходя от камня к камню и шепча слова:

— Ла хаула-вала куввата, илла-билла!¹⁾

— Святые слова разрешения, — делал утвердительный жест будун и ставил куском зеленой серы большой занал. Так двигались они, не говоря никаких других слов, кроме тех, которые произносил сам кадий. Уже много камней было намечено, когда будун хриплым от волнения голосом сказал:

— Почтенный кадий Гаджи, этот камень, что ты оставил без занала,

¹⁾ Посох.

¹⁾ Во имя всемогущего и всеильного алаха!

принадлежит отцу гяура-коммуниста, дерзкого Загида.

Кадий согласно наклонил голову и, позабыв святые слова, быстро отошел прочь. Будун размахисто полоснул по камню, сплюнув на его подножье.

Теперь кадий, прежде чем прочесть слова молитвы, взглядывал на будуна, и этот, вступив с ним в заговор глазами, утверждал и отклонял решения кадия. И чем дальше они шли по кладбищу, тем проще и наглее делался их союз: будун уже без обычных почтительных слов обращения прямо говорил:

— Эти камни все принадлежат змеиному роду, — их все нужно отдать.

И, не дожидаясь решения кадия, чертил по ним серой.

Так прошли они больше половины кладбища, когда с холма донеслись голоса людей.

— Загид! — взглядываясь, проговорил будун, со страхом и удивлением смотря на кадия. — Он!..

Кадий на минуту задержался, раздумывая, продолжать ли начатое дело, и, вдруг решив, что оно не терпит никаких отлагательств, сурово зашагал по кладбищу, забыв о голосах на холме. С той же деловитостью за ним двинулись и остальные. Теперь он подолгу задерживался у каждого надгробия, с какой-то особой внимательностью разглядывая их трещины, рисунки, словно читая по ним судьбу тех, кто лежит под камнем. Другие стояли возле, внимательно следя за полузакрытыми глазами кадия, и когда он опускал ресницы и наклонял голову, будун быстро шел к надгробию и метил его. А иногда будун острыми глазами колол кадия, выжидая отмены уже сделанного решения, — тогда кадий быстро и легко поворачивался, направляясь к другому надгробию. Их молчаливый заговор был непонятен: перед кем они скрывают то, что для каждого явно? Как жалки и противны они в своем обмане! Так могут делать только профессиональные ханжи, привыкшие лгать всем, в том числе и себе. Для них ложь — это постоянное одеяние.

Голоса на холме крепили, умножались; было слышно, что это кричат люди, объединенные одной мыслью.

— Идут, собачьи дети! Что надо этим змеям?..

Будун качнул головой, сделал тревожный и шумный выдох, повторил:

— Идут!..

Кадий не обернулся, махнул рукой на камни, воткнутые, словно черепки, в землю, — такие камни обычно ставят на поле брани, на том месте, где умирают воины, — пошел на край кладбища.

Будун быстрыми и привычными движениями переметил их и торопливо, боясь отстать, догнал ушедшего вперед кадия.

— Солнце сейчас над божьим домом. Не пора ли совершать кадыкак¹⁾? — запрокидывая красную бороду, спросил кадий, когда подошел к нему будун.

— Пюра, — согласился тот.

Остановились у гремящего источника. Все с деловой сосредоточенностью стали готовиться к намазу. И через несколько минут окаменели в безмолвных и покорных позах, как те щербатые куски плоского камня под откосом. Солнце, теряя форму и багровея, растеклось по голубому дну неба, — подходил полдень.

Шакальими прыжками Загид прыгал с одного камня на другой, то отскакивая в сторону и вскрикивая, словно ужаленный, то столбеня, замирал надолго, пораженный увиденным.

— Эй, глядите! — кричал он несвоим голосом. — Глядите сюда! На камне Микаилова стоит занала!.. Эй, кто не знает Микаилова? Красного партизана Микаилова!.. Все, все! Все Азарго знает Микаилова. А вот глядите — занала! И какая? Как рубец через весь камень!..

И он бежал дальше, к другому камню. Никто не успевал за ним. И отсюда снова кричал!

— Занала на камне Магомеда, сына Гамзата. Вот она — глядите!

И уже стоял над другим, читая стертую временем надпись. А через мину-

¹⁾ Полуденная молитва.

ту — над третьим. Ему не терпелось обежать все кладбище снизу доверху, оглядеть все камни, старые и новые, бедных и богатых. Он уже был не в силах сдержать свою торжествующую радость, хотя и знал хорошо, что иначе и не могло быть. И когда Кара остановил его холодно-рассудочным замечанием:

— Какие же они были бы магомедовы ставленники, если бы поступали иначе? Так и должно быть... —

Загид обиженно, словно Кара уличил его в чем-то нехорошем, остановился, вникая в смысл сказанных товарищем слов.

— Наверное еще кое-кто, вроде таких, как Залимау, хороший барнач¹⁾ пообещал...

— Да, да! — подхватил Загид. — Я видел, как им носили добро.

— Как будто ты один! — улыбнулся Кара. — Ну, дело ясно... Нужно собрать сход и поговорить.

— Завтра же!

— Нет, нужно подготовиться как следует, а не так, как в прошлый раз, — охлаждая пыл своего друга, резонно проговорил Кара, вынимая книжку и что-то чертя в ней. — Дней через пять, в четверг.

— Нельзя! Не согласен! — начал было протестовать Загид, но Кара жестом остановил его.

— Хорошо, хорошо! — быстро согласился Загид.

Обратно скакали быстро, словно везли радостную и большую новость.

У источника четыре коленопреклоненных фигуры все еще продолжали молиться.

V

Когда первые люди отправились на кладбище возить камни, полил дождь, обильный и теплый, настоящий весенний дождь. Те, что поехали, вернулись. По селению пошел гаргар: — Плохое дело начато — гневится бог... — и уже те, что ездили, не хотели ехать снова. У одного захромал конь, у другого за-

болела жена, — ну, когда горца это могло удержать от дел? Никто и не верил этому. Третий вдруг сам захворал.

Загид, Кара и Мавлото знали, что это не так. Не потому не хотят люди возить камень, что болезни напали на них всех, а по другой причине: по горской примете не нужно начинать в дождь никаких дел, а уж если оно начато, все равно удачи не будет, — небо обрекло его на гибель и оплакивает своими слезами. Дождь хорош только в день погребения, — благодатен такой человек, которого хоронят в дождливый день. Сейчас же, когда нужно брать камни, дождь — предостережение, это — немилость и гнев божий.

Для будуна же это был счастливый день! Женщины плакали и просили мужей, отцов и братьев: не трогать камня. «Бог пошлет такую грозу, какая уже была, она смоев Азарго, как смыла мост» — плача, твердили женщины. «Не надо трогать камни!» — повторяли за женщинами и дети.

Что могли сказать Кара, Загид и Мавлото? Есть такое старое поверье! Хоть и приводили довод: не бог дождь посылает, сам он идет, но никто их не слушал. «Хлынут слезы умерших, затопят Азарго» — словно сговорившись, повторял каждый.

Шли дни за днями, и никто не знал, что делать. Наконец Загид предложил Каре и Мавлото:

— Пойдемте одни, и сами будем возить камень. Покажем им... Пусть увидят — грозы нет...

Такое предложение было самое правильное.

Вечером, чтобы не быть замеченными, оседлав коней, ближним путем поехали на кладбище. Вместе с ними поехал и техник, тот, что прибыл из Махач-Кала. Он никак не мог понять всего, что происходит вокруг. И сейчас, запеленавшись в бурку, ехал, сам не зная, для чего. Он выполнил поручение, какое дали ему в Махач-Кала: уточнить место постройки моста, сделать обмер его пролета и выяснить наличие камня, который можно использовать. Вот и все. Он уже давно это сде-

¹⁾ Магарыч.

лал; теперь ему надо ехать не на кладбище, а обратно в Махач-Кала.

Кони шли легко и бодро, как обычно идут сытые кони утром. У каждого или за спиной, или у седла было по железной лопате. Загид, откинувшись в седле, пел старую аварскую песню. Мавлото ехал с ним рядом, почти стремя в стремя, наклонив голову и слушая его с тем уctивым вниманием, с каким старики слушают родные, полузабытые мотивы. Кара ехал далеко впереди, оглядывая горы и тропы. И позади всех, кутаясь в бурку, ехал сонный техник, качаясь в седле, словно в забыты.

Мы, немногие койсубулинцы и салаватцы,
Предводителем у нас сам хромой

Ражбаддин.

Вы не мыши, чтобы пробраться под
землей,

Куда вы уйдете теперь, горцы?..

Вы не птицы, чтобы взлететь к небу,

Куда полетишь ты теперь, воевода?..

Тихо и грустно пел Загид. Ехали долго: ближайшая дорога, как всегда бывает, оказалась самой длинной. После дождя Койсу разлилась, и перейти ее вброд уже было нельзя, — поехали в обход. Мавлото повторял старую и мудрую пословицу:

— Держись большой дороги и огцовских друзей...

...Только к полудню приехали к кладбищу. Разнуздав и ослабив подпруги у седел, оставили коней пастись, сами же пошли бродить по кладбищу. Загид горячо объяснял технику каждый высеченный на камне иероглиф, каждый как будто многозначительный рисунок: все это имело свое значение, свой смысл.

— Вот, смотри сюда, — говорил Загид, подводя техника к огромному, в два человеческих роста, камню. Камень был размазан, словно увядающая красавица, охрой, кинovarью, берлинской лазурью. Эта цветная какофония, состоит из сложнейшего орнамента, сплетенного из отдельных, проходящих через весь рисунок линий. Краски горят на солнце, на них трудно и больно смотреть.

— Смотри сюда, — повторил Загид, — это памятник матери Батырхана. Красив?..

Техник стоял, очарованный, разглядывая надгробие, как редкий ковер.

— Сколько такой камень стоит? Кони, и хорошего коня, нужно за него отдать!

И рядом с ним, таким праздничным и нарядным, покосившись, стоял другой — исцербленный, искромсанный. Он похож скорее на головешку, чем на памятник, — так черен и бесформен он. С края его, где еще светится маленькое белое пятнышко, чья-то заботливая рука подрисовала химическим карандашом стертые контуры символических знаков, выщербала кинжалом птицу в полете с чудовищно-огромной головой и клювом.

— Этот человек, что лежит здесь, — Загид ударил о камень ногой, — был храбрый, как орел. Понимаешь?

Техник согласно наклонил голову, удивленный тем наивным старанием и способом, каким люди стараются продлить память об умерших.

Спадающим полукругом, плашмя, вкось, торчком шли могильные плиты. Целый лес. Целое полчище. Всюду плиты, плиты... Их в десять раз больше, чем жителей в самом селении.

«Потому, может быть, они так и страшны живым, что их целый легион, целое войско» — думал техник, путаясь в сочной высокой траве.

И чем дальше шел он по этим рядам, тем ярче и ярче это первое, неожиданное впечатление запечатлевалось в его воображении. Теперь уже ему казалось, что камни выстроились перед воротами селения и ждут только сигнала, чтобы двинуться в атаку. Впереди, высоко над могилой «святого», трепещет белый короткий флаг. Именно он-то и должен привести в движение это каменное войско. Но невидимый знаменщик терпелив; он ждет, когда его ряды увеличатся. И трепещет знамя на древке, в ряды встает новое и новое пополнение... И эти отметки, что на каждом из камней, — это чины и отличия: каждый займет подобающее ему место. За много шагов можно узнать, кто похоронен под тем-то камнем, — мужчина или женщина; подойдя ближе, — кем был похороненный в жизни и что делал. Могильный камень, как

болтливый дорожный спутник, расскажет все.

Папаха, дорога, маузер и кинжал — это отдельные главы жизненной драмы умершего; мастер шапок, достигнутый в пути, зарезан в схватке кинжалом и похоронен здесь. На камне отмечены все главы его жизни, поставлена дата его погребения и написана обычная, окаменевшая, как и самый обычай погребения, надпись: «Здесь похоронен Магомед, сын Абдуллы».

Загид читал эти так похожие друг на друга надписи, рассказывая по рисункам на камнях жизнь каждого, кто лежит под ним. Простые, но удивительные биографии!

... Кара и Мавлото расседлали коней, развязали хурджуны, вынули сыр и чурек и, разбросав все это по земле, ждали Загида и техника. Все дружно сели за обед, чтобы после приняться за работу. Кара уже наметил камни, какие нужно взять первыми.

— Батырхановской жены... — разрывая чурек, говорил он. — раз!.. Два — тот, что с шагидой, на самом краю кладбища... И три — сына Мавлото... — Кара повернулся к Мавлото. — Так?..

— Правильно! — подтвердил Мавлото, разламывая сыр. — Тогда никто нам не скажет, что чужие камни взяли. Я свой первый везу на мост...

— Тогда возьмем и камень моего отца, — загорелся Загид, — и сестры тоже, всех! Все камни сразу сегодня на берег. Пусть все Азарго увидит!

— Много нам не сделать, — рассудительно проговорил Мавлото. — Трудно!

— Успеем! — крикнул Загид, торопясь дожевать чурек. — Успеем! — Он сразу повеселел и оживился.

Солнце пыло над зеленым холмом, заливая своим блеском всю котловину. В коричневых кривых трещинах, среди отлогих, без единого зеленого покрова, холмов вилась Койсу. Азарго, сдвинутый горой к равнине, выдавался серым конусом из уступа скалы. Над ним лиловыми полосами вился дым, легкий и прозрачный. Он качался в такт не то от легкого дуновения ве-

тра, не то от самих горячих лучей солнца.

Кладбище в своем бесчисленном и хаотическом нагромождении камня похоже на развалины древнего храма. Отсюда, сверху, видно, как две согбенные старческие фигуры прильнули к плоским надгробиям и, раскрыв кораны, читают вслух «кухлу» — первую молитву, которую, как говорят шейхи, аллах послал Магомеду. Отсюда кажется, они прислушиваются к тому, что исходит из недр земли, — кажется, они прислушиваются к голосам мертвцов.

— Почему они здесь? — показывая на молящихся, спросил техник.

— Сегодня барагат-сердо — день перед «великим праздником», — ответил Мавлото.

Техник старался разглядеть лица тех, что склонились у могил. И он увидел: почти все они дряхлые, такие же исцербленные, как те камни, рядом с которыми они припали ниц, такие же серые, потертые, обесцвеченные временем. Вон там, у чудовищно-огромного, с отбитым крестом, надгробия старейшего широколечий горец. Он сидит на корточках, уткнув свое пергаментное лицо в серый лист бумаги. Время от времени он трет лицо ладонями, точно обмывая его невидимой водой.

Дальше техник видит третьего, сиспитым, изможденным лицом и с черными, словно обуглившимися, руками, в которых дрожит раскрытый коран. Ему трудно даже сидеть, но он все же пришел сюда, в этот священный день поклонения мертвым. И дальше — еще и еще... Всех нельзя перечесть.

— Сегодня, — продолжал Мавлото, — завершающий день поста. О, что скажут муллы в Азарго, когда сегодня мы начнем брать камни!

— Вот и хорошо! — подхватил Загид. — Тогда все увидят, что бог с нами ничего не сделал. — Он запрокинул голову как бы затем, чтобы разглядеть на небе «всевышнего». — Что же, пора?

Мавлото обросил с себя латанный бешмет и папаху.

— Пошли!

Все быстро и дружно поднялись и, взяв лопаты, пошли на кладбище. Загид запел знакомую песню!

... Предводителем у нас сам храбрый
 Ражбаддин.
 Вы не мыши, чтоб прятаться под землей,
 Куда уйдете вы теперь, горцы?..

Подрытый со всех сторон большой батырхановский камень, словно подрубленная чинара, рухнул и, ударившись оземь, раскололся надвое.

— Вымрет весь батырхановский род, сказали бы старухи, — заметил Мавлото.

— Никто не пожалеет, — добавил Кара, счищая приставшую к основанию камня землю.

Пока техник опутывал камень ремнями, Загид ушел взнуздать коней, а Мавлото и Кара принялись за новый. Скоро Загид привел коней, к лукам их седел привязали веревки. Шумно и весело все четверо поволокли первый камень к берегу.

— Поставим его лицом к Аварго, — предложил Загид. — Пусть Батырхан и все другие видят.

— ...и ждут грозы! — добавил Кара, взглядывая вверх.

Все засмеялись, словно делая вызов раскаленному небу.

Так и сделали: камень поставили торчком, лицом к селению. Загид хотел было захватить шакиду, чтобы поставить ее рядом с камнем, но Мавлото его удержал:

— Насмешки не должно быть!

Загид послушался старика.

Отрыли и, раскачав, вынули камень родственника Мавлото и так же, конями, приволокли его к берегу.

Скоро здесь уже было несколько больших и маленьких камней. Как всегда и всюду, первыми их заметили мальчишки. Оглашая воздух ликующими криками, они кинулись на берег. Загид, Мавлото и Кара оставили приволоченный камень и пошли за новым; мальчишки, избрав мишенью батырхановское нагробие, начали его обстреливать камнями. Скоро на берегу появились и взрослые. Они приходили, взгля-

дывали на камни и снова уходили, словно боясь стать причастными к тому, что было сделано на другом берегу. Недоумение было на лицах некоторых, злоба и досада на лицах других. Одна только растерянность была всеобщей.

— Неминуемо будет беда! — говорили одни.

— Покарает бог! — повторяли другие.

И торопились уйти домой.

Но камни на кладбищенском берегу прибывали; некоторые узнавали в них надгробия своих родных и друзей и волновались больше других. К тому же будун как-то особенно долго и грустно пел с минарета свой полуденный призыв, — так обычно призывают на молитву в дни больших бедствий, — так пел будун и сегодня.

— Аллаху абкар! Аллаху абкар!.. — грустно струилось с минарета.

На берег прибывало все больше и больше народу; скоро здесь стало так многолюдно, как было в первый день грозы, когда гибла баранта. Всем уже было известно, кто возит камни: их видели с берега.

— Вай, Мавлото! — кричали ему. — Не тебе это делать, оставь эту работу молодым!

— Наймите батраков, — одним тяжело!

Кое-кто грозился, не позволяя трогать камни его родственников. На это Кара знал, что ответить: поднимал над головой протокол схода и кричал:

— А забыли постановление?

На время берег затихал, а затем снова начиналась ругань. Тогда Загид, встав на сваленные в груду камни, надрываясь, чтобы заглушить шум воды, начинал говорить:

— Эй, азаргинцы! Кого слушать хтите: самих себя или шейха и будуна? Идите работать, — он махнул в сторону кладбища и замолк.

Затих и берег. Это хорошее предзнаменование: значит, слова, которые говорил он, дошли до азаргинцев. Тогда он громче, сжимая кулаки от усилий, продолжал:

— Что же — мост стал не нужен? Или есть желание подождать до самой

осени, когда ни пеший, ни конный в Азарго не попадет? До тех пор, да?.. — и опять остановился, дожидаясь ответа. Но берег молчал.

— ... Или хотите посмотреть, как мы будем строить? Надолго же вам хватит! На целую зиму, а то и того больше, — на весь год!

Загида начинало злить это упорное молчание. Он уже был готов начать говорить обидные и вызывающие слова, как неожиданно к его ногам упал камень. Нагнулся и — сейчас же над ухом просвистел другой. Загородив лицо локтем, поднял другую руку над головой и погрозил кулаком:

— Узнаю, кто бросил, плохо тому будет!

Он не договорил: в плечо глухо ударился круглый, как бильярдный шар, камень. Загид схватился за ушибленное место, спрыгнул с возвышения. Кара и Мавлото зашли за надгробия и стояли позади них, как за прикрытием.

— Ты видел, кто бросал? — спросил Загид Кару.

— Ты сверху не видел, как же я снизу-то увижу? Да разве это важно — кто? Бросили, значит, кто-то сильно против... И не против моста, — что мост! — а против нас...

— Не все же Азарго бросало? — с раздражением, оглаживая ушибленное плечо, заметил Загид.

— А разве столько камней было брошено, сколько жителей в Азарго? — улыбнулся Кара. — Мне кажется, что летели они не из толпы, а из-за той вот скалы... — Кара осторожно высунулся и показал на большой выступ.

— ... Ну, за работу? — бросил деловито Мавлото.

— Пообедаем, и тогда опять... — ответил Загид.

И все, не взглянув на противоположный берег, направились к оставленным у кладбища седлам, где в хурджунах был хлеб и сыр.

Ночевать остались на кладбище, у самой могилы «святого». Надергав колючки, собрав конский помет, нарвав сухой травы, развели костер. Мавлото, сидя верхом на плоском надгробии, ще-

дро бросал сухую, желтую траву в огонь. Она вспыхивала на-лету, еще не касаясь густого, приторного дыма костра. Мавлото чесал твердую, корявую ладонь, напевая тихим, старческим голосом никому неведомый, только сейчас родившийся мотив. Рыжий техник стоял на коленях у самого огня, — он был без фуражки, его красные волосы и одутловатое лицо казались огненными. Он держал обеими руками серый, словно резина, кусок сушеного мяса, жевал его со злобным усилием, искажая свое темное лицо страдальческой гримасой. Мясо не только своим видом, но и плотностью походило на резину: усилия техника были напрасны, — он не мог оторвать от него ни кусочка. Кара, завернувшись в бурку, дремал, Загид, забравшись в пространство между двух сваленных плашмя плит, лежал там, как в колодке, смотря на звезды.

Чем ярче пылал костер, тем темнее становилось вокруг. Кони, стреноженные тут же у могил, ржали уже тише, спокойнее. Все устали, никому не хотелось говорить, каждый наслаждался заслуженным отдыхом.

Так, в молчании, прошло больше часа. Совсем уже стемнело, когда Кара, поднявшись на локте, обратился ко всем:

— Я думаю и все больше в этом убеждаюсь — неправильно мы поступаем. Неправильно!..

Техник перестал жевать, замер в той же позе, в какой его застали эти слова. Мавлото, как сидел с опущенной головой, так и остался сидеть. Только Загид, судорожно привскочив, крикнул чужим, хриплым голосом:

— Как неправильно?

— Думаю, неправильно... Не так надо было...

— А как? — рванулся Загид.

— Подожди, подожди, сейчас скажу, как... Обсудить хочу...

— Обсудить? — Загид положил руки на камни, словно на борта лодок. — Хорошо, давай!

Но уже сразу было видно: он — против. Такой вызов слышался в его словах, что Кара это учел и потому начал издали:

— Почему совершались все большие события в истории и в нашей жизни? Потому, что люди хотели их... Но если люди их не хотят, могут они происходить? Могут! Что же, они сами, без участия людей, происходят? Нет, Потому, что атмосфера сгущается, сгущается, и вот наступает такой момент, когда она должна разрядиться. Как? Это другой вопрос...

Загид, раскачиваясь взад и вперед, словно плывя в лодке и гребя невидимыми веслами, смотрел на Кару удивленными, непонимающими глазами. Кара, избегая его взгляда, продолжал:

—... Случилось так, что все Азарго решило отдать все камни... Все поняли, что именно так и нужно сделать — другого выхода нет... Такое дело совершилось у нас! Я не могу поверить этому... Мы, — я, ты, Мавлото, — все мы растерялись... Большое событие совершилось помимо нас! А мы что делали? Вспомни, Загид, как прошел сход. Мне как комсомольцу стыдно за него! Правда, многих из ячейки не было, но мы-то с тобой были? Были! И что мы сделали? Думал ты выступать? Я — нет! А как выступил ты?..

— Правильно выступил! — вставил Загид, не спуская глаз с Кары.

Кара улыбнулся:

— Пусть правильно! И опять не в этом все дело... Мы с тобой и все другие, такие, как мы, позади всего схода оказались. Чужую пыль глотали...

Загид отпрянул назад, скрылся за камнем.

— Что ты, Кара, говоришь? Этому смеяться надо!

— Нет, плакать! — серьезно поправил Кара. — Ты помнишь, Загид, — вдруг заторопился он, — что мы, как Абдулла и его внук, — помнишь, здесь в грозу, когда у них отара пошла в Койсу, растерялись и остановить не могли? А ведь они чабаны, им поручена отара, они отвечают за нее. И у нас так было: весь сход за то, чтобы отдать камни, а мы что? Мы не знали, что делать...

— Это так, Кара, — согласился Загид.

Кара умолк: он еще раз продумывал сказанное.

Тьма сгустилась. Горы острым треугольником огораживали каменистый холм, где, завернувшись, кто в бурку, кто в войлок, спали Загид, Кара и кудлатый техник. Мавлото же вызвался дежурить: сидел, подобрав под себя ноги, спиной прислонясь к надгробию. Он чуть слышно тянул скорбный напев, состоящий из трех повторяющихся нот. Напев был похож на причитанье, на мольбу. Далекий шакалий рев монотонно вторил ему.

Еще задолго до восхода солнца поднялся Мавлото разжечь костер, поставить на него воду в медном котле и осмотреть коней. Когда стало чуть светать, к кладбищу подскочил на своем рыжем карабахе Абдурахман, старший сын Залимау.

— Помогать хочу! — не слезая с коня, крикнул он Мавлоте.

— Как Загид... — уклончиво ответил тот. — Спрошу его... — и пошел будить Загиду.

Но Кара поднялся раньше: махнул рукой — не трожь! — и подошел к Абдурахману.

— Нам батраки не нужны! — хриплым, не отстоявшимся еще голосом проговорил он. — Поворачивай коня.

Абдурахман повременил чуть, потом страшным ударом плети рассек воздух, вздыбил коня. Камнем полетел под откос.

— Зачем ты не дал ему работать? — спросил Загид, приподнимаясь.

— Зачем? — улыбнулся знающей и суровой улыбкой Кара. — Затем, чтобы не кричал топо, что не надо кричать, — это раз, а два — в вороньем гнезде змея на жилец..

Загид стоял, не понимая смысла сказанных Карой слов.

— Я из тысячи голосов сразу узнаю его полос... Когда с того берега нам посылали насмешки, — Кара показал рукой на Койсу, — тогда он нам пожелал взять батраков...

— Я тоже слышал эти слова, — подтвердил Загид. — Только не разобрал, кто кричал их.

— А теперь приехал наниматься в батраки!

Еще долго после отъезда Абдурахмана все как-то неловко чувствовали себя, до тех пор, пока Кара не сказал двух хорошо известных каждому слов!

— Классовый враг!

... День подходил медленно, как обычно в горах. Этим временем надо было пользоваться. Немедля приступили к работе. Опять начали с батырхановских камней. Теперь инициатива перешла к технику: Загид отдал должное его знаниям и опыту.

Скоро на берег было свезено еще много плит. И когда поехали за следующими, снизу, из-за холма, показался человек в белой рубахе.

— Смотри, смотри, — кричал Кара, — Омар!

Под откосом уже мелькали морды коней, папахи, лопаты, — Омар шел не один...

Пришло двадцать человек азаргинской молодежи. Быстрота, с какой пришедшие приступили к работе, ошеломила техника. Ему казалось, что пришедшие хотят воскресить мертвых.

Загид ни о чем не спрашивал Омара, он только хотел успеть всюду, всем дать работу, каждого увидеть в лицо. О, сколько он увидел здесь людей, с которыми он не успел поговорить после своего приезда в Азарго!

Там и тут, словно дубы в грозу, падали с грохотом каменные великаны. Скоро все кладбище покрылось черными, глубокими норами, — они кровоточили, как свежие раны.

До самых звезд шла работа, и, только когда стемнело, веселой ватагой вернулись в аул.

VI

У техника после проведенной на кладбище ночи вздулся флюс, и он стал еще меланхоличнее и молчаливее, — флюс окончательно лишил его дара слова. Загид перестал к нему обращаться даже за техническими советами. Только после того, как был решен во-

прос о том, что Кара должен срочно выехать в Буйнакск, Загид спросил:

— Не поехать ли тебе с ним заодно?

— Нет, — буркнул техник, оглаживая округлившуюся щеку. — Я дам ему все бумаги, а сам буду работать с вами.

— Если так, — решил Загид, — то пусть Кара едет один: он обладает все не хуже самого техника.

Сборы Карты были недолги: мать испекла чурек, достала сушеного мяса; Кара накормил в дорогу коня и — все. До утра еще с избытком хватило времени, чтобы еще раз поговорить обо всем.

Выехал Кара кратчайшим путем: сначала вброд под Нижним Азарго, затем через перевал Сан на Хунзахское шоссе и там — прямо... Редко кто знал этот путь, а еще реже кто ездил им.

Аул, обложенный космами серых облаков, спал, когда он выехал.

Умный конь, словно помня старую дедовскую поговорку: «Плохой глаз в дорогу хуже плохого слова», с бесшумной легкостью не шел, а плыл между узких улочек.

Каре впервые было грустно оставлять родной Азарго. А сколько раз он уезжал? Но так тяжело на сердце никогда не было. Кара не мог понять, почему. Теперь, как никогда, он был уверен в том, что мост будет. Без него, вероятно, снесут к берегу весь камень. Будет строить мост настоящий инженер, и будет он с большой аркой, на цементе...

... Ударил коня по крутой шее, и тот громко заржал. Азарго был уже далеко позади, и потому Каре было приятно слышать его веселое ржанье.

Спустился к Койсу и, выбрав место, где река была менее бурлива, стал, не слезая с коня, переходить ее вброд. Конь затрясся пугливой дрожью, так что Кара даже приостановил его. Подождет, пока дрожь прекратится, и осторожно направил его наперерез течению. Вода, всасывая, потянула на середину потока, и Кара, выпустив стремяна, плотнее укрепился в седле, легонько понукая коня и успокаивая его поглаживанием. Конь, осторожно ступая, дви-

гался медленно, — дно было неровное, загроможденное камнями, — то поднимаясь, то неожиданно проваливаясь.

«Только бы копыто камни не зажали» — думал Кара, смотря, как конь все глубже и глубже оседает в воде. Теперь уже вода была ему под самый живот, подходила к хурджунам. Неверный шаг — и конь ухнет совсем в воду. Встав грудью к течению, прежде чем поставить копыта, он долго искал упор. И пока он, шатаясь, стоял на трех ногах, Кара испытывал неприятное чувство озноба. Хотелось заставить коня двигаться, но Кара знал — этого делать нельзя.

И так, шаг за шагом, конь медленно перешел Койсу.

Кара дал ему передохнуть, и когда он, ослабив мускулы, успокоился, Кара опять продолжал путь, тяжелый путь на перевал Сан. Там, где тропа была отлогая, Кара пускал коня вскачь, пытаясь хоть этим отвлечь себя от тяжелых мыслей. Но и это не помогало. Тогда он начинал петь, громко, с надрывом, с дерзким вызовом тишине. Но и этим он не мог обмануть себя: тоска не выплескивалась, а еще плотнее оседала на душу.

... Взялся все выше и выше на хребет. Облака, разорвавшись в клочья, плавали под животом коня, похожие на большие мутные озера.

Кара давно не чувствовал в себе такой раздвоенности: он был и доволен собой, и зол на себя, и весел, и грустен... Кричал сильно, так что пугался конь, замолкал, прислушиваясь к гулу потоков.

... Кричал, и горы многогласно вторили ему. Каре казалось, что они с ним перекликаются. Этот крик и эта песня, состоящая из случайных и нелепых слов, придуманных только сейчас, в седле, детской радостью и наивным самообманом успокаивали его, — ему делалось легче.

Так перевалил он Сан и спустился на Хунахское плато. Отсюда он начал красть у дороги расстояния: выбирал ишачьи тропы, по которым редко когда ходил конь. Скоро и Хунах, и Баглаич оставил позади себя...

Солнце взошло. И — сразу повисло над самой головой. Кара снял бурку, положил ее на переднюю луку и, вынув из хурджуна кукурузный чурек, начал жевать его. Яркое солнце прогнало все грустные мысли. Кара глядел на скалы, которые шли и справа, и слева, сплетая их в воображении выгнутой аркой моста. Тропа то раздваивалась, то смыкалась, то ширилась, то суживалась, то висела над пропастью, то врезывалась в скалы.

Неожиданно вынырнув из-за уступа скалы, ему срезал путь Абдурахман.

— Вай, Кара! — крикнул он, поднимаясь на широких стремянах. — Здравствуй! — Абдурахман, приветствуя, поднял вровень с папайкой плетку. — В Буйнакск?

Кара ответил не сразу. Его неприятно поразила неожиданная встреча. «Как Абдурахман мог знать путь, каким поедет он, Кара?.. Значит, следил...» Кара взглянул на коня Абдурахмана: конь был весь в поту и тяжело дышал. В словах Абдурахмана слышалось деланное изумление.

— Здравствуй, — спокойно ответил Кара, придерживая коня.

Абдурахман тоже остановился. И так стояли они, выжидая, кто первый посторонится. Кара тут же решил, что он впереди не поедет и даже осторожно, чтобы не заметил Абдурахман, локтем нащупал кобуру: на такой тропе такая встреча — плохое дело! Абдурахман, словно угадав его мысли, полоснул коня плеткой.

— Что же, к утру будем! — весело крикнул он, умеряя горячность коня. — Верно, Кара?

— Будем, — ответил Кара, внимательно оглядывая своего неожиданного спутника.

Абдурахман был в новом отцовском бешмете из серого каратинского сукна, в белой козьей папаше и в длинноворсной андийской бурке, — словно на праздник ехал, — одел все лучшее. Всмотриваясь, Кара старался угадать, есть ли у него под буркой карабин, или нет. Солнце палило сильно, но Абдурахман бурки не снимал, и только потому Кара решил, что карабин есть. Но могло

быть и не так: многие уверяют, что, когда жарко, в бурке прохладнее.

— Как дела, Кара? — опять заговорил Абдурахман, отпуская повод.

— Дела? — переспросил Кара. — Какие дела? — Он не отвечал сразу, стараясь догадаться, к чему клонит Абдурахман. — У меня много дел... — уклончиво ответил он.

— Мост как?

— Сам знаешь: свозим камень, потом строить будем...

— Хороший мост будет! — щелкнув языком, сказал Абдурахман.

— Хороший, — подтвердил Кара, следя внимательно за своим спутником.

— Только скорей класть его нужно, а то зима — холодно будет... Отец трех коней обещал дать обществу для помощи...

— Что же... спасибо. Только... шагабудиновскими конями мы хотели чугунные балки из Буйнакса волочить, потому сейчас и не взяли их. А вот когда нужно будет, тогда и возьмем... Эта работа трудная, — кони хорошие нужны. А камни мы и на своих перевозим. Вот балки, пожалуй, наши и не доволокут. Потому мы так и определили: их волокут шагабудиновские кони... — спокойно проговорил Кара, лаская глазами сытого абдурахмановского коня.

И на это так же спокойно отвечал Абдурахман:

— Нет такого закона, Кара, чтобы у тех, у кого что-то есть, брать без разрешения... Это на плоскости можно, в городах, а в горах, сам знаешь, Кара, нельзя! — Абдурахман улыбнулся, играя плеткой. — Для гор нет такого закона... Никто — ни Загид, ни общество этого решить не могут... Только вот... мост нужен всем — и тебе, и мне. Все мы его и будем строить, кто что может и кто чем может... — Он улыбнулся еще раз. — Ну, прощай, Кара! — Абдурахман привстал на стременах и скрылся за скалой.

Кара поехал еще медленнее, раздумывая над его словами.

Загид проснулся и долго ворочался на жесткой тахте, вспоминая события

вчерашнего дня, — впервые он был доволен собой. Ему даже было приятно лежать и вновь передумывать случившееся. Он чувствовал себя, как полководец после удачно выигранного сражения. «Победа, победа!» — бессознательно повторял он самому себе.

Который теперь час, Загид не знал: маленькое окошко было завешено сумачом, в комнате стояла густая тьма, и даже голосов с улицы не было слышно. «Наверное очень рано» — думал он.

Загид вспомнил, что сегодня утром Кара должен выехать в Махач-Кала, вспомнил, что он очень просил не провожать его, и когда он, Загид, не понял, почему, Кара сказал: «Плохой глаз в дороге хуже плохого слова». Не поняв, к кому относились эти слова, Загид обиделся и только после, подумав над ними, решил, что Кара прав: пусть никто не знает, когда и какой дорогой он выехал. «Кара все знает лучше меня» — признался самому себе Загид и как-то сразу, вообразив себе отсутствие друга, ощутил всю свою беспомощность. Он ясно представил себя без него, на секунду ему даже стало страшно. Что Мавлото и что он без Кары? И тут же пожалел, что в Буйнакс поехал не техник, и еще раз дал себе слово быть осторожным, осмотрительным и твердым.

Поднял с пола положенный на ночь табак и сушеный кукурузный лист, свернул самокрутку и закурил. И так, куря, лежал долго, пока не услышал с улицы звонкого, мальчишеского гвалта. Гвалт был очень похож на тот, что был тогда, в ту памятную грозовую ночь. Сунув ноги в холодные онучи, накинув на плечи хапочу, выбежал на двор. Теперь он яснее мог расслышать слова, какие кричали мальчишки:

— Камни пропали! Камни пропали!

Загид сразу не смог понять истинного смысла этих слов.

— Пропали! Пропали! — вопили мальчишки. И эти неистовые крики будили аул. Он просыпался сразу, словно вспугнутый птичник: там и тут, на крышах, балконах, башнях выпархивали черные фигуры женщин, по улицам, встря-

живая на-ходу хапочи, спешили куда-то мужчины, ржали кони, трубили ишаки.

«Не может быть! Не может быть!..» — твердил себе Загид, не веря пришедшей в голову догадке. И только после того, как понял, о каких камнях кричали мальчишки, когда, взобравшись по лестнице на крышу, окинул взглядом аул, хотя за утренним туманом он и не видел кладбищенского берега.

— Пропали, пропали!.. — повторял Загид, вторя хору ребят, эти вдруг прилипшие к нему слова. Он уже ясно представлял себе оголенный берег кладбища.

Громкий, как выстрел, скрип ворот заставил его обернуться. По узкому квадрату двора, придерживая у горла бурку, крупно шагал Мавлото.

— Вай, Мавлото! — окликнул его Загид. — Что случилось?

— Все камни пропали, — повторил он те же слова, что слышал на улице.

Загид спрыгнул с крыши на землю.

— Ой, чорт! — отшатнулся Мавлото. — Голову разобьешь.

— Пропали, говоришь? — подскочил к нему Загид, поправляя папажу.

— Слышишь? — Мавлото показал рукой на улицу.

— Как могли они пропасть? — все еще ничего не понимая, пытался Загид.

В ворота просунулась голова Омара.

— Скорей! Ехать надо!..

— Седлай коня! — приказал Мавлото. — Дорогой расскажу все.

Загид кинулся в конюшню, Мавлото пошел под навес за седлом. На двор выбежали младшие братья и сестры Загида. Маленький Акай сосал голый початок кукурузы. Фатимат, сняв с шеста цветастые хурджуны, трясла их, готовя брата в дорогу. Загид вывел молодого отцовского коня. Конь был белый, словно снег, и назывался «Харат», что значит серебро. Застоявшись за ночь, он быстро переступал тонкими ногами, пугливо озираясь.

Мавлото ловко вместе с войлочным потником забросил седло на его прямую, хорошо вымытую спину, снял стремена с седельных луков, отбросил подхвостник.

Акай юркнул под брюхо коня, чтобы помочь Мавлото взять болтающуюся подпругу.

Под навес вышла Хадижат, мать Загида. Она не спрашивала, куда едет сын, — адаты гор еще сильны были в ней, — но в глазах ее, в глазах матери, стоял этот, такой естественный, вопрос.

Мавлото, поздоровавшись с ней, спросил:

— Слышала, Хадижат, все камни побросали в Койсу?

Лицо Хадижат не выразило ни удивления, ни любопытства. Загид, бросив затягивать подпругу, уставился на Мавлото.

— И еще: поскакал гаргар по Азарго — чудо произошло: на кладбищенском берегу камни исчезли.

— Здорово! — не выдержал Загид.

— Вот так кадий!

— Если бы Зайнаб не увидела, как они сбрасывали камни, кое-кто и поверил бы, а?.. — продолжал Мавлото, смотря на Хадижат.

— Это точно, поверили бы!

— Зайнаб говорит, по цорской тропе поехали они. Я думаю, догоним!

— Догоним! — весело выкрикнул Загид, сразу оживший и заволновавшийся.

— Нагрудник нужен! — дал совет Мавлото. — Путь — в гору.

Маленький Акай со всех ног кинулся в дом.

— И винтовка нужна тоже, — добавил глухо Мавлото.

— Мать, винтовку! — крикнул Загид.

Он затягивал в тугий узел хвост коня. Из дома выскочил Акай, на-ходу распуская тонкие ремни нагрудника. За ним степенно вышла мать, неся загидов карабин.

— Ну, все готово! — сразмаху ударив ладонью по седельной подушке, проговорил Мавлото.

Братья и сестры Загида ватагой бросились открывать ворота. Загид прыгнул в седло, поправляя за плечами винтовку; придерживая коня, выехал на улицу. Здесь стоял Омар с двумя оседланными конями. Это были кони на-

стоящей арабской крови, — только такой богач, как Залимау, мог иметь их: таких коней на плоскости найти нельзя. Да и цена-то настоящая коню только в горах! Только горы знают, что такое хороший конь. И Залимау знал им цену, а с ним знало и все Азарго.

Омар сразу заметил удивление Загида.

— На наших ишаках, какие у меня и у Мавлото, пожалуй, кадия не догонишь! Пришлось позаимствовать у Залимау.

Тронулись дружно, под веселые возгласы ребят. Поехали на гетикан, где ждала их Зайнаб. И когда подехали к нему, здесь уже было скопище народа. Это скопище готово было превратиться в разгневанную толпу, способную немедленно двинуться на подлых провокаторов. На камнях, на крышах — всюду стояли перешептывающиеся люди с кинжалами у пояса. Мавлото, Загид и Омар сразгона врезались в самую гущу толпы.

— Ва, Загид! — раздалось отовсюду.

Загид, осадив коня и оттянув подбородком ремень бурки, спросил:

— Где Зайнаб?

— Здесь, здесь! — донеслось с конца гетикана.

Загид повернул коня на крик, и толпа быстро, словно отхлынувшая волна, отпрянула в сторону. В узком проходе улочки Загид увидел четырех женщин. Впереди всех, вдавившись в стену, стояла Зайнаб. Она прикрывала рот яшмаком, оглядывая приближающихся испуганными, виноватыми глазами. Рядом с ней стояла старуха с огромной наполненной до краев саманом корзиной за плечами. Вытянув вперед маленькую, морщинистую, изъеденную оспой мордочку, она уже была готова выполнять приказания. Позади них, понурив головы, стояли еще две женщины с медными кувшинами за спинами. И дальше, забив весь переулочек, теснились груженные хворостом ишаки. Под большим, тяжелым грузом они казались совсем крошечными. Переступая узкими копытами, они нетерпеливо терлись боками, пораженные неожиданной задержкой.

— Ты, Зайнаб, говоришь, что камни цемулхорцы сбрасывали? — обратился к Зайнаб Загид. — Да?..

Зайнаб молчала и с еще большим испугом жалась к стене. Подслеповатая старуха хрипло ободрила ее:

— Ну, говори, говори, Зайнаб!

— С цемулхорцами и будун был тоже, — почти шопотом произнесла Зайнаб.

— И ты видала, куда поехали они?

— На Цор, вдоль Койсу...

— Их много было?

— Десять, а может быть, и больше.

— Ва, целый отряд! — и Загид, привстав на стременах, повернувшись ко всем, кто был на гетикане, крикнул: — кто хочет с нами, скорей!

И, ослабив поводья, пустил своего Харата вскачь.

Горная тишина своим напряженным безмолвием пугала Кару. Впервые он почувствовал себя затерянным в этих каменных громадах, каким-то особенно одиноким. Такого ощущения прежде у него никогда не было, и сейчас он стыдился его сам перед собой. «Такие чувства могут быть только у того, кто не живет в горах», — думал Кара. «Наверное и у Загида они теперь есть...» Он вспомнил о Загиде, как о чужом человеке.

Жара становилась все тяжелее и невыносимее. Седельная подушка раскалилась, как сковорода. Он ехал, безвольно качаясь в седле, ослабив повод и не касаясь стремян.

Внизу, под отвесом, вилась спиралью Койсу. Конь, словно когтями, царапал мягкими горскими подковами камни, взбираясь вверх по еле приметной тропе. Кара уже не смотрел вперед, — конь сам знал, куда итти, — полузакрыв глаза, томился испариной и тишиной. Под отвесом, с ним вровень, неотступно ползло белое облако, не обгоняя и не отставая. Оно легко обтекало уступы, выбоины, рубцы и складки и, не теряя своей формы, следовало по пятам. Когда бы Кара ни взглянул, оно все было в ногах, все там же, где он.

Конь, качая головой, словно низко кланяясь горам, взбирался все выше и

выше, Кара приоткрыл глаза и, как бы очнувшись, решил спешиться, — облегчить коню под'ем, — как что-то горячее обожгло ему плечо, словно плеснулась струя кипятка. Конь, вдруг став скользким, как рыба, выскользнул из-под колен; на секунду Кара увидел его вздыбившуюся гриву и острый, янтарный свет испуганных глаз. Запрокинулись хребты гор, справа повалилась скала, и вдруг Кара увидел лицо Абдурахмана, его белую, пушистую, как облако, папаху.

— Ну как, Кара, мост будет?

Кара хотел крикнуть:

— Будет!.. —

но крик застрял в груди.

Зной и тишина окаменели, как эти скалы вокруг. Тело стало грузным, неповоротливым. На мгновение, только на одно мгновение хватило сил, и он крикнул, оглушая себя криком!

— Не по-горски поступил ты, Абдурахман!

И сквозь звон в ушах услышал:

— Ха-ха! Вспомнил адат!.. Кто знает, что я убил тебя сзади? Никто не знает и... не узнает!

Абдурахман засмеялся, и смех его — словно грохот камней. Но он все тише и тише... И — скоро Кара перестал его совсем слышать. Скоро умолкло все.

VII

... Неожиданно, как обычно в горах, зажгло солнце. Казалось, свет его был высечен из этих огромных, остроконечных каменных глыб. По черным, еще мокрым от тумана, камням рассыпались искры, — занялся день.

Еще спуск и еще под'ем, и уже солнце палило нещадно. Загид снял бурку, не убавляя хода коня, скатал ее и прикрутил к передней луке седла. Только по смешанному цокоту копыт он знал: за ним следом скачут его товарищи. Обернулся. Почти вровень, голова в голову, ехали Мавлото и Омар, оживленно беседуя. Мавлото сидел лихо, гордясь своим конем. Тот же, чувствуя уверенность седока, был весь в сдержанном напряжении: вот, кажется, чуть гикнет Мавлото, и конь понесет его

стремглав. Омар невольно ровнялся по Мавлото.

За ними ехал богатырского сложения салаватец Банадурас. Своими могучими коленями он крепко сжимал бока такого же большого, как и он сам, коня, и этот, словно желая освободиться от них, подавался вперед крупными и неровными скачками.

Дальше — Исса на сером иноходце, потом — Абкар, и позади всех — низкорослый, коротконогий Кебет на своем рыжем маленьком коньке «Кергу», что значит — ястреб. Он, как пес, низко опустив голову, бежал мелкой рысцой, по-собачьи обнюхивая землю. Сам Кебет сидел вразвалку, качаясь всем корпусом, словно ехал он нехотя, через силу. Сзади, может быть, ехал еще кто-нибудь, но Загид не видел. Под'ем становился все круче, Харат с каждым шагом сдавал и наконец с рыси перешел на шаг. Загид не гнал Харата, — он сберегал его силы. Когда дорога опять пошла под уклон Омар догнал Загида.

— Знаешь, что я скажу тебе? — придерживая шумно хрипящего коня, обратился он, — Абдурахмана у Залимау не было, он уехал вчера вечером...

— Как?! — рванулся в седле Загид, запрокидывая морду Харата. — Уехал?..

Омару показалось: Загид хочет повернуть обратно, — так завертелся, осев на круп, под ним конь.

— Уехал... — повторил в раздумьи Загид. Такое совпадение с тем, что сейчас происходило, не предвещало хорошего: Загид был уверен, что Абдурахман вместе с цемулхорцами. Он непроизвольно взмахнул плетью, прибавляя коню шаг.

Тропа сузилась, стала круче и каменистее. За острыми клинками скал на востоке прозрачной розовой цепью протянулся Магабский хребет. Небо побавровело, словно по ту сторону, у основания скал, кто-то разводил костер.

Загид в такт движениям коня подавался всем туловищем вперед — помогал брать кручу. Конь все ниже наклонял голову, все больше осыпал камней, все чаще оступался: он начал уставать. Загид, жалея его, спешился. То же сде-

лали и другие! Омар и Мавлото все еще спорили. Они шли рядом, очень близко к хвосту загидовского Харата и разговаривали громко, однако Загид, поглощенный своими мыслями, их разговора не слышал. Омар предлагал повернуть на Цор и там, перезав равнину, спуститься к Койсу. Мавлото возражал:

— Если мы пройдем по загорью, внизу, мы не увидим их за хребтами, и они уйдут от нас. Нужно пробраться поверху...

— Ты верно сказал, Мавлото, — соглашался Омар, тяжело переводя дыхание, — верно, что мы их можем не увидеть. Но ушло много времени, как их видела Зайнаб... значит, они далеко. Нужно скорее пройти как можно больше... обогнать их...

— Они тоже пошли на Цор, только по другой стороне Койсу, — подтвердил Мавлото. — Дело все в том, кто скорее будет на Магабском хребте... Пожалуй, это так, Омар...

И когда Загид достиг самых ворот перевала, Мавлото крикнул ему:

— На Цор едем — спускайся!

И Загид тут же провалился за острый горб скалы.

Прямая, как сабельный удар, лежала ржавая тропа посредине белой, известковой долины. Загид опять был уже в седле, и, когда остальные перевалили за горб скалы, он уже летел вскачь к Цорскому ущелью. Короткий кавалерийский карабин на сыромятном ремне высоко подскакивал и с хрястом опускался на его спину. Мавлото, взглянув на стремительно удаляющуюся его фигуру, крикнул:

— Ле-ей, Загид!..

Но он уже не услышал. Мавлото махнул рукой: сигнал садиться в седла. Он всегда, а сейчас особенно, боялся безрассудства Загида. Он еще два раза повторил свой окрик:

— Ле-ей!.. Ле-ей!..

Загид даже не обернулся. Мавлото ожег коня плетью, у того злобный огонь сверкнул в глазах, он дернул мордой и удвоил шаг. Загид теперь уже был близко.

— Тише! — крикнул Мавлото, когда их кони поровнялись. — Тише!..

Загид обернулся.

— Слушай, что говорю! — злобно прохрипел Мавлото. — Такой скачкой ты погубишь дело. Тише, говорю!.. — Мавлото протянул руку к поводу его коня. — Останови!

— Они уйдут! — махнул плеткой на ущелье Загид. — Скорей надо!..

— Ты сгубишь все!.. Где другие? Их подождать надо... Куда ты скачешь один?

Загид вдруг отчетливо вспомнил то, что не раз говорил ему Кара, и он, натягивая повод, вспыхнул от стыда.

— Других?.. Да, да...

— Сними винтовку! — уже совсем строго проговорил Мавлото.

Загид, ловко перекинув ремень через голову, снял винтовку и положил ее поперек седла.

— Так-то...

Подехали остальные. Тропа круто свернула в просторное ущелье. Где-то рокотала невидимая Койсу. На покатых карнизах висела желтыми пучками сухая трава. Чудовищные щели, словно гноем, были забиты зелеными кусками серы.

Первым теперь ехал Мавлото. Гулкий звон стоял в ущельи. Кони, оглушенные шумом, пошли медленнее, с той особой осторожностью, какая свойственна только горским коням, перебирая ногами и оседаая на круп. Ущелье суживалось и темнело. Навстречу потянуло холодом сырости. Мавлото внимательно оглядывался по сторонам. Для всех, не исключая и Загида, была понятна его осторожность. Да и все насторожились. Только один Банадурас, причмокивая толстыми губами, ласкал своего буланого кабардинца, попрежнему оставаясь ко всему равнодушным.

— Тише! Тише! — стараясь перекричать гул, которым было полно ущелье, повторял Мавлото.

Ущелье еще раз повернуло вправо и — оборвалось. Открылся широкий вид на выжженную солнцем долину. Мавлото, жмурясь от яркого света, остановил коня. Словно по команде, остановились и другие. Мавлото, всгав

на стременах, внимательно оглядывал долину и вдруг резко осадил коня: за холмами он увидел черные точки.

— Там! — ткнув нагайкой на выход, придушено, словно беглецы могли его услышать, проговорил он.

Все еще не представили себе ясно, что теперь нужно предпринимать, но каждого охватило волнение. Щуплый Кебет хмурил брови, тербя повод, Исса поправлял папаху, как бы опять готовясь к бешеному гону, Абкар кусал ус, раскачиваясь в седле, Загид и Омар настороженно глядели на Мавлото. Только Банадурас оставался попрежнему невозмутимо-спокойным и как бы безучастным.

Посоветовавшись, решили дать возможность цемулхорцам скрыться за холмами, а затем юбойти их.

И эта встреча, для которой предпринимался такой якобы сложный тактический маневр, произошла неожиданно, сама собой: цемулхорцы свернули на ту же дорогу, по которой ехали и азаргинцы. Они летели друг на друга, еще не понимая, откуда кто появился и кто такой встречный.

Мавлото, скакавший передовым, только успел крикнуть:

— Ворс! ¹⁾ —

и взмахом руки остановить задних.

Встречные, смешавшись, замерли. Мавлото ясно видел склоненное медно-красное лицо кадия и его толстую, перекрученную зеленую чалму, надетую поверх рыжей папахи. Кадий сидел прямо, картинно опершись одной рукой о бедро, и, как показалось Мавлото, вызывающе. Те, что ехали сзади, сучась, осели вглубь: за осанистой фигурой кадия их почти не было видно. Но все же среди смятенных лиц и перепутавшихся коней Мавлото разглядел своего старого кунака — Косого Гафура. Увидел его и Загид. Гафур прятался за скалу.

— Ле-ей, Гафур! — позвал его Мавлото. Зов раскололся сначала на два эхо внизу ущелья, а затем на три — на вершине гор.

¹⁾ Воскликание, предупреждающее об опасности.

Всадники обеих сторон стояли как бы в ожидании ответа, но его не было.

— Эй, Гафур! — повторил Мавлото. — Почему не остановился у меня?

Эхо гремело по ущелью:

— ... не остановился у меня?..

— Я очень на тебя обижен, Гафур!..

— ... обижен, Гафур!..

— Разве ты забыл азаргинского Мавлото?..

— ... азаргинского Мавлото?..

Кадий все так же, не шевелясь, стоял вполоборота к встречным. Казалось: вот-вот повернет коня и — скроется. Загид, неотрывно глядя вперед, поглаживал холодный и скользкий приклад еинтовки. Его злили слова Мавлото, он не знал, нужны они сейчас или нет. Все, что происходило, было совсем иначе, чем он думал. Он думал, что... И вот стоит и почти смеется кадий, а Мавлото еще заговаривает с ними!

Загид, легонько тронув коня, поддвинулся к нему. Он хотел было сказать Мавлото, чтобы он приказал цемулхорцам спешиваться и по одному подходить к ним, как вдруг раздался голос Гафура:

— Вай, Мавлото, что тебе камней мало, что ты начал брать божий камень?

— ... божий камень?.. — захохотало ущелье.

— А тебе что до азаргинских камней, — на твой дом не пойдут они!

Но слова Мавлото уже опоздали: кадий закатал рукава бешмета по локти. Остальные поступили так же — они готовились итти на газават. О, это жуткий признак беспощадной ненависти к врагу!

Банадурас, раздвигая товарищей, подался вперед. В его огромной руке сверкнуло лезвие кинжала.

— Стой! — крикнул Мавлото, но было уже поздно: Банадурас пустил коня.

Кадий ответно взмахнул над головой кинжалом и, чуть пригнувшись, с криком: «Алла!» полетел навстречу Банадурасу.

Остальные стояли в нерешительности. Их было так много, что Мавлото сразу даже не мог определить, сколько. Обер-

нувшись, он увидел, что азаргинцы ждут его сигнала броситься вперед. Он увидел также, что Омар уже держит на прицеле карабин. И, прежде чем Мавлото что-либо мог сказать, хлеснул выстрел. По его коню прошла судорожная дрожь, он пугливо качнулся в сторону. Мавлото еще не успел взглянуть на дорогу, как снова хряснул затвор винтовки. И, когда посмотрел, не понял, что произошло. Кадий, цепляясь руками за неровную стену скалы, пытался удержаться в седле. Его конь, почувствовав беспомощность седока, жался к скале, боясь двинуться. Банадурас, подлетев к коню вплотную, хлеснул его по морде, конь взвился, выбил из седла кадия. Кадий, взмахнув руками, словно собираясь лететь, грохнулся наземь. Банадурас скакал уже дальше, размахивая кинжалом. Мавлото, не раздумывая больше, пустил своего коня вскачь. Сзади хлеснул второй выстрел. Цемулхорцы смялись, а затем, помедлив секунду, обратились в бегство. А Мавлото, ни о чем не раздумывая, скакал дальше.

К своему удивлению, он увидел, что Гафур остановил коня и, сняв папаху, махал ею в воздухе. Мимо него проскочил Банадурас и, оставив его позади, умчался дальше.

— Ле-ей, Банадурас! — окрикнул его Мавлото. — Стой!..

Цемулхорцы скрылись за выступом скалы, и Банадурас, боясь засады, начал сдерживать коня.

— Эй, Гафур, надень папаху и догни своих. Скажи им, чтобы возвращались! — крикнул Мавлото.

Гафур, ничего не понимая, глядел на него.

— Слушай, что говорю: поверни их сюда, — Мавлото показал на скалу, — скорей! Или хуже будет... Куда они уйдут теперь? Мы их все видели...

Гафур все еще никак не мог понять, чего от него хочет Мавлото.

— От советской власти не скряться... Мы видели...

— В погоню, в погоню! — повторял Загид, сжимая приклад винтовки. — Скорей... уйдут!.. — и, полоснув плетью коня, поскакал вперед.

— Стой! — грозно окликнул его Мавлото. — Стой! — и, обращаясь ко всем, тише прибавил: — Теперь они наши... — И вдруг, рванувшись назад, вскрикнул: — Эй, эй!..

Там, на дороге, раненый кадий кружился около своего коня, пытаясь вскарабкаться ему на спину.

— Эй!..

Пока Мавлото поворачивал коня, Загид опередил его.

— Шагу не возьмешь! — и, схватив коня за повод, прикладом отбросил его в сторону. — Лежи, собака!..

Мавлото все еще кричал Гафуру:

— Говорю, догони их... Лучше для всех будет... Пойми сам: все тогда по закону пойдет, всякий вправе будет слово сказать. Не то хуже будет: не только они, но и их родственники в ответе будут. Теперь им не скрыться. Ну, догоняй! Скажи: все по советским законам будет!..

Гафур все еще чего-то ждал, Мавлото казалось, что он раздумывает.

— Если это, весь род в ответе будет! Пойми это!

— Я скажу им... — натягивая повод, наконец тихо ответил Гафур, тронув коня, пустил его рысью.

— Уйдет! — сказал Омар.

— Уйдет? — улыбнулся Мавлото.

Как бы раздумывая, он постоял еще несколько минут, не двигаясь, потом повернул коня и под'ехал к лежащему на дороге кадию.

— Поднимайся, — предложил он, — поедем в Азарго.

Кадий не шевельнулся. Он лежал ничком, скорчившись, в неудобной позе. Поодаль от него в пыли валялась папаху; зеленая змея размотавшейся чалмы обвивала ее. Крови не было.

— Убит! — обронил кто-то.

Загид подвел коня. Мавлото спешил-ся. Знаком предложил Загиду сделать то же. Оба наклонились над кадием, Мавлото осторожно взял его под локти, пытаясь поднять. И только с помощью Загида усадил его в седло. И когда хотели уже трогаться, под'ехал Банадурас.

— Цемулхорцы едут!

— Ну что, я был прав? — обводя всех глазами, спросил Мавлото, но было видно, что эти слова скорее относятся к Загиду, чем ко всем.

Действительно, из-за скалы выехал Гафур, держа вровень с папахой руку, поднятую ладонью к азаргинцам.

Мавлото ответил тем же жестом.

— Просим поступить с нами по советским законам, — пугливо оглядывая своих недавних врагов, глухо проговорил Гафур.

— Ты что думаешь, что советский закон слабее, чем горский? — улыбнулся Банадурас.

— Нет, — смутился Гафур, — он справедливее..

Гафур бросил взгляд на кадия, и все поняли смысл этих слов.

VIII

Обратный путь оказался вдвое длиннее: устали кони, и раненный в бедро кадий не мог сам держаться в седле, потому его поддерживали двое цемулхорцев, ведя коня в поводу.

Черная, как дуло винтовки, была ночь, когда отряд вернулся в Азарго. Все, кто только мог, — и женщины, и дети, — вышли ему навстречу. Ни Мавлото, ни Омар, ни даже Загид не ждали таких почестей: не только молодежь, но и старшины тухумов были здесь. Было похоже на то, что они — настоящие победители. Загид радовался этому, как и все другие, но считал почести незаслуженными. Много ли нужно было труда и смелости, чтобы взять цемулхорского кадия? Один выстрел из винтовки! И потому, когда под крики и шум аульчан выехали на гетикан, Загид все еще не был уверен в победе. Ему казалось: не Мавлото обхитрил цемулхорцев, а они его... Держал попржежнему винтовку поперек седла, с недоверием глядя на захваченных в плен врагов. Цемулхорцы, словно все еще не понимая, что же такое произошло, растерянно оглядывали толпившихся вокруг людей.

— Цемулхорских коней поставьте к Залимау, — распорядился Мавлото, когда мальчишки с деловой поспешно-

стью приняли от прибывших коней. — Я думаю, Залимау не поскужится для своих кунаков, — хорошего корма даст их коням!

Скавав это, Мавлото еще долго возился около своего коня, ослабляя подругу и поправляя потник, как бы нарочно пытая цемулхорцев своим молчанием.

Загид давно вручил повод Харата Иссе, который вместе со всеми скрылся в провале улицы, и с тем же напряжением, что и цемулхорцы, глядел на Мавлото, ожидая, что будет он делать дальше. Загид подумал о том, как было бы хорошо сейчас, когда все Азарго здесь, сказать хорошую речь, в которой объяснить все, что здесь произошло. И опять он с раздражением упрекнул себя за беспомощность в словах... Обвел глазами ограду, затем крышу мечети и не увидел ни одного лица, — так было темно! Опять взглянул на Мавлото: теперь рядом с ним стоял Банадурас и что-то тихо говорил ему. Загид поискал глазами кадия и нашел его в стороне, все еще сидящим в седле. Рядом с ним все так же, словно мюриды, стояли те двое цемулхорцев, которые в дороге поддерживали его.

Так, в ожидании чего-то, — Загид не знал, чего, — все стояли в молчании. После криков при их въезде в селение это было непонятно и тяжело. Загид хотел было уже подойти к Мавлото и сказать ему это, как увидел поднимающегося снизу улицы Залимау. Он шел один в большой белой хапоче, которая сейчас, при ночном освещении, казалась синей.

— Ле-ей, Шагабуддин! — увидя его, громко крикнул Мавлото. — Почему не встречаешь своих кунаков?

Залимау, не доходя до середины гетикана, остановился.

— Плохой почет оказываешь ты им! Ой, плохой! Не по адагу отцов делаешь!

Залимау, не зная, что ответить, встряхнул плечами хапочу, — такой насмешки среди всего Азарго кто мог ждать?..

Загид, глядя, как Мавлото спокойно подошел к коню, на котором сидел ка-

дий, взял его повод и подвел коня к Залимау.

Кадий, опершись обеими руками о переднюю луку, грузно раскачивался. Пухлая сафьяновая подушка выбилась из-под него и торчала большим и блестящим нарывом чуть пониже спины. Его худые, жилистые ноги путались со стремными ремнями и глухо били по животу коня. Грязная чалма, обкрученная вокруг задней луки, стелилась по широкому крупу коня, как ненужная, потерявшая цену бутафория. И все же, даже в таком виде, Загиду кадий не казался жалким. Просто было неловко и гадко от его вида.

Залимау, приняв от Мавлото повод, осторожно повел коня вниз, к своему дому.

Загид услышал тяжелый, хриплый выдох кадия:

— Во-аллах!..

Мавлото долго, насупив лохматые брови, глядел им вслед.

— Ну, а всех других я возьму к себе. Не так богато у меня, как у Залимау, но место найдется для всех, — проговорил наконец он тихо, так что его могли слышать только Банадурас и Омар.

Злобно сбив с голенища пыль, — удар плети раздался, как выстрел, — неторопливо подошел к цемулхорцам:

— Кунаки моего кунака, — Мавлото показал плетью на Гафура, — будьте моими кунаками... Мой дом наверху, пойдете.

И он первый, не глядя ни на кого, пошел по ступенчатой улице на край селения. Цемулхорцы, чуть помешкав, двинулись за ним.

Загид остановил Банадураса:

— К ним охрану нужно. Как можно так?..

— Охрану? — засмеялся Банадурас. — Никуда им теперь не уйти! Теперь ты, я, все Азарго знаем каждого в лицо. Если уйдет кто из них, сам род будет искать его и приведет к нам... Они были смелы, пока их не знали, а теперь...

Банадурас похлопал по плечу Загида!

— Ты в городе многому научился, но еще больше забыл то, что бывает в

горах... Иди домой. Завтра будет много работы... А уж если ты боишься, чтобы кто-нибудь из цемулхорцев не ушел, я буду их сторожить...

Загид понял, что Банадурас сказал последнюю фразу больше для того, чтобы его успокоить, чем для того, чтобы его выполнить.

— Иди, — повторил Банадурас.

Загид запротестовал, хотя внутренне и чувствовал, что Банадурас прав: он, Загид, не может так хорошо ориентироваться, как Мавлото, Банадурас, Кара... Ему странной и почти не большевистской казалась тактика, какую вел сейчас Мавлото. Но что бы он сделал, Загид? Стал бы разоружать их, снимал бы кинжалы? О, тогда что произошло бы? Что ж, разве цемулхорцы менее храбры, чем азаргинцы?..

И Загид хорошо понял, что только потому, что Мавлото поступил так, ничего страшного не случилось...

Загид пошел к своей сакле. На повороте последней улочки встретил техника. Он ошалело выскочил из-за угла, сразбегу налетев на Загида. Его вздувшаяся щека все так же была завязана цветастым платком, а маленькие, кроличьи глазки стали как будто еще меньше. На нем была чудовищного размера папаха.

— Э-загид! — окаменев, выкрикнул техник, со странной гримасой хватаясь за щеку. — Э-загид!..

— Ва-а! Как можно... — обернулся тот.

— Письмо из Буйнакск... Инженер едет! — задохнулся техник, тараща глаза.

Загид остановился.

— Давай!

— Идем... у тебя дома.

Загид постоял, раздумывая, затем решительно повернул обратно:

— Идем!

По дороге техник два раза повторил на память письмо. В нем говорилось, что буйнакский Союздортранс получил известие о том, что в Азарго, по инициативе самого населения, начата стройка моста; в ближайшее время в Азарго высылают инженера-мостовика.

Когда пришли домой, нечего было и читать бумажку: она была известна. Загид устало опустился на тахту. Техник сунулся к чуть тлеющему очагу и, присев на корточки, начал греть ладони. Загид, откинувшись спиной к стене, полузакрыв глаза, задремал. И сейчас же кто-то властно загремел дверью.

— Ле-ей, Загид! Цемулхорцы приехали!

— Цемулхорцы? — Загид не мог понять, что случилось. — «Неужели успели бежать?» — подумал он.

За дверью голос настойчиво повторял:

— Цемулхорцы!..

Ну, беда! Загид хорошо знал хриплый голос Банадураса. Не успел он отбросить щеколду, как перед ним выросла большая фигура салаватца.

— Пойдем, цемулхорцы приехали..

Загид ощутил тревожное волнение. Нет, он был прав, предупреждая Мавлото не доверять цемулхорцам. И вот — они обхитрили их! Они сделают все, что захотят! Почти уверенный в этом, они ни о чем не расспрашивал Банадураса. Торопливо натянув на ноги журабки, сунул их в растоптанные онучи и потянулся было взять прислоненный к стене карабин, но Банадурас остановил:

— Не надо!

Вышли. Следом, тенью, последовал техник, любовно поддерживая свою опухшую щеку. На улице было так же темно, как и в комнате, только по яркожелтым контурам снежных хребтов да по громкому бляению овец чувствовалось приближение утра.

Не сговариваясь, прямо повернули к гетикану. По оживлению и шуму, царившему на дворах и улочках, Загид понял: селение в эту ночь не засыпало. И он упрекнул себя в том, что не смог преодолеть усталости и лег. Вспомнил слова Мавлото: «Иди. Нужно будет, позову!» Это он нарочно так сказал, чтобы дать ему возможность отдохнуть. «Хороший старик!» — с теплотой подумал он о нем. И опять пережил те неприятные минуты, какие не раз у него были, — минуты недовольства и злобы на себя. Опять события совершались помимо него, Загида, и он ничем

не мог на них повлиять, ни даже понять их. Почему, зачем приехали цемулхорцы? Требовать своих сельчан, мстить за них? Зачем, кто мог ждать этого? И почему Банадурас не велел ему брать винтовку? Хотя что же можно сделать, когда они наверное приехали целым аулом?..

Загид, не успевая за Банадурасом, с раздражением сверлил его широкую спину, порываясь остановить его. После четырнадцатичасового пребывания в седле у него ныли колени и ломило поясницу; и потому, что ему пришлось безо времени встать и опять итти на гетикан, его все больше охватывало раздражение и еще сильнее чувствовалась усталость, — шел, ожидая неприятной и враждебной встречи с цемулхорцами.

— Ле-ей, Банадурас! — прыгая через камни, решительно окликнул он его. — Их много?

— Много! — не оборачиваясь, ответил он, сворачивая в сторону.

Загид снова пожалел о винтовке, хотя ясно понимал: сейчас она ни к чему. «А взять все же надо было» — думал он.

Сакля Мавлото была на самом краю селения. Итти пришлось долго. Попадались редкие фигуры женщин с хвостом или кувшином на спине. Событие, которое еще час тому назад волновало все селение, было уже им забыто: Азарго спал спокойным и глубоким сном. И это как-то сразу успокоило Загида.

По дороге к дому Мавлото он встретил озабоченного и встревоженного уполномоченного сельсовета. Столкнув на горбатый нос папаху, он заспанным, хриплым голосом спросил Загида:

— Зачем цемулхорцы приехали?

Загид промолчал, не зная, что сказать. Пропустил уполномоченного вперед.

Здесь, над утесом, у одинокой сакли Мавлото, было много, даже слишком много, народа для ночного часа. У ворот и во дворе стояли еще не расседланные кони, на ограде валялись еще влажные от пота хурджуны, охалки сена. Кони, встряхивая торбы, шумно хрустели куку-

рузой. Всюду больше чем нужно сверкали глаза любопытных.

Загид и Банадурас подошли к сакле как-раз в тот момент, когда на маленькую террасу вышел молодой цемулхорец в шинели. Он покрутил в руках плетку, подыскивая слова к началу своей речи. Двор за это короткое время сразу наполнился людьми, сразу стало тесно и как-то еще темнее.

— Товарищи! — подражая городским ораторам, начал цемулхорец. — Товарищи азаргинцы! Джамаат Цемулхора узнал, как поступили некоторые наши аульчане. Нехорошо поступили! И вот мы приехали помочь вам строить мост!..

Двор ожил. Заговорили все — и цемулхорцы, и азаргинцы. На крышах зашумели женщины. Истошно завывали ишаки. С улицы влилась новая волна людских тел. Раздались крики:

— Кадий хотел и нас обмануть! Теперь мы видим, какое это чудо!..

— Строить, всем обществом строить!..

Загид, взглянув поверх папах, увидел молодое, веселое лицо цемулхорца, и ему стало как-то особенно хорошо.

— Правильно, товарищ! — крикнул он. — Правильно!..

IX

Необычайно аульское утро! Легкий весенний воздух пропитан душистым кизячным дымом. Солнце еще не взошло, — оно за хребтами гор. Медленно ползет навозный пар из широко распахнутых конюшен. Ржут особым, сытым, утренним ржаньем кони. В узких, стиснутых стенами саклей, улочках, крохотных двориках, на крышах начинается жизнь...

Солнце медленно, словно нехотя, выползает на хребет, раздвигая чудовищные стены горных вершин. Сквозь клочковатые облака пробиваются первые лучи. Наконец уходит последнее облако, и отрывается вся глубина неба, такого неба, какое может быть только в горах. И скоро все Азарго походит на вынутые соты, горящие золотом.

И с приходом солнца оживает и бедная сакля Мавлото и его тесный двор: все шумит плотным, густым и протяжным шумом морского прибоя.

Теперь на террасе уже все: и уполномоченный сельсовета, и сам Мавлото, и Банадурас, и Загид, и даже техник. На лестнице толпится молодежь; под навесом, около кривого, сучковатого шеста, расселись старики, молчаливые и торжественные. Все готово к настоящему джамаату, — и даже тишина, и само утро. И джамаат молчит степенно и выжидающе, как молчит каждый джамаат в Дагестане, давая возможность оратору сказать все, что он думает.

Молодой цемулхорец еще раз повторил сказанное им ночью: о том, что все селение готово помочь азаргинцам строить мост. Он уже давно отошел в сторону, а джамаат все молчал. И молчал спокойно и настороженно и тогда, когда начал говорить Загид. Это молчание — молчание гор — скрытое, но полное значения: кто хорошо умеет его слушать, тот знает ему цену.

Загид говорил и больше всего боялся, чтобы кто-нибудь не прервал его.

— Эй, ругуджинцы и цемулхорцы! Ну, кто из вас теперь поверит, что камни столкнул в Койсу аллах, кто? Нет такого! Никто не поверит этому!..

Он подошел к самому краю навеса и, смотря себе под ноги, вниз, откуда шурились на него молодые и любопытные глаза, где горели запрокинутые вверх веселые лица, спрашивал:

— Ну, скажите, что лучше для аллаха: если у нас будет новый, большой и хороший мост или не будет никакого моста, и камни будут лежать на дне Койсу?..

Хорошо, как никогда, говорил Загид, чувствуя слушателей, не говорил, а скорее рассказывал. Вся его нехитрая речь, построенная из полувопросов и недомолвок, именно так, как строится быстрая аварская речь, была полна обращений, призывая и задоря. Она неотразимо действовала на слушателей своей искренностью.

— Давайте вместе всем Азарго и Цемул-Хором изгонять тех, кто творит

чудеса: ворует камни и ковры из мечети!..

По гетикану покотился смех, веселый и добродушный смех спокойных людей. Загиду стало еще легче говорить, еще радостнее — он впервые ощутил гордость оратора. Теперь он уже мог подыскивать те особые слова, какие казались ему наиболее красивыми и нужными, видеть перед собой не отдельные лица, а одно целое, большое, подвластное его словам. То порывисто, резко, то плавно и медленно, выделяя движениями рук какую-нибудь фразу, он делал на ней голосом уда- ренье.

— Они не мечетинские ковры украли, а ваши! Слышите, азаргинцы, ваши! Чья шерсть шла на них? Ваша. Кто ткал их? Ваши жены, матери, сестры... Разве не верно это?

Он выдержал паузу, чтобы с еще большей силой и твердостью ответить:

— Верно!

Даже для него самого каждое произнесенное им слово приобретало сейчас совсем другой смысл, чем тот, что оно до этого имело: оно как бы становилось весомым и почти объемным. Загиду казалось, что он может его взять, на-ощупь почувствовать. Эти минуты перед толпой казались лучшими минутами в его жизни, и он хотел их продлить еще и еще...

— Так нагло и открыто они обкрадывают вас, всю вашу жизнь, азаргинцы!

На мечетинскую крышу медленно выполз Залимау, сел на край ее, похожий на большую хищную птицу: грязная, давно не чесанная шерсть хапочи торчала черными крыльями. Его глаза жгли толпу, излучая холодный, стальной блеск выцветших зрачков. Как всегда, он сидел неподвижно, скрюченно и, как всегда, страшный в своей позе. За его спиной возвышался культапый минарет, такой же черный, как и он сам. Время и ветры искрошили его, — он походил на гнилой, потрескавшийся зуб. Сбоку от Залимау торчал высокий сучковатый шест, на отростках которого висели узкие конские черепа. В их широких пастьях и чудовищно-огромных глазницах

окаменела судорога смерти, более страшная, чем сама смерть.

Скоро к Залимау подсели те трое, что приезжали с кадием ставить запа- лы на могильных камнях. Соннолицы, они сидели на корточках, подобрав под себя грязные, сальные полы бешметов. Они, не мигая, глядели в сторону За- гида блеклыми, желтовато-черными гла- зами, изредка переключаясь короткими гортанными, похожими на птичий кле- кот, голосами. Загид, неожиданно уви- дев их, удивленно оборвал свою речь, словно обманутый увиденным.

— Смотрите, смотрите, — повысил он вдруг голос, — они выползли из сво- их нор!

Все обернулись. В это время на двор на запаренном, хорошо обезженном иноходце в'ехал незнакомый азаргинцам человек. Толпа расступилась, пропуская приехавшего. Тот быстро поднялся по обшарканной лестнице.

— Я инженер! — сказал он, стряхи- вая с ног пыль. — Хочу воспользо- ваться вашим собранием и сказать не- сколько слов. Можно? — он взглянул на Мавлото.

Этот, внимательно оглядев его широ- кие, в полоску, штаны, вправленные в желтые голенища сапог, замысловатый, в складках и пуговицах, френч и старый английский пояс, махнул рукой.

— Я инженер, приехал помочь вам строить мост...

Двор пришел в движение, загудел.

— Вы удивлены, что я сразу взял слово, да?.. Большой Кара мне все рас- сказал...

— Большой?! — выкрикнул Загид, подаваясь вперед.

Толпа задвигалась. Всколыхнулись женские визги, загудели мужчины. Юр- кий парнишка, ухватившись за деревян- ную перегородку, перескочил с лестни- цы под навес.

— Кара?.. Где Кара?..

— Его ранили, тяжело ранили...

— Говори! — наседали на него азар- гинцы.

Все, что стояли под навесом, сбились вокруг приезжего. Мавлото подошел к нему вплотную:

— Говори!

Приезжий, повернувшись к толпе всем корпусом, хрипло начал:

— Ваш Кара поехал к нам с хорошей вестью и — пропал. Не знали об этом ни вы, ни мы. Случайно его подобрали на дне ущелья, раненным в спину и разбившимся о камни... Он мне успел сказать немного: его ранил Абдурахман.

Приезжий умолк, словно дожидаясь ответа. И, переждав чуть, продолжал, но уже другим, промким и твердым голосом:

— У вас не было большевистской организованности, — говорил он, — было мало сплоченности и еще меньше самого опыта. И в том, что вы, азаргинцы, не выступили так, вы сами в этом виноваты, но еще больше — мы, дагестанские дорожники, а кто больше всех — это дорога! Второе, вчетверо, нет, в десять раз! Азарго было бы ближе к Буйнакску, если бы была дорога. Ну, кто этого не знает? И мне ли говорить вам, азаргинцы, как трудно через хребты идут хорошие вести...

Он опять подождал. И опять джамаат хранил попрежнему молчание.

— Кто не знает, что мост вам нужен больше самой Баранты? И только ли затем, чтобы гонять по нему аульскую отару? Нет! Мост нужен, чтобы все было у вас!..

— Азаргинцы, — закончил дорожник, — мост будет! Но к нему нужна дорога. Она нужна так же, как был нужен и сам мост. Будем строить дорогу!..

Джамаат молчал, и это молчание было мучительно-долгим для приезжего. Потом сразу раздалась возгласы одобрения. Инженер взглянул вниз и увидел, что все готовы итти за ним — выполнять нужное и уже решенное дело.

Плита к плите. Так ловко и ровно могут класть только руки дагестанских каменщиков, этих лучших каменщиков в мире. Сама природа научила их этому искусству. «Стройся так, как она устроена, — говорится в одном из аварских преданий, — сделай свое жилище столь

же трудно доступным, как недоступны сами горы Аварии».

Каждый горец — архитектор и инженер. Дагестан еще до сих пор помнит, как строили при Шамиле тилитлинцы: разрушенные и сожженные селения через неделю опять бывали восстановлены; опять возвышались башни, опять ограды тянулись одна к другой.

— Ни в пыль, ни в дупел нельзя превратить всех камней Тилитля: опять Тилитль будет на своем месте, — так говорили о себе тилитлинцы.

И вот почему, когда Мавлото назвал Загида настоящим тилитлинцем, это было лучшей похвалой ему, как строителю. И Загид этим был горд.

Сама кипучесть, которая обуюла всех, приводила Загида почти в детскую радость. Он радовался всему: и громким возгласам работающих, и грохоту падающих камней, и веселому виду Банадураса, и своим азаргинцам, и цемухорцам. Он радовался всему, что видел, как может радоваться человек, познающий счастье коллективного труда. У него являлось желание бежать, сломя голову, в гору и петь ликующие песни, кричать во весь голос, смеяться громко и безудержно.

В этом общем трудовом экстазе один только техник находил для себя возможность отдыхать. Он садился на одном из больших надгробий, далеко в стороне, и, щурясь от ярких лучей солнца, наблюдал за кипучей работой. Он делал попытку разобраться во всем том, что сейчас происходило, и — не мог: события были слишком необычны, они пугали все его мысли, всю его логику. Смотря на работающих, он думал, что эти люди истомились по работе и теперь утоляют свою жажду, забыв обо всем. Не отрывая глаз, он глядел на Банадураса, все больше и больше восхищаясь его силой.

Было жутко видеть его огромную фигуру, шагающую под прямым, точеным камнем, — что-то первобытное было в этом. Черные лохмы папахи, сбитой слишком порывистым движением на крючковатый нос, закрывали ему глаза, — было непонятно, как он может двигаться, не глядя вперед. Он не от-

кидывал с глаз эти черные грозды шерсти, потому ли, что его руки были заняты, или потому, что он берег рабочее время. Шаг его был тяжел и медлителен, как шаг слона, и даже над самым откосом он не был им ускорен.

Те, что шли ему навстречу, невольно вглядывались в него, пугливо сторонясь. Техник же заворожено любовался им, испытывая мистическое чувство преклонения перед силой. Помимо воли, он следил за каждым его движением, смотрел, как он поднимал камень и как резким, как бы судорожным движением, сбрасывал его наземь.

За все время, пока Банадурас работал, он ни с кем не обменялся словом, и эта суровая деловитость была особенно приятна Загиду. У него при взгляде на Банадураса в глазах светилась гордость и восторженное благоговение.

«Если бы мы сейчас выбирали учантарау, то непременно выбрали бы его, — думал Загид. — Ему принадлежит теперь право сильного».

Вечерами Загид ходил от костра к костру, прислушиваясь к речам, какие велись вокруг. Стараясь оставаться в тени, он задерживался там, где было особенно оживленно. И часто с трудом сдерживал себя, чтобы не вмешаться в спор. Здесь он видел почти всех, словно все Азарго выступило в поход.

Костры то разгорались, опьяняя облием огня, то гасли, сразу превращаясь в золу. Десятки быстрых и светлых рук заботливо поддерживали их, бросая мятую, словно шерсть, праву и шершавые корки кизяка.

— Вай, какой кизяк! — слышал Загид знакомый звонкий голос. — Крепче камня!

Он видел, как тот, что сказал эти слова, сразмаху начал долбить кизяк о колено. Кругом весело смеялись.

— Из такого кизяка можно мост строить!

Все разговоры только и вертелись вокруг этого.

Перепрыгивая через ямы, похожие на глубокие норы, и сваленные наземь плиты, Загид шел дальше. Ему все казалось необычайным. Он словно не верил в реальность происходящего и,

боясь вдруг очнуться, хотел продлить эти похожие на сон, вечера. Забираясь в самую гущу еще не отрытых надгробий, шел на противоположную сторону кладбища и там, найдя Мавлото, садился около него. Как всегда, около Мавлото был народ.

— ... Хитрее женщины, — рассказывал Мавлото, — один только аллах: он самый хитрый из всех хитрецов...

Мавлото заговорил о женщине! Загид поражен. Это вечера каких-то наводнений! Протискался ближе, к самой бурке Мавлото.

— ... Против нее мужчина — проstack, — продолжал Мавлото. — С той хитростью, какая есть у женщины, ему никогда не сравняться... И вот, слушайте, что я расскажу вам...

Сделалось еще тише, чем было. Те, что лежали далеко, осторожно подползли ближе; те же, что находились позади, обошли кругом и сели напротив, чтобы видеть лицо Мавлото.

— ... Мужчина и женщина пошли одной дорогой. Мужчина нес на спине котел, в правой руке — курицу, в левой — палку и еще вел за собой козла. Дорога была длинной, как язык женщины: и вверх, и вниз, и ущельем шла она, и оврагами. И вот подошли мужчина и женщина к лесу. Женщина и говорит мужчине: «Боюсь, как бы ты со мной не сделал чего-нибудь, когда будем проходить лес». Мужчина ответил: «Мне трудно будет пройти через него со всем тем, что у меня есть, — пойду в обход». И повернул с дороги. Женщина пошла за ним. Скоро путь им преградил овраг. Женщина опять говорит: «Как бы ты чего плохого не сделал со мной, когда мы будем проходить овраг». Мужчина, покачивая головой, ответил: «Зачем ты идешь со мной, коли боишься меня? Да и как я с тобой что-нибудь сделаю, когда за спиной у меня котел, в одной руке, видишь, я держу курицу, в другой — палку да вдобавок на веревке веду козла? Ведь вот как связан!» — «Ну, палку ты можешь воткнуть в землю, к ней можно привязать козла, а курицу накрыть котлом, — вот и руки у тебя свободны!» — сказала женщина. «О, я никогда бы не до-

думался!» — сказал про себя мужчина, и, когда они дошли до оврага, он так и сделал. Женщина осталась довольна.

Мавлото, став серьезнее обычного, раскуривал свернутую из кукурузного листа цыгарку. Все — и Загид тоже — шумно его благодарили.

Черное небо загорелось звездами.

Уже давно приступили к самой кладке моста, — к самому почетному и любимому делу азаргинцев. Уже давно ишаками была доставлена известь и цемент — вещи, никогда не виданные в горах, — горцы признают сухую кладку, даже без глины и песку, — и потому с каким-то особым благоговением азаргинцы и цемулхорцы мазали этим невиданным белым и зеленым тестом камни. Мост все больше и больше сходил, он сходил, двумя огромными корками с крутых и шершавых берегов, торжествуя свою победу над злобствующим потоком.

Махач-Кала — Москва.

Август 1933 — февраль 1934.

Загид все чаще заглядывал туда, вниз, где, огибая скользкие камни, серой тягучей массой бушевала вода, наползая на черные уступы обрывистого берега. Острые и неровные камни висели над водою, и было похоже, что вода бурлит в раскрытой пасти, цепляясь за раскрошенные, гнилые зубы: это были камни, сброшенные цемулхорцами. Загид, сплевывая вниз, торжествовал победу.

X

Если вам случится пробираться по высокогорной Аварии, к неприступному Дидю, и судьба забросит вас в Азарго, единственно, что напомнит вам о рассказанной мною истории (в селении о ней уже забыли: новые дела и события отодвинули ее далеко назад), — это большой мост: в его упорах вы увидите камни, иссеченные удивительными арабскими орнаментами. Это и есть тот самый мост, за который погиб Кара, — мост на Азарго.

За рубежом

ТРИ КРИЗИСА

М. Спектатор

I. Кризис 1857 г.

Нынешний кризис не есть простое повторение старых кризисов, — сказал т. Сталин в политотчете ЦК XVI съезду ВКП(б). — Он происходит и развертывается в некоторых новых условиях, которые необходимо выявить, чтобы получить полную картину кризиса». Своеобразие нынешнего кризиса выступает наиболее рельефно из сопоставления развертывания нынешнего кризиса с историей прошлых кризисов. Для этой цели мы остановимся на кризисе 1857 г. и на кризисе 1900 г. Оба эти кризиса чрезвычайно характерны. Кризис 1857 г. — первый «мировой» кризис, охвативший сравнительно большое количество стран, промышленных и аграрных. Он разразился в эпоху процветания промышленного капитализма, когда кривая развития капитализма еще идет вверх. Поразил он главным образом Англию, хотя начался в США. Второй кризис — 1900 г. — приходится на начало монополистического периода развития капитализма, центром его действия является Германия, тогдашняя ведущая промышленная страна, в то время как нынешний кризис «сильнее всего поразил главную страну капитализма, его цитадель, — США» (Сталин).

Подъем хозяйства за годы 1851—1857, предшествовавший кризису 1857 г., был обусловлен железнодорожным строительством. Лескюр («Общие и пери-

одические промышленные кризисы», стр. 70 и 72) указывает на постройки железных дорог, как на основную причину промышленного оживления начала 50-х годов. В США в 1851 г. имелось 8.856 миль, а в 1857 г. 24.290 миль железных дорог. За это время в постройки этих дорог было вложено 1.090 млн. долл. Франция затратила на те же цели в 1852—56 гг. 1.270 млн. фр., что для тогдашнего времени было огромной суммой. «Этого возобновления постройки железных дорог, — говорит Лескюр, — вместе с благосостоянием торгового судоходства и судостроения, было достаточно, чтобы сильно оживить железноделательную и горную отрасли. Стали основывать новые заводы, рыть новые шахты».

Из этого не следует, что промышленное оживление было ограничено только этими областями. Оно распространилось и на текстильную промышленность и на другие отрасли хозяйства. В Англии, рассказывает далее Лескюр, с лихорадочной поспешностью строят новые текстильные фабрики в Ланкашире. С 1850 г. по 1856 г. число текстильных фабрик увеличилось с 4.600 до 5.117, а число веретен — с 25,6 до 33,5 млн., число ткацких станков — с 299 тыс. до 369 тыс., число занятых рабочих — с 596 до 692 тыс.

«Это благосостояние текстильной промышленности обуславливается внешним спросом в такой же, если не в большей, степени, как и внутренним потреблени-

ем» (Лескюр). На самом деле, потребление хлопка в Англии увеличивается с 1854 г. по 1856 г. на 16 проц., вывоз же хлопчатобумажных тканей — на 20 проц.

Однако «главное увеличение вывоза Соединенного королевства приходится не на хлопчатобумажные ткани (как это бывало перед предшествовавшими кризисами), а на железо и сталь» (Туган-Барановский, «Периодические промышленные кризисы», 4-е изд., стр. 101). Вывоз железа и стали еще в 1857 г. продолжает нарастать и превосходит вывоз 1854 г. на 29 проц.

«В этом,—продолжает далее Туган,—сказалось глубокое изменение в положении Англии в мировом хозяйстве в 50-х годах сравнительно с предшествовавшим временем. Прежде Англия пользовалась почти неограниченной монополией в обрабатывающей промышленности. Промышленность других стран, с которыми Англия вела торговлю, развивалась медленно, и Англия ввозила в них почти исключительно свои фабрикаты и колониальные продукты. Промышленный подъем 50-х годов распространился далеко за пределы Англии, и потому из английских товаров особенно увеличился спрос не на готовые предметы потребления, но на сталь и железо, как необходимый материал при производстве. Постройка железных дорог была главным предметом спекуляции в 50-х годах; поэтому производство и обработка железа получили в это время особенно сильное развитие».

Это — годы перелома в мировом хозяйстве. Начинается переход к усиленному производству средств производства, подготовившему в дальнейшем и переход к монополистическому капитализму.

Железнодорожная горячка начинает однако скоро спадать. Лескюр сообщает: «Последние из построенных линий давали наименьший доход (с километра... Вследствие этого число вновь построенных километров во Франции вдруг упало с 1.263 в 1857 г. до 1.199 км. в 1858 г. То же самое произошло в США». В 1856 г. протяжение сети уве-

личилось на 3.850 миль, в 1857 г. уже всего на 2.020 миль. «Здесь, как и во Франции, в доходах оказался значительный недочет...»

«В Англии железнодорожная горячка тоже ослабла». Вместо предполагавшихся к постройке 4.808 миль были построены всего 2.590 миль. «Доходы и здесь... понизились».

«Этот всемирный железнодорожный кризис, естественным образом, очень тяжело отзывался на каменноугольной и железоделательной промышленности».

«За этой внезапной остановкой промышленного и торгового подъема последовало традиционное понижение цен». Последнее, начавшееся в различных странах в мае—августе 1857 г., усилило застой в товарообороте и привело с июня того же года к сильному спросу на кредит и к понижению курсов биржевых ценностей.

Об этом кризисе велась оживленная переписка между Энгельсом и Марксом. В своем письме от 15 ноября 1857 г. Энгельс пишет Марксу:

«Спекуляция охватила, помимо акций, все сырье и колониальные товары, а также и все мануфактурные товары, в ценах которых большую роль играет цена сырого продукта; таким образом, повышение цен тем сильнее, чем товар ближе к сырому продукту и чем дороже этот сырой продукт: на пряжу больше, чем на сырую ткань, на последнюю больше, чем на крашеные и пестротканые шелковые товары, и больше, чем на хлопчатобумажные».

На самом деле, цена хлопка поднимается с 1855 по 1857 г. на 44 проц., в то время как средняя экспортная цена хлопчатобумажной пряжи и тканей повысилась всего на 10—11 проц.¹⁾

Этот кризис, который потряс тогдашний капиталистический мир, оказал на промышленную продукцию весьма слабое влияние, как видно из следующей таблицы добычи угля, выплавки чугуна и потребления хлопка.

¹⁾ Исчислено нами на основании данных об английской торговле.

Кризис 1857 г.

Добыча угля в млн. б. тонн

Годы	Англия	Франция	США
1854 . . .	64,7	6,7	10,7
1855 . . .	61,5	7,3	11,5
1856 . . .	66,6	7,8	12,1
1857 . . .	65,4	7,8	11,9
1858 . . .	65,0	7,2	12,5
1859 . . .	72,0	7,6	14,0
1860 . . .	80,0	8,2	13,0

Выплавка чугуна в млн. б. тонн

1854 . . .	3,1	0,8	0,7
1855 . . .	3,2	0,8	0,7
1856 . . .	3,6	0,9	0,8
1857 . . .	3,7	1,0	0,7
1858 . . .	3,5	0,9	0,6
1859 . . .	3,7	0,9	0,8
1860 . . .	3,8	0,9	0,8
1861 . . .	3,7	1,0	0,7

Потребление хлопка в млн. англ. центи.

Годы	Англия	Франция	США
1854 . . .	6,9	1,4	3,3
1855 . . .	7,5	1,5	3,2
1856 . . .	8,0	1,7	3,4
1857 . . .	7,4	1,4	3,7
1858 . . .	8,1	1,6	3,9
1859 . . .	8,7	1,6	3,8

В Англии добыча угля упала с 1856 г. по 1858 г. всего на 2,4 проц., выплавка чугуна с 1857 г. по 1858 г. — на 5,4 проц., а потребление хлопка за годы 1856—57 — на 7,5 проц. В США потребление хлопка в 1857 и в следующие годы продолжает нарастать, а выплавка чугуна снижается в 1857 г. на 14 проц.

Продолжительность этого кризиса тоже небольшая. В 1859 г. уровень продукции уже превышает самый высокий докризисный. Цены однако продолжают еще долго падать: на текстильное сырье и хлеба — до 1860 г., на минералы — вплоть до начала 70-х годов. Как-раз в этой последней области совершается технический переворот, который дает возможность снижать цены и тем самым облегчать выход из кризиса. Индекс экспортной цены угля в Англии, достигая в 1855 г. 79, упал в 1857 г. до 76, в 1860 г. все еще 72 и на этом приблизительно уровне остается до 1863 г. Индекс цен чугуна снижается с 115 в 1854 г. до 105 в 1856 г., до 71 в 1861 г. В целом общий индекс цен только в 1864 г. достигает уровня

1857 г. и только в 1872 г. превышает последний.

Безработица в Англии среди рабочих машиностроительной, судостроительной и металлообрабатывающей промышленности достигает в 1857 г. колоссального процента (12,2 проц.), но в 1859 г. она уже падает до 3,9 проц., а в 1860 г. — даже до 1,9 проц., чтобы затем снова быстро подниматься. Среди других рабочих она далеко не так сильна. Среди типографов и переплетчиков (о которых имеются сведения) она достигает только 2,5 проц., а в 1859 г. уже падает до 1,4 проц. организованных рабочих.

Как этот кризис рассосался, можно проследить по переписке Энгельса с Марксом. В своем уже цитированном письме к Марксу Энгельс говорит, что «если хлопок не упадет до 6 пенсов за фунт, то здесь невозможно никакое, даже кратковременное, оживление хлопковой промышленности». Через некоторое время Энгельс опять пишет: «Цена хлопка теперь дошла до 6^{1/16} пенса и вероятно скоро упадет до 6 пенсов. Но фабриканты смогут работать полным ходом лишь в том случае, если увеличение производства не вздует сейчас же цены снова выше 6 пенсов».

Наконец в письме от 11 декабря 1857 г. Энгельс уже говорит о наступившем переломе и объясняет его следующим образом: «Цены достаточно низки, чтобы дать возможность сделать то, что обыватель называет здоровыми делами». Отсюда ясно видно, что значительное снижение цен на хлопок явилось исходным моментом в улучшении положения хлопчатобумажной промышленности, так как цены на ткани упали сравнительно в меньшей мере и фабриканты смогли хорошо зарабатывать.

С другой стороны, Лескюр отмечает резкое снижение зарплаты; в Шотландии например за годы 1856—1858 на 30 проц. Далее, ввели гарантию доходов железнодорожных компаний и систему субсидий железнодорожного строительства.

Это обстоятельство представляет собой особенный интерес. Железные дороги имеют огромный основной капитал.

Их постройка была возможна только путем обобществленного капитала в форме акционерных обществ. «Мир до сих пор, — писал Маркс («Капитал», т. I, стр. 618), — остался бы без железных дорог, если бы приходилось дожидаться, пока накопление не доведет некоторые единичные капиталы до таких размеров, что они могли бы справиться с постройкой железных дорог. Напротив, централизация посредством акционерных обществ достигла этого как бы по одному мановению руки». Но обобществленному капиталу по сути дела противоречит капиталистический способ производства; вложенный в железнодорожное строительство капитал нельзя вернуть, если дела становятся неблагоприятными. Правительственная гарантия доходности фактически означает, что государство перенимает риск на себя, но тем самым теряется единственный смысл частного строительства, и в большинстве стран железные дороги действительно становятся государственными.

Конечно фактически они продолжают служить капиталу, но все же сам факт их огосударствления показывает, что на известной ступени развития органического строения капитала и нарастания основного капитала частнохозяйственная форма владений становится невозможной. Средства производства должны быть обобществлены.

Очень характерно замечание Маркса о требованиях субсидий со стороны промышленников того времени. В письме от 8 декабря он пишет: «Что капиталисты, которые так кричат против *droit du travail*, теперь требуют от правительства повсюду «общественной помощи» и т. д., в Гамбурге, Берлине, Стокгольме, Копенгагене и даже в самой Англии (в форме приостановки действия законов) дают знать о своем *droit au profit* за счет общества, — это — великолепно».

Это повторяется решительно во время всех последующих кризисов, свидетельствуя о том, что частный капитал все менее и менее в состоянии справиться со стихийными силами капитализма. Мы увидим дальше, что во время ны-

нешнего кризиса почти все народное хозяйство поставлено под контроль государства и переведено на правительственный паек... Яркое доказательство банкротства капиталистической системы, дошедшей до того, что класс капиталистов превращается в иждивенцев государства вместо того, чтобы содержать государство за счет своей прибавочной стоимости, как этого требовала политическая экономия (физиократы, Рикардо) на заре капитализма.

Другим выходом из кризиса 1857 г. явился экспорт. Энгельс сообщает об этом Марксу в письме от 11 декабря:

«Дней восемь-десять тому назад внезапно появились на рынке индийские и левантские покупатели, запаслись товарами по самым низким ценам и тем помогли выпутаться из отчаянного положения некоторым фабрикантам, перегруженным запасами хлопка, пряжи и тканей».

На самом деле экспорт готовых изделий достигает в 1859 г. и в ценностном выражении рекордной цифры (из Англии — 118 млн. ф. ст. против 105 млн. в 1858 г. и 110 млн. в 1857 г.).

Этот кризис имел различные последствия. Лескюр рассказывает, что во время кризиса были сделаны попытки образования картеля, но что вследствие интенсивной конкуренции они не удалось. Тогда усилилось давление на зарплату, чтобы «переложить уменьшение барышей на рабочих»; однако «рабочие энергично протесовали и на эту коалицию предпринимателей отвечали образованием коалиций рабочих. Таким образом зародился первый крупный профессиональный союз — союз иоркширских рудокопов». Переход к монополистическому капитализму усиливает организованность и боевую готовность рабочего класса.

Далее, примерно с этого времени начинается закат господства Англии на европейских рынках. Вывоз хлопчатобумажных тканей из Англии в Европу составил в 1850 г. 16,4 проц. всего их вывоза, а в 1860 г. — уже только 7,5 проц. Экспорт Англии направляется в другие страны, в первую очередь в Индию и другие колонии. И вместе с

тем «либеральная» Англии превращается в империалистическую. Одновременно падает роль экспорта хлопчатобумажных изделий во всем экспорте с 34,9 проц. в 1855—59 гг. до 29,9 проц. в 1870—74 гг. Наконец темп развития Англии явно начинает отставать от темпа развития других стран. В 1860—64 гг. Германия производит только 17 проц. того количества чугуна, которое выплавляет Англия, в 1870—1874 гг. — 28 проц., а США — 20 проц. и 34 проц. Да и безотносительно мы наблюдаем замедление темпа развития Англии. Потребление хлопка увеличивается с 1845—49 гг. по 1855—1859 гг. на 328 млн. фунтов, или на 59 проц., а в следующее десятилетие — всего на 22 млн., или на 2,5 проц. Выплавка чугуна в Англии поднялась с 1850 г. по 1861—65 гг. на 2,2 млн., а до 1876—80 гг., или за 15 лет, — тоже только на 2,2 млн.

II. Кризис 1900 г.

Таким образом, первый мировой кризис нанес сокрушительный удар системе свободной торговли и подготовил переход к монополии, которая «есть переход от капитализма к более высокому строю» (Ленин). Для окончательной смены одной формы организации хозяйства другой понадобились однако еще 2—3 удара: кризис 1873 г. и кризис 1900 г. Последний, по словам Ленина, сыграл «роль поворотного пункта к истории новейших монополий».

Кризис 1900 г. характерен между прочим в том отношении, что он последовал после сильного подъема, во время которого апологеты капитализма, в особенности певцы «организованного капитализма» (картелей, трестов), стали утверждать, что картели и тресты преодолели анархию и кризисы. «В то самое время, — говорит Лескюр, — как германские теоретики задавали себе вопрос, не избавились ли уже современные народы навсегда от этого ужасного бича, который называется общим промышленным кризисом, в германском экономическом мире XIX столетие сменилось XX при господстве одного из

наиболее характерных кризисов». Германия явилась в этом периоде ведущей экономической страной, что сказалось на более быстром темпе выплавки чугуна в Германии по сравнению с другими индустриальными странами, как видно из следующих данных:

Выплавка чугуна в млн. б. т.

Годы	Анг- лия	Фран- ция	Герма- ния	США
1895 . . .	7,7	2,0	5,4	9,4
1996 . . .	8,7	2,3	6,3	8,6
1897 . . .	8,7	2,4	6,8	8,7
1898 . . .	8,6	2,5	7,2	11,8
1899 . . .	9,4	2,5	8,0	13,6
1900 . . .	9,0	2,7	8,4	13,8
1901 . . .	7,9	2,4	7,7	15,9
1902 . . .	8,9	2,4	8,4	17,8

Кризис 1900 г. почти не затронул США. Из континентальных стран Англия увеличила свою выплавку чугуна в предкризисный подъем (1895—99) на 23 проц., Франция — на 35 проц., а Германия — на 55 проц. За годы кризиса сокращение продукции составило в Англии 16 проц., во Франции — 10 проц., в Германии — 9 проц.

Однако в Германии кризис сказался не в тяжелой, а в обрабатывающей и специально в машиностроительной и электротехнической промышленности.

Потребление хлопка сократилось в Германии с 1898 г. по 1900 г. на 10 проц., а в Англии с 1899 г. по 1900 год — на 7,6 проц. Центром кризиса была однако не текстильная, а электротехническая и машиностроительная промышленность.

Наиболее характерной особенностью этого кризиса явилось то, что в нем впервые ярко и определенно проявилось влияние монополий на хозяйство. Шла ожесточенная борьба между монополиями и обрабатывающей промышленностью. Например прокатные и машиностроительные заводы постоянно жаловались, что их положение невыносимо ввиду того, что они вынуждены платить высокие цены за сырье и полуфабрикаты. Лескюр заявляет, что влияние картелей во время кризиса сводилось к тому, что они имели «возможность переложить тяжесть кризиса на отрасли, менее тесно организованные, то-есть, на

отрасли, производящие готовые изделия». Говоря о кризисе в тогда ведущей отрасли — электротехнической, он замечает (стр. 251): «Разгром электротехнической промышленности был в основном обусловлен тем, что цены ее изделий были не так высоки, как они должны были быть ввиду высокой общей стоимости производства. Жалобы их на этот счет начинаются с 1899 г. Другие отрасли машиностроительной промышленности еще раньше жаловались на высокие цены на материалы, заводчики паровозов с 1897 г., а заводчики паровых котлов указывали, что они вследствие высоких цен на сырье не в состоянии конкурировать с иностранцами».

На самом деле цены на сырье и полуфабрикаты испытали за этот период головокружительный подъем, как видно из следующих данных:

За годы с 1895 г. по 1900 г. повысились цены на уголь на 20 проц., на кокс — на 100 проц., на руду с 1894 г. на 60 проц., на чугун — на 100 проц., на полуфабрикат — почти на 100 проц., на балки — на 64 проц., на брусковое железо — на 64 проц., на толстое листовое железо с 1895 г. по 1899 г. — на 85 проц., на медь — тоже около 60 проц.

Чтобы получить цены на готовые изделия, мы обратились к статистике внешней торговли и вычислили стоимость одной тонны труб, рельсов, швейных машин и паровозов в 1895 г. и 1900 г. В результате получилось, что цены на трубы поднялись за это время на 35,5 проц., на рельсы — на 45 проц., на швейные машины — на 60 проц., на паровозы — на 20 проц.

Статистика, следовательно, полностью подтверждает обоснованность этих жалоб.

Лескюр тоже констатирует (стр. 280), что отрасли, производящие готовые изделия, сильно терпели от политики картелей. Правда, последние платили экспортерам готовых изделий вывозные премии, но все же германские предприятия не были конкурентоспособны. Он приводит пример с жестью, которая в Германии продавалась на 60 мар. доро-

же, чем за границей, между тем как все вывозные премии составляли только 20 мар. В результате такой дороговизны корабельной жести значительная часть заказов на постройку речных судов была сдана в Голландию, получавшую из Германии же дешевое сырье и дешевые полуфабрикаты.

Чтобы удержать цены на высоком уровне, картели ограничивали продукцию. Однако цены на полуфабрикаты, в особенности на брусковое железо, на балки и на листовое железо, все же пали. За брусковое железо платили в 1901 г. за толстую жесть — 130 мар. вместо 165, за балки — 100 вместо 140, за полуфабрикат — 80 вместо 130. В 1902 г. упали и цены на чугун (с 90 до 57 за тонну, на кокс — с 22 до 15 мар.). Все это и дало выход из положения. В 1902 г. уровень продукции чугуна доходит снова до высшего предкризисного.

Надо сказать, что экспорт готовых изделий из Германии уже в 1902 г. был выше, чем в 1900 г., а экспорт железных и стальных изделий и в 1901 г. был выше, чем в 1900 г. Только экспорт машин испытал довольно значительное и продолжительное снижение. Он составил в млн. ф. стерл.: в 1900 г. — 10,6 млн., в 1901 г. — 9,1, в 1902 г. — 8,9, в 1903 г. — 10,4 и в 1904 г. — 10,4.

Экспорт средств и орудий производства в целом уже в 1902 г. превышает уровень 1900 г.

Таким образом, снова внешний рынок спасает положение.

Говоря о влиянии кризиса 1900 г. на германское хозяйство, Лескюр замечает: «Как и всегда, кризис послужил сигналом к более полной концентрации предприятий, но под влиянием картелей эта концентрация ускорилась и приняла новые формы» (стр. 296).

Ленин приводит следующую характеристику влияния кризиса 1900 г. на форму организации производства, которую дал Ейделс в своей известной работе об «Отношении германских крупных банков к промышленности»:

«Кризис 1900 г. застал наряду с гигантскими предприятиями в главных

отраслях промышленности еще много предприятий с организацией, по теперешним понятиям, устарелой, «чистые» предприятия (то-есть не комбинированные), поднявшиеся вверх на гребне волны промышленного подъема. Падение цен, понижение спроса привели эти «чистые» предприятия в такое бедственное положение, которое либо вовсе не коснулось комбинированных гигантских предприятий, либо затронуло их на самое короткое время. Вследствие этого кризис 1900 г. в несравненно большей степени привел к промышленной концентрации, чем кризис 1873 г.: этот последний создал тоже известный отбор лучших предприятий, но при тогдашнем уровне техники этот отбор не мог привести к монополии предприятий, сумевших победоносно выйти из кризиса. Именно такой длительной монополией, и притом в высокой степени, обладают гигантские предприятия теперешней железодобывающей и электротехнической промышленности благодаря их очень сложной технике, их далеко проведенной организации, мощи их капитала, а затем в меньшей степени и предприятия машиностроительной, известных отраслей металлургической промышленности, путей сообщения и пр.». Монополистические гиганты еще выходят «сухими из воды».

Однако этим влияние кризиса не исчерпано. Усиление монополистических тенденций означает одновременно и усиление тенденций к загниванию. Действительно, Вагенфюр в известном труде «Промышленное хозяйство» (стр. 19) констатирует, что с 1900 г. замедляется темп развития германского хозяйства. Доля германской промышленности в мировой с 1895 г. по 1900 г. поднялась с 15 проц. до 17 проц., а затем падает и составляет в 1913 г. снова только 15 проц. После 1900 г. и Германия переходит, как выражается Вагенфюр, в ряды «старых» капиталистических стран. Относительное замедление темпа развития германской промышленности стало уже перед мировой войной фактом. В 1900 г. германская промышленность составила 48 проц. промышленности США, а в 1913 г. всего

только 40 проц. Как с 60-х годов начинается падение Англии и подъем Германии, так после 1900 г. ведущая роль в мировом хозяйстве переходит от Германии к США.

III. Кризис 1929—1933 гг.

1. Нарастание противоречия между общественным характером производства и частным характером присвоения

Самая глубокая причина и нынешнего кризиса лежит в основном противоречии капиталистического способа производства, в противоречии между общественным характером производства и частным характером присвоения. Обострение этого противоречия в последние годы перед нынешним кризисом и привело к взрыву. Трудно найти статистическое выражение для этого противоречия. Некоторые указания мы находим в том, что доля зарплаты в общей стоимости продукции упала¹⁾. Так, в США, где отношение зарплаты к стоимости продукции указывается цензами, в обрабатывающей промышленности доля зарплаты и окладов составила:

Годы	Зарплата и оклады В млрд. долл.	Валовая стоимость прод.	Отношение зарплаты к стоим. прод.
1923 . . .	13,81	60,6	22,8
1925 . . .	13,65	62,7	21,8
1927 . . .	14,08	62,7	22,4
1929 . . .	15,22	70,4	21,6

Это, сравнительно небольшое, снижение доли зарплаты в стоимости всей продукции все же сказалось в том, что цены на готовые изделия, которые с июня 1927 г. по сентябрь 1928 г. показывают тенденцию к повышению, начинают после этого падать. Индекс этих

¹⁾ По подсчетам Кинга, доля зарплаты и окладов в народном доходе США составила в %: в 1923—56,3, в 1924—56,1, в 1925—55,9, в 1926—56,8, в 1927—58,8, в 1928—55,98. Отсюда ясно, что потребительский рынок не расширялся.

цен составил в сентябре 1928 г. 100,5 (1926 г. = 100) и снизился в феврале 1929 г. до 95,9. В следующем месяце несколько поднимается и доходит в июле до 97,8, чтобы затем уже начать свое резкое кризисное падение. Это слабое движение цен вверх на готовые изделия несомненно свидетельствует об узости рынка, не позволившей предпринимателям воспользоваться благоприятной конъюнктурой. Однако, в более счастливом положении оказались производители сырья и полуфабрикатов. Им удастся сохранить уровень цен неизменным и после сентября 1928 г. В результате получается, что при общем падении цен на готовые изделия стоимость сырья и полуфабрикатов остается неизменной и вместе с этим падает норма прибыли¹⁾. «Норма прибыли, это — та сила, которая приводит в движение капиталистическое производство; производится только то и постольку, что и поскольку можно производить с прибылью» («Капитал», т. III, ч. 1, стр. 241). Падение нормы прибыли приводит к тому, что сокращаются новые вложения, в особенности капитальное строительство. С другой стороны, усиливается производство для того, чтобы повышением массы прибыли компенсировать падение нормы. Затем расширение продукции означает лучшее использование существующего аппарата и снижение производственных расходов. Таким образом, с одной стороны, сокращается спрос со стороны капитального строительства, а с другой стороны, увеличивается продукция, и при этом по высоким ценам, между тем как рынок, как мы уже видели, начинает сокращаться, и в результате получается перепроизводство. Кажется непонятным, как относительно незначительное вначале сокращение производства в результате отставания покупательной способности рынка от производственных возмож-

¹⁾ Значительную роль играет рост накладных расходов на фоне общего падения цен. В результате этого роста себестоимость в промышленности США поднимается с 1927 по 1929 на 20%, в то время как цены падают на 20%. Бюллетень № 45 «Бюро экономических исследований».

ностей и падения нормы прибыли могло привести к такому колоссальному кризису, какой мы переживаем теперь. Но прорыв плотины, который приводит впоследствии к величайшим наводнениям, иногда начинается с маленькой струи. Так и капиталистическая «организованность» была взорвана сравнительно небольшим нарушением создавшихся отношений. Само собой разумеется, что нынешний кризис подготовлялся всем предыдущим развитием монополистического капитализма и специально всеобщего кризиса капитализма.

Проследим это явление на следующих примерах. Движение цен на железные изделия хорошо иллюстрирует сказанное:

До 1928 г. в США идет понижение цен; июль 1928 г. является переломным. Начинается повышение цен на сталь. Одновременно поднимается и цена кокса. Между июлем 1928 г. и мартом 1929 г. цена на кокс увеличивается на 38 центов на тонну (с 2,60 до 2,98 долл. на тонну), или на 14,6 проц. Индекс цен на чугун возрастает с 115 до 126 (в июне 1929 г.), или на 9,5 проц.; индекс цен на сталь поднимается с 140 до 145 (апрель—июнь 1929 г.), или на 3,6 проц. Так как стоимость сырья составляет 80—90 проц. себестоимости чугуна и железа, то повышение цен на кокс и руду снизило доходность железодельной промышленности и заставило сократить свою продукцию.

Это еще больше сказалось по отношению к некоторым готовым продуктам из стали. Так, цены на рельсы совершенно не поднялись, на чугунные трубы поднялись с 36,6 до 39,6 доллара (январь 1929 г.), или на 8,2 проц., на листовое железо — на 5 проц., на цинкованную жельсть — меньше чем на 2 проц. Совершенно очевидно, что обрабатывающая промышленность должна была воздержаться от заказов на новый материал, и с апреля 1929 г. размер невыполненных заказов сталного треста стал понижаться¹⁾. Нагрузка

¹⁾ В Бельгии цены на железные изделия начинают падать с середины марта, возвещая наступление кризиса.

стальных предприятий, однако, еще продолжает расти до мая, достигнув 115,8 проц. производственной способности. После этого она сразу резко понижается — до 60 проц. в декабре 1929 г. и до 15 проц. в декабре 1932 г.

В области строительства мы замечаем сокращение работы в США уже начиная с мая 1928 г., когда расходы на строительство достигают своего максимума в 667 млн. долл., а по размерам — с апреля, когда вся застроенная площадь составляла 93,86 млн. футов. В мае 1929 г. заключены были контракты уже только на 587,8 млн. долл. на застройку 80,4 млн. футов.

По сообщениям газет, очень многие квартиры не были заселены и стала падать квартплата, что и вызвало приостановку строительства. Начиная с 1924 г., количество строительных обществ, имевших дефицит, растет. Их дефицит поднимается с 42 млн. до 71,4 млн. долл., прибыль остальных поднимается с 132,7 млн. в 1924 г. до 171,2 млн. в 1927 г. и снижается в 1928 г. до 170,9 млн. долл. Между тем строительство домов являлось одним из крупнейших факторов развития послевоенного капитализма в США. На него ушло в 1928 г. 15,2 проц. готовых стальных изделий, а в 1929 г. — 14,7 проц.

Другой крупный потребитель железа — автомобильная промышленность — начинает сокращать свое производство легких автомобилей с апреля, а грузовиков — с июня 1929 г. Цены падают с 1927 г. Легковой автомобиль в 1927 г. стоил в среднем 953 долл., в 1928 г. — 876, в 1929 — 788 долл. Если принять во внимание, что цены на железо еще увеличивались, как и цены на медь, то надо полагать, что рост производственных расходов стал давить на норму прибыли. Все же годы 1928 и 1929 для автомобильной промышленности были еще относительно благоприятными.

Сокращение производства автомобилей было вызвано снижением заказов на автомобили.

Положение хлопчатобумажной промышленности характеризуется следующими

моментами: с 1924 по 1926 г. цены на хлопок резко падают, затем до 1928 г. поднимаются (на американский хлопок на 15,3 проц.). Цены на готовые хлопчатобумажные изделия сравнительно мало изменились за первый период, а после 1926 г. остаются совершенно без всякого изменения в США, а в Англии поднимаются на 3,7 проц. В Германии разница между ценами на материю, пряжу и на хлопок составила ¹⁾:

	Разница между	Разница между
	ценой хлопка и	ценой 1 м кре-
	пряжи (1 кг)	тона и 1 кг
	В марках	
1924 г.	1,18	1,33
1925 г.	1,37	1,72
1926 г.	0,94	1,48
1927 г.	0,96	1,58
1928 г.	0,81	1,41
1929 г.	0,76	1,21

В этой разнице между ценами на сырье, полуфабрикат и на готовые изделия находят свое выражение все фабричные расходы и прибыль, зарплата, амортизационные и др. расходы предприятий и доход предпринимателей. Если эта разница падает и одновременно соответственно не сокращаются другие производственные расходы, то, естественно, падает прибыль предпринимателя, в особенности с момента сокращения производства и снижения на грузки предприятия, как это имело место в Германии с февраля 1928 г. Но само собой разумеется, что и это, сравнительно небольшое, снижение уровня прибыли в тех или иных областях могло привести к такому колоссальному взрыву только вследствие чрезвычайной остроты противоречий, накопившихся в течение всеобщего кризиса капитализма. Только насквозь высохший капитализм мог так ярко загореться от спички и так долго гореть, несмотря на все огнегасители капитализма.

Правильно оценивая характер послевоенного капитализма, тов. Сталин в противоположность буржуазным и со-

¹⁾ «Konjunkturstatistisches Handbuch», стр. 37.

циал-фашистским апологетами капитализма, говорившим об организованности его и о преодолении закона циклического развития капитализма, за два года до начала нынешнего кризиса точно предсказал, чем кончится стабилизация капитализма. На XV съезде партии он говорил: «Из самой стабилизации, из того, что производство растет, из того, что торговля растет, из того, что технический прогресс и производственные возможности вырастают, в то время как мировой рынок, пределы этого рынка и сферы влияния отдельных империалистических групп остаются более или менее стабильными, — именно из этого вырастает самый глубокий, самый острый кризис мирового капитализма, чреватый новыми войнами и угрожающий существованию какой бы то ни было стабилизации».

Из частичной стабилизации вырастает усиление кризиса капитализма, нарастающий кризис разваливает стабилизацию, — такова диалектика развития капитализма в данный исторический момент».

За годы стабилизации производственный аппарат вырос, хотя в старых капиталистических странах в относительно замедленном темпе, но быстрее, нежели расширялся внутренний и внешний рынок, так что загрузка оставалась и в лучшие годы неполной. В Германии в июле 1929 г. в железодобывающей промышленности загрузка предприятия выросла в 85,9 проц. против 87 в июле 1928 г., в машиностроительной промышленности она была 72,7 против 77,9 в 1928 г. Стальная промышленность США работает за первую половину 1929 г. с перегрузкой. В Англии производственная способность доменных печей снизилась с 1924 по 1929 г. и конечно далеко не была использована полностью. Производственная мощь их определялась в 12 млн. тонн, а выплавка составляла всего 7,6 млн. тонн. Ввиду этого даже слабое снижение заказов и цен должно было чувствительно отразиться на доходности предприятия и вызвать приостановку дальнейшего строительства и дальнейшего улучшения оборудования.

Наконец следует обратить внимание, что рост процентной ставки, являясь симптомом начинающегося кризиса, в свою очередь ускорил его наступление. За учет частных векселей в США приходилось платить в мае 1928 г. $4\frac{1}{4}$ —5, а в мае 1929 г. — $5\frac{3}{4}$ —6 проц., что означает чувствительное снижение уровня прибыли, в особенности ввиду того, что норма прибыли не только не могла быть соответственно повышена, но вообще показывала тенденцию к падению. В Германии, по данным Рейхскредитгезельшафт, учетная ставка с 1927 г. по июль 1929 г. увеличилась с 6,8 до 9,5. Процент таких размеров угрожал поглотить уже всю прибыль предпринимателей, во всяком случае сделать дальнейшие инвестиции невыгодными. На самом деле, если кредиты американских банков еще продолжают расти до августа 1929 г., то их инвестиции уже с самого начала года сокращаются. Другими словами, банки начинают сбывать акции, чувствуя приближение кризиса, что несомненно является предвестником того, что новые капиталовложения в строительство приостанавливаются или по крайней мере сокращаются. Так развился нынешний кризис, который знаменует собою конец капиталистической стабилизации и начало нового тура революций и мировых войн, как констатировал ИККИ на своем пленуме в 1932 г.

2. Отличительные черты нынешнего кризиса

Еще незадолго до начала нынешнего кризиса Зомбарт, автор многотомного труда «Современный капитализм», гордо заявил, что теория кризисов Маркса опровергнута ходом капиталистического развития и что война принесла с собой не всеобщий кризис капитализма, а «стабилизацию конъюнктуры». Хорошо известна сходная «теория организованного капитализма» Гильфердинга и других социал-фашистов, которую поддерживали ренегаты Коминтерна и правые. Теперь даже буржуазные экономисты вынуждены признать, что современный кризис не имеет ничего равного себе в истории капитализма. Репле,

сдин из новейших буржуазных теоретиков конъюнктуры, работы которого переведены и на русский язык, заявил недавно в своем докладе в Цюрихе («Нейе цюрихер цайтунг» от 1 октября), что нынешний кризис — «самый ужасный и самый продолжительный из всех бывших до сих пор. Он поколебал нашу хозяйственную и общественную жизнь в ее основах». Репке «не открыл Америки». До него эту же мысль высказали не менее компетентные лица, например Кэндлиф в публикациях Лиги наций.

Товарищ Сталин в своем знаменитом политическом отчете на XVI парт'езде еще в июне 1930 г. констатировал, что «нынешний экономический кризис является самым серьезным и самым глубоким кризисом из всех существовавших до сих пор мировых экономических кризисов». В нашей статье в «Коммунистическом интернационале» от 10 мая 1932 г. мы привели ряд цифровых доказательств этого положения и показали, что и по своей продолжительности этот кризис не знает примера в истории. Можно еще прибавить, что нынешний кризис подтвердил то положение III конгресса Коминтерна, по которому «подъемы могут иметь кратковременный и в значительной мере спекулятивный характер. Кризисы должны быть длительными и тяжелыми».

Период подъема оказался весьма кратковременным, по существу только с 1926 г. по начало 1929 г. Если перед войной кризис и депрессия продолжались максимум 2—3 года, а оживление и подъем 4—7 лет, то теперь за кратковременным оживлением последовал кризис в 4—5 лет. В течение нынешнего кризиса несколько раз наблюдались кратковременные «подъемы» спекулятивного характера, заканчивавшиеся новым обострением кризиса. Впрочем, ни разу хозяйственная жизнь не поднялась до предкризисного уровня. Следовательно, о «подъеме» вообще не приходится говорить. Правильней будет сказать, что все 4 года представляют собой сплошной кризис, который отличается не только своей продолжительностью, но и всеобщностью, охватив все страны (за

исключением нашего Союза) и все отрасли хозяйства.

3. Неравномерность развития кризиса.

О нынешнем кризисе уже много писали в нашей литературе¹⁾. Мы ограничимся только общей характеристикой кризиса. Для этой цели воспользуемся публикациями Лиги наций. По вычислениям последних, индекс мировой продукции и торговли выразился (1925—1929 = 100):

	1929 г.	1930 г.	1931 г.	1932 г.
Общий индекс продукции сырья	106	102	98	94
В т. ч. промышленного	111	102	91	79
Индекс продукции обрабатывающей промышленности без СССР	110	96	84	69
Включая СССР	111	100	90	77
Индекс внешней торговли	111	102	93	80

Мы видим значительную неравномерность в развитии основных отраслей хозяйства: добыча сырья сократилась меньше, нежели продукция промышленности. Почти совсем не снизилась продукция сырья, идущего на изготовление пищевых и вкусовых веществ: она составила в 1932 г. столько же, сколько в 1929 г. (103 проц. средней продукции 1925—1929 гг.). Не касаясь здесь проблем аграрного кризиса²⁾, отметим только, что продукция сельского хозяйства, по этим подсчетам, составила в 1932 г. 102 проц. (в 1929 г. — 104), а добыча сырья горного происхождения — 73 проц. (в 1929 г. — 114) средней продукции 1925—29 гг. В годы, предшествовавшие кризису, наиболее сильный подъем показывает горная продукция, затем обрабатывающая промышленность. В годы кризиса эти отрасли пострадали больше всего.

Более сильное падение работы обрабатывающей промышленности, чем добыча сырья, находит свое объяснение в относительно меньшем падении цен на

¹⁾ Укажу на работы Института мирового хозяйства: «В полосе кризиса» и другие.

²⁾ К вопросу о переплетении промышленного кризиса с аграрным и о характере последнего мы надеемся вернуться в другой раз.

промышленные изделия, чем на сырье. Часто встречаешься со взглядом, что во время кризиса вообще невозможно продавать товары даже по любой цене. Это неверно. «Избыток товаров, — говорит Маркс («Теория прибавочной стоимости», т. II, ч. 2, стр. 293, нем. изд.), — всегда является относительным, то-есть это избыток при известных ценах. Цены, по которым тогда поглощаются товары, губельны для производителя или для купца». Так как цены на промышленные изделия не были понижены в таком размере, как цены на горное сырье или на сельскохозяйственные продукты, то промышленную продукцию пришлось сократить в большей мере, нежели горную или сельскохозяйственную.

Уровень цен был:

	США (1926=100)			Германия (1913=100)	
	Сырье	Полуфабр	Готов. изд	Сырье	Готов. изд
1929 г.	98	97	96	132	157
1932 г.	55	59	70	89	118

Если исходить из американского индекса цен и помножить его на индекс добычи промышленного сырья, с одной стороны, и работы обрабатывающей промышленности — с другой, то получим 43,4 и 48,3. Другими словами, в ценностном их выражении и в области сырья, и в области готовых изделий падение было почти одинаковым.

Промышленная продукция распадается на две основные группы: производство средств производства и производство предметов личного потребления. Публикация Лиги наций дает следующие индексы продукции по этим основным подразделениям, причем средняя продукция 1925—1929 гг. принимается за 100:¹).

	1925 г.	1929 г.	1930 г.	1931 г.
Средства производства .	92	112	96	77
Предметы потребления .	94	106	97	87

¹) «World Production and Prices» 1925 — 1932, стр. 55.

Индекс цен США показывает следующее движение:

	1929 г.	1930 г.	1931 г.	1932 г.	1932 г. по сравн. с 1929 г.
	(1913=100)				
Средства произв. .	154	141	126	113	72
Предм. потребл. .	157	144	121	101	64

Снова перемножим индексы цен на соответственные индексы продукции, и получим индексы стоимости продукции.

В ценностном выражении продукция средств производства составила в 1932 году 55 проц., а предметов потребления 56 проц.

В ценностном выражении уровень продукции обоих подразделений почти одинаков.

Индекс цен на фермерские продукты стоял в 1932 г. на 48, а на остальные — на 68. Помножим первое число на 102 (индекс продукции сельского хозяйства), а второе на 73 (индекс горной продукции), и мы получаем — 49,0 и 49,6, то-есть одинаковое сокращение в ценностном выражении.

Отсюда видно, что причина не кризиса, а обострения его до таких грандиозных размеров, когда промышленная продукция упала более чем на 30 проц. и почти половина рабочего класса оказалась в той или иной мере безработной, лежит в высоких ценах на промышленные продукты.

«Нынешний капитализм, — говорил т. Сталин, — в отличие от старого капитализма, является капитализмом монополистическим, а это предопределяет неизбежность борьбы капиталистических объединений за сохранение высоких монопольных цен на товары, несмотря на перепроизводство. Понятно, что это обстоятельство, делая кризис особенно мучительным и разорительным для народных масс, являющихся основными потребителями товаров, не может не повести к затягиванию кризиса, не может не затормозить его рассасывание». («Вопросы ленинизма», 1930 г., стр. 609.)

На самом деле, причиной сохранения высоких цен и во время кризиса явля-

ются картели, тресты. Кризис разрушил очень многие из этих образований, в особенности в области добычи горного сырья, но все же осталась значительная разница в ценообразовании монополизованных продуктов и немонополизованных. Например в Германии, где 70 проц. промышленной продукции картелировано, средние цены за 1932 г. на картелированные товары составили 84 проц. уровня цен 1926 г., а на некартелированные — 48 проц. уровня 1926 г., или цены на картелированные товары почти на 43 проц. выше, чем на некартелированные.

Сопоставляя индексы движения продукции и мировой торговли, мы замечаем, что последняя уменьшилась в большей мере, чем производство сырья, и слабее, чем производство готовых изделий. Это свидетельствует о том, что во время кризиса стали часть сырья обрабатывать на месте производства. Кроме того, часть запасов оставалась у первых производителей и не переходила на склады торговцев. Затем большое влияние на развитие мировой торговли имели те преграды, которые были в большом количестве воздвигнуты в особенности за последние годы кризиса, о чем речь впереди.

Переходя к анализу развития кризиса в отдельных странах, можно констатировать большую неравномерность.

Общий закон неравномерного развития капитализма сказывается во время кризиса особенно сильно:

Падение продукции за годы кризиса ¹⁾

	1930	1931	1932
	(1929 = 100)		
Германия	88	72	60
Франция	100	89	69
Англия («Борд оф Тред»)	92	84	83
(«Лондон энд Кембридж»)	89	76	77
Бельгия	89	78	67
Австрия	85	74	65
Чехо-Словакия	87	78	57
Польша	82	70	54
США	81	68	54
Канада	85	71	58
Япония	94	92	96

¹⁾ См. «World Production and Prices», 1925—1932 г., стр. 49

Самое сильное сокращение продукции имело место в США и в Польше. Само собой разумеется, что причины, вызвавшие такое сильное сокращение продукции в самой могущественной капиталистической стране и в одном из наиболее слабых звеньев капитализма, разные. Замечательно только то, что в Польше цены на промышленные продукты упали на 32 проц., в то время как в США они снизились всего на 26 проц. ¹⁾), — капиталистическая слабая страна вынуждена снижать и продукцию, и цены.

В Канаде цены на промышленные изделия упали в таком же размере, как в США. В 1929 г. их уровень был несколько ниже, чем в США (93 и 90, принимая цены 1926 г. за 100), а в 1932 г. 70, как и в США: более «молодой» капитализм оказался несколько устойчивее, чем более «старый» в США.

Впрочем, в 1932 г. канадский доллар уже испытал обесценение на 12 проц., и это обстоятельство должно было в известной мере сказаться на удешевлении и готовых изделий.

Сокращение продукции в Австрии оказалось несколько меньшим, нежели в Чехо-Словакии, что объясняется обесценением австрийской валюты на 17,6 проц. и вместе с этим большим снижением цен в Австрии.

Германская промышленность больше пострадала, нежели французская. Цены на промышленные изделия (сырье и готовые изделия) во Франции упали с 1929 г. по 1932 г. с 670 до 380 (1913 = 100), или на 43 проц., а в Германии с 1928—29 г. по 1931—32 ²⁾ г. с 143,3 до 107,4, или на 25 проц. Перемножив 60 на 75 и 69 на 57, получим 45,0 и 39,3. Германские промышленники при помощи правительства удержали цены на более высоком уровне и в еще большей мере, нежели французские, переложили тяжести кризиса на плечи рабочих.

¹⁾ Мы отвлекаемся от различия в методах составления этих индексов в различных странах, как и от того, что они, по существу, относятся к различным отраслям хозяйства и к различным товарам.

²⁾ «Виртшафт унд статистик», 1933 г., № 15, стр. 463.

Все эти вычисления конечно весьма приблизительны, ибо они не учитывают изменения покупательной способности внутреннего рынка, различия в экспортной доле промышленного производства в различных странах, как и роли отдельных отраслей промышленности в различных странах, далеко не в одинаковой мере пострадавших от кризиса, а также многих других моментов.

Если принять во внимание, что уровень продукции Англии после войны был вообще не высок, то картина представится еще в другом виде: продукция промышленности в сравнении с довоенным уровнем была:

	1929	1930	1931	1932
Германия . . .	110	97	80	66
Англия . . .	101	90	76	77

Совершенно очевидно, что сохранение в 1932 г. в Англии уровня продукции 1931 г. есть результат дальнейшего обесценения фунта — вместо 6,8 проц. в 1931 г. на 28 проц. в 1932 г. Если из этих 21 проц. только 11 проц. проявились в цене, то продукция Англии опустится до уровня в 65 проц., то-есть ниже уровня германской продукции.

Крайне мало данных у нас о Японии. Несомненно, что уровень ее продукции

объясняется военными заказами. Все же то обстоятельство, что между 1929 г. и 1932 г. оптовые цены упали на 26,7 проц., а курс иены за это время упал на 44 проц., что означает снижение товарных цен в золотом исчислении на 55 проц., в известном смысле объясняет сравнительно высокий уровень продукции, которая в ценностном выражении падает до $\frac{1}{3}$ уровня 1929 г. На самом деле однако ценностное выражение промышленной продукции вероятно составит около $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ продукции 1929 г., так как падение курса иены на внешнем рынке не полностью сказалось на товарных ценах на внутреннем рынке. Наше вычисление только показывает, что обычные показатели размеров продукции не дают правильного представления о положении дел. В странах, обесценивших свою валюту, рост продукции отнюдь не означает еще развития производительных сил страны, а расхищение их, усиление эксплуатации рабочих и распродажу основного капитала. В Японии к этому еще присоединился военный грабёж колоний и Манчжурии.

По основным подразделениям продукция главных стран сокращена была в следующем объеме (1925 — 1929 гг. = 100):

	Средства производ.				Предметы потребления.			
	1929	1930	1931	1932	1929	1930	1931	1932
США	113	83	54	29	104	88	89	82
Германия	112	91	60	40	104	101	94	85
Англия	107	96	78	75	100	90	88	90

Под средствами производства в данном случае понимаются только те предметы, которые идут на постройки, машины, как и сами эти машины и суда, или железо, сталь, цемент, цветные металлы, машины и так далее. Производство всех этих предметов сильнейшим образом сократилось в США и Германии. Обе эти страны к началу кризиса в известном смысле закончили свой процесс рационализации. В США к тому же сократились домостроительство и автомобильная промышленность, которые являлись основой и промышленного строительства. Как бы то ни было, если в мировом производстве соот-

ношение между обоими подразделениями до известной степени сохраняется, то внутри названных стран создается огромная диспропорция между производством средств производства и производством предметов потребления. Само собой разумеется, что такое сокращение продукции средств производства, обуславливающее крайне низкую степень загрузки существующих предприятий, могло иметь место только потому, что цены держались на высоком уровне и государство оказывало предпринимателям из этих областей большую поддержку. Загруженность германских железодельательных предприятий

упала в 1932 г. до 35 проц. производственной возможности, в машиностроительной промышленности — даже до 27 проц. Загрузка американской стальной промышленности была в 1932 г. всего на 20 проц.

В результате идет поедание старого капитала. Германский конъюнктурный институт дает следующее исчисление продукции Германии:

	1928	1932
	В млрд. мар.	
Амортизация	4	1,5—2
Зарплата, оклады, доход предп.	23	10 — 11
В т. ч. зарплата	17	1,5
Сырье и материалы	17	6 — 7
Прибавочная стоимость	11	6 — 7
Всего	55	26

Эта таблица представляет во многих отношениях большой интерес: она прежде всего указывает на чрезвычайно резкое сокращение зарплаты, которая раньше составила 31 проц., а во время кризиса упала до 29 проц. всей стоимости продукции (при этом это свидетельство о сокращении зарплаты ценно независимо от того, что в обоих случаях стоимость продукции нам кажется преуменьшенной). Снижение доли зарплаты объясняется Конъюнктурным институтом повышением производительности труда, благодаря тому, что работа сосредоточена на лучших предприятиях. На самом деле значительно возросла интенсивность труда. Затем несомненно имело место и абсолютное сокращение зарплаты. Если даже считать только тарифные ставки, то и они сократились в среднем на 20 проц.

Далее резко сократились затраты на амортизацию больше чем на половину. Так как производственный аппарат мало уменьшен, то естественно, что он восстанавливается в недостаточном размере.

Заработная плата уменьшена на 9,5 млрд., прибавочная стоимость упала всего на 4—5 млрд., то-есть в два раза меньше. Как распределялась прибавочная стоимость в 1932 г., не подсчитано. В 1928 г. 6,2 млрд. поглощали государство и общины, 1,5 млрд. — банков-

ский капитал в виде процентов и 3,3 млрд. оставалось как доход предпринимателя сверх того, что он получает в качестве руководителя предприятия. Так как расходы государства и коммун снизились мало, то отсюда следует, что для промышленников ничего не остается.

За годы кризиса 1929—32 капитал германских акционерных обществ, вложенный в здания и оборудование в размере 9,9 млрд., сократился на 2,4 млрд., или на $\frac{1}{4}$. Эта списанная со счета сумма самими предприятиями считается недостаточной. Обесценение было гораздо большим, хотя индекс цен на предметы оборудования промышленных предприятий упал всего со 138 до 119, или на 13,6 проц. Но дело в том, что, как заявляет журнал «Машиненбау» (январь 1933 г., стр. 4), приостановленные предприятия страшно быстро портятся. Приостановленные фабрики часто имеют меньшую стоимость, чем щебень или лом. Отсюда журнал делает вывод, что необходимо во что бы то ни стало сохранить те предприятия, которые имеют большую ценность в хозяйстве.

Правда, весьма большое количество всяких предприятий уничтожается. Но все же приходится сказать, что в области промышленности, несмотря на огромный излишек основного капитала, на низкую загрузку аппарата и на полное отсутствие каких бы то ни было перспектив использовать данный аппарат когда бы то ни было полностью, стараются его сохранить, хотя его содержание и обходится крайне дорого. Ибо главная часть этого аппарата служит в данное время для военных целей. Между тем создание нового аппарата потребовало бы 3,5 или даже 10 лет. Следовательно, сохранение его диктуется военными соображениями.

В результате получается заколдованный круг: аппарат не работает, но не уничтожается. Он поедает большой капитал, замороженный таким образом. Это и явилось основной причиной обострения кредитного кризиса в 1931 г. и затруднения новых капиталовложений. Капитал остается «дорогим», учетная ставка по долгосрочному кредиту —

высокой. Цены удерживаются на высоком уровне, чтобы как-нибудь оправдать эти ненужные расходы. Далее, новые постройки становятся и излишними, опасными в силу сохранения старого аппарата. Отсюда почти полное прекращение капитального строительства, без которого немислим выход из кризиса и невозможно новое оживление производства.

Так как сохранение излишнего аппарата в таком размере и на такой продолжительный срок не под силу частному капиталу, то на сцену выступает правительство, «спасающее» это частное хозяйство от банкротства. Предоставляя например кредиты обанкротившимся банкам, правительство фактически поддерживает несостоятельные предприятия, дает им возможность удерживать цены на высоком уровне и сохранить ненужный, морально и технически устарелый аппарат. Этим же только сильно затягивается ликвидация нынешнего кризиса, но и обуславливается дальнейшее углубление процесса загнивания: мертвое хватает живое, консервирование огромного устарелого аппарата создает в условиях капиталистического производства и крайней ограниченности личного потребления рабочих и крестьянских масс огромное препятствие введению усовершенствованных средств труда, капитальному строительству и относительноному сокращению безработицы. Прославленный социал-фашистами «государственный капитализм» оказывается на деле одним из моментов, углубляющих и удлиняющих кризис и затрудняющих дальнейшее развитие техники и сокращение безработицы.

Природа не терпит пустоты, и занятый аппарат производства, который причинял огромные убытки как предпринимателям, так и государству, все больше и больше толкает предпринимателей на путь активной подготовки к войне и загрузке военными заказами предприятий. Прежние правительства не решались на это, и крупный капитал стремится заменить их фашистами.

С другой стороны, крайне обостряющаяся борьба на мировых рынках, в особенности ввиду японской конкурен-

ции, ставит перед европейским капиталом проблему дальнейшего сокращения расходов за счет рабочего класса, дальнейшего снижения жизненного уровня масс, «японизации» европейской промышленности в смысле приближения положения европейских рабочих к положению японских париев. А для этого стало необходимо разгромить организации рабочих, в первую очередь коммунистическую партию — единственную активную и энергичную защитницу интересов рабочих.

IV. Кредитный и валютный кризис

1. Что вызвало обострение кредитного кризиса в 1931 г ?

Как мы уже упомянули, сохранение ненужного аппарата поглощало огромные суммы, чем было вызвано большое напряжение на рынке капиталов в течение всего кризиса. Точно так же большие капиталы были связаны накоплением товарных запасов. Несмотря на сокращение продукции или, вернее, благодаря сокращению промышленной продукции, запасы сырья не уменьшались.

Сохранение бездействующего производственного аппарата и больших запасов различных товаров сказалось на балансах банков. «Ежегодник американского департамента торговли» за 1932 г. приводит следующие цифры выданных банками, членами федеральной резервной системы, кредитов в млн. долларов:

4 окт.	1929 г.	26.165
31 дек.	1929 г.	26.150
31 дек.	1930 г.	23.870
30 июня	1931 г.	21.816
31 дек.	1931 г.	19.261

На 4 октября 1929 г. приходится высший пункт предоставленных кредитов. После они снижаются до конца 1931 г. на 6,9 млрд., или на 26,5 проц. Но в это время товарные цены снизились с 95,1 до 68,6 (1926 г. = 100), или на 27,9 проц. Следовательно, даже отвлекаясь от сокращения размеров продукции и товарооборотов, получается, что реально размер кредитования увеличился. Между тем индекс хозяйственной деятельности, по Уорену и Пирсо-

ну, упал с 1929 г. по 1931 г. со 105,5 до 78,3 (1926 — 1930 годы = 100), или почти на 27 проц. В таком же размере упали обороты универмагов. Кредиты, предоставленные бирже, снизились за это время с 6 млрд. до 0,6 млрд., или в 10 раз. Ясно, что сохранение высокого уровня кредитования могло быть вызвано только тем, что неиспользуемый аппарат продолжал сохраняться и что накапливались огромные запасы товаров.

В Германии размер кредитов в первые годы кризиса вплоть до обострения кредитного кризиса к концу мая 1931 г. увеличивается и номинально. Так, выданные всеми кредитными учреждениями кредиты составили в миллиардах марок:

	Все кредиты	В т. ч. краткосрочные
Май 1929 г.	46,9	20,3
» 1930 г.	52,3	21,9
» 1931 г.	53,7	20,9

За это время индекс продукции промышленности и сельского хозяйства упал (с 1928—29 г. по 1930—31 г.) на 12 проц., а индекс продукции только промышленности (с мая 1929 г. по май 1931 г.) — на 24 проц., грузооборот железных дорог уменьшился на 34 проц., а индекс оптовых цен снизился на 19,7 проц. Биржевой оборот упал наполовину. Следовательно, реально кредитование промышленности и торговли значительно возросло, в особенности в сравнении с уменьшившимся товарооборотом.

Сильнейшим толчком к взрыву кредитного кризиса в 1931 г. явилось оттягивание краткосрочных иностранных кредитов, имевшее место в значительной мере под влиянием обострившихся международных отношений.

Дело в том, что после войны на международном рынке капиталов огромную роль стал играть краткосрочный кредит. Отчасти потому, что капитал не решался связываться на долгое время, отчасти же потому, что потребность европейских стран в товарных запасах при высоком уровне цен заставляла прибегать к значительным кредитам. В то же время краткосрочный кредит предоста-

влялся легко, и охотнее к нему прибегали в надежде, что скоро изменятся условия кредитования и можно будет получить кредит по более низким ставкам. Однако лучшие времена не приходили, а краткосрочная задолженность европейских стран сыграла роковую роль под влиянием обострившихся хозяйственных и политических отношений. В течение короткого времени с апреля по конец декабря 1931 г. Германия вынуждена была выплатить другим странам большие капиталы. Банки, публикующие месячные отчеты, сократили за это время свои кредиты с 12,31 до 9,76 млрд. марок, то-есть затребовали свыше 2 с половиной млрд. марок обратно. На мировом рынке краткосрочные кредиты, предоставленные различным странам, превышали 10 млрд. долларов. Затребованные части этих кредитов, привели англо-австрийский банк Кредитанштальт к краху, а затем и германские банки—Даннатбанк и Дрезденский банк, причем последний банк был спасен тем, что он перешел в руки правительства, а Даннатбанк был слит с Дрезденским, несмотря на значительную помощь, оказанную ему правительством. На спасение этих банков правительство затратило свыше полутора миллиардов марок. Германия выплатила в течение 1931 г. почти 2 млрд. краткосрочных кредитных обязательств и в свою очередь затребовала из-за границы 1,7 млрд. своих кредитов. Помимо этого, из Германии ушли 2,9 млрд. марок. В отношении части других зарубежных обязательств Германии банкам удалось сговориться о просрочке платежей («замораживание» кредитов).

То обстоятельство, что кредитный кризис 1931 г. принял особо острые формы в Германии, объясняется тем, что здесь «слияние» банков с промышленностью особенно тесное и что Германия была истощена репарационными платежами. За годы 1924—31 она выплатила наличными 11,1 млрд. марок по плану Дауэса и Юнга, а за все время после войны, по германским, правда, значительно преувеличенным, подсчетам, — 67,7 млрд. марок. Надо сказать однако, что Германия полученные ею затранич-

ные кредиты использовала на строительство с продолжительным оборотом капитала, во многих случаях также на культурное и дорожное строительство, реальный результат которого сказывается только по истечении многих лет. В результате получилось, что ее платежи уже по частной задолженности достигли весьма крупных размеров. В 1931 г. они составляли 1.600 млн. марок, что за вычетом 300 млн. марок, которые Германия получала от своих вложений за границей, составляли 1.300 млн., в то время как за последние годы новый приток иностранного капитала в смысле долгосрочных кредитов и т. д. был значительно ниже этой суммы. Таким образом, баланс платежей и новых поступлений уже становился неблагоприятным для Германии, а когда, вследствие кризиса и обострения политического положения, новый приток иностранного капитала почти совершенно прекратился, то Германия и оказалась неплатежеспособной. Она не только отказалась вносить впредь репарационные платежи, но и платить по своей частной задолженности.

2. Прекращение платежей по внешней задолженности.

Кредитный кризис сказался в такой острой форме не только в Германии; он поразил и все остальные страны. Почти все страны-должники оказались не в состоянии платить по своей задолженности, не только вернуть предоставленный им капитал. Дело в том, что тяжесть мировой задолженности возросла за послевоенные годы в колоссальных размерах. По вычислениям проф. Гирше, (в «Архиве мировой торговли», т. II за 1933 г.), она составила 307,2 млрд. марок, в том числе, политическая — 54,5 млрд. марок¹⁾. Если считать, что

¹⁾ Лига наций исчисляет мировую задолженность, не считая капиталовложения в иностранные предприятия, земли и дома, в 35 млрд. долл., явно преуменьшая суммы, так как одна только краткосрочная задолженность составила 10 млрд. долл. Германский конъюнктурный институт дает сумму в 200 млрд. марок. Прибавив к ней участие в других предприятиях и краткосрочную задолженность, получим сумму в 300 млрд. марок.

по этой задолженности приходится платить только 25—30 млрд. марок процентов и т. д., то уже эта сумма составит примерно $\frac{1}{3}$ всего мирового экспорта, а после вычета экспорта стран-кредиторов (САСШ, Голландия, Англия, Швейцария и Франция) — по л о в и н у всего остального экспорта 1931 г. в размере 53.6 млрд. марок. Совершенно естественно, что страны-должники совершенно не в состоянии были платить таких процентов, которые во многих случаях превышали весь экспорт.

Прибавим к этому, что, по подсчетам секретариата Лиги наций в его публикации «Обзор мировой торговли» за 1932 г. (стр. 11), платежи аграрных стран перед кризисом составляли только пятую часть их экспорта, а в 1932 г. эти платежи по их задолженности уже поглощали 60 проц. В товарном выражении эти платежи увеличились на 50 проц.

3. Отмена золотого стандарта

Кредитный кризис, обострившийся в 1931 г., явился наиболее ярким выражением кризиса всей системы финансового капитала. Крупнейшие банки Европы, почти все банки США оказались банкротами благодаря их сращению с промышленностью и отнюдь не в результате случайных спекулятивных сделок, как это в известной мере бывало во время монополистических кризисов. Если этот кредитный кризис не принял еще более резких и разорительных размеров, то единственно благодаря огромной помощи со стороны государства, которое за счет налогоплательщиков спасло эти банки и вкладчиков.

Кризис системы финансового капитала сказался еще в том, что кредитный кризис перерос в валютный кризис — небывалое в истории кризисов явление. Дело в том, что установившаяся после войны денежная система была своеобразной, соответствуя специфическим формам хозяйства финансового капитала: она была основана не на золотом обращении, а, по существу, на доверии к прочности банков руководящей

капиталистической страны — США. Покрытием банкнот большого количества стран служило не золото, а в весьма значительной мере такие же банкноты, выпущенные банками США, или векселя других руководящих капиталистических стран. Система золотого обращения соответствовала системе свободной торговли и преобладанию краткосрочного кредита в международных отношениях. Нынешняя система явилась выражением той руководящей роли, которую стали играть две-три державы в мировом хозяйстве, в первую очередь США. Банки этих последних стран явились после так называемой стабилизации валют хозяевами над производством почти всего остального капиталистического мира. И естественно, что банкноты этих банков, как и их векселя, являлись основой денежной системы, как капитал этих стран служил фундаментом для предкризисного «оживления». Кризис, разрушив могущество США, не мог не привести к банкротству всей денежной системы остальных стран, в значительной мере опирающейся на капитал США. Отсюда и валютный кризис, разразившийся в последние годы общего кризиса, чего никак не могут объяснить себе все писавшие о нынешнем кризисе.

На примере Англии, валютный кризис которой сыграл опромную роль в общем мировом валютном кризисе, мы проиллюстрируем то положение, которое создано после войны и во время нынешнего кризиса в этой области. Как известно, Англия после того, как во время войны было отменено золотое обращение, больше не вернулась к нему, а предпочла систему «золотослиткового стандарта». Это означает, что Английский банк мог продавать золото, но не в виде монет, а в виде слитков не менее четырехсот унций весом, или стоимостью около 1.500 фунтов стерлингов. Такой слиток, естественно, не может служить для хождения внутри страны, а имеет только значение для экспорта в крупных международных расчетах. Министр финансов Черчилль, предлагая этот закон палате общин, заявил:

«Тот факт, что мы возвращаемся к золотому стандарту, не означает, что мы восстанавливаем золотое обращение... которого совершенно не допускают со- Это было бы отчаянным сумасбродством, которого совершенно не допускают современные финансовые трудности». И он был полностью прав. В это время обращение банкнот Английского банка составило 382,3 млн. фунтов против 28,2 млн. в 1913 г., в то время как золотой запас увеличился всего с 35,1 до 126,8 млн. Восстановление золотого обращения могло, следовательно, легко привести к полному изъятию золота из кладовых банка, если попытались бы превратить одну треть банкнот в золото. Покрываем банкнот явилось не золото, а девизы и векселя банков, — бумага обеспечивалась бумагой же.

Отсюда ясно, что устойчивость валюты после войны и в Англии, как и в других странах, восстановивших ее, была гораздо слабей, чем до войны. Далее, Англия, по данным, которые мы нашли в журнале «Виртшафтсдинст», потеряла с конца 1929 г. по конец 1931 г. 25 млрд. марок своих капиталов за границей, а она вынуждена была выплатить краткосрочных кредитов в размере 4,6 млрд. марок. Одновременно активный платежный баланс Англии превращается в пассивный:

В млн. ф. стерл.	
1929	+118
1930	+ 23
1931	— 69
1932	— 74

Таким образом, в 1931 г. в Англии оказался значительный дефицит платежного баланса, который грозил опустошить золотой запас страны. Это обстоятельство вместе с затруднениями в обратном получении кредитов, предоставленных Англией другим странам, заставило Англию отказаться от золотого стандарта и запретить вывоз золота. Золотой запас Английского банка, который в начале 1931 г. составил 144 млн. фунтов, упал в сентябре до 136 и в ноябре до 122 млн. фунтов. Золото играет большую роль в капиталистическом хозяйстве, служа не только фондом,

обеспечивающим обмен банкнот и выплату по вкладам, но и военным резервом. Во время войны, когда кредитные отношения нарушены, на золото можно закупать необходимые товары за границей. Крайне обострившаяся после войны борьба за золото непосредственно вытекала из напряженного политического положения, в котором мир находится все годы после войны. Поэтому Англия не могла допустить до такого положения, при котором все ее золотые запасы утекуют за границу.

Но не только эти моменты определили переход Англии к политике инфляции. Решающую роль сыграло все состояние народного хозяйства в целом. Восстановление твердой валюты после войны произошло в трех различных формах: полным аннулированием прежней валюты и заменой ее новой (в Германии, Австрии и т. д.), снижением номинальной стоимости валюты (в Чехо-Словакии, Италии, Франции и т. д.) или восстановлением старого паритета, то-есть отношения к золоту и к валюте других стран (Англия). Мы здесь не можем подробно останавливаться на значении этих форм восстановления валюты. Скажем только следующее: полное аннулирование прежней валюты означало между прочим и ликвидацию прежних кредитов (частично они были потом восстановлены), что шло в пользу задолжавшихся землевладельцев и городских домовладельцев, а также промышленников. Но вместе с этим разрушается ссудный капитал и поднимается процентная ставка. Нуждаясь в оборотном капитале, средние промышленники и сельские хозяева оплачивают фактически и те кредиты, которые формально были ликвидированы обесценением валюты. Валютная реформа в Германии—несомненно один из моментов, обусловивших чрезвычайную дороговизну кредита в послевоенные годы, хотя само собой разумеется, что в основном недостаток капитала определялся условиями производства и распределения в этот период. Частичное снижение курса валюты означает частичное обесценение действующего основного капитала и снижение за-

долженности, но в то же время оно облегчает возобновление основного капитала. Франция например снизила курс франков в пять раз. Конечно, обесценение основного капитала произошло не в такой пропорции. Все же оно значительно удешевило производство товаров, главным образом вследствие снижения затрат на рабочую силу. Так как ссудный капитал и после инфляции остался во Франции в довольно значительных размерах, то такого недостатка в кредитах, как в Германии, не чувствовалось. К тому же инфляция во Франции после войны была вызвана в основном двумя моментами: оплатой огромного государственного долга и чрезмерных военных расходов (русская авантюра), а также восстановлением разрушенных областей. Около 32 млрд. золотых франков были израсходованы на эту последнюю цель. Трудно сказать, какая часть денег, затраченных на восстановление разрушенных областей, действительно пошла на производственные работы и сколько попало в карманы различных спекулянтов. Судя даже по французской прессе, спекуляция наживалась на этих работах «по-военному». Все же известная часть этой суммы была затрачена производительно, что помогло Франции восстановить свою валюту после того, как в результате этих затрат спустя некоторое время товарооборот в стране увеличился. Именно благодаря этому обстоятельству Франция сравнительно легко пережила трудности, связанные с восстановлением валюты.

Иначе обстояло дело в Англии. Здесь вернулись к прежнему паритету и вызвали этим большие хозяйственные трудности. Известный английский экономист Кейнс, выражая мнение манчестерских и других промышленников, в свое время утверждал, что восстановлением валюты на уровне прежнего паритета Англия повысила зарплату на 10 проц. и что вследствие этого английская промышленность стала неконкурентоспособной на мировом рынке. Мы тогда же показали, что все ссылки Кейнса в подтверждение своих положений говорят на самом деле против него (см. нашу работу «К вопросу о стабилизации капитализ-

ма», вышедшую в 1926 г., стр. 51—58). Однако несомненно, что поднятие курса фунта до прежнего уровня означало повышение бремени долгов и налогов, а вместе с этим действительное снижение зарплаты и доходов задолжавшихся крестьян. Далее, повышение ренты и стоимости основного капитала делали производственные расходы в Англии более высокими, нежели в других странах. Если снижение курса валюты означает уменьшение стоимости основного капитала, давление на ренту и падение реальной зарплаты, то повышение этого курса ведет и к увеличению амортизационных расходов, вздорожанию сырья, поскольку оно не ввозится из-за границы, и в известных случаях также к повышению номинальной зарплаты (реальная через некоторое время снова падает). Все эти моменты вместе ослабляют конкурентную способность промышленности. При этом повышение номинальной стоимости фунта было особенно опасным ввиду крайне возросшего долгового бремени, поглощавшего значительную часть национального дохода. Высокие налоги и внутренняя задолженность явились серьезной проблемой послевоенного хозяйственного развития.

4. Отход США от золотого стандарта.

К указанной нами выше огромной задолженности государств и общин, явившейся результатом войны и дефицитности послевоенного хозяйства большинства стран, присоединилась еще частная задолженность, быстро выросшая сумма долгов землевладельцев, домовладельцев и промышленности. Чтобы опять-таки не усложнять наше изложение цифровым материалом, мы остановимся только на примере США. В этой стране долги федерального правительства, отдельных штатов и общин увеличились с 1912 г. по 1929 г. с 5 до 33 млрд. долл. и до 1932 — до 38 млрд., а частные долги — с 58 до 170 млрд. и снизились до 1932 г. до 137 млрд. долл. Так как народное состояние поднялось за это время всего с 186 млрд. до 362 млрд. в 1929 г. и упало в 1932 г. до 247 млрд., то задолженность составила в 1912 г. 34 проц.,

в 1929 г. — 56 проц., а в 1932 г. — 71 проц. всего национального имущества страны.

Совершенно понятно, что такая высокая задолженность делает должника неплатежеспособным. И на самом деле, ни фермеры, ни средние или даже многие крупные промышленные предприятия не были в состоянии платить по своей задолженности. А вместе с ними и банки вынуждены были прекратить выплату по вкладам. В то же время кредиторы не соглашались добровольно пойти на снижение задолженности. Не будучи в состоянии сломать их сопротивление и стоя перед опасностью революционного движения фермерской массы, правительство пошло по линии наименьшего сопротивления — снижения номинальной стоимости доллара, а вместе с этим и номинальной величины долга, и реальной зарплаты. Однако отход США от золотого стандарта и снижение номинальной стоимости доллара диктовались не только этими соображениями. В этом видели и орудие борьбы за внешние рынки.

Проф. Джемс Анджель в своем выступлении в Академии социальных наук в 1933 г., говоря об отказе США от золотого стандарта, замечает: «Наш недавний отказ от золотого стандарта в известном отношении не имеет примеров в экономической истории. Несмотря на мировой кризис, мы продолжали оставаться страной, которая имеет значительно активный торговый баланс с крупными доходами от иностранных вложений и без существенных текущих обязательств по отношению к загранице... Когда мы отошли от золотого стандарта, мы еще располагали большим золотым запасом; наша учетная ставка была сравнительно низка. Бюджет федерального правительства был более близок к балансированию, чем в предыдущие годы, и не было видно никакого давления на нашу валюту» («Труды Академии социальных наук», июль 1933 г., стр. 18).

И на самом деле, не эти валютные моменты являлись решающими при отходе США от золотого стандарта. США принадлежат к странам, которые более других пострадали от нынешнего кризи-

са. Причин этого явления много. Укажу на один важный для выяснения данной проблемы момент. США находятся на перепутьи между производством на внутренний и производством на мировой рынок. До начала кризиса экспорт составлял небольшую долю всей продукции промышленности: 8,6—8,8 проц. всей продукции. Это крайне низкий процент для промышленных стран, которые вывозят 20—25 проц. всей продукции. Между тем за последние годы явно чувствовалась потребность во внешних рынках. После 1923 г. доля экспорта в общей продукции постоянно, хотя и медленно, нарастала (с 6,6—6,8 до 8,6—

8,8). Нынешний кризис и в США обострился из-за того, что он совпал с переломным моментом, когда промышленность оказалась вынужденной выйти на более широкий мировой рынок. Между тем США больше, чем другие страны, вынуждены были сократить свой экспорт и терять одни рынки за другими. Можно указать например на усиление конкуренции Японии и Англии на рынках Центральной и Южной Америки, которые американский капитал все более и более считает своими колониями. Так, ввоз следующих стран распределялся между главными конкурентами (в проц. к итогу):

	Аргентина		Бразилия		Чили		Колумбия	
	1929	1932	1929	1932	1929	1932	1929	1932
США . .	26,4	13,6	30,1	30,2	32,2	23,2	46,0	42,1
Англия . .	17,6	20,4	19,2	19,2	17,7	12,9	14,4	19,4
Япония .	0,6	1,6	0,2	0,4	0,8	0,6	1,1	1,3

Хотя вывоз из США в эти страны все еще значительно преобладает над вывозом всех остальных стран, но он сократился относительно сильнее, чем вывоз других стран. В целом экспорт из США составлял в 1929 г. 15,6 проц. мирового экспорта, а в 1932 г. — 12,4 проц. И вот, чтобы улучшить свое положение на мировом рынке и даже еще расширить свой экспорт, американские промышленники стремятся использовать то орудие, которым Англия и Япония в значительной мере побивают США, то-есть обесценением своей валюты. Снижением курса доллара они надеялись добиться снижения зарплаты, которая, как известно, в США превышает уровень зарплаты в европейских странах, не говоря уже о Японии. Одновременно они хотят уменьшить и амортизационные расходы, снижая стоимость оборудования. Таким образом, отход США от золотого стандарта диктовался стремлением бороться за мировой рынок, что и было оценено конкурентами США.

Отход Англии от золотого стандарта произвел потрясающее действие на всю мировую денежную систему. Уже раньше началось падение курса валюты разных стран. Прежде всего тех стран, ва-

люта которых не была основана на золоте, а именно—валюта Китая, Испании и Уругвая. В течение 1929 и 1930 гг. отказались от обмена бумажек на золото Аргентина, Австралия, Новая Зеландия и Перу. Вместе с Англией отошли от золотого стандарта все связанные с нсю страны: Индия, Египет, Канада, скандинавские страны, Британские Мадагаскар, Португалия, Боливия, Чили, Греция, а также целый ряд мелких государств. Отказалась от золотого стандарта и Япония. В 1932 г. отказалась от золотого стандарта также Южная Африка — главная производительница золота. После отхода и США от золотого стандарта 64 проц. мировой торговли приходится уже на страны с обесцененной валютой. Кроме того, 16 проц. мировой торговли приходится на страны, формально сохранившие паритет своей валюты по отношению к золоту других стран, но фактически совершенно прекратившие всякую торговлю с ними валютой и запретившие вывоз им валюты или золота. Таким образом, только 20 проц. мировой торговли приходится уже на страны, сохранившие золотой стандарт. В течение 1933 г. обесценение валюты большинства стран уси-

ливалось, как видно из следующих данных:

Процент обесценения валюты к паритету этих валют.

	1932	1933
США	—	19,4
Южная Африка	2,1	32,4
Канада	11,9	26,8
Перу	17,3	46,5
Венецуэлла	21,8	24,2
		(август)
Австрия	17,6	21,2
Индия	27,8	31,8
Португалия	27,8	31,1
Англия	28,0	46,9
Египет	28,0	31,9
Стрейтс-сеттльмент	28,8	32,2
Дания	29,7	44,2
Швеция	31,1	35,5
Норвегия	32,8	37,3
Новая Зеландия	34,2	45,3
Чили	35,0	51,0
Греция	35,9	56,7
Мексика	36,1	54,3
Финляндия	38,3	41,2
Бразилия	40,5	46,7
Боливия	41,9	62,1
		(август)
Австралия	42,5	45,8
Япония	43,6	59,6
Китай	47,5	49,7
Уругвай	54,5	54,6
Испания	58,3	56,7

Таким образом, валютный хаос в течение 1933 г. значительно усилился. После решения США к концу октября закупать золото в США и на других рынках валютная война обострилась еще значительно, и падение курса доллара пошло еще более быстрым темпом. Только в начале 1934 г. США фиксировали курс своего доллара на уровне 60,8 проц. своего номинала.

V. Борьба за капиталистический выход из кризиса

В марте текущего года исполнилось пять лет с начала нынешнего кризиса. Такая продолжительность кризиса, какой не знает история капитализма, объясняется, как указал т. Сталин, следующими моментами. Кризис охватил все без исключения страны, промышленный кризис переплелся с аграрным, охватившим все без исключения аграрные страны и все отрасли сельского хо-

зяйства, причем сельское хозяйство под влиянием кризиса значительно деградировало. Далее: «Господствующие в промышленности монопольные картели стараются сохранить высокие цены на товары, — обстоятельство, делающее кризис особенно болезненным и мешающее рассасыванию товарных запасов». «Наконец — и это главное — промышленный кризис разыгрался в условиях общего кризиса капитализма».

Роль монополии во время нынешнего кризиса ярко иллюстрирует следующая таблица Конъюнктурного института (недельный обзор от 6 декабря 1933 г.).

Производство и цены картелированных товаров.

Кризисные годы	Сокращение продукции		Снижение цен	
	Число лет	% снижения	Число лет	% снижения
1900/02	1	4	2	26
1907/09	1	3	2	16
1929/32	3	46	3	23

Конъюнктурный институт комментирует эти цифры в том смысле, что раньше цены снижались во много раз больше (в пять-шесть раз), нежели сокращалось производство. В настоящее время, наоборот, падение цен составляет только половину того размера, на который сокращено производство.

«Отсюда легко заключить, — говорит он, — что большая подвижность политики цен в довоенные периоды облегчала сохранение постоянного уровня продукции, в то время как сохранение неподвижного уровня цен после войны шло за счет резкого колебания размеров производства». Причины этого явления он видит в том, что перед войной темп развития был более быстрым, чем до войны, и что путем расширения и улучшения продукции можно было снизить производственные расходы и цены. Теперь базис производства значительно сузился и, следовательно, улучшить производство невозможно в таком размере. С другой стороны, под влиянием обострившейся конкуренции все же пришлось перейти к лучшему оборудованию, и вместе с этим сильно повысилась доля

генеральных расходов (той части себестоимости продукции, которая мало зависит от размеров продукции, как стоимость оборудования, содержания здания и т. д.) в общей стоимости производства, что приводит и к повышению расходов при сокращении размера продукции. «Политика картелей в послекризисное время,—продолжает Конъюнктурный институт,—представляет собою попытку приспособления к этому изменению характера себестоимости путем сохранения высоких цен во время кризиса и более медленного повышения их во время подъема». Последнее неверно. Мы дальше увидим, что цены на сырье в Германии за 1933 г. поднялись в большей мере, чем цены на готовые изделия. Во всяком случае Конъюнктурный институт констатирует, что картели не только увеличивают свою прибыль за счет обрабатывающей промышленности (стр. 154 названного обзора), но и являются сильнейшим препятствием к выходу из кризиса.

Конъюнктурный институт приводит примеры относительно незначительного понижения цен на картелированные продукты не только в Германии, но и в Австрии, Польше и т. д. Надо к этому прибавить, что даже в такой стране, как в Англии, где монополистические организации относительно слабо развиты, все же в целом ряде областей им удалось удержать цены на высоком уровне. Так например цены на уголь с конца 1928 по конец 1930 г. еще несколько поднимаются (на 3,3 проц.) и затем останавливаются примерно на уровне цен конца 1928 г. Цены на стальные рельсы за все время кризиса не меняются.

Как же борются капиталистические государства за преодоление кризиса? Не будучи в состоянии заставить монополистические организации снизить цены, они пошли, как мы видели, по линии инфляции, снижения курса денег, в результате чего произошло реальное снижение товарных цен. Так, в Англии уровень цен в 1931 г. был 104 (1913=100), в ноябре 1933 г. в бумажных фунтах — 102,8, а в золотом исчислении — 67,8. В США в 1931 г.

уровень цен был 104,6, в ноябре 1933 г. — 102, а в золотом исчислении — 64. В Японии в октябре 1933 г. номинальные цены находились почти на уровне 1930 г., но в золотом исчислении составляли почти 51 проц. уровня 1913 г. и только 37 проц. уровня 1930 г. и даже лишь 31 проц. уровня 1929 г.

Результат обесценения фунта стерлингов сказался в том отношении, что цены на ряд английских товаров остались номинально те же, но реально, в особенности для иностранного покупателя, резко снизились. Чем объясняется такая странная политика цен? Тем, что снижена зарплата, оценка (и вместе с ней величина ежегодной амортизационной суммы) основного капитала, высота земельной и городской ренты и т. д. Все это сделало возможным при снижении стоимости денег понизить также цены на товары. Наконец инфляция прорвала некоторые плотины, поставленные монополистическими организациями развития хозяйства, насильно снизив во многих случаях реальные цены и прибыль монополий.

Можно ли отсюда сделать вывод, что инфляция направлена против интересов монополий? Нет конечно. Монополии запутались в своих собственных сетях. Каждая из них в отдельности не в состоянии была снизить цены, если другие этого же не делали в таком же размере. Помимо того, внутри каждого картеля идет борьба вокруг цен. Хуже оборудованным предприятиям приходится добиваться более высоких цен, так как у них более высокие производственные расходы. С другой стороны, политика монополий в направлении сокращения продукции привела к значительному повышению производственных расходов хорошо оборудованных предприятий. Поэтому эти последние выступают в картелях борниками высоких цен как-раз во время кризиса. Инфляция, улучшая перспективы вывоза и повышения загрузки заводов, как-раз на-руку этим хорошо организованным предприятиям.

Более того, под влиянием инфляции номинальные цены на продукты поднимаются неодинаково. Закон изменения

цен, установленный Марксом, действует и во время инфляции, а именно: при подъеме цен сильнее всего повышаются цены на сырье и полуфабрикаты, а цены на готовые изделия отстают в своем движении от роста цен на сырье и полуфабрикаты. Так, движение цен в США после отмены золотого стандарта было следующим:

Индекс цен (1926 = 100)

	Январь 1933.	Январь 1934.	Увели- чение в %/о/о
Сырье	50,2	64,1	27,7
Полуфабрикаты	56,9	71,9	26,3
Готовые изделия	66,7	76,0	13,9

Цены на готовые изделия значительно отстали в своем движении от подъема цен на сырье и на полуфабрикаты. Цены на железные изделия поднялись в следующем размере: цены на железо и необработанную сталь — на 12 проц., а на готовые стальные изделия — на 7,9 проц. Низший пункт этих цен был в апреле 1933 г. Тогда за чугун и сырую сталь платили 28,16 доллара за тонну, а в декабре 1933 г. — 32,42 доллара, или на 15 проц. больше. А цены на готовые стальные изделия поднялись в среднем с 2,06 доллара до 2,31 доллара за 100 фунтов, или на 12 проц.

Цены на хлопок увеличились с конца 1932 по конец 1933 г. на 72,8 проц., а цены на хлопчатобумажные ткани — на 65,3 проц. Таким образом, наибольшую выгоду извлекают производители сырья, в первую очередь монополизированные отрасли хозяйства. Отсюда вытекает, что и инфляция, вызывая номинальное повышение цен, не является решением проблемы развития обрабатывающей промышленности. Наоборот, она скорее затрудняет выход из кризиса, так как, чем дольше она продолжается, тем труднее становится положение обрабатывающей промышленности. Стоит отметить, что и в области сельского хозяйства инфляция вызвала сильное повышение цен на зерно и значительное отставание движения цен на скот и продукты скотоводства. Да и сама инфляция не может долго продолжаться. Гнать бес-

ценение фунта или доллара до бесконечности, как это сделала Германия в 1923 году, означает привести хозяйство в полное расстройство со всеми социальными последствиями такого факта. США уже приостановили дальнейшее обесценение доллара, установив курс его примерно на уровне 60 проц. прежнего золотого паритета. Англия формально не стабилизировала своего фунта, но фактически держит его курс на одном уровне. Даже Япония, повидимому, старается не допустить дальнейшего обесценения своей иены, если она опять не бросится на новые военные авантюры.

Мы говорили раньше, что обесценение денег должно явиться выходом из проблемы внутренней задолженности. Дает ли инфляция решение этой проблемы? Нынешняя инфляция происходит в период падающих цен и повышения покупательной способности денег. Путем инфляции на самом деле добились только сохранения уровня номинальных цен. И только. Огромная задолженность как она была раньше, так и в настоящий момент продолжает давить на капиталистические страны.

Немецкий журнал «Валюта и хозяйство» приводит подсчет одного известного германского специалиста Германа, в каком размере еще сохранились военные долги в разных странах. Оказывается, что только Германия, благодаря особенно сильной полосе инфляции в первые годы после войны, пережитой ею, сумела освободиться от военной задолженности, которая в настоящее время составляет только 10,8 проц. номинальной суммы. Во Франции, несмотря на прежнюю инфляцию, военная задолженность составляет еще 48 проц. прежней суммы, в Италии — 57 проц. В США она еще выше номинальной суммы, составляя 117 проц., а в Англии даже — 122,5 проц. Такое повышение размеров задолженности объясняется тем, что со времени заключения военных долгов цены на товары сильно упали и выросла покупательная способность денег, а вместе с этим и тяжесть заключенных долгов. Отсюда следует, что инфляционная полоса, которая прокатилась по ряду стран в течение

нынешнего кризиса, далеко не освободила эти страны от старой задолженности, хотя в отношении долгов, заключенных незадолго перед началом этого кризиса, кое-какая часть благодаря инфляции и снижена. Все же значительного облегчения бремени задолженности нет, и в дальнейшем эта задолженность будет висеть над развитием капиталистического хозяйства, как дамоклов меч.

Таким образом, инфляция принесла только временное и относительно слабое облегчение, далеко не достаточное, чтобы вызвать оживление обрабатывающей промышленности. Именно поэтому одновременно с обесценением валюты принимаются и другие меры. Англия перешла к покровительственной системе, в результате чего сильно уменьшился ввоз готовых изделий. За время от первого квартала 1929 г. по первый квартал 1933 г. ввоз готовых изделий упал на 60 проц., а ввоз сырья — на 52 проц. Вывоз готовых изделий снизился в несколько меньшем размере, именно на 42 проц. Однако в 1933 г. отмечается некоторое новое увеличение ввоза готовых изделий. За четвертый квартал ввоз их превысил ввоз первого квартала на 21,5 проц., ввоз сырья — на 20,3 проц., а вывоз готовых изделий даже только на 8 проц. Иностранная конкуренция снова, следовательно, усиливается на английском рынке, несмотря на защитительные пошлины.

Гораздо большее значение имеют те процессы, которые происходят в хозяйстве Англии. Как известно, Англия запоздала с рационализацией своего производства, с улучшением техники и организации его. Под ударами кризиса она усиленно рационализирует свое хозяйство, в первую голову централизует и концентрирует капитал и создает монополистические организации. В этом отношении наиболее характерен план принудительной рационализации железодельной промышленности. Правительство потребовало от промышленников проведения этого плана под угрозой лишения промышленности защиты (33½ проц. пошлины). Однако провести этот план ей все-таки не удалось. С другой стороны, хлопчатобумажные пря-

дильщики на своем последнем собрании обратились с просьбой к правительству заставить их объединиться в один общий картель. Именно эта реорганизация английской промышленности, опирающаяся на государственные субсидии и на защитительные пошлины, увеличила емкость внутреннего рынка. Но этот процесс наталкивается в Англии на противодействие старого, раздробленного и устарелого основного капитала. И только в самые последние месяцы 1933 г. замечается в этом отношении некоторый сдвиг. Англия — единственное из крупных индустриальных стран капиталистического мира государство, которое увеличило в 1933 г. новые капиталовложения в промышленность. Англия остается в этом отношении скорей исключением, нежели правилом¹⁾. В Англии замечается некоторое оживление и в области машиностроительной промышленности. Работа машиностроительной промышленности Англии была в процентах к 1928 г.:

	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1932 г. . .	80,2	79,9	75,1	78,0
1933 г. . .	82,2	85,8	83,3	

Машиностроительная промышленность находилась, следовательно, в 1933 г. на несколько более высоком уровне, нежели в 1932 г. Однако значительного оживления в области производства средств производства не замечается и в Англии. Потребление железа и стали, которое служит показателем этого процесса обновления аппарата, стояло в 1933 г. на более низком уровне, чем в 1932. Но со второй половины 1933 г. оно поднялось и дошло в январе 1934 г. до 87 проц. потребления 1924 г., превышая в два раза потребление января 1933 г.

С другой стороны, заказы на электротехнические изделия еще в январе 1934 г. находились на самом низком за все время кризиса уровне, составляя только 59 проц. заказов января 1933 г.

¹⁾ В марте 1934 г. выпуск нового капитала на рынок резко упал — до самого низшего за все послевоенные годы уровня.

и 43 проц. заказов 1929 г. Отсюда ясно, что о полном повороте в сторону обновления основного капитала и о переходе в фазу нового подъема и по отношению к Англии говорить еще не приходится.

В США средняя годовая продукция показывает повышение по сравнению с 1932 г. Индексы-показатели положения хозяйства были (1923—25 = 100):

Годы	Промышленность и горное дело	В т. ч. промышленность	Число занятых	Выплаченная зарплата
1929	119	119	101	107,7
1932	64	63	62	45,3
1933	76	76	66	47,5
1933 (декабрь) .	69,8	69	71	53,1

К этому надо прибавить, что в начале 1934 г. кривая конъюнктуры снова несколько поднялась.

Причины поворота конъюнктуры в США отнюдь не сводятся исключительно к обесценению доллара и к понижению реальных цен. Гораздо большую роль играли огромные затраты правительства на общественные и другие работы. Затраты правительства исчисляются различным образом. Официально указывается сумма в 1,29 млрд. долларов, в том числе банкам было предоставлено свыше миллиарда. На 1934 г. намечены расходы в 7,5 млрд. долларов. Конечно сумма в один или два миллиарда долларов сама по себе еще не представляет большой величины для страны, где в 1929 г. средняя месячная эмиссия новых капиталов для промышленности составляла около 850 млн. долларов. Но дело в том, что в годы кризиса взаимоотношения цен на сырье, полуфабрикаты и готовые изделия сложились в США в благоприятном для обрабатывающей промышленности направлении. В 1929 г. индекс цен на готовые изделия стоял ниже индекса цен на сырье и только немногим превышал индекс цен на полуфабрика-

ты. Это положение было крайне невыгодным для обрабатывающей промышленности, которая и сорвала конъюнктуру. Во время кризиса цены на сырье падают в большей мере, чем цены на готовые изделия, как видно из следующей таблицы:

Индекс цен (1926 = 100)

Годы	Сырье.	Полуфабрикаты	Готовые изделия.
1929 . . .	97,5	93,9	94,5
1930 . . .	84,3	81,8	88,0
1931 . . .	65,6	69,0	77,0
1932 . . .	55,1	59,3	70,0
1933 . . .	56,5	65,4	70,5

Таким образом, мы видим, что цены на готовые изделия остались на значительно более высоком уровне, чем цены на сырье и полуфабрикаты. Спрашивается, почему все-таки частные предприятия, несмотря на снижение производственных расходов под влиянием удешевления сырья (а также падения зарплат, так как средняя часовая зарплата за этот период времени снижена на 17 проц., а производительность труда выросла на 15 проц.), не пустили своих фабрик и заводов. Дело в том, что капитал запутался в своих противоречиях. Он до таких размеров снизил производство, так резко уменьшил загрузженность предприятия, что производственные расходы страшно выросли. В марте 1933 г. загрузка сталелитейных предприятий опустилась до 16 проц. производственной возможности, а поступление заказов и производство железнодорожных материалов составило всего 8—9 проц. производственной возможности соответственных заводов. При таких условиях удешевление сырья и т. д. не могло оказать достаточного стимула к увеличению продукции. И только тогда, когда пришли правительственные заказы и повысилась в декабре 1933 г. загрузка сталелитейных предприятий до 33 проц. производственной возможности и т. д., стали действовать внутренние экономические силы капитализма, то-есть повысилась уровень прибыли в результате удешевле-

ния сырья и снижения зарплаты и вместе с этим начали работать фабрики и заводы.

«Капитализму удалось несколько облегчить положение промышленности за счет рабочих — путем углубления их эксплуатации, через усиление интенсивности их труда, за счет фермеров — путем проведения политики наиболее низких цен на продукты их труда, на продовольствие и отчасти на сырье, за счет крестьян колоний и экономически слабых стран — путем еще большего снижения цен на продукты их труда, главным образом на сырье, и затем на продовольствие» (И. Сталин).

В этих словах т. Сталина лежит ключ к пониманию того выхода из кризисного состояния, который нашел капитал в 1933 г. Положение в Германии было сходным с тем, которое мы обрисовали в США. И здесь цены на готовые изделия упали за период кризиса 1929—32 гг. в меньшей мере, чем цены на сырье, как видно из следующих данных:

Индекс цен (1913 = 100)

Годы	С.-х. продукты	Сырье и полуфабрикаты	Готовые изделия
1929	130,2	131,9	157,4
1930	113,1	120,1	150,1
1931	103,8	102,6	136,2
1932	91,3	88,7	117,9
1933	86,8	88,4	93,3
1932 в %/о к 1929	70,0	67,0	75,0

Однако при крайне низкой загрузке предприятий (в 1932 г. 35 проц.) удешевление сырья и т. д. оказалось недостаточным, чтобы производство оживло. Только крупные правительственные заказы дали толчок работе промышленности, которая несколько поднялась за 1933 г.

Можно ли однако считать, что мы имеем дело с переходом от кризиса к обычной депрессии, влекущей за собой новый расцвет и подъем промышленности?

Тов. Сталин указал на то, что

«продолжают действовать все те неблагоприятные условия, которые не

дают промышленности капиталистических стран подняться сколько нибудь серьезно вверх. Речь идет о продолжающемся общем кризисе капитализма, в обстановке которого протекает экономический кризис, о хронической недогрузке предприятий, о хронической массовой безработице, о переплетении промышленного кризиса с сельскохозяйственным кризисом, об отсутствии тенденции к сколько-нибудь серьезному обновлению основного капитала, предвещающему обычно наступление подъема, и т. д. и т. п.

Очевидно, что мы имеем дело с переходом от точки наибольшего упадка промышленности, от точки наибольшей глубины промышленного кризиса — к депрессии, но к депрессии не обычной, а к депрессии особого рода, которая не ведет к новому подъему и расцвету промышленности, но и не возвращает ее к точке наибольшего упадка».

На самом деле, то основное, что делается для спасения капитализма, сводится к созданию новых монополий в области обрабатывающей промышленности, как и в сельском хозяйстве и в торговле. «Кодексы честной конкуренции» Рузвельта, охватившие почти все народное хозяйство страны, не что иное, как принудительные картели. Но такое ограничение свободы борьбы капитала за рынок должно приводить к застою техники, раз размеры производства и сбыта ограничиваются. Лучшая техника имеет оправдание только при расширении производства. Конечно эти кодексы не воспрепятствуют тому, чтобы крупные предприятия поглощали мелкие и расширяли производство за счет последних. Но этот процесс все же замедлится. Вместе с этим и общий тонус капиталистического развития будет пониженным и размах его движения гораздо более слабым. В первый период монополистического капитализма сила картелей и темп развития хозяйства основывались на том, что картели получали за счет неорганизованных предприятий сверхприбыль, кар-

тельную ренту. Если же все отрасли окажутся картелированными, то этим затрудняется общее движение картелированного капитала, вместе с этим замедляется и развитие хозяйства. Усиливаются тенденции капитализма к загниванию. Это сказывается и в том отношении, что одновременно идет процесс разрушения производительных сил, сокращения размеров производства и затруднения применения новой техники.

О враждебном отношении к новой технике со стороны умирающего капитализма много писалось в литературе. Приводим еще только одно свидетельство Дешнера, одного из руководителей фашистской Германии, в газете «Дейче альгемейне дейтунг» от 22 декабря 1933 г., которая говорит о том, что «борьба против машины ведется широким фронтом». «Знакомому с положением дел, — говорит он, — прямо страшно становится, как широко распространено это враждебное отношение к машине».

Другим новым моментом является значительное усиление «государственного капитализма». Улучшение хозяйства в 1933 году объясняется в значительной мере, как мы уже говорили, огромными затратами государства как на военные цели, так и на строительство дорог и т. д. Эти затраты сопровождаются тем, что крупнейшие банки и предприятия в той или иной мере переходят под контроль правительства. В Германии 70 проц. акционерного капитала банков и Главное горное предприятие («Гельзенкирхен»), а вместе с ним также и Стальной трест перешли фактически в руки правительства. В США государство приобрело контрольный пакет акций крупнейших банков, переняло в свое распоряжение золотые запасы страны и оказывает сильнейшее влияние на промышленность.

Государственный капитализм не меняет характера капиталистического производства. Основным регулятором остается и впредь прибыль частного предпринимателя. Производится только то и в той степени, в какой частный предприниматель получает прибыль. Остается за капиталом его значение в

хозяйстве страны, а за крупным капиталом — его руководящая роль. В Германии власть магнатов капитала еще усилена. Следовательно, сохраняются в полной силе законы накопления, концентрации, а также неравномерности развития капитализма.

Отсюда ясно, что остаются в действии и законы циклического развития капитализма. Более того, по существу этот так называемый «государственный капитализм» не вывел и не выведет капитализм из общего кризиса. Под крылышком фашистов в Германии еще увеличилось число и влияние монополии. Последнее мероприятие с объединением всей промышленности в 7 групп, во главе которых поставлены магнаты финансового капитала, приводят к еще большему усилению власти монополий. Далее, мы видели, что в 1933 году цены на сырье в Германии значительно больше поднялись, чем цены на готовые изделия. И сама германская пресса последнего года, поскольку она не является непосредственным органом этих крупных монополистических организаций, вопиет о том, что картели снова сильно подняли цены. Правительство делает вид, что оно якобы борется против повышения цен, на деле однако этот процесс продолжается быстрым темпом. И само собой разумеется, что он скоро приведет к новой задержке развития производства. Впрочем в Германии мы до сих пор не замечаем повышения частных инвестиций в промышленность. Еще последний квартал 1933 г. дает меньшую сумму выпуска новых акций, чем первый квартал 1933 г.

Что касается внешнего рынка, который, как мы видели на примере прежних кризисов, играл большую роль, как выход из кризиса, то он в настоящее время не представляет благоприятных перспектив. В этом отношении положение в 1933 г. еще ухудшилось. Общий размер мировой торговли продолжал сокращаться. Причины этого явления всем известны. Все страны стремятся замыкаться в своей скорлупе и быть якобы независимыми. Правда, угар астаркии начинает проходить. Спеди-

ально в Германии, которая еще в начале 1933 г. особенно резко подчеркивала поворот в сторону автаркии, министр народного хозяйства Шмитт выступил с брошюрой, в которой он категорически отказывается от принципа автаркии. Указывая на то, что почти вся промышленность зависит от иностранного сырья и иностранных рынков, он замечает: «Если насильно разорвать эти связывающие Германию с остальным миром нити, то это означало бы смерть названных отраслей промышленности, крайнюю безработицу, полное расстройство хозяйственной жизни, не исключая и сельского хозяйства, которое ведь производит не исключительно для себя, но в гораздо большей мере для несельскохозяйственного населения». И дальше Шмитт определенно заявляет, что экспорт должен оставаться жизненной необходимостью для Германии. Однако такими заверениями рынков не создашь. И хотя Германия изменила свою торговую политику и пошла на уступки по отношению к своим соседям — Голландии, Дании, Польше и т. д., — все же положение ее, как и других капиталистических стран, на мировых рынках катастрофическое.

Достаточно констатировать то положение, что экспорт готовых изделий значительно уменьшился за последние годы. Если взять вывоз фабрикатов из 8 промышленных стран (Англии, Германии, США, Франции, Японии, Бельгии, Чехо-Словакии и Швейцарии), то он в 1929 г. составлял 44,67 млрд. марок, в 1931 г. — 25,5 млрд., в 1932 г. — 16,1 млрд., а в 1933 г. — 14,5 млрд. Таким образом, мировой рынок для фабрикатов продолжает суживаться. Распределение этого рынка между главными странами было примерно следующее:

	1931 г.	1933 г.
	в %/о к итогу	
Англия	21,8	27,5
Германия	29,0	26,1
США	18,5	14,1
Франция	12,3	12,7
Япония	4,0	6,2
Бельгия	6,0	6,0
Чехо-Словакия	4,9	3,4
Швейцария	3,5	4,0
Всего	100	100

Отсюда видно, что только Англии и Японии удалось несколько усилиться на этих рынках. Однако они одержали вверх над своими конкурентами только потому, что обесценили свою валюту. Но этим оружием воспользовались теперь и в США. В 1933 г. снижение курса доллара еще не сказалось в достаточной мере в смысле усиления положения США на мировых рынках.

В 1934 г. США несомненно усилятся и оттеснят своих конкурентов.

Главное однако в том, что общая емкость мирового рынка уменьшается и что вытеснение одного конкурента другим может идти только за счет цен, доходности предприятий и в целом не дает капитализму выхода из депрессивного состояния.

Кризис 1857 г. знаменовал собою переход к новой ступени строения капитала, который сказался прежде всего в транспорте (железные дороги). И тогда уже оказалось, что в этой области частный капитал не в состоянии справиться с кризисными затруднениями. Государство должно было в той или иной мере притти на помощь или даже заменять частный капитал собственными предприятиями. В области производства тогда начался переход к новой форме организации сначала сбыта и только отчасти регулирования производства в форме картелей. Вместе с этим руководящая роль в мировом хозяйстве переходит к Германии, которая раньше и полнее развила эти формы организации. Однако и картели не смогли разрешить проблемы кризиса. После потрясений девятисотых годов начинаются попытки дальнейшей организации производства; картели образуют синдикаты с распределением заказов между членами картелей, усиливается движение в сторону образования трестов. Носительница более высокой формы организации производства — США, которые легко преодолели кризис 1900 г., становятся руководящей страной мирового хозяйства. Германия отходит к «старым» капиталистическим странам, в которых темп развития начинает замедляться. Ны-

нешний кризис знаменует собою банкротство и этих форм организаций. Мы доказали статистическими данными, как глубоко правильно было указание тов. Сталина, что монополии обострили действия кризиса и затруднили выход из него. Мы видели дальше, как сращение банкового капитала с промышленным привело и к расстройству кредитной системы капитализма, временное восстановление которой возможно было только путем огромных государственных субсидий, то-есть, за счет рабочих и крестьян — налогоплательщиков.

Наконец преобладание банков заставило перейти к обесценению валюты, и вместе с кризисом системы финансового капитала разразился валютный кризис, от которого еще далеко не освободились капиталистические страны, несмотря на попытки новой стабилизации валюты в некоторых странах. Вместе с этим пала цитадель капитализма. США не только не «посадили Европу на паек», как предсказывал в свое время Троцкий, но они сами значительно были отброшены назад. Нет никакого сомнения, что они навсегда потеряли свою руководящую роль в мировом хозяйстве. Они напрягают теперь все свои усилия на то, чтобы кое-как восстановить свое производство на внутреннем рынке, принимают меры к выходу на мировой рынок, обостряя до крайности борьбу, но, уйдя ли им оттеснить своих конкурентов и подчинить себе мировой рынок, еще далеко не известно. В целом в поисках выхода из кризиса США бросаются на «эксперименты», логическое развитие которых ведет по существу за пределы капитализма.

То, что США в настоящее время делают, внутренне противоречиво и не может иметь длительного успеха: ограничение продукции, укрепление монополий и повышение цен не могут в результате не приводить к дальнейшему сужению рынка и к новому перепроизводству, хотя они на время и могут вызвать известное оживление. Если неверно положение Сея-Рикардо, что всякое производство создает соответственный спрос и рынок, то неизбе-

мым остается обратное положение, что сокращение производства означает и сокращение рынка, как и повышение цен неминуемо вызывает сужение рынка. Между тем на почве капитализма так называемая «плановость» не может означать ничего иного, как усиление монополий со всеми вытекающими отсюда последствиями, — подготовку нового, еще более грандиозного и более мучительного кризиса.

Капитализм начал с «государственного регулирования» производства в эпоху раннего развития капитализма, господства торгового промышленного капитала, перешел потом к его отрицанию, к свободной торговле. Затем, в период монополистического капитализма, завершилось «отрицание отрицания»: на место свободной торговли и вмешательства государства встал «организованный капитализм» в лице картелей и трестов, сраставшихся с государственной властью. Монополистический капитализм, таким образом, объединил так называемую «инициативу» предпринимателей с общим регулированием производства со стороны предпринимателей и государства. Нынешний кризис привел к «отрицанию» и этой формы организации, к банкротству всей системы монополистического капитализма. Ясно, что капитализм изжил все формы своего существования и что новое отрицание является вместе с этим отрицанием самого основания капитализма, разрывом самой оболочки и выходом к новым формам организации производства, уже ничего общего с капиталистическими не имеющими. Государственное регулирование, к которому вплотную подошел капитализм, не может уже быть простым повторением старых абсолютистских форм руководства нарождающимся промышленным аппаратом или монополиями, начинающего развиваться процесса производства самого аппарата. Оно при нынешнем состоянии техники и строения капитала может быть только государственным регулированием, но уже на иных социально-экономических основах — на основах социалистического строительства и коллективного труда.

когда массы непосредственно втягиваются в этот процесс строительства и руководства производством, причем производством, служащим не для обогащения немногих, а для действительного удовлетворения потребностей широких масс населения.

Носителем этой новой формы организации производства и труда, социалистического строительства в интересах всех трудящихся, является наш Союз, не знающий кризисов перепроизводства, сделавший в течение последних лет, ко-

гда весь капиталистический мир переживал тяжелейший кризис, огромные успехи и ставший на первое место среди индустриальных стран мира по производству основного элемента современного производства — машин. Наш Союз и становится поэтому ведущей индустриальной страной мира, и формы нашего строительства становятся в то же время тем маяком, к которому стремятся народные массы, покидая утопающий в пучинах кризиса утлый челн капитализма.

Наука и жизнь

ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ—ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО БУРЖУАЗНОЙ ФИЗИКИ

В. Е. ЛЬВОВ

1

В третий раз после февраля 1932 года (открытие нейтрона) и марта 1933 года (находка позитрона) физика переживает сейчас — в марте 1934 года — волну важных событий, предшествующих новому шагу вглубь материи. Рассказывают, что ветеран атомов, 90-летний Дж.-Дж. Томсон, не выдержав, велел нести себя, на-днях, на кресле в аудиторию Эдинбургского королевского общества, где в это время происходил ожесточенный дискуссионный бой.

Что же вывело из равновесия престарелого физика?

Физический идеализм хочет упразднить закон сохранения энергии!

Прежде чем перейти к изложению фактов, сгруппировавшихся вокруг этой темы, укажем, что закон о сохранении энергии, то-есть о невозможности существования прибора (перпетуум мобиле), производящего работу без затраты работы извне, есть не просто один из рядовых физических законов. Закон сохранения энергии — не просто рядовая приближенная закономерность в физике, не одна из тех относительных истин, что могут быть сняты в процессе познания мира. Но этот закон представляет собою одно из коренных условий бытия материи. Условие, не отдели-

мое от самого существования материи как объективной реальности.

Исчерпывающий теоретико-познавательный анализ закона сохранения энергии — напомним — был произведен Энгельсом, завершен Лениным, и эти ясные и четкие высказывания основоположников материалистической диалектики не только не «устарели» (как это хотелось бы ревизионистам марксистско-ленинского учения о природе), но оказываются целиком и полностью подтвержденными всем новейшим развитием атомной физики.

С этого анализа мы и начнем нашу статью.

2

Прежде чем ответить на вопрос о том, что такое энергия, Энгельс констатирует следующее основное, ставшее сейчас азбукой для всякого естествоиспытателя, положение о мире как о движущейся материи.

«Вся природа образует... совокупную связь тел, причем мы понимаем под словом «тело» все материальные реальности. Из того, что эти тела находятся во взаимной связи, следует, что они действуют друг на друга, и это их взаимодействие и есть движение». «Уже здесь, — продолжает Энгельс, — обнаруживается, что материя немислима без движения и что вместе с данной массой мате-

ри дано и движение матери и...»¹⁾).

Столь же хорошо известно, что под движением физической материи Энгельс отнюдь не понимает одно лишь механическое взаимодействие перемещающихся в пространстве тел. Физическое движение отнюдь не исчерпывается механическим перемещением, но включает в себя бесчисленное многообразие качественно различных и не сводимых друг к другу процессов.

Окончательно доказанная в 1900—1910 гг. физикой невозможность свести электрические и магнитные явления, происходящие в эфире, к простой механике «частиц» является блестящим доказательством этого предсказания материалистической диалектики.

«Движение как способ существования материи, — говорит по этому поводу Энгельс, — обнимает собою все происходящие во вселенной изменения и процессы...» «Движение вовсе не есть простое перемещение». «Движение в применении к материи есть изменение вообще». (Подчеркнуто Энгельсом.) «На разных ступенях природы господствуют свои формы проявления одного и того же универсального движения»²⁾.

Запомним в этом замечательном высказывании тот, понадобившийся нам еще неоднократно факт, что, как ни бесконечно разнообразны формы движения в реальном мире, все эти формы являются лишь различными сторонами одного и того же движения единой материи и потому должны подлежать неограниченному превращению друг в друга.

Но, спрашивается, чем же отличаются в таком случае материальные процессы, находящиеся в поле зрения физики, от процессов, происходящих на самых высших ступенях мира и изучаемых например биологией и науками общественными.

И те, и другие процессы бесспорно представляют собою формы проявления

одного и того же движения одной и той же материи. Но гвоздь вопроса, по Энгельсу, заключается в том, что физические процессы могут быть охвачены в их количественной стороне. И в этом состоит их качественное отличие от высших процессов.

Интенсивность физического изменения, иными словами, может быть охарактеризована не только словами, но и измерена числом, выражена величиной. И вот эта физическая величина, представляющая результат измерения интенсивности движения, эта количественная характеристика данного физического процесса и есть энергия.

«Чем более доступно движение измерению, тем более пригодны для исследования категории силы (энергии)». «Количество движения¹⁾ есть так называемая энергия»²⁾.

Вот это центральное энгельсово положение об энергии, как о количественном отображении тех форм движения, которые вообще поддаются прямому или косвенному измерению, и находит себе полное оправдание в конкретной физике.

Если взять прежде всего простейшую из величин этого рода, так называемую «кинетическую энергию», или энергию перемещения, то окажется, что она пропорциональна квадрату скорости, то есть она связана как-раз с наиболее существенной количественной стороной механического процесса, а именно со скоростью перемещения. Далее: возьмем энергии электрическую и магнитную. Они пропорциональны так называемым напряжениям электрического и магнитного полей, то есть опять-таки тем величинам, которые, как знают электрики, наиболее показательны для харак-

¹⁾ Ф. Энгельс. «Диалектика природы». Изд. 6-е, Партиздат, стр. 130. Подчеркнуто здесь и дальше мной. — В. Л.

²⁾ Там же, стр. 49.

¹⁾ Термин «количество движения» употребляется здесь Энгельсом в общем смысле (то есть в смысле интенсивности любого физического явления), и его не нужно смешивать со специальным, так же звучащим термином механики, где под «количеством движения» условно понимается произведение из массы на скорость тела.

²⁾ «Диалектика природы», стр. 214.

теристики интенсивности электрических и магнитных явлений. Наконец, когда тело не обнаруживает вообще никаких видимых физических изменений или если оно способно произвести работу лишь в будущем (когда тело обладает, как говорят, «потенциальной энергией»), спрашивается — как быть в этих случаях? Означает ли это, что, пока тело обладает «потенциальной энергией», в нем вообще не происходит никаких движений? Или же более правилен тот, подсказываемый материалистической диалектикой, вывод, что и в «покоящемся» (на-глаз) теле продолжают незримо итти определенные, хотя и скрытые до поры до времени от наблюдателя, не-механические процессы?!

«Неужели, — говорит Энгельс, — если поднятый груз остается спокойно наверху, то его потенциальная энергия представляет и во время покоя форму движения? Разумеется»¹⁾.

Современная физика целиком и полностью подтвердила это безгранично смелое (если учесть, что «Диалектика природы» писалась в эпоху безраздельного господства механической физики) указание. Современная физика в работах де-Бройля и Шрёдингера (1923—1926) показала, что при любых условиях, даже и после достижения того предела температуры, при котором замيراют беспорядочные движения молекул, — при любых условиях внутри всякого материального тела продолжает итти колебательный процесс особого качества. Продолжает разыгрываться особое, не-механическое движение, называемое «электронной волной» или «волной де-Бройля»...

Ни на одно мгновение, ни при каких условиях материя, следовательно, не остается без определенного запаса энергии (энергии волн де-Бройля).

Но больше того: последовательное развитие основного положения о неотрывности материи от движения позволяет непосредственно предсказать и другой, недавно открытый физикой, важнейший факт, — факт существова-

ния строгой пропорциональности между массой и энергией в каждом теле.

На самом деле: чем больше материи сосредоточено на данном участке мира, тем, очевидно, больше — при прочих равных условиях — и сумма движений, происходящих на этом участке. Если бы то было не так, это означало бы, что прибавившееся или убавившееся количество материи лишено движения. Наоборот, всякое усиление или ослабление движения в определенном месте пространства не может не итти одновременно с пропорциональной убылью или прибылью количества вещества. В противном случае пришлось бы сделать вывод, что вновь появившееся движение лишено какого бы то ни было материального носителя — не связано с материей...

Но количество вещества в физике измеряется величиной, называемой «масса». Количество же движения — энергией. Неразрывная связь между материей и ее движением должна быть, таким образом, в переводе на конкретно-физический язык, равносильна пропорциональной зависимости между массой и энергией. Всякое изменение энергии в телах должно сопровождаться пропорциональным изменением массы, и наоборот.

На это самое положение и устанавливается знаменитой формулой Эйнштейна ($E = M \cdot c^2$), открытой в 1905 г. и неименно подтверждавшейся с тех пор многочисленными опытами.

В качестве примера: при испускании света атомами наблюдается, с одной стороны, убыль энергии атомов, с другой же стороны — убыль их массы. Испущенная энергия, другими словами, переносится кусочками вещества, отпочковавшимися от атомов в момент излучения. Существование этих кусочков, то-есть материальных частиц света («фотонов»), в действительности доказано физикой в настоящий момент. Точный расчет массы фотонов, то-есть расчет пропорциональной связи между количеством выделившейся из атомов энергии и количеством ее носителя — материи, — в процессе испускания света, и

¹⁾ Там же, стр. 152.

может быть произведен по формуле Эйнштейна.

Теперь уже можно подойти вплотную к факту, центральному и решающему для всей излагаемой нами темы. Теперь ясно, что сохранению материи в природе должно соответствовать и сохранение, то-есть неуничтожаемость и несотворимость, энергии. Теперь ясно, что если допустить на минуту, что энергия может где-либо «возникать» или «уничтожаться» без компенсации в другом месте мира, то и материя должна обладать способностью твориться «из ничего» или исчезать в «небытии». Ведь каждой порции энергии в мире соответствует, по точному смыслу формулы Эйнштейна, связанная с ней (энергией) порция материи, значит, и каждой порции «пропавшей» или «сотворившейся» энергии соответствует строго определенная порция «пропавшей» или «сотворившейся» материи. Сотворение же материи «из ничего» или ликвидация ее без следа из грешного мира есть действие, доступное только Господу богу.

Это положение вещей с гениальной четкостью и формулируется Энгельсом.

«Если... мы знаем, что материя противостоит нам как нечто данное, как нечто несотворимое и неразрушимое, то отсюда следует, что и движение несотворимо и неразруσιμο. Этот вывод стал неизбежен, лишь только начали рассматривать вселенную как связь и совокупность тел. А так как философия пришла к этому задолго до того, как эта идея укрепилась в естествознании, то понятно, почему философия сделала за целых двести лет до естествознания вывод о несотворимости и неразрушимости движения»¹⁾.

Энгельс имеет здесь в виду так называемую «теорему Декарта», в которой великий французский философ впервые провозгласил, что «количество имеющегося в мире движения неизмен-

но». Под влиянием картезианского учения Парижский университет — Сорбонна — и вынес 15 января 1775 года свое знаменитое постановление об отказе принимать на рассмотрение проекты перпетуум мобиле, то-есть проекты приборов, производящих движение (работу), без постоянного ее пополнения из какого-либо источника внутри или вовне.

«Идея о сотворении и уничтожении движения, — констатирует далее Энгельс, — необходимо предполагает творца»¹⁾. Идея эта абсурдна. «Движение, как таковое, как форма существования материи, неразруσιμο, как сама материя». А значит, и количество движения — энергия — не может изменяться при передаче движения из одного места мира в другое. «В этом заключается количественная сторона дела»²⁾.

Однако содержание закона сохранения энергии далеко не исчерпывается этой «количественной стороной дела». Оно несравненно шире и глубже.

3

Сформулировав закон сохранения в его чисто количественном разрезе (то-есть констатировав не-уничтожаемость и не-сотворимость энергии), мы ограничиваемся прежде всего лишь чисто отрицательным положением, не слишком обогащающим наши положительные знания о мире. Во-вторых же, — и это самое главное, — одна лишь количественная формулировка не дает возможности преодолеть затруднение, связанное с бесконечностью мира. На самом деле: диалектически устроенная природа бесконечна, и, следовательно, бесконечным является и общее количество материи и материального движения (энергии) в ней. Раз так, тогда для бесконечного резервуара энергии теряет всякий смысл положение о постоянстве общего запаса мировой энергии.

¹⁾ Там же, стр. 133.

²⁾ Там же, стр. 12.

¹⁾ Там же, стр. 131.

Критерий постоянства применим — как ясно — только к конечным величинам. Бесконечная же сумма остается «постоянно» бесконечной, сколько бы к ней ни прибавляли или ни отнимали слагаемых.

Опрайчиваясь только количественной стороной дела, мы оказываемся, таким образом, беспомощными в формулировке закона сохранения энергии применительно к миру как к целому. Значит, центр тяжести этого закона лежит явно не в том (бессмысленном самом по себе¹⁾ положении, что сумма энергии в мире остается постоянной.

Гвоздь вопроса — не здесь. Гвоздь вопроса в том, что ни один процесс передачи движения (энергии) от любого материального тела к другому не обходится без качественного скачка, переводящего движение, а вместе с тем и энергию из одной формы в другую. И вот количество движения, превращающегося во время скачка, и «сохраняется», то-есть баланс энергии до и после превращения остается постоянным.

«Изменение движения... — говорит Энгельс, — является процессом... при котором одно (тело) теряет определенное количество движения такого-то качества, а другое (тело) приобретает соответственное количество движения такого-то другого качества... Следовательно, количество и качество соответствуют здесь друг другу взаимно»²⁾.

Одно из самых последних (август 1933) открытий физики, а именно опыт так называемой «материализации гамма-фотона», дает наилучшую иллюстрацию к этому, выставленному более чем 50 лет тому назад, энгельсовому положению.

В указанном опыте кусочек материи, называемый фотоном (или квантом)

гамма-лучей радия, ударившись о встречное атомное ядро, раскалывается на два кусочка вещества совершенно другого качества (называемых «электрон» и «позитрон»). Форма движения фотона («электромагнитная волна») преобразуется вместе с тем в качественно-новую форму движения («волну де-Бройля»), присущую только электрону и позитрону. Сумма энергии до и после этого превращения, как и следует ожидать, остается постоянной.

Гвоздь вопроса — здесь. «Учение о неразрушимости энергии надо понимать не только в количественном, но и в качественном смысле»¹⁾.

«Мы наблюдаем ряд форм движения: механическое движение, свет, теплоту, электричество, химическое сложение и разложение, переходы агрегатного состояния²⁾, органическую жизнь, которые все — если исключить пока органическую жизнь — переходят друг в друга, причем совокупная сумма движений при всех изменениях формы остается одной и той же»³⁾.

«Закон сохранения энергии, — подчеркивает в другом месте Энгельс, — не устанавливает ничего иного, кроме того, что «разные формы движения» «переходят при известных условиях друг в друга без какой бы то ни было потери». Закон сохранения энергии есть «закон их (форм движения) взаимной связи и взаимных превращений», есть закон «вечного круговорота движущейся материи»⁴⁾.

Остается добавить, что этот круговорот должен охватывать и охватывает фактически, все без изъятия процессы природы, включая сюда и самые высшие формы движения. Все эти формы неоспоримо развиваются за счет

¹⁾ Энгельс говорит по этому поводу: «Теорема Декарта страдает формальным недостатком; в ней выражение, имеющее смысл в применении к конечному, прилагается к бесконечной величине». («Диалектика природы», стр. 100).

²⁾ Энгельс. «Диалектика природы», стр. 126

¹⁾ Там же, стр. 97.

²⁾ То-есть переходы из твердого состояния в жидкое, из жидкого в газообразное и обратно.

³⁾ Энгельс. «Диалектика природы», стр. 15.

⁴⁾ Там же, стр. 14—16.

низших процессов и движений, перерабатываемых и переводимых в новое качество. Так, умственная работа человека не в меньшей степени, чем мускульная, черпается из химической энергии сгорания пищи. Другое дело при этом, что прослеживание количественной стороны в ряде звеньев превращений низших форм движения в самые высшие является затруднительным¹⁾. И закон сохранения энергии в этих случаях оказывается просто практически бесполезным. Но всякий раз, когда количественная сторона превращения становится доступной, тогда вступает в свои права закон сохранения, фиксирующий постоянство баланса энергий до и после превращения.

Подводя окончательный итог своему замечательному анализу, Энгельс пишет:

«Если еще 10 лет назад вновь открытый великий основной закон движения понимали как простой закон сохранения энергии, как простое выражение неразрушимости и несозидаемости движения, следовательно, просто с его (закона) количественной стороны, то в настоящее время это узкое отрицательное определение все больше и больше вытесняется положительным, а именно учением о превращении энергии, и в этом определении ясно выражено качественное содержание процесса и исчезает последнее воспоминание о вне-мировом творце. Теперь уже не приходится доказывать как нечто новое, что количество движения (так называемая энергия) не изменяется, когда... оно (движение.—В. Л.) превращается... — это раз навсегда служит теперь основанием более глубокого исследования самого процесса превращения, того великого основного процесса, в по-

знании которого заключается все познание природы...¹⁾».

В овете этого анализа, давно уже и без того ясная общность и всеобъемлемость закона сохранения энергии — как основного и непреходящего закона диалектически устроенной природы — получает новый и углубленный смысл.

Ведь этот закон является — как мы только что выяснили — законом превращения одних форм движения в другие. Процесс же превращения есть — повторим еще раз за Энгельсом — тот «великий основной процесс, в котором заключается все познание природы».

Вот почему, по Энгельсу, и закон сохранения энергии есть «великий основной закон движения», «раз навсегда» включающий в себя все дальнейшие, бесконечно разнообразные и неисчерпаемые открытия, предстоящие перед будущим естествознанием.

В другом разделе «Диалектики природы» Энгельс подчеркивает:

«Итак, если мы желаем говорить о всеобщих законах природы, применимых ко всем (подчеркнуто Энгельсом) телам, то нам остается... теория превращения энергии²⁾». Ибо «позади него (превращения энергии) нет ничего познаваемого. Раз мы познали формы движения материи (для чего нам, правда, не хватает еще многого ввиду кратковременности существования естествознания), то мы познали и самое материю³⁾».

Ленин, проработавший энгельсовский анализ⁴⁾ закона сохранения энергии на основе нового, накопленного атомной физикой к 1905—08 гг., материала, приходит к не менее ясному и отчетливому заключению.

«Характерно, — замечает Ленин (касясь в «Материализме и эмпириокритицизме» писаний одного из оруженосцев богдановской школы — Суворо-

¹⁾ «Этот же самый закон (закон сохранения энергии.—В. Л.), — пишет Энгельс, — применим и к органическим телам, но он происходит в гораздо более запутанных обстоятельствах, и количественное измерение здесь... часто невозможно». Там же, стр. 126.

¹⁾ Энгельс. «Диалектика природы», стр. 214.

²⁾ Там же, стр. 49.

³⁾ Там же, стр. 16.

⁴⁾ Основные мысли этого анализа были разбросаны еще задолго до выхода в свет «Диалектики природы» — в «Анти-Дюринге».

ва), — характерно, что открытие закона сохранения и превращения энергии Суворов называет «установлением основных положений энергетики». Слышал ли наш «реалист», желающий быть марксистом, что... диалектический материалист Энгельс считал этот закон установлением основных положений материализма¹⁾.



Единственным выходом из всего сказанного является только тот элементарно-неоспоримый факт, что всякой попытке устранить или хотя бы даже ограничить закон сохранения энергии в физике, всякой такой, чисто-идеалистической и поповской попытке должен быть дан твердый отпор.

Попытки эти — до поры до времени «безобидно»-платонические — велись по двум основным линиям.

4

Во-первых, стремились расправиться с ненавистным материалистическим законом посредством переодевания его в «статистический» костюм.

Целый ряд физических законов, напомним, имеет чисто-статистический характер, то-есть, законы эти верны лишь в среднем, верны лишь в крупных масштабах явлений. Так например одна из важнейших закономерностей в термодинамике, так называемый «закон энтропии» (согласно которому теплота может передаваться только от более горячего к более холодному телу и никогда наоборот), этот закон оказывается, при ближайшем рассмотрении, справедливым лишь для тех участков мира, на которых скучено очень большое число молекул. Ибо закон этот и впрямь возникает как средний, как статистический результат, obligatory скрещению мириад отдельных мелких событий (отдельных столкновений молекул и передач скорости от молекулы

к молекуле). На участках же достаточно малых, на таких участках, где имеются налицо, скажем, две-три штуки молекул и где столкновения, как правило, вовсе не происходят, — там «принцип энтропии» теряет силу и смысл.

И вот, отталкиваясь от этой «аналогии», и напрашивается «соблазнительная» мысль об истолковании и закона сохранения энергии как закона статистического, то-есть ограниченного лишь крупными, лишь макроскопическими масштабами природы...

«Неважно» при этом, что на самом деле закон сохранения энергии, как закон, регулирующий любые превращения движения, должен быть безусловно верен «для всех тел» (Энгельс), для всех («микро», и «макро») масштабов мира...

Ведь этот факт и этот энгельсовский анализ, вполне обязательные для всякого материалистически мыслящего естествоиспытателя, разумеется отнюдь «не обязательны» для физического идеализма. Этот факт и этот анализ «не обязательны» для махистской агентуры в физике, для которой сама материя и ее движение есть, только условное построение ума, а законы природы суть комбинации математических значков, расставляемых по принципу «наибольшей экономии мышления»...

В 1923 г. представители махистской (так называемой «копенгагенской») школы, держащей гегемонию в современной европейской физике, Крамерс, Слатер и др. и делают первую официальную попытку подрыва закона сохранения энергии по линии превращения его в «статистический» закон.

Крамерс и Слатер печатают исследование, посвященное теории света и предусматривающее несохранение энергии для отдельных световых квантов, находящихся в пространстве. Другими словами, мельчайшие порции световой энергии могут якобы возникать то здесь, то там «из ничего» или пропадать в «никуда». В среднем же — для всего макропроцесса распростране-

¹⁾ Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм». Соцэргиз. 1931. Стр. 272.

ния света, взятого в целом, энергия попрежнему «сохраняется»...

«Остроумную» теорию эту придется однако, «к сожалению», вскоре отставить в архив, и именно потому, что опыт не оставляет от нее камня на камне. Во всех случаях взаимодействия атомов и электронов с отдельными частицами света, закон сохранения энергии, как оказалось, выполняется аккуратно.

Первый блин вышел комом. Но главные события оставались еще далеко впереди.

Вторая и новейшая линия наскоков на материалистический закон с самого начала представлялась гораздо более опасной, и в частности потому, что — в наших советских условиях — линия эта довольно искусно прикрывается дымовой завесой якобы «марксистских» рассуждений. Рассуждений, специально предназначенных для того, чтобы сбить с толку и дезорганизовать последовательное проведение диалектико-материалистической установки в советской теоретической физике.

«Артиллерийская подготовка» к этому походу сводится вкратце к следующему:

«Закон сохранения энергии, — говорят соответствующие теоретики¹⁾, — аккуратно выполнялся и выполняется во всех тех областях явлений, где имеет реальное хождение физическая величина энергии. Пусть так. Всюду, где имеется энергия, там есть и сохранение энергии. С этим не спорим. Но, спрашивается, разве физика застрахована от того, что к тем или иным вновь открываемым физическим процессам, что к тем или иным вновь изучаемым участкам физического мира рано или поздно окажется неприменимой сама величина энергии?»

Что, дескать, за «окостенелость мышления», что за «рутинерство» думать, что понятие энергии так-таки всегда

и будет иметь универсальное значение в физике!

Что за «плоский механицизм» утверждать, что в описании не открытых еще глубин атома или не разведанных еще недр звезд и туманностей, что на этих новых ступенях материи величина энергии будет попрежнему входить в соответствующие уравнения!.. Разве, дескать, диалектика не учит нас, что «все понятия относительны», что надо бороться с окостенелостью, с неподвижностью, со статичностью понятий в физике, как и в других науках о природе. Вот для примера физическая величина, называемая «количеством теплоты». Разве она имеет неограниченное применение в физике? Разве она не имеет относительного хождения только в узком кругу так называемых тепловых явлений? И разве впрямь не бессмысленно говорить например о «количестве теплоты магнитного поля» или о «количестве теплоты радиоволны», поскольку ни означенная «волна», ни означенное «поле» никакой теплоты, как известно, в себе не заключают?!

И вот, «согласившись» с тем, что якобы и величина энергии может иметь «ограниченный» круг применения в физике, нам предлагается «представить» себе следующий якобы «принципально возможный» случай.

Предлагается мысленно представить себе некоторую замкнутую область пространства (назовем ее «область А»); внутри которой «не имеет смысла величина энергии». Что произойдет тут, спрашивается, если и внутри этой области, перейдя ее границу, выйдут наружу какие-либо частицы или тела? Так как вне «области А», в окружающем ее районе мира, имеет хождение величина энергии и так как в этом районе всякое тело проявляет свое существование строго определенным минимальным количеством энергии (пропорциональным массе тела — по формуле Эйнштейна), то отсюда получается следующее. Предмет, находившийся до своего перехода через границу, так сказать, «вне энергии», после выхода из «области А»

¹⁾ См. «Фарадеевскую лекцию» Н. Бора в 1932 г., напечатанную в «Journal of the Chemical Society», 1932, стр. 349. Кроме того, см.: «Convegna di physica nucleare» («Отчеты» конгресса по атомному ядру в Риме) Roma, 1931.

окажется сразу автоматически обладающим некоторым (высчитываемым по формуле Эйнштейна) энергетическим запасом!

Наоборот, если «представить» себе, что какие-нибудь куски вещества, перемещаясь в обычных краях материи, забредут паче чаяния «через границу» и очутятся внутри «области А», тогда, в тот момент, когда они пересгупят границу, «понятие энергии к ним перестанет быть применимым». И — вместе с этими телами — уйдет безвозвратно из мира некоторое количество энергии.

В общем результате: наблюдатель, расположивший свои инструменты поблизости от границы «области А», «должен» будет время от времени замечать либо самопроизвольный «приток», либо самопроизвольную «пропажу» энергии, происходящие с нарушением закона сохранения энергии.

И вот этот «мысленный эксперимент» — в отличие от более скромных «статистических» упражнений предыдущего типа — предполагает уже полную «возможность» сооружения перпетуум мобиле в любых, отнюдь не только в микроскопических, масштабах.

К чему сия робость мысли? Ведь «область А» принципиально не ограничена очевидно в своих размерах и, натренировавшись обращаться с подобными «областями» по линии получения энергии «из ничего», инженеры и техники и впрямь не становятся ли обладателями сказочного клада... К чему после этого все наши советские заботы об энергетических ресурсах во втором и в последующих пятилетних планах! Не следует ли отбросить это презренное «крохоборчество» и обратить все внимание на снабжение наших фабрик и заводов усовершенствованными перпетуум мобиле...

Мы увидим дальше, как эта, достаточно целеустремленная политика, политика отвлечения внимания физики от запросов передовой техники в бредовую область перпетуум мобиле, как эта политика дезоргани-

зации и разоружения материалистической физики систематически настойчиво проводится в жизнь усилиями заинтересованных школ и лиц.

Сейчас же укажем, что разоблачение основного софизма, лежащего в основе идеи «области А», не требует, после рассмотренного анализа Энтельса, сколько-нибудь долгих разъяснений.

— Разве не возможно, — говорят нам, — существование таких объективно-реальных областей мира, внутри которых не имеет более хождения физическая величина энергии?

Допустим на минуту, что такие области действительно существуют. Внутри этих областей, так или иначе, но должны идти какие-то процессы, какие-то определенные физические изменения, пусть неизвестной нам пока формы. (Неподвижная, неизменная, застывшая материя не существует ни в одной области мира.) При этом, поскольку мы остаемся здесь в кругу физических изменений, в кругу физических движений, поскольку мы остаемся в пределах математического описания события с помощью уравнений теоретической физики, — постольку движения и процессы эти относятся к категории количественно-измеримых¹⁾. И раз так, тогда должна существовать некоторая, вполне определенная физическая величина, отображающая количественную сторону процесса или процессов, происходящих внутри «области А». Назовем эту величину не энергией, а как угодно иначе — хотя бы «величиной Z». И допустим даже, что она не идентична ни с одной из тех «энергий» (электрической, магнитной, механической и пр., и пр.), которые входят в уравнения, описывающие явления во всем остальном, лежащем вне «области А», мире. Допустим, что все это так. Но будет ли из этого следовать, что между «величиной Z» и всеми прочими обычными «энергиями» нет никакой связи и нет никакого конкретного единства?

¹⁾ Точно или неточно измеримых — это вопрос другой.

Здесь рушится карточный домик софизма.

Нужно только припомнить тот, констатированный Энгельсом (см. выше), факт, что все возможные движения в физике «суть проявления одного и того же универсального физического движения» и что, следовательно, является «доказанной взаимная связь и взаимные переходы друг в друга» всех существующих форм движения. Нет и не может быть, другими словами, формы физического движения, изолированной от всех прочих форм. «Движение, которое потеряло способность превращаться в любые, свойственные ему различные формы... бессмыслимо...!») Именно в силу этого основного положения материалистической диалектики (то-есть в силу неограниченной превратимости друг в друга разных качественных форм движения) все практически употребляемые в физике разнообразные «энергии» могут быть измерены в одних и тех же единицах: «эргах», «джоулях» и т. п. В невозможности «пропажи» или «сотворения» хотя бы одного эрга во время превращений движения и заключается — напоминаем — закон сохранения энергии.

Но отсюда прямо следует, что и «величина Z », как количественная характеристика одной определенной (происходящей внутри «области A ») формы движения, должна быть так же способна превращаться без потери во все прочие, давно известные формы энергии. Отсюда следует, что «величина Z », так же должна меряться в джоулях или эргах, то-есть — на поверку — сия таинственная величина оказывается не чем иным, как новой (очередной по счету) формой той же самой единой мировой энергии.

А не менее таинственная «область A » — на поверку — вырисовывается как одна из рядовых, пусть качественно-своеобразных, областей физического мира, областей, подлежащих действию железного закона сохранения и превращения энергии, не знающего исключений ни в одном уголке реального мира.

Фраза о «возможности» существования физических процессов и физических «областей A », якобы «не выражаемых энергией» (а выражаемых каким-то иным «особым качественным» образом), разоблачается, в итоге, как передержка. Разоблачается как бессмысленная тавтология, поскольку принцип равнокачественности уже сокрыт в самой величине энергии, адекватной количеству движения в самом его общем и всеисчерпывающем смысле.

Одновременно вскрывается и весь злостный и вульгарный характер ссылок на «диалектическую относительность физических истин» как на обстоятельство, якобы заставляющее считаться с возможностью ограниченного применения понятия энергии в физике.

Ведь именно потому, что физическое познание относительно, и именно потому, что это познание неисчерпаемо, и существует понятие энергии и закон ее сохранения, включающие в себя бесчисленное множество различных, превращающихся друг в друга, форм движения материи. Бесконечность и неисчерпаемость работы физики заключается, таким образом, в последовательных поисках всё новых видов энергии, а вовсе не в находке неких «безэнергетических» или, вернее, спиритических процессов. «Открытие» таких процессов, повторяем, было бы равносильно запрету одной форме физического движения превращаться во все остальные. А это есть вещь невозможная в объективно-реальной природе.

Еще иначе говоря: каждая из форм энергии, познанная в отдельности, является истиной относительной. Общее же понятие энергии и закон ее сохранения, как «существенно наиболее общий из законов материального движения» (Энгельс), является истиной абсолютной, является одной из тех немногих абсолютных истин, которые добыты естествознанием «в течение кратковременного срока его существования».

«В природе, — говорит Энгельс, — ничто не вечно, кроме изменя-

¹⁾ Энгельс. «Диалектика природы», стр. 97.

ющейся материи и законов ее движения»¹⁾).

Мы можем теперь вернуться к оставленным нами рыцарям перпетуум мобиле...

5

На следующий день после глубокомысленного открытия (на бумаге конечно) «области А» с ее чудодейственными свойствами, перед новейшими искателями «вечного движения» встал трудный вопрос: как ухитриться прикинуть означенную фиктивную «область» к той реальной картине мира, которую как-никак строит естествознание...

Все подлинные «области» мира, с которыми до сих пор имела дело физика, как-то: твердое тело, жидкость, газ, молекула, наконец внешняя атомная оболочка с ее сравнительно медленно движущимися электронами, — все эти области явно не годятся для этой цели. В физические уравнения, описывающие твердое тело, жидкость, газ, атомную оболочку и медленные электроны, во-первых, неизменно входит величина энергии. Во-вторых же, здесь безотказно выполняется закон сохранения энергии, проверенный многими сотнями опытов во всех странах света...

Как же быть?

Но вот остается пока без призора одна, только-что начатая и далеко еще не законченная исследованием область физических явлений. Мы говорим об очень быстро (почти со скоростью света) движущихся электронах и схожих с ними частицах. Теория вот этих движений сверхмалых частиц в случае сверхбольших скоростей (так называемая «релятивистская квантовая механика») не начата еще разработкой и не сдвинулась с мертвой точки за последние пять лет. Удушливое влияние мирового капиталистического кризиса явственно сказалось здесь.

Но где же, спрашивается, в каких участках мира квартируют фактически эти сверхмалые частицы, движущиеся со сверхбольшими (близкими к скорости света) скоростями?

Они находятся внутри атомного ядра.

Теория движений, происходящих внутри атомных ядер, повторяем, еще не готова. Соответствующие («ядерные») уравнения в основном еще не написаны. И вот это-то, не написанные еще уравнения, нам и предлагают написать так, чтобы в них не вошла величина энергии и вместе с тем не «вошел» закон сохранения энергии.

Именно об этом мы читаем на страницах некоторых физических журналов.

Бумага все терпит. Бумага терпит, когда на наших глазах лидеры европейской физической теории официально предлагают приняться за прямую фальсификацию конкретной физики атома (ибо уравнения, написанные на основе нарушения закона сохранения энергии, представляют сознательную фальсификацию и сознательное искажение объективной реальности).

Бумага все это терпит. Но одной бумаге тут недостаточно... В дополнение к ней срочно требуется физический эксперимент, требуется громкий физический опыт, который бы, «как дважды два четыре», доказал, что вокруг атомного ядра действительно творится неладное: энергия пропадает неизвестно куда или возникает неизвестно откуда...

Требуется «экспериментально-обоснованное» провозглашение атомного ядра машинкой перпетуум мобиле.

И такой эксперимент «нашелся». И этот эксперимент является «героем дня» физики 1934 года. И мы оказываемся свидетелями искусно раздутого «бума», сравниться с которым мог бы только эффект знаменитого опыта Майкельсона — Морлея во времена теории относительности.

6

Начало событий относится еще к довоенным исследованиям заслуженного английского экспериментатора («правой руки» Резерфорда) доктора Джона Чедвика.

¹⁾ «Диалектика природы».

Д-р Чэдвик изучал испускание радиоактивными атомными ядрами электронов (они же «бета-частицы»).

Загадкой был баланс энергии бета-излучения.

Каждое радиоактивное вещество, выбрасывающее из своих ядер какие бы то ни было частицы, немедленно превращается, как известно, в другое вещество с меньшим ядерным весом. Подсчитывая разницу между ядерными весами до и после испускания, можно вычислить полную энергию, выделенную ядром по ходу превращения. Если, в частности, радиоактивное вещество испускает только бета-частицы (электроны), то вся освобожденная его ядрами энергия уносится этими частицами¹). И так как, далее, все излучающие ядра, находящиеся в данном радиоактивном куске, освобождают в данный момент времени одну и ту же энергию, то все бета-электроны, разбрасываемые этим куском, должны лететь с одинаковой скоростью.

В этом можно было бы без труда убедиться следующим способом. Выделив с помощью экрана с круглым отверстием узкий пучок бета-электронов, надо пропустить его между пластинами электрического конденсатора²). Отклоняемые электрическим полем конденсатора, электроны загнут своей путь по кривой. Двигаясь, как сказано, с одинаковой скоростью, все они должны отклониться в одинаковой степени. Весь пучок изогнется, как одно целое. Поставив затем на пути пучка фотопластинку, наблюдатель должен обнаружить на фото одно резкое, узкое пятно: след удара множества электронов, летящих тесной стайкой.

¹) Причем каждое ядро выбрасывает разоздин электрон.

²) Конденсатором называются две пластины из проводника, между которыми находится воздух или другой непроводник. После присоединения конденсатора к источнику электрического заряда обе пластины получают заряд противоположного знака. Пролетая сквозь конденсатор, электрон, как отрицательно заряженная частичка, притягивается к той из пластин, которая имеет положительный знак заряда.

Вид фотографий, полученных в действительности д-ром Чэдвиком, являлся однако совсем другое зрелище.

Вместо одного узкого пятна на фотопластинке неизменно отпечатывалась широко размытая полоса, слитая из множества расположенных друг за другом пятен. Как могла получиться такая полоса, не подлежало ни малейшему сомнению... Электроны, движущиеся с разными скоростями, проходя сквозь «коридор» между пластинами конденсатора, отклоняются тем круче, чем меньше скорость. Узкий пучок неодинаково быстрых электронов, по выходе из «коридора», неминуемо расплывается тогда в широкий веер частиц, движущихся по разным путям и падающих на разные, широко разбросанные места фотопластинки. На ней должно запечатлеться размытое пятно, как-раз такое, которое наблюдалось на опыте.

Значит, на самом деле бета-электроны, испускаемые ядрами радиоактивных веществ, разлетаются не с одинаковой, а с разными, заключенными в широкие пределы, скоростями.

И вот этот твердо установленный факт совершенно непонятен с точки зрения закона сохранения энергии, и даже больше того — прямо противоречит ему.

Действительно: возьмем для ясности численный (нарочно упрощенный) пример.

Предположим, что все излучающие ядра данного радиоактивного куска освобождают по 100 единиц энергии. Тогда все бета-электроны, выбрасываемые этими ядрами, должны лететь с одной и той же скоростью, соответствующей 100 единицам энергии. Фактически же, как сказано, они летят не только с этой, но и со множеством других разнообразных скоростей. Выберем из пучка электронов какой-нибудь один, например тот, что обладает скоростью, эквивалентной 70 единицам энергии. Спрашивается: как эта скорость могла получиться?! Ядро отдало наружу 100 единиц энергии. Единственным же видимым следом этой отдачи является электрон, несущий 70 единиц. Куда девались остальные 30? Нарушается закон сохранения энергии?

(То же рассуждение с соответствующими изменениями применимо и ко всем остальным электронам пучка.)

Внимательно оценив ситуацию, каждый материалистически мыслящий физик немедленно становится здесь на единственно возможный путь исследования. Он скажет, что во всяком случае не может быть и речи тут об «исчезновении» 30 единиц энергии, но что 30 «пропавших» единиц выделились так или иначе помимо электрона наружу ядра, не попав почему-либо в поле зрения исследователя.

Руководствуясь именно этим соображением, то-есть стремясь во что бы то ни стало хватить следы «пропавшей» энергии, два английских физика Ч. Эллис (известный экспериментатор, сотрудник Резерфорда) и его молодой помощник П. Вустер и предпринимают свой знаменитый опыт, стоящий ныне в центре внимания физики.

Эллис и Вустер выбирают прежде всего в качестве источника бета-электронов такое радиоактивное вещество («радий Е»), чьи атомные ядра заведомо не испускают никаких других известных частиц (ни гамма-фотонов, ни альфа-частиц), кроме электронов. Они помещают далее крупинку радия Е в такую, максимально теплоизолированную со всех сторон камеру (калориметр), в которой можно было бы безо всякой утечки и с более чем достаточной точностью измерять малейший приток теплоты от радия Е. Вся энергия, отдаваемая атомными ядрами радия Е, шла здесь внутрь калориметра и должна была поглощаться в нем, повышая его температуру. Открывался как будто бы и впрямь решающий способ проверить: действительно ли некоторая доля освобождаемой ядрами энергии выделяется помимо потока бета-частиц.

Для этой проверки следовало измерить общее количество энергии, фактически зарегистрированное внутри калориметра, и сравнить с количеством энергии, перенесенной за тот же промежуток времени всеми бета-электронами, испущенными куском радия Е.

Измерения Эллиса и Вустера приводят к следующему результату. Ни гра-

на «лишней» энергии по сравнению с той, которая связана с бета-электронами, внутри калориметра не обнаруживается.

Конкретно говоря: если по ходу эксперимента было известно, что за 1 минуту времени крупинкой радия Е выбрасывается (для примера) 100 электронов, а общее количество поглотившейся за то же время в калориметре энергии равно, скажем, 1.000 единиц, то на каждый электрон приходится тогда в среднем $1.000 : 100 = 10$ единиц из валового количества поступившей в калориметр энергии.

Исследуя же фотографии следов бета-частиц (так называемый «бета-спектр») и подсчитывая из сравнительной густоты почернения в разных местах фотопластинок опять среднюю энергию, фактически приходящуюся на каждый электрон в бета-потоке, экспериментаторы неизменно приходили к той же самой цифре (100 — в нашем примере).

Отсюда и следует, что валовой приход энергии в калориметре совпадает с энергией, несомой бета-пучком.

То-есть некоторое количество энергии так-таки бесследно «испаряется» в пространстве вокруг атомных ядер радия Е внутри калориметра.

Атомные ядра эти и впрямь обнаруживают свое родство с пресловутой «областью А» к удовольствию ее избретателей...

Закон же сохранения повисает в воздухе.

Опыт Вустера и Эллиса повторяется и проверяется множеством исследователей в ряде стран. Результат тот же.

Начиная с этого момента международная физика и разделяется на наших глазах на два лагеря: 1) так называемых «несохраненцев», для которых опыт Вустера и Эллиса служит «последней и решающей инстанцией», то-есть давно поджидавшимся предлогом для того, чтобы разделаться с ненавистным материалистическим законом; 2) «сохраненцев», иначе говоря, физиков, не сомневающихся в точности и правильности опыта с калориметром, но твердо

уверенных в том, что новый предстоящий шаг науки вглубь материи с неизбежностью вскроет неучитываемую при нынешних знаниях возможность утечки энергии сквозь установку Эллиса—Вустера, утечки, требуемой законом сохранения энергии и подтверждающей его.

Ко второй группе примыкают Э. Резерфорд, Ф. Астон, Дж. Чэдвик и ряд других виднейших представителей стихийно-материалистического направления в современной физике.

Борьба разгорается. Между тем новое событие, достаточно неприятное для «несохраненцев», вклинивается в ситуацию в настоящие дни, проясняя горизонт проблемы и свидетельствуя о том, что развязка наступит здесь скорее, чем это можно было ожидать.

7

Повторяя и уточняя старые изыскания над распределением скоростей бета-электронов, сотрудник известной уже Кембриджской (руководимой Резерфордом) лаборатории д-р Серджент обнаруживает, что, как бы ни были разнокалиберны эти скорости, как бы ни был «размыт» спектр бета-лучей, все же ни один электрон внутри бета-пучка никогда не превосходит своей скоростью, а значит, и своей энергией, некоторой предельной величины. А именно: энергия бета-электронов никогда не больше той полной освобождаемой ядром энергии, которая высчитывается из разности масс атомного ядра радия E до и после превращения его в новый элемент.

Если, как в нашем численно упрощенном примере, освобожденная ядром энергия равняется 100 единицам, то энергии соответствующих электронов, установил Серджент, как угодно отступают вниз от цифры «100», но зато никогда не превышают ее.

Энергия «100» является, как принято говорить, «верхней границей бета-спектра».

В полном соответствии с открытием Серджента находятся при ближайшем

рассмотрении и данные опыта Эллиса—Вустера.

Там тоже приток энергии от крупинки радия E внутрь калориметра, хотя и отличается, как мы видели, от полной энергетической продукции ядер радия E, но он (приток) никогда не больше, а всегда меньше этой продукции.

Картина ясная. Ни один электрон, порождаемый ядерным резервуаром радия E, не несет с собою энергии больше той, которая отпущена из этого резервуара. Басня о возможности рождения энергии «из ничего», попытки осветить авторитетом атомной физики заржавелые руины перпетуум мобиле являются наглядно и категорически опровергнутыми тем самым опытом (Вустера и Эллиса), на который «сылаются несохраненцы. Правда, остается необъясненным тот факт, что энергия бета-электронов может быть меньше той, которая пошла на их образование. Правда, остается непонятным: куда девалась разница между второй и первой энергией?

И—что самое главное—почему она не была зарегистрирована, эта разница, в калориметре Вустера—Эллиса, хотя ей некуда было, кроме него, попасть?!

Все это остается, говорим мы, непонятным... Но от констатирования временной непонятности всех этих фактов до «ликвидации закона сохранения энергии» — дистанция крупных размеров. Так стоит вопрос, и в тот момент, когда пишутся эти строки, уже проясняется конкретный выход для окончательного его решения.

8

Часть энергии, выделяемой атомными ядрами радия E, сказали мы, обнаруживает своих следов внутри сооруженной Эллисом и Вустером калориметрической камеры. И в то же время энергия эта, следуя закону сохранения, безусловно существует где-то и не может исчезать бесследно.

Значит, — и это есть единственный выход для каждого физика-материалиста, — «пропавшая» энергия проходит сквозь калориметр Эл-

лиса — Вустера, не застревая в нем!!.

Обсуждение этой проблемы немедленно же приводит к следующим основным обстоятельствам.

Прошедшая сквозь калориметр и ускользнувшая от наблюдателя порция энергии во всяком случае не может двигаться «сама собою», без какого-либо материального носителя. Никакой «чистой», оторванной от материи энергии, как мы знаем, в природе не существует и существовать не может. Энергия перемещается в пространстве вместе с материей и в частности вместе с частицами материи разных видов.

Поставленный нами вопрос о незаметном просачивании энергии сквозь камеру Эллиса — Вустера неизбежно влечет за собою, следовательно, вопрос о столь же незаметном пролете через эту камеру каких-то материальных частиц.

Какие же материальные частицы могли бы быть выброшены из атомных ядер радия Е, помимо электронов (бета-частиц)?

Атомные ядра всех вообще химических элементов построены, как известно, из следующих видов частиц: протонов, нейтронов, дейтонов и альфа-частиц. Все эти частицы принадлежат к разряду так называемых тяжелых, то-есть обладающих массой, не меньшей 1^1). Вылет этих частиц сразу и непосредственно мог бы быть обнаружен благодаря понижению массы соответственных ядер, то-есть уменьшению атомного веса соответствующего химического элемента на 1. Между тем атомный вес «радия F» (того вещества, в которое превращается радий Е) почти равен атомному весу радия Е, и, следовательно, ни одна из перечисленных корпускул в этом случае заведомо не испускается.

Кроме названных частиц, имеющих постоянное пребывание внутри атомных ядер, существуют еще, как также известно читателю «Нового мира»²⁾, и другие так называемые легкие частицы, возни-

кающие внутри атомных ядер путем одновременного акта «рождения»; корпускулы эти, напоминаем, формируются время от времени из общего запаса ядерной материи (за счет соответственного понижения массы всех находящихся там «постоянных» частиц) и отпочковываются вслед за тем от ядра, унося с собою часть их энергии. Эту группу легких (вселящих в тысячи раз меньше, чем протон и нейтрон) частиц составляют: 1) гамма-фотоны (они же «кванты» гамма-лучей), 2) электроны и 3) позитроны.

Что касается до гамма-фотонов, то они, по данным опыта, вовсе не испускаются радием Е. Но если бы даже они и испускались, то, как показывает расчет, они наверняка поглотились бы в толще вещества внутри камеры Эллиса — Вустера, и их энергия оказалась бы зарегистрированной калориметром.

Электроны (в форме бета-лучей) как раз испускаются радием Е, но не о них сейчас идет речь.

Позитроны радием Е не испускаются, но если бы испускание их тут имело место, то опять-таки при учете той энергии, которая выпадает на их долю, все позитроны наверняка завязли бы внутри калориметра.

Больше того: простой подсчет показывает, что никакая вообще электрически заряженная частица не может проскочить (при тех размерах, которые приданы камере Вустера — Эллиса, а также при учете количества «пропавшей» энергии), ни одна, говорим мы, заряженная корпускула не может пройти в данном опыте сквозь камеру и должна застрять в ней. Дело в том, что заряженные частицы тормозятся электрическими силами, исходящими от атомов, в толпе которых им приходится прокладывать себе путь. Пробежав больший или меньший (в зависимости от своей начальной энергии) путь, эти частицы стопорятся, и вся их энергия целиком растрачивается, поглощаясь внутри камеры.

Итак, ни одна из ныне известных корпускул заведомо не участвует в переносе «пропавшей» энергии в опыте Вустера — Эллиса.

¹⁾ Подразумевается 1 условная единица, равная $1/4$ массы ядра газа гелия.

²⁾ См. подробно в «Научном обозрении», в книге 11 «Нового мира», 1933.

Но какой вывод из этого надо сделать?

Только тот, что энергия эта переносится какой-то неизвестной еще частицей. Здесь ключ к загадке. И вся обстановка опыта дает прямые указания для близящегося решения этой загадки материалистической физикой.

Во-первых, частица эта, как говорилось уже, должна быть легкой частицей (не тяжелее электрона и позитрона). Во-вторых, она не может нести никакого электрического заряда, то-есть должна быть нейтральной.

Но внутри ядра уже имеется, как мы знаем, нейтральная тяжелая частица — нейтрон. Опыт Вустера и Эллиса подсказывает теперь существование еще одной нейтральной внутриядерной частицы, примерно во столько же раз более тяжелой, чем нейтрон, во сколько раз позитрон и электрон легче протона.

Физика приходит к прямому доказательству существования того самого «маленького нейтрона», или (как его предложил назвать немецкий физик Паули) «нейтрино», на возможность нахождения которого внутри атомных ядер мы указывали в одном из предыдущих наших «Обозрений».

Мы писали тогда в «Новом мире»: «Есть основание предполагать, что 1934 год в физике пройдет под знаком нейтрино, так же, как год 1933-й прошел под знаком позитрона»¹⁾.

Это указание и оправдывается в настоящий момент.

Да, опыт двух английских физиков действительно является в определенном смысле решающим опытом. Опыт этот действительно приобретает эпохиальное для физики значение (может быть, не меньше, чем значение опыта Майкельсона — Морлея, решившего в свое время судьбу теории относительности), но это значение заключается не в том, в чем его видит агентура идеализма и поповщины в физике. Опыт Эллиса является решающим не для бредовой дискуссии на тему о том, сохраняется или не сохраняется энергия вблизи атомных

ядер. Но смысл его заключается в доказательстве существования новой, сверхмельчайшей частицы материи, означающей новый шаг на пути познания бесконечного мира.

В четвертый или в пятый раз в истории науки героическая работа материалистического естествознания приводит к открытию «на кончике пера» объекта, непосредственно недоступного органам чувства, но познаваемого благодаря крайнему изощрению аппарата науки.

Так была предсказана Антуаном Лавррье и открыта Адамсом планета Нептун. Так была предвычислена Ловеллом и найдена на небе Вилли Томбаутом планета Плутон. Так был предугадан в результате гениальных математических выкладок Поля Дирака и сфотографирован затем Андерсоном позитрон.

Так будет, — можно в этом не сомневаться, — найден и нейтрино, на поиски которого брошены силы лабораторий международной и в первую очередь советской физики.

«Развитие физики, — замечает Ленин, — вызывает постоянную борьбу между природой, которая не устает давать материал, и разумом, который не устает познавать. Природа бесконечна... но разум также бесконечно превращает «вещи в себе» в «вещи для нас»...¹⁾».

Еще невозможно сказать, находятся ли нейтрино в составе атомных ядер в виде «постоянных» частиц или же они «рождаются» там, сразу покидая ядро.

Так или иначе, но «неувязка» с законом сохранения энергии оказывается обязанной ограниченности того предела знаний о материи, до которого дошла физика к 1934 году. Эта неувязка немедленно и автоматически отпадает после нового шага вглубь материи.

Этот шаг, повторяем, находится еще только в зародышевой стадии. Но программа действий ясна, и на долю советской физики выпадает историческая ответственность за ее осуществление.

В то же самое время становится во весь рост ясной та практически вредо-

¹⁾ См. «Новый мир», книга 11, 1933 г.

¹⁾ Ленин. Избр. произ., т. VI, стр. 199.

носная роль, которую играет теоретическая фракция «несохраненцев» по отношению ко всему дальнейшему прогрессу материалистической физики.

Для теории атомного ядра позиция несохраненцев означает, как мы видели, прямое искажение и прямую фальсификацию объективной реальности, поскольку теория эта («релятивистская квантовая механика») официально «планируется» в настоящее время рядом западноевропейских теоретиков на основе несохранения энергии и «ограничения» самой физической величины энергии, как таковой.

Цепляясь, с другой стороны, за методологически — фальшивое истолкование опыта Вустера—Элиса, «несохраненцы» не только протаскивают в экспериментальную физику бредовую идею перпетуум мобиле, но и тормозят дальнейшее развитие этой физики, отводя ее от единственно верного пути поисков нейтрино.

И, наконец, одновременно со всем этим делается усиленная попытка перебросить поповскую идейку перпетуум мобиле из физики в... астрономию.

Дело заключается в следующем. Внутренняя сердцевина звезд состоит, как недавно выяснено, сплошь из слившихся вместе атомных ядер разных элементов. Внутренняя часть звезд представляет тем самым как бы одно гигантское атомное ядро поперечником не 10^{13} сантиметра, как в атомах, а в 1—2 километра.

Но каждое «простое» атомное ядро согласно гипотезе «несохраненцев» представляет, как мы видели, «область А», «не подчиняющуюся» закону сохранения энергии. Тогда и все звездное ядро, взятое в целом, также обращается в одну весьма крупную «область А» со всеми несохраненческими последствиями отсюда...

И вот на основе этого «гениального» соображения сразу чрезвычайно просто и удобно «объясняется» процесс излучения больших количеств энергии звездами и в том числе нашим солнцем. Весьма просто «объясняется» тот процесс, который доставляет до сего времени

столько хлопот астрономам, служа темой для ряда сложных теорий, расчетов и выкладок.

На что уж проще! Раз внутренность звезды есть «область А», тогда вокруг этой области «может» происходить сотворение энергии «из ничего»! Больше не надо ломать голову над докучливыми исследованиями внутренних источников звездного излучения. Звезда «просто» излучает энергию «за счет» нарушения закона сохранения. За поисками перпетуум мобиле, как видим, далеко не следует ходить. Одно такое перпетуум мобиле каждый день ходит по небу над нашей головою! И—в любую ясную ночь—весь небосвод от горизонта до зенита тоже усеян ходячими перпетуум мобиле, безотказно отпускающими энергию из бездонной бочки в любом, потребном для нужд астрономов, количестве...

Вот она, гениальная простота! Вот он, «вклад» физического идеализма в звездную астрономию! От этого вклада и от этой простоты и просят в настоящее время их поскорее избавить представители ошачливенной астрономической науки...

9

Предвидя неизбежный отпор со стороны диалектического материализма и отнюдь не надеясь на гладкое проведение идеалистической фальсификации физики в условиях развернутого социалистического наступления и возросшей мощи революционной теории рабочего класса в СССР, учитывая все это, идеологи несохраненчества внутри и вне советского рубежа спешат заранее забронировать и законопатить все щели в самом больном и уязвимом для них пункте.

Несохраненцы, как огня, боятся развертывания дискуссии о законе сохранения энергии на широкой, идейно-философской, сразу убивающей их наповал базе.

«Мы не против,—говорят они,—обсуждения вопроса о сохранении или несохранении энергии в плоскости чисто-

экспериментальной или теоретико-физической. Мы не против дискуссии о том, как лучше усовершенствовать аппаратуру Вустера и Эллиса и как лучше истолковать их опыт. Мы не против нейтрино. Мы не против любого физического обсуждения вопроса. Но ради всех благ и забавьте нас от философской (читай: диалектико-материалистической) опеки!»

Или еще иначе: «Вопрос о том, сохраняется или не сохраняется энергия, есть внутренний, есть домашний вопрос физики, и мы не хотим, чтобы философские (читай: диалектико-материалистические) трибуналы навязывали нам предварительное решение этого вопроса до того, как мы сами его решим».

Вот что говорят сейчас на всех углах и перекрестках «несохраненцы» вне и внутри советского рубежа.

Но им уже давно и хорошо ответил Энгельс.

«Как бы ни упирались гг. естествоиспытатели, но ими управляют философы. Вопрос лишь в том—желают ли они, чтобы ими управлял какой-нибудь скверный модный философ, или же они желают руководствоваться разновидностью теоретического мышления, основанной на знакомстве с историей мышления и его завоеваний¹⁾».

И дальше:

«Естествоиспытатели воображают, что они освобождаются от философии, когда игнорируют ее... В итоге же они оказываются в плену у философии, но, к сожалению, по большей части самой скверной; и вот люди, усердно бранящие философию, становятся рабами самых старых остатков самых скверных философских систем...»²⁾.

В частности, весьма нетрудно угадать, чьиими рабами (или сознательными проводниками?) являются сторонники

«несохранения энергии» в физике. Стоит только вспомнить уже цитированное указание Энгельса, что «идея о сотворении и уничтожении энергии предполагает творца...»

И нужно ли долго пояснять, что якобы внефилософский и якобы «внутрифизический» спор о сохранении или несохранении энергии оказывается на поверку классовым, оказывается партийным спором двух взаимно исключających и непримиримо враждебных друг другу философских лагерей в физике.

Нужно ли доказывать в 1934 году, что мысль о том, что атомная физика якобы способна одна, чисто-эмпирическим и позитивистским путем, разобраться в громадном накопленном ею фактическом материале без последовательной разработки этой груды фактов философским методом диалектического материализма, что эта мысль является величайшим абсурдом или, вернее, величайшим обманом, рассчитанным на уловление легковых людей.

«Естествознание, — писал еще 50 лет тому назад Энгельс, — находится теперь на такой ступени развития, что оно не может уже ускользнуть от диалектического обобщения... Именно тем, что естествознание усвоит себе результаты, достигнутые развитием философии... оно освободится от унаследованного от английского эмпиризма поверхностного метода мышления...»¹⁾

«Диалектика, — говорит в другом месте Энгельс, — дает физике «метод объяснения», она дает масштаб для оценки выдвигаемых естествознанием теорий»²⁾

Это всемирно-историческое, это верное для всех без исключения участков мировой борьбы положение с исключительной силой оправдывается сейчас на столь, казалось бы, специальном плацдарме, как опыт с калориметром, улавливающим потоки бета-лучей. Опыт

¹⁾ Энгельс. «Диалектика природы», 6-е изд., стр. 107.

²⁾ Там же, стр. 70.

¹⁾ Там же, стр. 214.

²⁾ Там же, стр. 70.

этот, мы видели, допускает «на выбор» два вполне формально равноправные, но познавательны совершенно отличные друг от друга результаты.

Несохранение энергии или нейтринно?

В каком направлении сделать выбор?

В какую сторону направить действие физической теории и физического эксперимента? В сторону ли явной поповщины, или же в сторону поисков новых форм материи и новых форм материального движения?

Господам несохраненцам уютно хотеть, чтобы революционная теория ра-

бочего класса сидела, сложа руки, предоставив им в порядке «домашнего» и «внутреннего» дела тащить физику в поповское болото. Но они этого не ждут, эти господа. Супер-арбитром здесь, в опыте Вустера—Элиса, как и всюду, где чисто-эмпирические данные науки требуют методологического освещения, супер-арбитром здесь выступает марксистско-ленинское учение о самых общих законах материального изменения и развития. Супер-арбитром выступает материалистическая диалектика природы.

Литература и искусство

1. И НУСИНОВ — Дворянско-буржуазный и социалистический реализм 2. Н. СОБОЛЕВСКИЙ — Последний роман Кнута Гамсуна

1. ДВОРЯНСКО-БУРЖУАЗНЫЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ ¹⁾

И. Нусинов

I

Разработка проблем социалистической литературы часто ведется в плане противопоставления советской литературы современной литературе империалистических стран. Такое сопоставление весьма плодотворно, но им ограничиться нельзя. Несравненно более важно противопоставить социалистическую литературу классикам прошлого, иначе говоря, творчеству тех писателей, которые дали наиболее широкое раскрытие действительности. Сущность социалистического реализма может быть наиболее полным образом раскрыта на выявлении особенностей социалистического реализма в отличие от реализма дворянского и буржуазного.

Классики дворянско-буржуазной литературы в своих произведениях показывали существенные стороны действительности. Их творчество служит документами первостепенной важности для объективного познания изображаемых ими процессов. В их образах много черт и особенностей, которые помогают нам понять людей не только их эпохи, но и ряда последующих поколений, в том числе и наших современников. Но при всем том их показ действительности или исторического прошлого существенным образом отличается от показа аналогич-

ных процессов и переживаний пролетарской литературой.

Одной из существенных сторон дворянско-буржуазного реализма является его антиисторизм или по крайней мере недостаточная историчность, его стремление представить свой опыт как вечную сущность.

Несколько примеров:

В романе «Боги жаждут» Анатоль Франс изображает борьбу и гибель конвента. Анатоль Франс выводит ряд исторических лиц, между ними и тех, которые сначала выдают жирондистов конвенту, а Робеспьера и его друзей — врагам последних. Перед нами обычный в истории классовой борьбы факт приспособления к победителю и измены в отношении побежденных. Анатоль Франс дает эти факты как вечные свойства человеческой трусости и подлости. Одни и те же люди толкают в пропасть раньше жирондистов, а затем якобинцев. Этот факт служит у Анатоля Франса для утверждения тезиса, что меняются лишь формы, сущность человеческая остается та же. Революция или реакция определяют лишь различные формы проявления человеческой подлости, трусости и предательства, но не в состоянии уничтожить самую человеческую трусость.

А. Франс убежден в том, что, несмотря на революцию, люди не стали ни лучше, ни хуже. «Адамова раса» неизменна, и поведение каждого из адамовых

¹⁾ Печатается в порядке обсуждения.

потомков предопределено его жалкой материальной сущностью, ограниченной человеческой природой. Он поэтому свой тезис утверждает не только социальным, но также интимным поведением людей.

Молодая буржуазка в названном романе всем своим поведением копирует прекрасную Элоизу («Новая Элоиза» Руссо). После гибели в дни термидора ее возлюбленного, художника-якобинца Гамелена, она выбирает себе в качестве нового возлюбленного другого художника, друга погибшего Гамелена. Расставаясь с ним на рассвете, как она некогда расставалась с Гамеленом, она повторяет те же слова любви и лжи, которыми она когда-то напутствовала Гамелена.

«Поздно ночью гражданка Блэз отперла дверь квартиры, чтобы выпустить своего любовника, и тихо шепнула ему во тьме:

— Прощай, любовь моя... В это время отец обыкновенно возвращается домой. Если ты услышишь шум на лестнице, подымись быстро этажом выше и не сходи, пока не минует опасность, что увидит тебя. Для того, чтобы тебя выпустили на улицу, стукни три раза в окно к консьержке. Прощай, моя жизнь, прощай, душа моя».

Этими словами любви и лжи самки А. Франс заканчивает свою художественную историю революции. Он ими как бы заявляет: меняются лишь формы, сущность человека неизменна. Постоянны лишь его био-генетические инстинкты, все остальное временно, случайно и малозначимо.

В образах Анатоля Франса очень много черт, вскрывающих те или иные особенности Французской революции. Но антиисторизм, метафизичность его установок снижают познавательную значимость его образов.

Пролетарский писатель, подходя к этой теме, разработает ее в ее исторической конкретности. И тогда станет ясно, что те образы, которые у Франса выступают как категории вечной человеческой подлости и трусости, суть лишь типическое выражение социального приспособленчества определенных групп. Пролетарский писатель благодаря своему историзму даст, во-первых, более объектив-

ную картину Французской революции. Но этого мало. Ведь и в отношении исторического романа верен тезис покойного М. Н. Покровского, что история — это политика, обращенная в прошлое. Образы Анатоля Франса объективно были направлены против великой буржуазной революции. Они должны были подсказать читателю, что революция не способна изменить к лучшему человека. Ибо трусость и подлость — свойства самой человеческой природы, они — следствие стремления материи самосохраняться.

Приведенный пример из Анатоля Франса имеет актуальное значение для нашей литературы. Нашим писателям не раз приходилось и придется останавливаться на теме: поведение пролетарских масс в дни реакции. И конечно, метод Франса тут, во-первых, даст искаженное представление о действительности, а во-вторых, приведет к созданию образов, действующих на-руку реакции.

По методу Франса никак не покажешь поведение Димитрова на лейпцигском процессе или поведение тысяч рядовых безыменных коммунистов в фашистских концлагерях.

II

Антиисторизм приводит стоявшего на идеалистических позициях Ф. М. Достоевского к тем же выводам о природе человека. Человек — это преимущественно эгоист, насильник, мститель. Это чаще всего Федор Карамазов и Смердяков. Их качества в той или иной степени присущи всем, даже Ивану и Алеше Карамазовым. Само бесовство революционеров в значительной степени проистекает из того, что человек — это Смердяков. От смердяковщины может спасти человека лишь религиозное сознание. Но социалисты — атеисты. И потому в основе их поведения лежит смердяковский тезис, что раз нет бога, то все позволено. Этот тезис на свой лад варьирует, с одной стороны, Иван Карамазов, а с другой стороны — Кириллов («Бесы»). Без бога люди предоставлены сами себе, своему «все позволено», и человек творит смердяковщину.

А между тем Достоевский, по существу, показывал конкретных Смердяковых российской помещицей и купеческой действительности, образы конкретного российского старопетербургского мещанства. В этом и заключается огромное познавательное значение Достоевского. Но, несмотря на всю свою гениальность, он многих сторон действительности не раскрывает, а смысл других, раскрытых им процессов искажает, именно из-за своего церковно-православного антиисторизма, который своим острием был направлен против революции, в защиту самодержавия и православия.

Этот материалистически окрашенный, но враждебный материализму антиисторизм, направленный на утверждение звериной смердяковской природы человека, характеризовал творчество целого ряда советских писателей эпохи гражданской войны и нэпа. Он еще ранее был характерен для Андрея Белого, когда он в «Петербург», написанном в годы реакции, изображал революцию 1905 года как торжество вековых начал, когда он революционные массы идентифицировал с азиатскими полчищами, которые готовы разгромить всю европейскую культуру. Он сохранил этот внеисторизм в «Москве», где он показывает бесплодность разума, бессмыслие и хаотичность действительности, где человек — преимущественно горилла.

Позднее внеисторизм, метафизичность снова обращается к старому метафизическому философствованию мистико-символистского толка. Антиисторизм скептически-франсовского материалистического толка, разбавленного большой долей гуманистического сентиментализма, находим мы и у Ильи Эренбурга в таких его вещах, как «Хулио-Хуренито», «Жизнь и гибель Николая Курбова», в серии новелл «Тринадцать трубок» или в «Проточном переулке».

Антиисторизмом Достоевского с его утверждением смердяковской звериной природы человека было проникнуто и творчество Л. Леонова, который в целом ряде произведений («Конец мелкого человека», «Провинциальная история», «Унтиловск» и другие) на различные лады повторял положение, сформулирован-

ное одним из его персонажей, что человеческая душа — зверь и такой останется до конца дней.

И именно потому, что Илья Эренбург и Л. Леонов так решительно отошли от этих позиций, надо подчеркнуть, не боясь их обидеть, что их антиисторизм был, по существу, направлен против революции, культивировал недоверие к способности революции освободить человека от смердяковщины, идущей от собственнического прошлого человечества.

III

Мы приводили примеры, когда внеисторизм был направлен на утверждение извечности зла в человеке. Классический реализм знает не меньше примеров, когда внеисторизм служил утверждением вневременности добра как категории, присущей человеку по самой его природе, по тому божескому началу, которое живет в человеке и которое превышает всяких классов и злобы дня.

Такой характер показа человеческих переживаний чаще всего встречается у Толстого. В «Анне Карениной» Толстой рисует такую сцену: Дарья Александровна Облонская летом в деревне купает своих детей. Когда половина детей уже были одеты, к купальне подошли и робко остановились нарядные бабы. Дарья Александровна разговаривалась с ними. «Бабы, сначала смеявшися в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились и разговаривались, тотчас же подкупили Дарью Александровну искренним любованием детьми, которое они выказывали».

«Дарье Александровне не хотелось уходить от баб, так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, что все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши».

Как ни отлична социальная судьба княгини Облонской и деревенских баб, как ни отличны все обстоятельства их повседневной жизни, как ни отлична среда, которая формировала княгиню и этих крестьянок, всех этих женщин об-

единяет то, что они матери. Это начало любви и материнства—единственное существенное и важное в сравнении со всем тем, что их социально различает, ибо тут «совершенно одни и те же» были их интересы. Надклассовый внеисторический характер этого чувства для Толстого заключается в том, что материнство—общая физиологическая категория. Материнство здесь, как везде, выступает у него как этическая категория. Поэтому сцена беседы княгини с бабами находит свое продолжение и завершение и в встрече с Левиным на обратном пути домой после купанья. Дарья Александровна «и всегда рада ему была, но теперь особенно рада была, что он видит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина не мог понять ее величия. Увидая ее, он очутился пред одной из картин своего когда-то воображаемого семейного быта».

Аналогичный смысл у Толстого имеет сцена, где Наташа Ростова дана как мать. Прелестная поэтическая Наташа сведена к прозе «скучной по общепринятому мнению» и «серой» Дарьи Александровны.

Материнское чувство — явление биологическое, но это биологическое чувство получает социальное воплощение и принимает конкретно-классовые, конкретно-исторические формы. Толстой дал одни стороны этого процесса, но не раскрыл всех его сторон и тем самым в известной степени искажил некоторые особенности данного явления. Пролетарский реалист, раскрыв типически-классовое и историческое в переживаниях матери собственного общества, дает более углубленную картину человеческих переживаний, если только он не упрощает явлений.

Толстовское художественное утверждение вневременного, внеисторического характера начала добра, которое довлеет над классовым, выступает и в сцене встречи Пьера Безухова с жестоким генералом Даву. Эта встреча приводит обоих к сознанию, что «они оба дети человечества, что они братья».

Утверждение, что основное, непреходящее и наиболее глубинное в человеческих отношениях — это то, что все они «дети человечества, братья», является

для Толстого центральным при показе сложнейших процессов человеческой психики и доминирующим в разрешении многих и многих конфликтов.

Утверждение вневременности этического начала у Толстого коренится в его религиозном миропонимании. Этико-религиозное начало обретает в его творчестве тем большую художественную убедительность, что он придает ему реалистическую правдоподобность. Умирает Андрей Болконский; Соня, взволнованная и тяжелым положением Андрея, и необычайностью его встречи с Наташей, «с испуганным и торжественным лицом» говорит Наташе:

« — Помнишь ты, помнишь, как я за тебя в зеркало смотрела... в Отрадном на святках... Помнишь, как я видела.

Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем-то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом и что глаза его были закрыты.

— Да, да, именно розовым, — сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано «розовым» и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания».

У писателя нереалиста, у писателя мистика, символиста «зеркальное» предзнаменование могло бы служить для утверждения мистического, таинственного. Реалист Толстой подчеркивает иллюзорность и мнимый характер этих воспоминаний Сони и Наташи, он объясняет, что в Отрадном Соня ничего подобного в зеркале не видела, она тогда говорила то, что ей взбрело в голову, «но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание». Таким образом, Толстой на весьма реальный лад объясняет источник заблуждения Сони и ее уверенности, что она в Отрадном в зеркале видела именно ту же картину, ка-

кую она только-что видела в комнате умирающего Андрея. Но это разрушение мистики, этот реализм нужен Толстому, чтобы сделать убедительным религиозный характер смерти Андрея, получить большое правдоподобие проникновения умирающего Андрея Болконского в потустороннее. Приехавшая к княжне Марья Наташа говорит, что «два дня тому назад вдруг это (курсив Толстого) сделалось...» «Княжна Марья понимала то, что Наташа разумела словами: «с ним случилось это два дня тому назад». (Курсив Толстого.) Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился и что смягчение, умиление эти были признаками смерти». На самом же деле это обозначало, что наступила совершенная отчужденность между умирающим Андреем и живыми людьми. Во сне ему показалось: «Что-то нечеловеческое — смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватился за дверь, направляет последние усилия, — запереть уже нельзя — хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным дверью отворяется и опять заворачивается.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он сделал над собою усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение» — вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной с ним силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его». Андрей Болконский больше не чувствует всех тех тревог, которыми живут окружающие его. «Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной, странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не пе-

реставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и, по той странной легкости бытия, которую он испытывал, почти понятное и ощущаемое».

Здесь пред нами выступает одна из изумительных особенностей реализма Толстого. Характерные реалистические элементы действительности группируются таким образом, что они делают более убедительными, более правдоподобными идеалистические, религиозные установки писателя. Материальный мир становится частью идеального религиозного мира. Этот материальный мир, познанный нами, понятый нами, представляет лишь небольшую частицу непознанного нами мира, который в своей сущности раскрывается человеку только в минуты его «воскресенья», когда падают с глаз человека шоры, которые реальная действительность надевает на него. Человек тогда освобождается от ничтожного и включается полностью в истинное, обычно скрытое от него.

На эту сторону дела должно обратить внимание тех, кто склонен делить литературу на творчество романтиков-идеалистов и реалистов-материалистов. Реалисты не только не всегда материалисты, но они, как это видим на примере Толстого, иной раз пользуются материалистическими элементами действительности как аргументом в пользу своего идеализма, весь их реализм является художественной системой защиты их идеалистической системы.

IV

Социалистический реализм антагонистичен не только реализму идеалистов типа Толстого или Достоевского. Он глубоко отличен и от реализма западного, всех его формаций.

Реализм на Западе — явление капиталистической формации. Расцвет реализма связан с торжеством буржуазного порядка. Реализм в литературе много старше образования так называемой реалистической или, позже, натуралистической школы.

История реализма на Западе — это история восхождения и заката буржуаз-

ного порядка. Отсюда не следует, что реализм выражал идеологию одной лишь буржуазии. Он был выражением торжества буржуазии и все большего утверждения ее гегемонии над остальными классовыми обществами. Он выражал поэтому тенденции всех этих классов и социальных групп и представлял собою как формально, так и в идеологическом отношении явления столь же разнообразные, как разнообразны и отличны были интересы этих классов за всю эпоху капиталистической формации.

Первый значительный успех реализма в Европе есть выражение начала становления буржуазного сознания и отрицания феодального сознания. Основной феодальной идеологией была религия. Чтоб лишить феодала его земных благ, необходимо было в плане идеологическом разрушить «божью милость», именем которой он правил. Небесной правде молодая буржуазия противопоставила земную правду. Теологии, схоластике, метафизике, алхимии, астрологии, житиям святых и рыцарскому эпосу она противопоставила астрономию Коперника и Галилея, механику Ньютона, сенсуализм и рационализм в философии, психологизм в педагогике, реализм в литературе. По всему идеологическому фронту буржуазия начала с отрицания, с сомнения, чтобы через них перейти к своему утверждению.

Сатира стала основным жанром отрицания, утопия — утверждения молодой буржуазии. Пришел Рабле, вслед за ним пришли Сервантес, великий Шекспир и Мольер.

По своим классовым корням то были явления различного порядка. Но их всех объединяет то, что они разрушали феодализм. Они все характеризуются новым, земным, эмпирическим отношением к действительности. Отсюда их реализм. Традиционная история литературы причисляла Мольера к классикам, искала у Сервантеса романтизм, ставила Рабле за пределами реализма из-за его сатирической гиперболы, из-за его утопичности. В привычные представления о реализме не укладывался Шекспир, как он вообще не укладывался ни в какую но-

менклатуру буржуазных историков литературы.

Но все эти писатели были раньше всего реалистами. В их саркастическом смехе, в их юмористическом сочувствии, в их трагическом раздумьи была переоценка всех феодальных ценностей, раскрытие основных тенденций исторического процесса.

Духом разрушения феодального общества, пафосом буржуазного самоутверждения была проникнута буржуазная английская и французская литература XVIII века, которая опять-таки была реалистической по существу.

Вольтер, Руссо, Дидро и Бомарше своим смехом разрушали средневековую базилику феодализма и монархии. Они в своих философских и бытовых романах и комедиях давали новую систему буржуазного знания и миропонимания. Вся эта литература была проникнута глубочайшей верой в буржуазное новое и культивировало жертвенную активность во имя осуществления этого нового.

Социальная активность, оптимизм, пафос разрушения старого и готовность бороться за новое, — все это характеризует буржуазный реализм от Рабле и Мольера до Вольтера и Бомарше и английских сентименталистов. Не случайно поэтому раздались голоса о необходимости учиться у писателей молодой революционной буржуазии. Но, призывая учиться у этих писателей, не надо забывать, что их показ действительности был весьма ограниченный, ибо они показывали буржуазию только как класс-освободитель, как прогрессивный класс и не вскрывали эксплуататорского характера этого класса, временного характера его прогрессивности. Отсюда схематизм их контраста порочного аристократа и добродетельного буржуа. Вот почему творчество реалистов эпохи торжества буржуазного порядка имеет для нас наибольшее значение.

Творчество Стендаля, Бальзака, Флобера представляет собою изумительный арсенал критических снарядов против буржуазного общества, замечательную картину социальной механики современного им капитализма. Но — критика лишь тех или иных форм буржуазного

накопления. Отсюда изумительные образы скупого накопителя и расточительного банкира, но никто из них никогда не давал критики самого принципа частного накопления, принципа собственности. Эти реалисты выражали тенденции той или иной буржуазной группы в оппозиции к правящей фракции буржуазии. От их оппозиционности — их далеко идущая критика. От их буржуазной природы — ограниченность этой критики. Творчество этих писателей отнюдь не стремилось к тому, чтобы перестроить мир на новых основаниях. Их боязнь больших социальных потрясений, страх перед призраком коммунизма наложили отпечаток ограниченности на всю их критику. Эта критика стремилась не изменить действительность, а поправить ее, постепенно внести в нее необходимые, с точки зрения данной социальной группы, улучшения. Недаром Стендаль неоднократно говорил, что его поймут и оценят лет через пятьдесят. Эпигоны идеалистического литературоведения говорили уйму мистической чепухи по поводу этих слов Стендаля. Между тем их смысл был очень простой. Они выражали уверенность Стендаля в том, что его социальная группа победит лет через пятьдесят.

Стендаль писал главным образом между двумя революциями 1830—1848 гг. Он жил в атмосфере революционных потрясений, не веря и опасаясь этих потрясений. Он революцию противопоставил медленное поднятие культурного уровня народа. Писатель крепкой, поднявшейся вверх высококультурной прослойки мелкой буржуазии, сложившейся главным образом в эпоху наполеоновской империи, Стендаль верил, что лет через пятьдесят Жульены Сорелли («Красное и черное»), из трагических одиночек превратятся в хозяев жизни. Стендаль, как мы уже однажды указали, оказался пророком только в отношении тиража своих книг, а не в отношении своих идей. Внуки Жульена Сорелля превратились в послушных лакеев тех самых банкирских Левенов («Лусьен Левен»), цинизм которых Стендаль с таким мастерством вскрыл. Стендаль был выразителем одной из наиболее демокра-

тических групп. Но и его творчество было, по существу, антиреволюционным, и это — то основное, что его, наиболее радикального из реалистов, объединяет со всеми классиками французского реализма. Их творчество не было никогда контрреволюционным. Они чаще всего не желали контрреволюционных переворотов, возврата к старому порядку.

Отсюда позитивистический характер мировоззрения реалистов. Позитивизм не был дальнейшим углублением и развитием материализма XVIII века, как это стремились показать различные буржуазные апологеты позитивизма в философии, гегелизма в литературоведении. Материализм XVIII века был великим бунтом. Позитивизм был явлением покорности и послушания. Материализм XVIII века взрывал старый феодальный порядок. Позитивизм охранял новый буржуазный порядок. Позитивизм выходил революционность материализма XVIII века в угоду практическим потребностям буржуазной промышленности. Именно поэтому Маркс и Энгельс унаследовали и продолжили материалистов XVIII века, а не позитивистов: позитивисты предали материалистов, как это в свое время отметил Александр Герцен.

«Франция рванулась титанически к другой жизни, борясь впотьмах, бессмысленно, без плана и другого знания, кроме знания нестерпимой боли, — писал он после революции 1848 года, — она была побита «порядком и цивилизацией», а отступил победитель. Буржуазии пришлось за печальную победу свою заплатить всем, что она выработала веками усилий, жертв, войн и революций, лучшими плодами своего образования».

Историки литературы неоднократно отмечали родство реализма с позитивизмом. Часто ставили и достижения реалистов в зависимость от успехов позитивистических знаний. Это — упрощение по методу эклектической теории факторов. Единство творческого метода реалистов с философией позитивистов — результат единства их социальных корней. Разнообразие социальных групп, питавших позитивизм в философии и реализм в литературе, был источником внутрен-

них противоречий различных групп позитивистов и реалистов. Разнообразие социальных групп сделало столь разнообразным показ действительности реалистами. Но при всем их разнообразии их всех объединяло то, что они давали критику буржуазии на базе буржуазных отношений, они изобличали те или иные формы буржуазного накопления, но не самый принцип прибавочной стоимости. Они жаждали эволюционными методами исправить действительность, но отворачивались от революционных путей. Опыт буржуазных революций они возвели в символ революции. Опираясь на тот факт, что место земельной аристократии после революции заняла банковская аристократия, они самоизобличение этих новых властелинов и их новых придворных из среды газетчиков, политиков, актрис и прочей челяди использовали для доказательства своей мысли о жалкой природе человека, о неизменности или очень медленной изменемости человеческой природы.

Поучения банкира Левена (Стендаль), бежавшего каторжника Вотрэна (Бальзак), на которых воспитывается их смена — Лусьен, Левен, Растиньяк, — построены на весьма откровенном обнажении буржуазных язв и гнойников. Но мораль этих проповедей всегда одна: такова жизнь — таков человек. Никакие революции его не изменили. Никогда он не станет ни лучше, ни счастливее. Удел человека — удел Эммы Бовари. Вечен разлад между мечтой и действительностью. И этому разладу надо покориться.

V

Здесь пред нами встает вопрос об особом характере показа человеческой психологии в искусстве социалистического реализма в отличие от дворянско-буржуазного искусства.

Лефовский психологизм был, как известно, реакцией на психологическую изощренность упадочнической буржуазной литературы.

Психологизирование упадочнической литературы сказывалось или в разработке исключительных конфликтов сенса-

ционного порядка, или на разглядывании в лупу мельчайших оттенков обычных переживаний.

Так в годы столыпинской реакции Л. Андреев, Ф. Сологуб, А. Куприн и целый ряд других писателей дворянско-буржуазного декаданса изощрялись в выдумывании необыкновенных положений, на которых они расшивали свои психологические узоры. В центре этих повестей обычно стояли эротика, смерть. И почти всегда психологизирование вело в тупик безысходности или показывало торжество зверино-эгоистического начала в человеке.

Два-три примера: Л. Андреев пишет рассказ о молодом революционере, который, спасаясь от преследования сыщиков, укрывается в доме терпимости. Он, чистый юноша, не знавший женщин, берегущий себя для идеальной любви, обстоятельствами своей подпольной жизни приведен в ложе проститутки.

В русской литературе до столыпинской реакции, до того, как буржуазно-демократическая интеллигенция стала менять свои «вехи», или, просто говоря, до того, как она ренегатски отвернулась от «освободительного движения», мотив встречи целомудренно-чистого юноши с проституткой находил свое завершение в острой реакции этого юноши против социального режима, порождающего проституцию. Эта встреча еще больше закаляла в юноше его жажду построить новую, светлую жизнь, не знающую мрака и позора проституции. Андреев завершает этот конфликт, как известно, призывом погрузиться в «тьму», вытекающим из неожиданного заключения: какое право имеешь быть хорошим, когда есть плохие? Иначе говоря, — капитулируй перед социальным злом. Второй пример: возвращающуюся из партийной командировки революционерку изнасиловали. Вернувшись домой, она рассказывает о своем несчастье своему мужу социал-демократу. Вместо сочувствия торю близкой женщины муж проявляет чувства, которые в данном случае достойны были бы Федора Карамазова. Сведение революционера до Федора Карамазова дополняется тем, что изнасилованная женщина рассказывает мужу об исключи-

тельных физиологических радостях, испытанных ею во время глумления над ней.

Рассказ А. Куприна «Морская болезнь», где расписывается эта история, был в годы реакции оценен критикой как образец тонкого психологического анализа. По существу, то был пошлый порнографический анекдот, задача которого заключалась в том, чтобы измазать блевотиной героический образ революционера. Громы революции еще только отзвучали, и унижение образа революционера представляло собой актуальную задачу буржуазной литературы. Этой задаче и служили психологические выкрутасы А. Куприна.

Третий пример из той же области: в годы столыпинской реакции смертная казнь стала, как известно, «бытовым явлением». Толстой реагировал на нее своим «Не могу молчать», В. Короленко, автор крылатой характеристики — «бытовое явление», написал свою книгу под тем же заглавием, где он дал с исключительной сдержанностью и правдивостью прагмизм смертников. Тот же Л. Н. Андреев написал «Рассказ о семи повешенных» — лучшее из всего того, что им было написано за все годы реакции. Но вот к этой теме подошел «патриарх» упадочнической литературы Арцыбашев. Он написал рассказ о переживаниях отрубленной головы, которая тщится подать знак ученому, что она еще продолжает сознавать и чувствовать.

Психологизирование тут отводило от ужасов столыпинского террора к научной проблеме о том, когда наступает смерть в гильотинированном организме.

В каждом из этих трех случаев психологическая изошренность сводилась к тому, чтобы через необычные ситуации сенсационного порядка снять социальную проблему. Претензией на экстравагантную постановку сложной философской, этической или научной проблемы, по существу, прикрывалась доподлинная ренегатская клевета на революцию и революционера.

Эти мотивы находили свое дополнение в особом характере разработки мотивов любви, одиночества, смерти.

Федор Сологуб пишет рассказ «Опечаленная невеста», — молодые девушки, отказавшиеся от радости любви и семейной жизни. Каждый раз, когда они узнают о смерти холостяка, одна из них отправляется к нему на похороны в качестве его опечаленной невесты. Другой писатель написал в те годы рассказ о молодых девушках, которые по ночам поочередно дежурят у умирающей старрой бабушки. Самая младшая из этих девушек с особым трепетом дожидается своей очереди, боится, как бы бабушка не умерла до того, как дойдет ее очередь, но в свое дежурство она на рассвете на миг засыпает, и в этот момент бабушка умирает. Игра оттенками настроений, переживаний и здесь была направлена на мнимую постановку мнимых проблем, чтобы подменить острые вопросы живой действительности.

К этому типу психологизирования относится опубликованный в годы революции рассказ Б. Пильняка о юноше, сожительствующем с родной еще молодой матерью, — тема, которая, кстати сказать, была в свое время разработана венским мастером индивидуалистического психологизирования А. Шницлером, с той разницей, что у Б. Пильняка, насколько нам помнится, рассказ заканчивается самоубийством юноши, а у Шницлера — самоубийством и юноши, и его матери.

Все эти писатели претендовали, будто их метод психологического анализа является продолжением и чуть ли не углублением метода Достоевского. В годы столыпинской реакции в этом убеждении их и поддерживала модернистская упадочническая критика, но этот тезис исходит из чрезвычайно поверхностного толкования сущности психологического метода Достоевского и из непонимания природы художественного метода перечисленных писателей буржуазного декаданса.

Претензии этих писателей и их бардов из лагеря критиков базировались на том, что вот, мол, Достоевский дает тончайшие изгибы человеческой психики, раскрывает глубиннейшие тайники человеческой души; они, мол, тоже заняты исследованием этих глубин. В действи-

тельности же они давали не глубины душевных переживаний, не трагизм человеческих конфликтов, а сенсационные столкновения и пикантные эротические сюжеты. Их метод психологического анализа был утверждением пессимизма и безысходности, он выражал самолюбование эгоцентрического себялюбца. Они давали частное. В противоположность им Достоевский давал глубоко-типическое.

Униженный человек, мечтающий отомстить за свои унижения, приживальщик, мнящий себя готовым к бунту, — эти, как и многие другие, характерные образы Достоевского были типическими явлениями русской чиновничье-бюрократической, дворянско-купеческой действительности. Пресловутые надрывы Достоевского, его разговоры по душам, его разворачивание душевных язв и ран было раскрытием морального подполья собственнического человека, ужаса власти человека над человеком в одной из его наиболее страшных форм, — в русской петербургской действительности, когда вся Россия была «мертвым домом».

Но потому и случилось, что произведения «изошренных психологов», претенциозных тайноведов лишь развлекали любителей остренького, а Достоевский стал большой страницей мировой литературы.

Перед социалистическим реализмом стоит задача уничтожения морального подполья собственнического человека. И здесь у Достоевского многому можно поучиться. Но только поучиться, а не следовать за ним. Ибо, несмотря на то, что психологизм Достоевского выражает типические для своей эпохи процессы и характерные переживания, он, по существу, направлен не на преодоление подпольного человека, а на утверждение его извечности. Черты Фомы Опискина, Федора Карамазова, Смердякова для Достоевского являются не результатом современной российской действительности, а они присущи человеку по самой его природе. От них не освободится и будущий социалистический человек.

Учась у Достоевского раскрытию всей бездны собственнического человека, со-

циалистический реалист обязан показать, как эти черты вырастают из собственных условий, из классового бытия и как уничтожение «остатков капиталистических элементов в экономике» становится могучим фактором уничтожения достоевщины в сознании.

Некоторым нашим писателям казалось, что в той мере, в какой психологизм Достоевского чужд нашей литературе, близок ей психологический метод Толстого. Но это не совсем так.

В одном пункте Толстой резко противостоит Достоевскому. Если для Достоевского человек — по своей природе существо аморальное, то для Толстого человек — по своей природе существо божески-прекрасное. Достоевский обнажает раны. Толстой показывает здоровые страсти. Для Достоевского человек — мучитель или мучимый. Для Толстого человек — начало добра и красоты. Своим оптимизмом, своей верой в человека Толстой конечно ближе к социалистическому реализму, чем Достоевский.

Но есть одна черта, которая роднит их. Это то, что, как и Достоевский, Толстой стремится показать человека по его какой-то извечной, а не социальной природе. Левин («Анна Каренина») встречается по делам опеки своей сестры с предводителем дворянства. Пред ним был человек, проявляющий свою власть и не способный проникнуться болью своего просителя. Но Левин приходит к тому же предводителю дворянства на дом, и пред ним — старый, хороший человек, готовый с первого же слова проникнуться болью и страданиями ближнего. И так всегда у Толстого: впряженный в ярмо социального, человек творит зло, высвобожденный из этого ярма, предоставленный самому себе, он — только добро.

Этот моральный метод психологического показа Толстого во многом опаснее метода Достоевского. Ибо Достоевский дает ужас собственнического человека, а Толстой убеждает, что все мы — «дети человечества, люди-братья». Стало быть, психологический показ Достоевского, как и Толстого, предполагает их

внеклассовый, внеисторический показ человеческих переживаний.

Из классиков буржуазного реализма несравненно ближе социалистическому реализму Стендаль и Бальзак. Религиозно-философская, этическая установка Толстого и Достоевского здесь уступают место социально-исторической основе.

В этом плане чрезвычайно поучительно, что Горький, годами боровшийся против системы Толстого и Достоевского, против упадочнических последователей Достоевского, очень многому учился, по его собственным словам, у французских реалистов, в особенности у Стендаля и Бальзака. Он их показ единства социального поведения и переживаний углубил классовым историческим пониманием этого единства.

Мы отметили некоторые характерные черты классиков дворянско-буржуазного реализма. Многому наша литература может поучиться у этих писателей в смысле показа действительности, в деле показа «характерных типов в характерных обстоятельствах». Но приведенные основные черты буржуазного реализма свидетельствуют о том, насколько отличен должен быть от него «социалистический реализм».

Социалистический реализм не является тематическим обозначением. Под этим термином нельзя подразумевать только произведения, посвященные социалистическому показу социалистического строительства. Социалистический реализм предполагает художественное раскрытие всей действительности СССР и капиталистических стран, всего прошлого человечества в свете борьбы за социализм.

Стало быть, первая отличительная особенность социалистического реализма от буржуазного реализма — его пролетарская партийность, целеустремленность. Флобер говорил, споря с романтиками, что не дело художника восхвалять или порицать. Художник с таким же бесстрашием констатирует человеческие пороки или добродетели, с такой же холодной объективностью раскрывает человеческие поступки, как ученый анатомирует труп. Здесь Флобер следуя за

позитивистами, во-первых, повторял их претензию на внеклассовый характер науки, во-вторых, в полном соответствии с недиалектическими установками позитивистов механистически отождествлял социальные процессы с биологическими.

Однако в своей художественной практике Флобер чужд было этому мнимому бесстрашию. Не позволяя себе никаких авторских излишаний, он всем показом Эммы Бовари и окружающего его общества говорит о своей любви к ней, скорбит о судьбе, выказывает презрение к обществу, которое ее погубило. Таким образом, «объективность» Флобера включала в себе оценку, весьма субъективную.

В отличие от Флобера социалистический реалист не отрицает своей партийности. Особый характер этой партийности однако заключается в том, что, поскольку социалистический реалист выражает тенденции ведущего класса и исторического процесса, партийность действительно и полностью совпадает с объективностью. Партийность нашего писателя в показе образов весьма определена. Одни — его соратники по борьбе за социализм, другие — его враги. Однако эта его партийность не только не мешает, но углубляет его объективность, потому что последняя проистекает из самой сущности вещей, из всего положения. Творчество социалистического реалиста направлено на изменение самих основ мира. Оно поэтом характеризуется большой волеустремленностью, большим социальным активизмом. В этом особый характер его партийности.

Творчество социалистического реалиста характеризуется, далее, последовательным реализмом. В этом пункте социалистический реализм, дополняя и углубляя позитивистических реалистов типа Флобера, противостоит реалистам, в творчестве которых был силен мистический элемент, как например у Гюи де Мопассана, и реалистам-идеалистам типа Толстого, Достоевского.

Если Стендаль, Флобер, Золя в известной степени выводили человеческие переживания и страсти из био-физиологической основы человека, то уже Мопассан, при всей своей приверженности к

натурализму, утверждал, что страх смерти, любовь, чувство одиночества находятся на пороге, за которыми тайна. Показ этих человеческих переживаний упирался для него в человеческую неспособность, по его мнению, раскрыть эту тайну. Толстой и Достоевский, каждый по-своему, считали, что эти чувства и переживания коренятся в божественной природе человека, в религии. Между тем задача социалистического реалиста — показать материальную природу всех этих человеческих переживаний. Это значит — не только вскрыть материальную природу этих переживаний, но и показать, как эти переживания — страх смерти, радость любви, отчаяние одиночества и т. д. — благодаря определенным историческим условиям принимали или религиозный характер, или возвышались до поэтических форм, или же углублялись до трагизма и т. д. Тут нами не выдвигается задача художественной пропаганды материализма. Нет, материалистическое раскрытие методом искусства всех человеческих страстей и переживаний потому-то и важно, что оно гарантирует наиболее полное их раскрытие. Но выполнение этой задачи возможно не на основе позитивистического мировоззрения с его механистическим отождествлением процессов в природе и в обществе, а на основе диалектико-материалистического мирозерцания, с его глубоким пониманием как диалектики процессов в природе, так и принципиальных отличий общественных явлений от явлений в природе.

Здесь приходится особенно вспомнить Зою, его «Ругон-Макары». Он стремился, как известно, построить свою «биологическую социальную историю одной семьи», исходя из принципа теории наследственности. Выходило, что одна ветвь этой семьи погибала, другая поднималась по специальной лестнице; одни ее представители стали рудокопами, а другие — банкирами, и все это в результате унаследованных качеств и пороков. По существу, сама же их наследственность была результатом социальных условий, изменение которых соответствующим образом изменило бы эти унаследованные качества.

Недостаток историзма был одним из основных дефектов дворянских и буржуазных реалистов. Они склонны были опыт своего класса представить как символы человеческого поведения, как законы самой человеческой природы. Социалистический реалист покажет, что гибель Эммы Бовари есть не результат «вечного» разлада между мечтой и действительностью, но результат разлада между возведенными буржуазией идеалами и их осуществлениями.

Некоторые упростили, в частности левовцы и литфронтовцы, полагали, что показ социальной обусловленности поведения и переживания людей предполагает отказ от психологического анализа, от выявления индивидуальных черт и особенностей изображаемых. Эта механистическая теория служила оправданием схематизма, рационализма в практике ряда советских писателей. Им полезно напомнить слова Энгельса в письме Лассалю:

«Ваш Зиккинген целиком на правильном пути, главнейшие действующие лица в самом деле представляют определенные классы и направления, а стало быть, и определенные идеи своего времени и почерпают мотивы своих поступков не в мелочных индивидуальных вождениях, а в том историческом течении, которое является их носителем».

Энгельс однако самым резким образом выступает здесь против всякого отрицания особенностей личности; наоборот, он в индивидуализации характеров видит один из основных принципов художественности. Вне индивидуализации он не мыслит себе создания характера, он пишет дальше:

«Однако желательный дальнейший шаг вперед должен был заключаться в том, чтобы эти мотивы были более живы, активно, так сказать, самородно выдвинуты на первый план ходом самого действия, и чтобы аргументирующие речи становились более излишними...» «Вы совершенно справедливо выступаете против господствующей ныне дурной индивидуализации, которая сводится к мелочному умничанию и составляет существенный признак выдохшейся эпигонской литературы. Мне кажется однако,

что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает, и с этой стороны идейному содержанию вашей драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные характеры были несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу. Характеристика древних в наше время уже недостаточна, и здесь, мне кажется, мы могли бы без вреда посчитаться немножко более со значением Шекспира в истории развития драмы».

Энгельс под дурной индивидуализацией понимает психологическое самокопательство, индивидуалистическое самолюбование различных буржуазных эпитонов, видевших источник изображаемых ими переживаний в самой личности. Энгельс противопоставляет ей иную индивидуализацию, которая выражает живое соотношение общего и частного, закономерного и случайного, через что только и возможно раскрытие «типических характеров в типических обстоятельствах».

Чрезвычайно любопытно, что, еще не будучи знаком с марксовой оценкой трагедии «Франц фон-Зиккинген», Энгельс пишет Лассалю не только те же возражения, но и подкрепляет их той же аргументацией, с тем же противопоставлением Шиллера Шекспиру. У нас цитировались уже слова Маркса в письме Лассалю от 19 апреля 1859 г., что Лассалю следовало «больше шекспиривировать», «между тем как, — указывает Маркс, — сейчас я считаю шиллеровщину — превращение индивидов в простые рупоры духа времени — твоим крупнейшим недостатком» («Литературное наследство», кн. 3, стр. 16). Но тут надо отметить, что Маркс, как и Энгельс, считает шиллеровщину не только чисто художественным снижением, но и идейным результатом того, что Лассаль недостаточно уяснил себе расстановку социальных сил в изображаемой им исторической эпохе.

Приведенные указания Маркса и Энгельса Лассалю предостерегают как против индивидуализма, так и против схематизма. Они ставят перед социалистическим реалистом задачу — раскрыть действительность во всем ее своеобразии, ибо «личность характеризуется не толь-

ко тем, что она делает, но и тем, как она это делает».

Историзм предполагает интернационализм социалистического реалиста. Мы под этим понимаем не только пропагандирование идеи интернационализма, но и характер вскрытия и показа национальных образов. Вопрос тут заключается в том, чтобы национальное своеобразие, которое является результатом определенных социально-исторических причин и которое проходит, видоизменяется в соответствии с устранением этих причин, не было бы показано как результат какого-то особого национального духа, национального гения, поисками которого так усердно занимались всякого рода националистические писатели.

Борцы за социализм наконец выражают тенденции класса, призванного покончить с социальным злом. Торжество социализма обозначает исключительное раскрытие всех творческих возможностей человека, и, следовательно, социалистический реализм проникнут философским оптимизмом.

Мы наметили ряд новых качеств социалистического реализма по сравнению с дворянским и буржуазным реализмом. Эти качества поднимают литературу на новую, более высокую ступень и являются таким же художественным шагом вперед в истории литературы, каким мировоззрение пролетариата является в области философии.

Это не рационалистические каноны, предписываемые литературе советским Буало. Указанные черты характеризуют творчество писателей народов СССР и становятся тем более доминирующим, чем больше растет пролетарская литература этих народов, чем больше приближаются к пролетариату лучшие представители непролетарских писателей. Они характеризуют творчество Фадеева и Безыменского, Леонова и Мариэтты Шагинян, некоторые последние произведения Всеволода Иванова и Тихонова и многих других писателей, как русских, так и других национальностей Советского Союза.

Наиболее концентрированным выражением этих особенностей является

творчество Максима Горького. В нем поэтому начинает находить свое осуществление предсказание Энгельса о полном слиянии большой идейной глубины сознательного исторического содержания с шекспировской живостью и богатством действия. Не канонизируя его метод, но

учась у него и следуя за ним, революционная и пролетарская литература СССР и капиталистических стран, на основе метода социалистического реализма, и становится все больше действенным, идеологическим фактором торжества социализма.

2. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КНУТА ГАМСУНА

Н. Соболевский

«А жизнь идет» — продолжение «Августа» — последнее звено трилогии, начинающейся романом «Бродяги». Но действие здесь происходит уже не в Полене, а в местечке Сегельфосс; перед нами воскресают знакомые места, знакомые лица, нарисованные Гамсуном в романе под этим названием. «А жизнь идет» является вместе с тем одним из звеньев длинной цепи романов Гамсуна, который пользуется тем же композиционным приемом, как и Бальзак в его «Человеческой комедии», — протягивая связующие нити от одного романа к другим, выводя одних и тех же персонажей в нескольких романах, объединяя различные произведения в одно целое.

Трилогия охватывает период почти в полвека. Двадцать лет отделяют «Бродяг» от «Августа». Двадцать лет прошло с тех пор, как погиб Эдвард, а Август бежал ночью из Полены. В романе «А жизнь идет» Август снова на сцене: он доигрывает последний акт своей долгой и бурной жизни, похожей на глупую комедию, на шутовской фарс. Он состарился, ему перевалило за шестьдесят, но он все такой же неистощимый враль, все так же неутомим и никчем и попрежнему видит свою миссию в том, чтобы «содействовать развитию и прогрессу», «насаждать промышленность и торговлю», но всей своей деятельностью только подтверждает ветхозаветную мудрость любимого героя Гамсуна, Эзры, — патриархального, хозяйственного мужика кулацкой складки («Бродяги» и «Август»), заявляющего, что «весь этот прогресс, вся эта промышленность — одна гибель». «Человека кормит хлеб в поле, рыба в море,

птица и зверь в лесу». Надо жить, как жили испокон веков отцы и деды.

Выводя карикатурную фигуру Августа, делая его символом эпохи, Гамсун в последнем романе снова воюет «с духом времени», «с большим и лживым веком» капиталистического развития и зовет в далекое прошлое, сам плохо веря в возможность его воскрешения. Вместе со стариками и старухами Сегельфосса, с уходящим из жизни поколением, он с грустью вспоминает старину, «когда все мужчины имели заработок, когда у всех было одежды вдосталь, были и жар в печи, и паток в каше. Иногда господь был милостив и посылал им полный невод рыбы. Все было хорошо, все было благословенно».

В Сегельфоссе не было тогда всех этих ненужных затей — «ни гранд-отеля, ни банка, ни кинематографа, но то время этим людям было больше по душе».

Тогда не было этих новшеств, принесенных капитализмом, но зато высился замок феодала-помещика, а в замке жил знатный барин, настоящий господин. Гамсун расписывает яркими красками любовь и уважение крестьян к отставному лейтенанту — Виллатцу Хольмсену: «Он был прямой и гордый, справедливый человек. Его подпись внушала доверие. Его слово было ненарушимо, как клятва. Его кивок подчиненным был благословением для них». Правда, Гамсун в романе «Местечко Сегельфосс» рассказывает нам, что лейтенант был крутого нрава и пускал в ход хлыст, когда кто-нибудь из его подданных осмеливался говорить с ним непочтительно. Но это — маленькая деталь,

нисколько не мешающая Гамсуну вздыхать о невозвратном прошлом; он вполне оправдывает феодала: расправа была необходима для поддержания «порядка»; иначе среди рабочих воцарилась бы та же распущенность, какая была на соседней мельнице Хольменегро.

Но, увы, эта средневековая идиллия не может повториться. «Род Хольмсе-нов из Сегельфосса был обречен на гибель. Такова была судьба третьего поколения». «Будучи барами, они жили, ничего не зарабатывая», и жили на широкую ногу, сорили деньгами.

Гамсун дает яркую картину упадка землевладельческой аристократии, ее разорения благодаря вторжению капитализма, к которому она не умеет приспособиться. Поместье Сегельфосс с землями, раскинувшимися на несколько миль кругом, дом с колоннами — дворец — королевскую резиденцию, — все это покупает за бесценок разбогатевший выскочка — Теодор Тидеман Буржуазия празднует победу над феодальным дворянством Расстановка классовых сил на исторической арене меняется.

Гамсун встревожен и напуган вторжением капитализма, разрушающим милую его сердцу средневековую старину, но он нигде не осмеливается сказать полным голосом всю правду о капитализме, даже с точки зрения реакционера, даже с точки зрения классов, которым капитализм несет гибель. Напрасно стали бы мы искать у Гамсуна бичующего сарказма, гневных выпадов, разоблачения капиталистической эксплуатации, — всего того, что мы находим у представителей феодального и мелкобуржуазного социализма («Коммунистический манифест», гл. III). Критика капитализма у Гамсуна всегда беззуба, скользит по поверхности и переходит в апологию буржуазии. Гамсун недолголюбивает «чумазого» — нового хозяина жизни. Ему претит страсть Теодора Тидемана к безвкусной, аляповатой роскоши, сменившей художественную утварь, драгоценные произведения искусства, наполнявшие дворец при Хольмсенах Гамсун тонко подмечает и высмеивает глупое чванство наследника Теодора — молодого Гордона Тидема-

на, никчемность, роднящую его с Августом, все его дорогие, нелепые затеи — постройка охотничьей хижины в горах, дороги к охотничьей хижине и т. д., — но дальше его критика не идет. Эксплоатация этими хищниками деревенской бедноты остается затушеванной О сегельфосском богатеи, торгаше и ростовщике Теодоре, возвышение которого происходило одновременно с оскудением и обнищанием громадного большинства крестьян, Гамсун говорит, что «он становился все добрее и добрее. отечески приходил на помощь нуждавшимся и с годами сделался популярным В голодные годы многие обращались к Теодору и остались живы, — что правда, то правда Бедняк просил у него одну меру муки, а Теодор приказывал отпустить две». В другом месте Гамсун называет Теодора «другом народа».

Капиталистическая идиллия, не уступающая средневековой! Ни намек на связь между обогащением Теодора и разорением крестьян И тем не менее это разорение изображено с большой силой, даны такие же яркие картины нищеты крестьян, как и в двух других романах трилогии: факты — упрямая вещь, и Гамсун не может обойти их.

«Вообще же было пустынно и бедно во дворах. А если кто и имел что-нибудь, то это было кажущееся благосостояние Принадлежало ли это им на самом деле? Во-первых, они были должны буквально за все во дворе; к тому же у них были долги по заборным кчижкам купцам в городе, они не выплачивали налогов и жили в развалившихся домах».

«В их лачугах протекали крыши».

«Корова или пара овец, купленных в долг, не спасали положения, и если не удавалась лафотенская ловля, они опускались все ниже и ниже».

«При каждом дворе было слишком мало земли».

«Даже детям жилось скудно, в особенности по части одежды: они зябли и зимой, и летом»

Постоянная нужда наложила печать на бедноту, сделала ее забитой и жалкой. «И до того убого и пугливо это племя, что каждый раз, как Август про-

ходил по этой части Сегельфосса, он видел, как здешние бушмены шныряют в дыры дверей и не выходят прежде, чем он не пройдет мимо»

Гамсун, сам того не ведая, блестяще иллюстрирует гениальные замечания Маркса, рассыпанные в «Капитале» и в «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», о положении в эпоху капитализма мелкого и мельчайшего крестьянства, владельцев парцеллы:

«Ростовщичество и налоговая система повсюду привели парцеллярную собственность к пауперизации». («Капитал», III т., гл. 47, «Крестьянская парцеллярная собственность».)

«В течение XIX столетия место феодала занял городской ростовщик, место тяготевших на земле феодальных повинностей заняли ипотеки, место аристократической земельной собственности занял буржуазный капитал. Крестьянская парцелла стала лишь предлогом, позволяющим капиталисту извлекать из земли прибыль, проценты и ренту, не заботясь о том, удастся ли земледельцу выколотить для себя хотя бы заработную плату». («Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».)

И напрасно пытается Гамсун ослабить впечатление от нарисованной им картины звучными прямым издевательством оговорками, что «недостаток одежды не приносил детям вреда», что «бедняки были довольны (!), они привыкли к этой жизни и не знали никакой другой». «Они рано научились довольствоваться малым, и это не приносило им вреда», — снова уверяет нас Гамсун, раскрывая свое лицо апологета господствующих классов.

И как же беднякам не быть довольными? «Они пряли шерсть и ткали ее на станках, получалась чудесная, крепкая ткань для белья и для платьев». Гамсун забыл уже, что говорил об убогой одежке детей.

«И потом в избах часто бывало очень весело».

Были у них и свои маленькие радости: «Девочки ходили в лес за можжевельником, мелко нарубали его и насыпали к празднику на пол. От тепла можжевельник благоухал чистотой и цветами,

и в каждой ягодке был крест, — что хотел сказать этим господь? Можжевельник — особенное растение, оно годно не только для посыпания пола; если хотели, чтобы в горнице хорошо пахло, то зажигали ветку можжевельника, кругили ее в воздухе и давали ей тлеть».

Ну, разве это не счастье? И разве надо стремиться к чему-нибудь лучшему? Однако Гамсун, как всегда, не сводит концы с концами. Бедняки далеко не так довольны своей судьбой, как хотелось бы ему, о чем свидетельствует он сам в романе «Август», где Эзра жалуется на «недовольство и все возрастающую требовательность у всех людей»; раньше пили одно молоко, ели одну картошку, а теперь подавай им кофе и мясо каждый день; и домотканную одежду не хотят носить, покупают красный товар в лавке, — об этом особенно сокрушается Эзра.

Но бедняки не только будто бы «довольны» тем, что капитализм превратил их в «бушменов», они, кроме того, сами виноваты в том, что так бедны: они плохо обрабатывают свои клочки земли; они слишком ленивы; о «лени» крестьян Гамсун неоднократно упоминает и в романе «Бродяги». Они ленивы и не хотят заботиться о себе: в полумиле от Сегельфосса — обширные зеленые горные пастбища, а эти бестолковые люди не догадаются нанять пастуха и погнать туда своих овец, которые дохнут от бедкормицы. Гамсун недоумевает, Гамсун возмущен глупостью крестьян, хотя прекрасно знает, что горные пастбища так же, как и лучшие пахотные земли, принадлежат не им, а Тидеманам.

Кроме того, море рядом — рыбы сколько хочешь, а эти лодыри «приносят иной раз связку мелкой трески или мерлана, ровно на одну варку, и ничего для следующего дня, и пьют при этом: во время ловли «кофе с бутербродами»; это «кофе с бутербродами» — непозволительная роскошь! — больше всего раздражает Гамсуна.

Но как ни старается Гамсун, ему не удастся замазать жуткую правду, которая прорывается у него, о положении большинства крестьян в капиталистической Норвегии. Мы сделаем из этой

правды свои выводы, не похожие на выводы Гамсуна, зовущего к примирению с действительностью, и скажем даже спасибо этому большому художнику-реалисту, который создаваемыми им образами опрокидывает здесь свои реакционные установки, — как это бывало не раз в истории художественного творчества, — и невольно дает богатейший фактический материал, подтверждающий правильность теории и практики марксизма-ленинизма.

Гамсун изобразил с большой силой не только нищету, но и ужасающую власть тьмы в капиталистической деревне, даже в деревне «культурнейшей» Норвегии, показал настоящую цену капиталистической культуры.

«Эти люди верили во всяких троллей, подземных духов и привидения».

Когда Гордон Тидеман стал строить дорогу к охотничьей хижине и горы огласились грохотом динамитных взрывов, поднялся ропот среди крестьян, испугавшихся, что это потревожит «подземных людей, таинственный народ Хауга, занимавшийся земледелием и скотоводством и не причинявший никакого вреда людям на земле, если только его оставляли в покое».

По деревням бродит, сея тревогу и ужас, злобешая колдунья Осе, лопарка в цветной одежде с погремушками — одна из наиболее удавшихся Гамсуну фигур.

Черты реакционера, у которого тяга к средневековью сочетается с апологией капитализма, еще резче выступают у Гамсуна, когда он переходит к изображению рабочих. Рабочие занимают довольно много места в его последнем романе. Интересно проследить, как перекликается здесь престарелый автор с Иваром Карено, героем драмы «У врат царства», выразившим взгляды Гамсуна, когда он был в полном расцвете сил (1895 г.).

Философ Ивар Карено, как известно, проповедывал введение высоких покровительственных пошлин на хлеб, чтобы оградить крестьян и... «заставить умереть с голоду рабочих — класс паразитов». Ивар Карено развивал целую программу истребления пролетариата: «Гос-

пода гуманисты бросьте нянчиться с рабочими. Лучше избавьте нас от их существования, затрудняйте их жизнь, уничтожайте их».

Та же зоологическая ненависть к пролетариату сквозит и в романе «А жизнь идет». Гамсун не жалеет красок, чтобы изобразить рабочих в самом отталкивающем виде.

«Они говорили с редактором местной газеты Давидсеном так, как говорят рабочие, — отбросив всякую логику».

«У вас разинутая пасть, жадность хуже, чем у негра» — бросает им Давидсен. Они издеваются над ним, презирают его, «потому что это бедняк», а к нотариусу — выжиге, беспощадному при взыскании долгов, — «относятся с уважением».

Во время разговора с Давидсеном они погехи ради закладывают сзади него и взрывают динамитный патрон, грозя его изувечить, и дико хохочут при этом.

Все их интересы сводятся к удовлетворению полового инстинкта, — они дерутся между собой ножами из-за красивой Иерн, — и к выпивке: в свободное от работы время они вечно пьяны.

Этот пасквиль на рабочих дополняет карикатурное изображение их в «Местечке Сельефосс». Там Гамсун повествует об эксплуатации... несчастного, гуманного, добродетельного капиталиста, владельца мельницы Хельменсгро, «шайкой бездельников» рабочих, терроризировавших его так, что он униженно заискивал перед ними и позволял им бить бакуши. Чуть что — и рабочие поднимали шум, заявляли, что не хотят быть «наемными рабами», грозили забастовкой. К их услугам был местный листок, выходивший с лозунгом: «Долой капитал!» Понадобился кулак молодого Виллатца Хольмсена, чтобы усмирить эту «банду». Достаточно было хорошей затрещины, чтобы они перетрусили и «показали все свое ничтожество».

Гамсун очень мало менялся в течение своей долгой жизни. Почти сорок лет тому назад выступил он как предтеча фашизма и остался верен себе до конца своих дней, когда он протянул руку Шпенглеру, голосуя на выборах в стортинг за фашистскую партию.

«А жизнь идет»,—в этом заглавии—целая философия, очень немудреная и убогая. Общественная жизнь — такой же биологический, стихийный процесс, как и жизнь природы. Гамсун приемлет действительность, как она есть, — со всеми ее страданиями, с духовным убожеством и нищетой, с жестокой эксплоатацией, с бессмысленной гибелью людей. Воздействие на общественные отношения с целью их изменения, с целью улучшения условий существования — вещь бесполезная. Гамсун ищет утешения в том, что жизнь не иссякает, что поток ее не останавливается. Умирают растения — появляются новые побеги. Искра жизни не угасает. «Елочки, посаженные Августом, хиреют и заболевают, но некоторые растения начинают становиться на верхушке светлозелеными, чуть-чуть светлозелеными на самой верхушке, и — о чудо! о волшебство! — в них все время таилась искра жизни, и они изо всех своих силенок старались вырастить себе корешки». Немало детей умерло от голода в Полене, но многие выжили: жизнь идет. Погибла почтмейстерша Гаген, бросившись в горное озеро, но старуха Тидеман, все еще молодая и телом, и душой, снова полюбила и расцвела, и счастлива, как в двадцать лет: жизнь идет. Свет и тени, горе и радость переплелись в ней.

Отношение Гамсуна к развертывающимся на его глазах общественным процессам чисто пассивное. Это отношение деклассированного одиночки-интеллигента, утратившего связь и с крестьянской беднотой, из среды которой он вышел, и с рабочим классом, к которому он принадлежал в продолжение нескольких лет, после того, как семнадцатилетним юношей покинул родную деревню и отправился скитаться по всему свету, все время оставаясь рабочим, пока не избрал наконец литературного поприща.

Роман «А жизнь идет» так же, как «Август» и «Бродяги», как ряд других произведений Гамсуна, социально заострен, представляет памфлет, облеченный в форму романа. Вместе с тем Гамсун снова и снова возвращается здесь к

всегда волновавшей его проблеме любви. Его понимание любви остается неизменным. Как и в «Пане», он видит в ней грозную стихийную силу, которая толкает на подвиг и на преступление, безраздельно владеет человеком, слепо исполняющим ее веления. Постоянный спутник любви — смерть.

Цыган, любовник старухи Тидеман, всаживает ей в грудь нож, когда она хочет ему изменить.

Рабочий Адольф едва не взрывает себя, когда дразнившая его Марна Тидеман не соглашается ему отдаться.

Почтмейстерша Гаген кончает самоубийством из-за неудачной любви.

Анна-Мария в «Бродягах», с такой же буйной, неумной плотью, как и старуха Тидеман, заманивает в трясину шкипера, который сначала ухаживал за ней, потом бросил, и дает ему погибнуть мучительной смертью.

Лейтенанта Глана в «Пане» убивает его соперник.

Гипертрофия любви у персонажей Гамсуна, преувеличенная роль, которую он отводит ей, связана с безволием и внутренней опустошенностью, характеризующими Гамсуна и многих его героев.

Нет великой цели, которая окрыляла бы, давала бы смысл и содержание жизни ни у Глана, ни у Нагеля («Мистерии»), наиболее ярко выразившего метания изломанной души Гамсуна, надломлена их воля, и они цепляются за любовь, как за единственное, что может наполнить их жизнь и дать ей краски, делаются рабами любви.

Не случайно увлечение Гамсуном, как «певцом любви» в первую очередь, нашей интеллигенции, особенно в пору ее отхода от революции.

В художественном отношении последний роман Гамсуна слабее других романов трилогии. Он слишком растянут: кое-что — например описание старческого увлечения Августа Корнелией или ухаживаний аптекаря — могло бы быть сокращено без всякого ущерба. Но в романе много прекрасных страниц, напоминающих прежнего Гамсуна.

Книжное обозрение

1. И. ШКАПА (Гринеvский) „Лицом к лицу“ — Дм. Гельман. 2 Г САННИКОВ „Сказание о каучуке в одиннадцать песнях“ — А. Ефремин. 3. МЕНШУТКИН Б. в. „Важнейшие этапы в развитии химии за последние полтора десятилетия“ — Н. Замков

И. Шкапа (Гринеvский) — «Лицом к лицу».
«Московское товарищество писателей». 1934 г
Стр. 272. Ц. 5 рублей

Автор находился в числе трехсот ударников Советского Союза, премированных поездкой на теплоходе «Украина», который совершил в 1932 году рейс вокруг Европы с заходом в крупнейшие порты Германии, Англии, Италии и Турции.

Несмотря на ограниченные сроки пребывания в различных странах. Шкапа так же, как и необычные пассажиры «Украины», увидел то, что обычно ускользает от внимания заурядных туристов. Для передовиков лучших советских предприятий поездка имела учебно-воспитательное значение, посещая капиталистические предприятия, сравнивая принципы организации производства, беседуя с представителями различных классовых групп, изучая социальную анатомию городов и стран, наши рабочие извлекли много поучительного для своей будущей работы и получили наглядный урок политграмоты.

Об этом интересно и содержательно рассказал в своей книге И. Шкапа-Гринеvский, ориентируясь в основном на массового советского читателя.

Автор не претендует на открытие новых Америк; он, по существу, интерпретирует факты и события, знакомые нам по другим источникам, но его интерпретация и метод организации материала отличаются некоторым своеобразием, усиливающим историко-познавательную ценность книги.

«Лицом к лицу» меньше всего походит на дневник туриста, на торопливые записи заклеенных некогда (в 1928 г.) А. М. Горьким литераторов, путешествовавших «галопом» по зарубежным странам и считавших своим долгом по возвращении «поделиться» с читателем своими скудными впечатлениями и наблюдениями над «разлагающейся» Европой.

Свободный от пизжета перед ее «святыми камнями», перед ее технической мощью, хорошо знакомый с прошлым и настоящим посещенных стран, человек других измерений. — советский гражда-

нин Шкапа-Гринеvский — оцувившись лицом к лицу с капиталистическим миром, сумел правильно разобраться в представшей перед ним действительности, сотканной из противоречий и контрастов. Большинство виденных фактов автор пропускает сквозь призму сознания отдельных участников исторического рейса, пытается при этом (не всегда удачно) сохранить их профессиональные и языковые особенности. Этот прием способствует оживлению повествования, в котором чувствуется желание автора избежать протокольной сухости; свойственной некоторым очеркам, и сделать материал доходчивее. Вот как описывает Шкапа-Гринеvский один эпизод во время остановки теплохода в Гамбургском порту... «Инженер-технолог Сталинградского тракторного Яша Резник... использовал перерыв по-своему: «Братва! Запомним! — Он посмотрел на часы.— В тринадцать часов пятнадцать минут 4 августа 1932 года мы, — оп чуть остановился, — лазутчики социализма, были в гавани Вильгельма и нашля, что она, как и шеф ее, экс-кайзер, пребывает в состоянии полнейшей безработицы. Ни один кран не шевелится. Ни один корабль не стоит у причалов... Все сделано на славу, технически прекрасно. Все огромно. Огромно но мертво! М-е-р-т-в-о! — протянул Резник, отделяя каждый звук. Вдруг он повысил голос, поддался вперед, взмахнул рукой: — Смотрите, смотрите! Краны вздрогнули. Они совещаются! Го-ло-су-ют! Подняли стальные руки, протестуют против системы, обречающей их на смерть. Они требуют защиты от проказы металлов — ржавчины, спутницы бездействующих механизмов!»

Передавая впечатления отдельных рабочих их шумные споры, записывая даваемые ими меткие характеристики и словечки, воспроизводя корабельную обстановку и детали быта, проникнутого духом товарищеской спайки, Шкапа творчески трансформирует этот материал, дополняя его собственными, не лишеными остроты, наблюдениями, статистическими и историческими справками, выдержками из буржуазной прессы, записями бесе-

«о встреченными людьми, не перегружая при этом текста и соблюдая необходимую меру.

Яркими мазками рисует Шкапа нищету рабочих кварталов Гамбурга и Лондона, крохоборческую практику английских реформистов; он показывает изнанку капиталистической рационализации в фашистской Италии, растерянность и бесперспективность представителей мелкой буржуазии в Германии и Турции, распад социальных и бытовых оцепенений и деморализацию, вызванную кризисом, ростом безработицы и страхом перед неизбежной пролетарской революцией.

Правильная ориентировка в политических вопросах помогла Шкапе уловить тенденции, определившие развитие событий в отдельных государствах (Германия). Этим обстоятельством приходится объяснить то, что книга, вышедшая спустя два года после путешествия автора на «Украине», не утратила своей актуальности.

Книга «Лицом к лицу», насыщенная удачно скомпонованным фактическим материалом, сможет дать рабочему читателю отчетливое представление о внешнем и внутреннем облике буржуазных стран и о зарубежном пролетариате, томлящемся под гнетом капитала.

Единственным недостатком книги является ее неудачная стилистическая расцветка, умеренное использование автором «украшательных» средств, отнюдь не вызываемых прямой необходимостью. Шкапа не сумел выдержать единую языковую линию и наряду с бесспорно удачными допустил большое количество случайных, а местами неряшливых образов и оборотов речи.

Особенно это сказалось на пейзажных зарисовках:

1) «Волны... строятся в неохватные лавы и попрежнему не уставая гонятся друг за другом в каком-то диком парадном эскорте»;

2) «Кипарисы, как черные свечи, тянут к солнцу свои острые копыя»;

3) «Фиолетовая даль, истлевающая в последние отблесках, слилась вновь с темной синью моря; над восточным горизонтом пробились первые звезды»;

4) «Море застыло полужидким асфальтом о редкими клочками белой накипи на поверхности»;

5) «Второй укос заливных лугов волнуется под ветром, как зеленая рожь. только что выросшая колос» и т. д.

Такие словосочетания, как «военизированная безвкусица», «подлунная твердь», «осклизлая вонь», «пахуче-смолистая гуча», «дымок плотнел в ущельях», «мертвит окрипучая пята кризиса», «мечты опрокинулись под напорно-шквальными кризисными ветрами», «половина их (негров) с чахоткой», «масло-маргарин, мясо идут в ногу с зерном» (речь идет о ценах), дают основания для упреков автору в недостаточно продуманном отборе языковых средств. Даже в описаниях фактов, не требующих замысловатого оформления, Шкапа умудряется нагромождать фразы, вроде: «комбинация подземки с надземной пронизала все районы города, связав

их в один крепко сбитый кулак»; «первенцы пятилетки и фордовый птенец созрели в одном инкубаторе технического совершенства»; «ярок переклик ее (Италии) природных красок... бедны, пребывая в вечной яловости, ед недра» и т. д.

Значительная доля вины за языковые погрешности ложится на редактора книги. К сожалению, и на этот раз при наличии несомненно доброкачественного материала Московское товарищество писателей проявило беззаботное отношение к выпускаемой продукции, не помогло автору в его работе над рукописью

Д. М. Гельман

Г. Санников.—«Сказание о каучуке в одиннадцати песнях». Из документов пятилетки ГИХЛ 1934 г. Стр. 77. Цена 1 р. 25 коп.

В последние три года поэтическое перо Г. Санникова сделало несомненные успехи. Вслед за романом о советском хлопке («В гостях у египтян») Санников написал «Сказание о каучуке». Это большая стихотворная повесть, она содержит около 1.500 строк. Время действия—наши дни. Место действия—Средняя Азия («Каучуконосная наша Бразилия—Необъятный степной Казакстан»). Внутренняя пружина повествования—это героическая работа советских исследователей по освобождению нашей резиновой промышленности от заграничного рынка.

Повесть реалистична по тематике и по средствам выполнения. Борьба за свои собственные, советские каучуконосы осложнялась на первых порах не только происками авантюристов и самозванцев, но и сопротивлением местного, среднеазиатского кулачества. Повесть развертывает картину социальных столкновений, показывает борьбу за социалистическое земледелие в Средней Азии, со всеми особенностями края, с выступлением баев и духовенства против коллективизации и пр.

Поэт назвал свое произведение сказанием. Этим, вероятно, он хотел акцентировать свое отношение к историческим персонажам и событиям. Поэт вводит в «Сказание о каучуке» имена живых лиц и подлинные факты. От этого повествование приобретает черты хроникальной записки, начинает походить на художественную хронику. Недаром ведь автор снабдил свое произведение подзаголовком: «Из документов пятилетки».

Повесть написана нарочито утилитарным языком; переходящими местами в протекольные строки:

С открытием в Казакстане хондрилы —

Отечественного каучуконоса —

Были мобилизованы научные силы

Резинотрестом на разрешение вопроса...

и т. д.

Санников искусно влетает в ткань повествования сложные химические формулы и технические термины. Ни те, ни другие однако не нарушают поэтической цельности ска-

зания. Наоборот, они как бы восполняют единство художественного замысла. Функция техницизма, нам кажется, оправдана здесь в полной мере, так как разбираемая книга служит задачам популяризации сложнейших процессов социалистического хозяйства.

Книга написана энергичным стихом. Поэт сумел на протяжении полуторы тысяч строк показать значительное ритмическое разнообразие. Все это вместе делает книгу Г. Савинова интересной и должно привлечь к ней внимание нашего массового читателя.

А. Ефреми

Меншуткин Б. Н. — «Важнейшие этапы в развитии химии за последние полтора века» (Изд. второе (дополненное). Л. Академия наук СССР 1933 г. 118 стр. 10.150 экз. Ц. 1 р. 25 к.

Книга одобрена и рекомендована комитетом по высшему техническому образованию как учебное пособие, но представляет интерес далеко не только в этом качестве. Автор в живой и яркой форме, отнюдь не опираясь притом научного характера содержания книги, дает представление о развитии химии со времен Ломоносова и Лавуазье до наших дней, то-есть по существу за весь период существования химии как науки. Слова Ломоносова: «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие» — верны, как никогда теперь. Рецензируемая книга, сжато и логически-четко рассказывающая о достигнутых химией, в особенности за последние десятилетия, поразительных, прямо сказочных успехах, отвечает несомненно назревшей среди нашей интеллигенции и рабочих потребности в ознакомлении с основными выгодами наук, с ходом и результатами их развития. Она будет прочтена с увлечением и пользой многими научными работниками как смежных, так и более отдаленных специальностей, помогая им расширить свой кругозор. Сейчас, в момент движения за ооздание университетов культуры, подобные работы были бы полезны также и в других отраслях научного знания.

Автор рассматривает теоретическую химию во всех ее основных проблемах (прикладная химия затрагивается лишь косвенно), главное внимание уделяя развитию представления о молекулах и атомах, о химических элементах, открытию новых элементов, развитию периодической системы, учению о радиоактивности и строении атома. Автор подчеркивает теснейшую связь науки химии с производством.

Необятные перспективы, раскрывающиеся в связи с работами по разложению атома, интересно сопоставить с высказанным в 1672 г. Ньютоном убеждением в крепости и неделимости частиц (молекул): «Никакая обыкновенная сила не может разделить то, что сам бог создал как единое целое при своем первоначальном творении» (стр. 29).

Книга заканчивается следующими словами: «Итак, в данный момент времени анализ атома как будто приводит к трем составным частям: нейтронам, позитронам и электронам. Мы не знаем, что готовит нам будущее в этом направлении, не знаем, как скоро придется заменить эти конечные продукты анализа вещества чем-нибудь новым. Несомненно одно — на достигнутых результатах анализ атома не остановится, и современные достижения, как бы грандиозны они ни были, померкнут перед теми чудесами, которые для наших внуков будут самыми обыденными вещами». Действительно, даже за короткий срок, прошедший со времени сдачи книги в печать, существующие представления о структуре атома успели обогатиться результатами новых исследований (открытия французских ученых Ф. Жолио и И. Кюри — февраль текущего года — и др.).

В конце книги дана таблица периодической системы Д. И. Менделеева с указанием места в ней всех вновь открытых элементов. К сожалению, не указаны атомные веса последних. Следовало бы иллюстрировать книгу портретами великих химиков; это еще увеличило бы достоинства издания.

Книга оформлена просто и аккуратно. Цена вполне доступна.

Н. Замков

Редакция:

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв редактор **И. М. Гронский.**

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»

Продолжается подписка на 1934 г.

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НОВЫЙ МИР

(10-й ГОД ИЗДАНИЯ)

РЕДАКЦИЯ:

А. И. Бельменский.
Ф. В. Гладков,
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский
(отв редактор).
Л. М. Леонов
А. Г. Мальшица,
В. П. Ставкин

В БЛИЖАЙШИХ КНИГАХ журн. „НОВЫЙ МИР“

В ЧИСЛЕ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

М. ШОЛОХОВ — Поднятая целина, роман.
кн. 2-я.

НОВИКОВ-ПРИБОЙ — Пусима, кн. 2-я.

АЛ. ТОЛСТОЙ — Хождение по мукам, ро-
ман, часть 3-я.

Л. ЛЕОНОВ — Скutareвский, пьеса.

ВЛ. ЛИДИН — Кризис, роман.

А. КАРЦЕВ — Магистраль, роман.

ЗАЗУБРИН — Горы, роман, кн. 2-я.

ПЕТР ШИРЯЕВ — Кулак, роман.

ФЕДОР ГЛАДКОВ — Рассказы.

Л. НИКУЛИН — Стамбул, Анкара, Измир.

МАКС ЗИНГЕР — Ледяная тропа, повесть.

М. КОЗАКОВ — Гуманность, повесть.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Второй закон тер-
модинамики, повесть.

А. ВОРОНСКИЙ — Повесть о Владимире Сар-
матове.

Н. НИКИТИН — Пропавший Рембрандт.

К. ГОРБУНОВ — Новая повесть

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Свальбард.

Л. СОБОЛЕВ — Рассказы.

А. ЛЕБЕДЕНКО — Победа, повесть.

Подписчики

журнала „НОВЫЙ МИР“,

срок подписки которых
ИСТЕКАЕТ 1 июля, —

должны **НЕМЕДЛЕННО**
возобновить свою подписку

на **2-ое полугодие**
(Июль — декабрь).

Только своевременная сдача
подписки ГАРАНТИРУЕТ АККУ-
РАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЖУРНАЛА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
на 1934 год:

1 ГОД — 30 РУБ.
на 9 м. — 22 р. 50 к.
на 6 м. — 15 р. — к.
на 3 м. — 7 р. 50 к.
на 1 м. — 2 р. 50 к.
Цена отд. №-ра — 2р.50к.

ПОДПИСКУ СДАВАЙТЕ

ПОЧТЕ,

письмопочту, сборщику под-
писки и уполномоченным
„ГУДКА“ на транспорте,
или непосредственно Главной
конторе Изд-ва „Известия ЦИК
СССР и ВЦИК“, Москва, 8
Пушкинская площадь.